

|| 88 ||

НОВОБЫИ  
МИР

НОВОБЫИ МИР

|| 1975 ||

8



1975



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 года

№ 8

Август, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПЕТР ВЕГИН — Дневники, стихи	3
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Другая жизнь, повесть	7
ВЛАДИМИР СОЛОУХИН — Лозунги Жанны д'Арк, стихи	99
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Сямода, роман. Продолжение	105
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
М. БАБИКОВ — Две встречи	207
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
А. НОВИКОВ — «Нормандия» в небе России. Окончание	212
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
Ю. Каграманов. Эта обманчивая, обманчивая пустыня	232
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ЮРИЙ ЖУКОВ — Сергей Юткевич рассказывает про кино	238
М. МЕНДЕЛЬСОН — Американский роман после Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека	246
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Вади́м Соколов. Книга подвига и подвиг книги.— Лев Разгон. Что происходит на перекрестке?	264

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	273
<b>И. Лаптев.</b> Реальность наших дней и идеологическая борьба.— <b>Р. Кашин.</b> Книга о героях-антифашистах.	
КОРОТКО О КНИГАХ — А. Алексеев.— Николай Наволочкин. Амурские версты, роман. ✦ В. Жданов.— Г. Соловьев. Эстетические воззрения Чернышевского и Добролюбова. ✦ А. Брудный.— Виктор Дмитриев. Реализм и художественная условность. ✦ И. Туманов.— В. Прохорова. Константин Сергеев. ✦ М. Яхонтова.— Ф. Наркирьер. Андре Моруа. ✦ Н. Демидова.— С. М. Троицкий. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократизма	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
«НОВЫЙ МИР» В 1976 ГОДУ	287

---

---

ПЕТР ВЕГИН

★

## ДНЕВНИКИ

Ведите дневники,  
не будьте простаками,  
Равно как рыбаки,  
удите дни за днями.

Веденье дневника  
не требует таланта,  
хотя похоже на  
граненье бриллианта.

Не корчите судью  
над временем вчерашним,  
пишите жизнь свою,  
все, что сочтете важным.

История души  
любого человека  
не может жить в глуши  
Отечества и Века.

Нельзя солгать на час —  
зачтется все посмертно.  
Слагаемая часть  
истории столетья —

дневник, где сплетены  
сильней, чем корни, даты.  
Во имя седины  
пишите вашу правду.

На чердаке найдут  
и отряхнут от пыли,  
прочтут, замрут, вздохнут  
и скажут: «Люди были...»

1974.

\*.\*

Опусти свои руки заломленные,  
осуждать судьбу не спеши,  
отвези свои слезы в Коломенское,  
все ему расскажи.

Тополя и ветла поваленная,  
купола и шатры церквей  
обладают таким пониманием,  
что едва найдешь у людей.

Ни Парижа тебе, ни Лондона.  
И, наверное, ты права —  
нас врачует лишь наша родина,  
ее камни, ее трава.

Погляди в окно заколоченное —  
полон времени дом пустой...  
Прислонись к тишине Коломенского  
ненапудренною щекой,

Окружает тебя Коломенское,  
отбирает тебя у беды,  
ты дыши им, как через соломинку:  
тайно дышат из-под воды.

А над церковкой бело-синюю,  
понимания лишены,  
реактивные истребители —  
вроде взломщиков тишины...

\* \* \*

Жила-была Ксения Некрасова  
вдали от литкарнавала.  
Любовью, да и лекарствами  
жизнь ее не баловала.

Одна — без роду, без племени...  
Но по линии стиховой  
она Сергею Есенину  
меньшою была сестрой.

Слава ее не сватала,  
но чудо ее стихов —  
пробившееся в асфальте  
семейство белых грибов!

Но если охапку сирени  
удача мне бросит легко,  
обламываю для Ксении  
ветки, где пять лепестков.

К чему теперь объяснения  
ей — жительнице библиотек?

...Воскресное всепрощение  
растянуто на весь век...

\*.\*

Время, я говорю, время —  
и передо мною возникают  
морщины материнского лица  
и ее руки,

    глядящие  
    мои детские волосы,  
    мои жесткие волосы,  
    мои седеющие волосы..

А почему вы думаете, что передо мной  
должна возникнуть

    суетная секундная стрелка  
    или слух мой должен наполниться  
    латунным стрекотом шестеренок?

Механизм,

    показывающий время,  
    не имеет ничего общего  
    со временем,  
    в котором мы живем.

Сказать «столько-то веков тому назад» —  
не сказать ничего.

Сказать «десять Людовиков тому назад» —  
назвать время по имени.

Ведь я был счастлив,  
пока не обрушилось горе.

Значит —

    горе тому назад  
    я был счастлив.

Мы не говорим год, мы говорим:  
при Ленине,  
после Эйнштейна..

Самый белый из всех моих  
тридцати пяти снегопадов — тот,  
что сыпался за воротник ученика 10 «а»,  
когда он целовал ученицу 10 «г».

Как же тогда обстоят  
вчера и сегодня,  
сегодня и завтра?

Между ними,

разделяя (или соединяя их),  
нахожусь я,

    который при слове «время»  
    видит лицо матери

и без которого комбинация «вчера — завтра»  
невозможна!

«Времена людей,  
вобравших в себя без исключения все  
предыдущие времена» —

    скажут о нашем времени  
    спустя какое-то время,

И если вы не часовой мастер,  
то не открывайте заднюю крышку ваших часов,  
иначе вы можете увидеть  
ваших родных, друзей и знакомых,  
двигающих вперед время,  
уменьшенное до размеров  
ваших наручных  
(карманных,  
настольных,  
настенных  
и прочих) часов!



---

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Повесть

Посвящаю Алле.

**И** опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. Но т о , ч т о б у д и л о , требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом все кончилось? «Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня дочь».

Однако она легко думала о смерти как о чем-то неприятном, но неизбежном, что следует пережить, как о том, например, что надо лечь в клинику на операцию. Мысли о смерти были гораздо легче памяти. Та доставляла боль, а эти ничего, кроме мимолетной задумчивости. Вот оно, начинается: он приходил подвыпив после полочки в музей — когда-то давно — обыкновенно из «Севана», рядом с музеем, или же Федоров затаскивал его к себе, засиживались там, и всегда сразу ложился, не мешкая ни минуты, и засыпал мгновенно. Но обязательно просыпался ночью, часа в три, в четыре, как она теперь. Мешал ей спать, шаркал на кухню за водой или за каким-нибудь питьем из холодильника, она сердилась, ругала его сквозь сон. В те минуты, когда будил, она его ненавидела: «Какой же ты эгоист!»

А он, бывало, скрывал подпитие, держался находчиво и хитро, был очень ловкий актер, и она не замечала ни запаха, ни покрасневших глаз, верила его словам: «Устал, как собака», жалела его, стелила поскорей постель, он бухался под одеяло и начинал храпеть, но ночью непременно выдавал себя, просыпаясь задолго до утра. Теперь с нею похужее. Ее алкоголем были память и боль, она скрывала днем, никто не должен был замечать — ни на работе, ни дома, ни Иринка, ни свекровь, уж тем более не свекровь, потому что, если бы замечала, боль бы усилилась, и все свои силы днем она употребляла на скрывание, но на ночные часы ее не хватало.

А иногда он проснется ночью безо всякого подпития — просто так, неизвестно отчего. Это уж было вовсе блажь. Ведь не старик он. Бессонница бывает у стариков. И она раздражалась, потому что спала чутко и просыпалась, как только он начинал вздыхать, ворочаться и в особенности смотреть на часы — он брал часы с крышки ящика для постельного белья, чтобы поднести их к глазам, и всегда звякал металлической пряжкой о ящик. Из-за этого звяканья было много разговоров. Она очень сердилась. Это было так глупо. Он старался, бедный,



манипулировать с часами бесшумно, но почему-то ничего не получалось: обязательно хоть чем-то, хотя бы концом маленького металлического хоботка задевал за ящик — и раздавался звякающий звук, очень ясный в ночной тишине, она вздрагивала, потому что просыпалась раньше (как только он принимался вздыхать), и, замерев, со сжавшимся сердцем ждала звяканья.

Свекровь продолжала жить с нею в одной квартире. Куда ей было деться?

Эта женщина твердо считала, что в смерти сына, умершего в ноябре прошлого года в возрасте сорока двух лет от сердечного приступа, виновата жена. Жить вместе было трудно, хотели бы разъехаться и расстаться навсегда, но удерживало вот что: старуха была одинока и, расставшись с внучкой, шестнадцатилетней Иринкой, обрекала себя на умирание среди чужих людей (ее сестра и племянница не очень-то звали ее к себе, да и Александра Прокофьевна жить бы с ними не согласилась), а кроме того, Ольга Васильевна должна была считаться с дочерью, которая бабушку любила и без бабки оказалась бы совсем без призора. Все это затянулось таким каменным, неразъемным узлом, что выхода, казалось, тут не было: просыпайся среди ночи и ломай в отчаянии голову, а днем уходи из дому, убегай, исчезай. В командировки она теперь рвалась как могла чаще. Понимала, что неправильно, что слабость, что Иринка нуждается в ней сейчас гораздо больше, чем раньше, — и она нуждалась в Иринке и в поездках истерзывалась тоской по дочери, торопилась вернуться, каждый вечер по телефону наговаривала на пять рублей, а вернувшись, обнаруживала, что дочка прекрасно жила без нее, увлеченная своими делюшками, и это несколько успокаивало, хотя и прибавляло боли, и опять тянулась уехать, спастись, наперед зная, что спасенья не будет. Ах, как бы она жалела, как бы ценила старуху, если бы та жила где-нибудь далеко! Но в этих комнатках, в этом коридорчике, где прожитые годы стояли тесно, один к одному впритык, открыто и без стеснения, как стоит стоптанная домашняя обувь в деревянном ящике под вешалкой, сколоченном Сережей, здесь, в этой тесноте и гуще, не было места для жалости, Свекровь могла сказать: «Помнится, вы такие крендельки раньше не покупали. Где это вы брали, на Кировской?» Одна фраза вмиг уничтожала всю жалость, копившуюся по крупяцам. Значило: его крендельками не баловали, а нынче, для себя, стали покупать. И такая мура, такая ничтожнейшая, смеху достойная глупость ранила, как удар железом. Потому что на самом деле — злобность, пытка.

Подобное кренделькам — пыточное — вышло и с телевизором. Давно еще, при Сереже, хотели купить новый, большой вместо старенького с допотопной линзой и деньги откладывали. Ольга Васильевна часто раздражалась — может, и не следовало, но, боже мой, что ж теперь делать, раздражалась напрасно, несправедливо, никак не могла перебороть себя, потому что, по совести говоря, были причины, теперь эти воспоминания тоже пытка, — оттого, что мог часами, забыв обо всем, смотреть любую спортивную дребедень. Заваливался в зеленое кресло, ногу на ногу, сигарету в зубы, круглую пепельницу с рыбкой ставил рядом на пол — и как приклеенный, не допросишься, не докричишься. Но почему все подряд? Неужели все так уж одинаково интересно? Я отдыхаю! Имею я право на отдых, в конце концов? Гнев был слегка наигран: все обязаны знать, что он чудовищно устает на работе.

Он действительно уставал, кроме того, были неприятности. Но ведь они у всех. У него не хватало выдержки. И еще: он скрывал, скрывал, многое обнаружилось позже. Она о своих неприятностях рассказывала и этим облегчала себя, а он скрывал, стыдился своих неудач. И тогда, перед телевизором, жаловался полуискренне-полудурачась:

— Господа, мои нервные клетки нуждаются в отдыхе. Собаки едят траву, интеллигенция слушает музыку, а я смотрю спорт — это мое лечение, мой бром, мои Эссендуки, черт бы побрал вашу непонятливость, господа...

Обыкновенное шутовство, но Александра Прокофьевна честно вставала на защиту сына. Иногда, чтобы поддержать его, садилась рядом в кресло и смотрела хоккей или волейбол, все равно что, ей-то уж было еще более все равно, и перебрисывалась с сыном замечаниями, от которых Ольга Васильевна едва не прыскала со смеху. Бывало, он скрытно и тонко — но так, что Ольга Васильевна понимала, — подшучивал в этих беседах у телевизора над Александрой Прокофьевной, но старуха с упорством делала вид, будто спорт ее крайне интересует. Ах да, лет сорок или тридцать назад она была завзятой туристкой! Еще недавно наряжалась в древнейшие штаны цвета хаки, немислимую куртку эпохи военного коммунизма, закидывала за спину рюкзачок, пригодный для сбора утиля, и отправлялась куда-то на электричке совершенно одна. Сережа относился к этому спокойно. Другим он не разрешал шутить над бабкой и даже улыбаться молча за ее спиной. Кажется, она посещала места, по которым ходила когда-то давно с мужем, Сережиным отцом, профессором математики, страстным ходяком, туристом и фотографом. Вид у свекрови в туристском одеянии времен наркома Крыленко был трагикомический. Даже Ольгу Васильевну коробило, а Иринка просто страдала: над бабушкой потешались местные дуры, охранительницы подъезда. Сережин отец в сорок первом пошел добровольцем в ополчение и осенью погиб под Москвой. Старуху с ее печальными чудачествами можно было понять, но почему же ее-то, Ольгу Васильевну, не понимали? Почему ее горя не видели? Никакой силой нельзя было заставить свекровь, женщину неглупую, с юридическим образованием, признать право Ольги Васильевны на страдание.

— А конечно, покупайте телевизор, покупайте, не задумывайтесь! — говорила она, когда Ольга Васильевна сглупу решила с нею советоваться.

Очень уж просила большой телевизор Иринка, Ольге Васильевне было все равно, но тут в ближайший универмаг, в соседний дом, куда Иринка любила бегать за всякой ерундой, привезли телевизоры очень хорошей марки, которые бывали редко, и нужно было решать.

— Я вам говорю: покупайте! Зачем вы будете отказывать себе в удовольствии?

Ольга Васильевна сказала, что ей не до удовольствий.

— Я понимаю, но, с другой стороны, вы же не собираетесь заточить себя в монастырь.

— Нет, в монастырь не хочу, это правда.

Теперь Ольга Васильевна нажала нарочно, чтобы старухе стало больно, — ведь и та хотела доставить ей боль, говоря об удовольствии.

— Так что не мучайтесь, снимайте денежки, Сережа на это и откладывал, то была его воля... — На плоском, скуластеньком, как у старой татарки, лице Александры Прокофьевны стлыла любезная улыбочка, а глаза свекрови — маленькие, прозрачно-голубые щелочки, Сережины, — смотрели холодно, без пощады.

Ожесточившись от этих укусов, Ольга Васильевна решила телевизора не покупать старухе назло. Накричала на Иринку, та ревела. Но потом, ожесточившись еще сильнее, Ольга Васильевна решила наоборот — и купила. Свекровь за четыре месяца не смотрела телевизор ни разу. Говорила, что бережет глаза и боится излучений, но, кроме того, тут была и демонстрация. Кто-то из знакомых успокаивал: обживетесь, обтерпитесь, одно у вас горе, одна девочка, которую любите. Ольга

Васильевна тоже думала, что как-то приладятся, но до одного случая, когда поняла, что нет, никогда.

Было в январе, двух месяцев не прошло, и боль давила непереносная. Вот уж когда жить не хотелось. Ночью, промаявшись без сна, Ольга Васильевна встала, пошла на кухню и там душилась слезами, пила то валокордин, то заварку из чайника холодную. Вдруг услышала: Александра Прокофьевна шлепает на кухню. Тоже не спалось. И это шлепанье Ольгу Васильевну пронзило, потому что — знакомое, Сережа так же шлепал в этих же тапочках без задников, старуха зачем-то их себе взяла и в них ходила. Она и одеяло его верблюжье зеленое себе забрала. И показалось Ольге Васильевне, будто Сережа идет, Придет на кухню, когда все трое там, остановится в дверях в газетном колпаке, руку поднимет и скажет: «Приветствую тебя, мой бедный народ!» Иринка, конечно, покатится со смеху. Он все пытался объединять, сближать хотя бы на минуту, хотя бы шутками, дурачеством. И вот нахлынуло внезапно от этого шлепанья и не смогла удержаться, зарыдала громко, это было непростительно и ужасно, потому что слез не должен видеть никто. Александра Прокофьевна вошла — в рубашке, седые волосы распущены космами, лицо желтое, недовольное, — поглядела на Ольгу Васильевну, подошла к буфету, взяла чашку и налила в нее воду из чайника. Нет, не дала воду Ольге Васильевне, вода была нужна ей самой. Она как будто не видела и не слышала рыданий Ольги Васильевны и обычным своим ворчливым голосом спросила:

— Где у нас сода?

Ольга Васильевна не ответив вышла из кухни.

Этого вопроса насчет соды, невидящих глаз — не забыть. Потому что вдруг глянуло явственно то, что днем скрыто. Ночью обнажается истинное. Ольга Васильевна плакала, а старуха смотрела с ненавистью. Самые горькие разговоры бывали ночью. Он сказал однажды ночью, что если бы не Иринка, он бы с нею, с Ольгой Васильевной, расстался, и это показалось ей такой смертоубийственной правдой, что едва дожидая до рассвета, а днем он острил, городил чепуху, ничего не помнил, и ночной разговор схлынул бесследно, как кошмар. Но спустя несколько месяцев опять случился разговор ночью — он вздумал поехать один в дом отдыха, под Новый год, это напугало ее, не хотела его отпускать, требовала, чтоб он взял ее, в то время было несложно получить десять дней за свой счет, но возникала трудность с Иринкой, свекровь чем-то болела, ничего серьезного, будь это нужно Сереже, она бы отпустила их непременно, а тут, поняв, что нужно невестке, отказалась наотрез. Все было шито белыми нитками, нарочно пригласили Веру Прокофьевну с дочкой, Сережиной кузиной Тамарой, невропатологом из закрытой поликлиники. Ольга Васильевна ее не любила, не верила ни одному ее слову, и эта Тамара за ужином долго и вычурно объясняла заболевание Александры Прокофьевны, явно что-то преувеличивая, нагоняя туману. Ольга Васильевна, не желая обострять разговор, промолчала, смирилась, хотя тут был возмутительный сговор, но ночью все же не удержалась, разбудила его вопросом — и опять испытала то кошмарное состояние, когда все кругом закачалось, земля пошла из-под ног.

— Признайся, у тебя кто-то есть, с кем ты хочешь побывать вдвоем?

— Да, есть, есть, — заговорил он шепотом, мгновенно проснувшись. — Этот кто-то — я сам. Я хочу побыть вдвоем с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех...

В первую секунду верила, как привыкла верить всегда, но затем недоумение: разве он нуждается в одиночестве? Ей казалось, не было

никаких особых причин, по которым следовало бежать одному за сто верст от Москвы. Поэтому хоть и поверила и слегка успокоилась, но не до конца. В глубине души терзалась загадкой, вызывавшей одну тошнотную мысль: «У него кто-то есть!»

Ему нравились маленькие блондинки. Однажды она случайно это выяснила. Тянуло к миниатюрным женщинам, которых можно баюкать, держать на руках. Как-то сказал Ольге Васильевне с нежностью:

— Как жаль, что ты грузна, матушка. Мне бы хотелось поносить тебя на руках.

Все его женщины были крупные. Просто совпадение, так получилось, он сам рассказывал. У него было пять женщин. Четыре до нее и пятая она. Может, были еще, даже наверняка, не могло не быть, но про тех четырех она знала точно, а про других могла лишь догадываться и подозревать. Зато про тех четырех выведала все подробности, называла их по именам — Валька, Светлана — и не упускала случая как-то кольнуть их и его заодно, сказать о них что-нибудь злое, глумливое. Она их ненавидела, этих мерзавок, этих шлюх, две из которых были старше него, учили его всяким безобразиям, одна была его ровесница, мнившая себя высокой интеллектуалкой, а на самом деле распутная тварь, мечтавшая женить его на себе любым способом, но он, слава богу, не поддался на ее уловки и поступил с нею решительно, хотя, может быть, не совсем благородно, но так ей и надо, твари, и была еще какая-то бело-розовая, пастозная, с которой он работал в музее, манерная дура, но очень красивая, она все время куда-то убегала от него, а он догонял. Однажды ему надоело — она побежала от него из дому, где они встречались, а он не стал догонять, и все кончилось. Эта четвертая, пастозная, несмотря на свой истеризм, была могучего сложения, и он называл ее Брунгильдой. Говорил, что груди у нее тяжелые и круглые, как супные тарелки. Ольга Васильевна ненавидела ее особенно. Она ненавидела их и теперь, всех четверых, потому что Сережа все еще мучил ее, продолжал ее мучить. И вот, думала она: у него никогда не было маленьких блондинок и поэтому, может быть, его тянуло к таким. Он уехал в какое-то Пересветово по Горьковской дороге на двенадцать дней. Ей казалось: простить нельзя. Даже не потому, что непременно изменяет ей в Пересветове, а потому, что уехал, перешагнул через ее мольбы, отчаянье. Но спустя три дня пришла телеграмма: «Привози Иринку здесь прекрасно». Она взяла на работе отгульный день, поехала с Иринкой в Пересветово, и, конечно, он был прощен, катались на финских санях с гор, а утром, провожая ее на электричку, он бормотал: «Какая же ты глупая, глупая женщина!» — и тыкался ей в рот небритым лицом. Ведь недавно, когда брали курортную карту, врач написал: «Практически здоров». Все было ничего, анализы, сердце, давление. Что же случилось за это время? Никто не может понять. Непонятно: как жить без него? И как удалось — вот уже пять месяцев и двадцать пять дней! Она и сама не понимала: как-то все длилось бессмысленно, тянулось, жилось...

Будильник позвонит в семь. Еще полтора часа она будет лежать, погруженная в забытие — не в забытие сна, а в забытие исчезнувшей жизни, — потом медленно встанет, наденет стеганый нейлоновый халат, Сережин подарок ко дню рождения, а то и без халата, в одной рубашке, нечесаная, теперь она не следит за собой, побредет на кухню и поставит на плиту чайник, кастрюльку с водой для каши и другую для яиц, вынет из холодильника творог, кефир, чтобы, пока они с Иринкой моются и одеваются, творог и кефир немного согрелись в теплом воздухе кухни. Включит репродуктор, который стоит на вершине буфета. И все время, что бы ни делала, о чем бы ни думала, она будет чувствовать пустоту и холод за спиной.

Был такой Влад, очень добрый, хороший, скучный, безнадежный, талантливый, с широким рябым лицом и глазами слегка навывкате, выражавшими серьезность и преданность. Он носил очки в черепаховой оправе. Когда он смеялся — что случалось редко и всегда неожиданно, — он прикрывал рот рукой, ибо верхняя губа задиралась немного больше, чем нужно. Это не была настоящая заячья губа, но какой-то нарек на заячью губу. Один из давнишних приятелей, остряк, назвал Влада зло «полузаяц», общучивая фамилию: Польшаев. Влад был студентом мединститута, и еще тогда ему прочили большую судьбу в медицине. Мать Ольги Васильевны, для которой всякая внешность — будь то человека, пальто, шкафа, портьеры, и даже букеты цветов, — не имела ровно никакого значения, а важно было лишь то достаточно спорное, что она определяла внутренним оком и называла с у тью, очень хотела, чтобы дочь вышла замуж за Влада. Но Ольга Васильевна никак не могла на это решиться, хотя и не хуже матери понимала, какой хороший человек Влад. Однако — всю жизнь видеть перед собой мощное рябое лицо со скифскими скулами...

И все это продолжалось, полувялое ухаживание, полудетская дружба, без надежды для Влада, без радости для Ольги Васильевны, в течение лет двух или трех (одновременно с Владом нагонял скуку еще один ухажер, некий Гендлин, инженер, совсем никудышник, хотя мать к нему тоже благоволила), пока не наступила роковая пора, завершение учебы, начало самостоятельной жизни, школа на Палихе, двадцать четыре года, отступить некуда, все подруги проклятые замужем, и вдруг Влад приходит с молодым человеком, недавним знакомцем, сошлись зимою в Звенигороде в студенческом лагере и мгновенно сдружились. Влад вообще был восторженный гуманист. Он увлекался людьми, хотя, надо сказать, разбирался в них не блестяще. Мать Сергея, например, он считал благороднейшей женщиной, трепетал перед ней, даже заискивал, и все лишь потому, что Александра Прокофьевна что-то там делала на фронте во время гражданской войны, в политотделе армии стучала на машинке. Но это уж было после. А до Сергея то он приводил какого-то летчика, то чемпиона по борьбе, похожего на обезьяну, то книжного барышника, торговавшего детективами столетней давности, знатока всего на свете, говоруна и морфиниста. Новый знакомый Влада был историк, недавно окончивший, работал в каком-то невидном учреждении не по своей специальности. Кроме того, как представил его Влад, был абсолютным чемпионом Звенигородского района по «балде» и чтению слов наоборот.

И правда, в первый же вечер он поразил Ольгу Васильевну потрясающим искусством. Влад кричал восторженно: «Столовая!» И гость отвечал: «Яволотс». «Портфель!» — восклицал Влад. И немедленно следовало: «Леттроп». «Землетрясение!» — коварно предлагал Влад, втайне ликуя от неминуемого победоносного ответа своего друга. И верно, тот, лишь на мгновенье запнувшись, отвечал: «Еинес...яр-телмез». «Как, как, как? — кричал Влад. — Повтори, пожалуйста! Надо проверить!» Проверяли, все было точно. Произвело огромное впечатление. Влад подбавлял жару: «Да что там: гений! Самый обыкновенный гений...» Он был тогда худ, строен, пышноволос, пружинисто двигался, весело и странно говорил, был не похож ни на кого из знакомых. Она почувствовала: что-то произошло. И тоже, поборов волнение, спросила: «Взгляд?» «О! — закричал Влад. — Это очень трудно!» Гость посмотрел на нее одну секунду, будто соглашался — да, это трудно, и негромко, но твердо сказал: «Дялгзв...»

Загадочное слово пронзило ее, как игла. Тут был, может быть, произнесен пороль, определивший жизнь. Никогда нигде не слышанное, не читанное, дикое слово — «дялгзв». Но оно было зеркальным

отражением другого слова, истинного, в которое она бесконечно верила,— «взгляд». Эта игра, это смешное, бессмысленное знакомство и дикословие под водку и шпроты остались в памяти намертво, потому что было внутреннее ошеломление и предчувствие перемены судьбы. И было еще: начало весны, той тревожной, неясной, которую еще предстояло разгадать, как слово «дьялгэв», когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили. Но матери этот гость, изобретавший слова, не понравился тем, что в первый же вечер побежал за водкой. Узнав его лучше, Ольга Васильевна догадалась, что тут была вульгарная стеснительность и особая чрезмерная нервность, толкавшая на нелепейшие поступки, но вовсе не страсть к спиртному. Мать не могла забыть Сережиного *faux pas* много лет. «А ты помнишь,— говорила она, когда зять в чем-нибудь провинялся,— как он в первый же вечер побежал за водкой?» Мать, которая так стремилась к пониманию сути, не в силах была уразуметь, что этот смешной поступок совершенно не выражал сути. Она твердо считала, что более других дочери подходит Влад: в этом и состояла суть. Бедная мать, при всей ее любви к дочери, она не могла преодолеть свойственного ей наивного эгоизма — наивного потому, что ей даже в голову не приходило усмотреть в своем поведении какие-либо следы эгоизма, ей казалось как раз обратное, будто она окутана облаком альтруизма, живет для других, ради других, это походило на правду, хотя, если приглядеться внимательно, «другими» оказывался один человек, Георгий Максимович,— и она полагала, что заботится о дочери, настаивая на том, что Влад для нее лучше, а на самом деле заботилась о себе, ибо Влад был лучше для нее. И ей не нравились игры в слова и рассказ Сережи о том, как он с Владом ходил в психиатрическую клинику. А Сережа рассказывал гениально! Георгий Максимович, который зашел из мастерской попить чайку, тоже смотрел сурово.

У матери с Георгием Максимовичем всегда была замечательная синхронность. Мать высказывала суждения, а Георгий Максимович кивал подтверждающе, сопровождая кивки фразами вроде «пожалуй что так» или «боюсь, что ты права». Родной отец умер давно, когда Ольге Васильевне было шесть лет. Мать в эвакуации познакомилась с Георгием Максимовичем, они работали на одном заводе: мать в плановом отделе, а Георгий Максимович в клубе, художником. Он был старый художник, учился до революции у какого-то знаменитого грека, ездил за границу, участвовал в выставках, за что-то его громили, перевоспитывали, отсесняли, постепенно он счах и сник, и к тому времени, когда попал в эвакуацию в маленький уральский городишко, из художника он превратился в полуголодного мазилу и зарабатывал на хлеб рисованием лозунгов и плакатов. Однако потом, когда он вернулся в Москву с новой семьей, с матерью и Ольгой Васильевной, ему дали мастерскую и комнату в доме художников, стали его привечать, упоминать в печати, давать ему договора и заказы, потому что в эвакуации, как выяснилось, он времени зря не терял, работал как вол, ибо искусство делают волю, по утверждению Ренара, любимого писателя Георгия Максимовича, создал галерею тружеников тыла под названием «Уральская сталь», эти рисунки выставлялись не раз, были репродукции, даже почтовые открытки,— и в жизни Георгия Максимовича наступил своего рода ренессанс, вторая молодость, или, как он выражался, «мой розовый период», и все бы шло хорошо и ладно, если бы как раз в те годы, в конце сороковых, Георгий Максимович не стал болеть. Что-то с головой, потом с глазами, запрещали работать, он уезжал в санаторий, потом начались сердечные неприятности, и незадолго до появления Сергея случился инфаркт. Сколько ему было тогда? Да уж очень порядочно. Мать моложе на семнадцать лет. А ей

было в то время, когда появился Сергей, сорок три, значит, Георгию Максимовичу было шестьдесят.

Он еще ходил прямо, руку пожимал крепко и, знакомясь с людьми, имел обыкновение упорно и зорко вглядываться человеку в лицо, обшаривать его с бесцеремонностью. Новых людей это коробило. Сережа признался потом, что первая встреча с Георгием Максимовичем его слегка озадачила.

— Он смотрел на меня так, будто я что-то украл.

Правда, у Георгия Максимовича была еще и другая привычка: изучив нового человека досконально, он сообщал, что у того «интересное лицо» и что его «очень интересно написать». В этом звучала покровительственная нота человека искусства, стоящего над остальными людьми, и в то же время была невинная лесть, приятная всем. Но Сереже Георгий Максимович этого не сказал. Настороженность была с первой минуты. Впрочем, Георгий Максимович был тут несамостоятелен, он лишь улавливал, подобно чуткой мембране, настроение матери. Да, они очень подходили друг другу. Ну и прекрасно, слава богу, Ольга Васильевна не ревновала, отца едва помнила, Георгий Максимович относился к матери хорошо, по-видимому, любил ее, а уж она, бедная, его обожала, и с годами у них образовались одни вкусы, одни взгляды на людей, на живопись, на книги, на деньги, на все. Мать постоянно была погружена в его дела и болезни. Ее просто не хватало на чью-то другую жизнь. Когда родилась Иринка, мать поначалу разрывалась между внучкой и мужем, ей хотелось быть нужной, вездесущей, но сил не стало, и она сдалась, уступила место другой бабке. Ольга Васильевна ее простила. Некоторое время жили с матерью и Георгием Максимовичем на Суцневской, где была мастерская, в квартире с соседями, потом у свекрови случилось горе — умерла дочь, незамужняя, какая-то невезучая, больная, свекровь ее очень любила, — и решили переехать к ней в двухкомнатную квартиру на Шаболовку. Тут прошло Сережино детство. Все ему было тут мило, близко, и хотя Ольга Васильевна сразу почувствовала, что жить со свекровью будет несладко, но Сережа очень хотел, и старухе — впрочем, какой старухе, она была тогда шумливой, суетной, пожилой женщиной — надо было пойти навстречу. Дать ей хотя бы внучку. Грустно было уезжать от матери. Но ничего поделать было нельзя. Все это двигалось своим ходом и началось в тот вечер, когда он пришел лохматый, в ковбойке, в пиджаке с накладными плечами и говорил слова наоборот.

А после того вечера: весна, дворы, подворотни, подъезды, кафе, забегаловки, начало лета, ничего не понимающий Влад, поиски денег, вагоны на юг, жара, прохлада, освобождение. Вчетвером: Ольга Васильевна с Ритой, подружкой тех лет, сгнувшейся потом бесследно, и Влад с Сережей. У Влада был знакомый, вернее знакомый его отца, генерала медслужбы, владелец дома в Гаграх. Он обещал снять комнаты. Нужны были две: для Риты и Ольги Васильевны и для Сережи с Владом. Почему-то в доме доброго знакомого жить было нельзя. Лето пылало, в Гаграх стояла одурающая духота. Отчего-то вышло так, что знакомый Влад — некий, кажется, Порфирий Николаевич, то ли, может быть, Парфентий Михайлович, невнятный человек, работавший когда-то в Москве в ответственном учреждении, а теперь пенсионером, живший в Гаграх в собственном особнячке, — снял только одну комнату, довольно паршивую, далеко от моря, на горе, и еще предложил летнюю хибарку в своем саду. Комнату отдали ребятам, а девушки поселились в хибарке — у самого пляжа. Это было легкое сооружение вроде шалашика или того, что теперь называется «бунгало» и вошло в моду по всему Черноморскому побережью. Вначале все было восхитительно, но затем обнаружили неудобства. За водой

и в туалет ходили через весь сад в дом. Кроме того, постояльцы особнячка, родные, близкие и дальние знакомые Порфирия Михайловича, которых было множество, и приезжали на машинах все новые, жили какой-то шумной, утомительной жизнью. Ежедневно там пили, гуляли, горланили песни, заводили громко радиолу и танцевали на веранде, жарили шашлыки в саду, а вечерами толпою ходили на море купаться: спускались тропкой через калитку в заборе на каменистый пляж. Дом стоял на берегу.

Весельчаки из дома Парфентия Николаевича зазывали в свою компанию Влада с Сережей и девушек, ребята не отказывались, денег у всех в обрез, в Гаграх дороговизна, да и ничего не достать, а там угощали щедро, хванчкары и чачи сколько душе угодно, и Рита, невзраченькая хитруша, прибитая московским одиночеством, тоже свалась к этому водовороту, казавшемуся хоть и опасным, но обольстительным.

Но Ольга Васильевна твердо: «Нет!» Среди людей, бродивших вечерами по саду, попадались хамы, и раза два кто-то ломился поздним часом в хибарку, дверь трещала, глупая Рита хихикала, но Ольга Васильевна догадывалась, что Рита им не нужна. «Эй, гордая! — кричали снаружи. — Пойдем с нами купаться!» Ольга Васильевна суровым голосом грозилась милицией.

Наутро жаловались Владу, тот бежал в дом, оттуда приходила жена Порфирия Парфентьевича, статная дама всегда в белом, черные волосы с проседью, на пальцах золото, в ушах золото и, когда улыбалась синим большим ртом, обнаруживалось много золота во рту: «Девочки, простите моих хулиганов. Они дети юга. У них солнце в крови... Солнце делает людей безумными...»

Сережа здорово плавал, нырял, прыгал с вышки. Он и Рита заплывали далеко за буйки, а Ольга Васильевна с Владом полоскались у берега. Вообще Сережа, такой неумелый и робкий в житейских делах, в отношениях с людьми и самим собой, обладал большой физической смелостью. Поговорить с Порфирием о том, сколько нужно заплатить за хибарку и одновременно насчет водопровода, который жители особнячка часто перекрывали, ставя Риту и Ольгу Васильевну в затруднительное положение, он никак не решался — боялся обидеть, малодушно тянул, но и не отказывался от хванчкары и сидения на веранде с гостями, и она с досадой угадывала что-то шаткое, немужское в этом характере, — и он же мог с легкостью вязаться в любую драку на пляже, мог прыгнуть шутя с десятиметровой вышки. И с каждым днем она все отчетливей сознавала, что пропадает.

Никогда раньше она не испытывала такого безысходного, отчаянного пропадания. Прекратилась всякая другая жизнь. Пропали все другие мысли. Ведь прошло лишь несколько дней — что же могло измениться? — а казалось, что изменилось все вокруг: цвет неба, запах моря, вкус шашлыков. И в ней самой сдвинулась какая-то стрелка. Все внутри завертелось гораздо быстрее, чем раньше. Возникло что-то тревожащее и новое в ней самой, какая-то посторонняя тяжесть, доставлявшая неудобства и мучения. Например: она не могла теперь вынести, когда он заходил в дом Порфирия и задерживался там надолго. Какая, подумать, ерунда. А она терзалась: зачем он там? с кем? чей смех доносился с веранды? Мужской смех задевал так же, как женский, одинаково чувствительно. Значит, там ему слаще, милей, чем здесь, с нею. Это были странные мучения, изолированные от рассудка, подчинявшиеся наитию: ведь он не был мужем, они еще не были близки, только еще намечалось, мечталось втайне, и, однако, ее ощущения и муки были такие, будто все уже произошло. Как-то она не утерпела, поднялась на веранду, чтобы позвать его. Он унес шах-



маты, а тут собрались на пляж — она начала учиться играть в шахматы, ей хотелось делать все то же, что делал он, и однажды, поборов страх, даже прыгнула с трехметрового трамплина солдатиком, — и, открыв стеклянную дверь, увидела, как несколько человек, мужчины и женщины, сидели вокруг стола с закусками и глядели на Сережу, который стоял чуть в стороне, чтобы быть на виду, и изображал нечто мимическое. Он умел эти мимические штуки делать отлично. Особенно «старого аптекаря» и «динамовского болельщика». Вообще в нем было много талантов, он ведь и рисовал, и пел хорошо, и самоучкою выучился на гитаре.

Тогда, на веранде, она почувствовала вдруг бурное отвращение, как приступ тошноты — и к нему и к людям за столом, глазевшим на него с веселым, пьяным дружелюбием, как в ресторане. Как же она разозлилась! Те аплодировали, кричали «браво!», «алаверды к тебе, Серго!», тянули к нему рюмки, а она сказала зло:

— Ну, а теперь прочитай какое-нибудь слово наоборот, например «шутовство», и скажи до свиданья. Нас на пляже ждут.

Он с изумлением уставил на нее узкие синие глаза и даже рот раскрыл, чтобы что-то сказать — то ли возразить, то ли прочитать слово «шутовство» наоборот, — но она взяла его за руку, он молча подчинился, и они вышли.

По дороге на пляж она ему внушала, испытывая при этом острое наслаждение от того, что он молчал, а она его пилила с материнской строгостью:

— Пойми, ведь это стыдно, это мерзко, ты себя унижаешь, ты был шутком перед пьяными рожами. Ты, интеллигентный человек, потешал этих господ, этих прощелыг...

Потом он стал защищаться довольно добродушно:

— Ты уж слишком максималистка... Имей в виду, максимализм до добра не доводит, говорю тебе как историк...

Но ему как будто все это нравилось: и то, что она вела его за руку, и то, что была оскорблена за него. Именно тогда, может быть, возникла в ее сознании модель, что в течение долгих лет представлялась единственной благодатью, к которой следовало стремиться всеми силами, а он, хитрец, делал вид, что подчиняется, но на деле был далек и безучастен: вести его за руку и поучать с болью, с сокруплением сердца. А на пляже разгорелась дискуссия. Влад, услышав ее нападки, ринулся товарища защищать: «Ты не знаешь местных обычаев. Здесь нельзя отказываться, когда тебя угощают».

И Рита, давно уже скрытно раздраженная — она соображала своим умишком, что ни Влад, ни Сережа ею не интересуются, и начала понемногу Ольгу Васильевну ненавидеть, — сказала, что Ольга, по своему обыкновению, делает из мухи слона. Что касается Парфентия и его гостей, то, по мнению Риты, они люди добрые, простые, не надо их презирать... «Не надо высокомерничать» — ее фраза. Но чем они занимаются, бог ты мой? Откуда средства для такой сказочной щедрости? Неприлично считать чужие деньги, это дурной тон. Ведь не жулики они. Потому что иначе сидели бы в тюрьме, а они прекрасно живут. Такова была логика этой глупышки, с которой Ольга Васильевна загадочным образом сошлась на короткое время. Рита была худощавая рыжеватая блондинка с очень белой конопатой кожей, голубыми глазами и острым носиком. У нее не иссякала твердая вера в то, что она красавица, и годы проходили в негаснущем недоумении: почему никто этого не замечает?

Была какая-то странная жизнь вчетвером. Повсюду ходили вместе: на базар, в кино, в дымную чебуречную, где толстяк с маленькой головкой, Датико, угощал молодым вином и прыскающими жиром че-

буреками, по набережной, по главной улице, где слонялась вялая белая толпа, и вечерами на теннисный корт, где играли классные игроки, а Сережа и Влад глядели на них с ненасытной жадностью, потом им самим разрешали немного попрыгать, они оба еще только учились, тренер Отто Янович давал указания, Влад был бездарен, но у Сережи получалось хорошо, с каждым вечером все лучше, он мог при желании стать настоящим теннисистом — с его талантом мог стать настоящим кем угодно, настоящим пловцом, музыкантом, рисовальщиком, ядерным физиком! — и Отто Янович говорил, что «прыгучесть прекрасная», но не было ни мячей, ни ракеток, все стоило дорого, экономили деньги на обратную дорогу, а Ольга и Рита сидели на длинных скамейках в тени тополей и смотрели на игроков. И когда она смотрела на Сережу в тельняшке, в белой шапочке с козырьком, на его загорелое худое лицо, на его немного полные тяжеловатые ноги в вязаных носках, которые он вез из Москвы специально чтоб надевать под кеды; — правда, он не знал, что займется теннисом, думал, что будет играть в волейбол, был заядлым волейболистом, — у нее как-то ломко, счастливо падало сердце. Она наслаждалась, глядя на него и видя все его страсти, напряжение, досады, радости, все было обнажено, а он не видел ее. Однажды Отто Янович, бородатый гномик, сунул незаметно записку. Она развернула осторожно, чтоб Рита не увидела, и прочла: «Приходите завтра к девяти утра. Я буду вас учить совершенно бесплатно и сколько угодно». Гномик брал порядочные деньги за час и, говорят, был богатым человеком. Она улыбнулась ему и покачала головой. Отто Янович скорчил гримасу, означавшую глубокое горе. Ах, много их было в то лето, стремившихся учить ее совершенно бесплатно и сколько угодно!

Верно, она была тогда хороша. Еще не располнела. Все у нее было в меру, все ладно, гибко, плотно, и хоть не умела плавать, но бегала легко, играла в волейбол, делала без труда «мостик». Сейчас — попробуй! А тогда хоть бы что. Десять раз подряд без натуги. Мужчины на пляже на нее пялились. В те годы она очень ровно и быстро загорала — потом это свойство почему-то ее покинуло. Но ведь лежала на солнцепеке часами, не жалея сердца, такая дура. Волосы носила по тогдашней моде растрепанными до плеч. Сережа говорил: «Голова Медузы». А ей очень шло. Такая пышная, густая, темно-руся чаша, а лоб весь открыт, круглый, чистый, еще без единой морщинки. Наверно, то был лучший год всей ее жизни, год расцвета. Она замечала это по взглядам мужчин, по тому, как кавказцы, глядя на нее — когда она выходила из моря, — нахально цокали языками и причмокивали. Ну и приставали, конечно, бессовестно. Навязывались в друзья, в собеседники, в партнеры по кингу, по волейболу. Сережа и Влад жили в постоянном ожидании драки.

Были какие-то ленинградцы, какой-то капитан, какой-то гость Порфирия по фамилии Цнакис, какие-то обгорелые дочерна эстрадники, с одним из которых Сережа затеял скандал и даже ударил его резиновым надувным дельфином, нанеся легкое повреждение типа царапины, отчего был шум, крики, явилась милиция, и Сережу спас от беды Порфирий. А тот, что пристал в лесу, когда ездили на озеро Рига? Был еще смешной человек, пожилой, с оливковым лицом, тоже из гостей Порфирия, который ухаживал одновременно за Ритой и Ольгой, где выгорит, был деликатен, услужлив, ходил поутру на базар и приносил зелень, кислое молоко и ягоды, к Владу и Сереже относился с отеческой благожелательностью и, кажется, не считал их серьезными соперниками для себя, увязывался на пляж и донимал нудными разговорами, не знали, как от него отделаться, уж очень был хорошо воспитан. Но однажды он под секретом, потребовав сохранения тай-

ны, показал Рите медицинскую справку, где говорилось: такой-то, обладая нормальной половой потенцией, лишен способности к деторождению, что подтверждает главный врач поликлиники имярек. Рита, разумеется, поделилась новостью, веселья было много. Оливковый человечек куда-то исчез, пропал навсегда.

Сереза учил ее плавать. Им так нравилось это учение! Было бы скучно, если бы она умела плавать так же хорошо, как он. Он держал ее на руках, она барахталась, висла у него на шее, хохотала, тонула, слепла от брызг и все время чувствовала его руки, которые были очень смелые в воде. Влад поглядывал на них, напрягая зрение — в море он был без очков, — стараясь разглядеть, что же там происходит, в этом хохоте, в брызгах, иногда предлагал:

— Если хочешь, могу тебя поучить. Если Серезе надоело...

Бедный, он сам держался в воде ненамного лучше. Но он был рыцарь. Его вводили в заблуждение грубоватые, будто бы раздраженные окрики Сергея: «Как ты непонятлива, магушка! Ногами делай вот так, как лягушка!» Тогда он любил это «магушка», «мать», словно прожили вместе целую жизнь. Потом явились другие ласковые слова, например «слоненок», «слониха». Знакомым казалось странным, что она терпит такое незстетичное обращение, а ей нравилось: она знала, в какие минуты это возникло. Влад подплывал, пытался учить, они хохотали. До чего все казалось смешным! И Влад, который надувал щеки от добросовестного желанья помочь, мозолил глаза, ничего не понимал, и Рита, которая все понимала, тихо злилась — она решила, что Сереза был приглашен на юг для нее, и теперь все происходящее расценивала как измену, — и они сами казались друг другу радостными источниками веселья, любое слово, всякая глупейшая детская шутка вызывали хохот.

Рита ночью затеяла ссору: требовала закрыть окно. Ольга протестовала. Было очень душно.

— А мне холодно! — упорствовала Рита,

— Дышать же нечем.

— Я не желаю по твоей милости получать воспаление легких!

— Мы спать не сможем при закрытом окне.

— Ты будешь спать прекрасно. Я за тебя не волнуюсь...

Так препирались долго, и Рита, разумеется, взяла верх: окно было закрыто, Ольга чувствовала себя сильной и счастливой. Озлобление Риты не иссякало, она стала упрекать Ольгу в эгоизме:

— Какая я дура, что согласилась с тобой поехать! Ты думаешь только о себе. Жить с тобой и десять дней невыносимо, ты законченная эгоистка.

Ольга слушала оскорбления, но не испытывала ни вражды, ни желания отвечать: в глубине души даже жалела Риту. Но чем могла ей помочь? Если бы Влад хоть слегка стал приударять за ней, было бы прекрасно, но Влад относился к Рите с непошибаемой товарищеской добротой, что было совсем не то.

— Не знаю, почему я эгоистка, — говорила Ольга, зевая и улыбаясь сквозь дрему. — Давай спать, мне спать охота.

— Конечно, тебе охота, ты напрыгаешься, наорешься, — ворчала Рита. — Ты потому эгоистка, что все себе, себе. О других не думаешь... Ужасней отдыха не было в моей жизни... Какой-то кошмар, какая-то мука...

И в довершение всего разревелась. Ольга бегала в дом за каплями, за водой, будила людей. Рита лежала бездыханная, с мокрым полотенцем на голове, жалким голосом просила достать ей билет в Москву, ругала себя, проклинала свою судьбу, Ольга говорила какой-то успо-

коительный вздор, а сама думала: завтра, в море... И ничьи слезы, никакие беды не могли омрачить радости.

Потом Рита встретила какую-то приятельницу в Ахали-Гаграх и переехала к ней. Однажды ее видели с этой приятельницей, толстой соломенной блондинкой среднего возраста, они шли под руку, рядом шагали двое мужчин в пижамах — тогда была такая мода на юге, в полосатых пижамах мужчины гуляли по городу вроде как бы в летних костюмах, — все четверо шумно разговаривали, Рита поглядела мельком и прошла мимо, едва кивнув. А первую ночь спать в хибарке одной было неудобно. Ольга и не спала почти до рассвета, слушала гул моря, томилась то тревогой, то радостью, то не поймешь чем: неизвестностью. Какие-то люди ходили по саду. Скрипели цикады. Гудел автомобиль. Кто-то выезжал за ворота. Ольга думала: куда это они среди ночи? К духанщику за вином, что ли? Утром жаловалась ребятам, что совсем не спала от страха. Говорила неправду: неудобность была от непосильного ожидания, от смутных мыслей.

А верно: с первой же ночи, как осталась в хибарке одна, ждала, что он придет. Ребята сказали, что будут ее охранять. И ночью пойдут купаться.

Ночь была темнейшая, в двух шагах ничего не видеть. Южная ночь, без звезд. Облака нависли, дышать было трудно. На пляже слышались разговоры, гремели шаги по камням, много людей купалось ночью, тоже не дураки. Разговаривали вполголоса, иные шептались, в воздухе была разлита какая-то таинственность, и Ольга с волнением это почувствовала, но подумала, что это ей мнится, что тайна в ней самой. Потом обнаружилось, что люди действительно шептались и тайна была истинная, не имевшая к ней отношения. А тогда кружилась голова и ноги подкашивались от душности, от тьмы и предчувствия тайны. Мрак был такой, что можно было купаться голыми. Ольга подходила к морю, не видя воды. Никогда в жизни ни до, ни после той ночи она не купалась в такой теплой воде. В ней было, наверно, градусов двадцать шесть. И никакой волны, совершенное спокойствие и беззвучность, моря не существовало, просто теплая вода, как в бассейне, и в потемках тихий плеск и неясный говор людей.

Она поняла, что будет необыкновенная ночь. Влад куда-то ушел. Может, он был поблизости, но молчал, не выдавал себя. Сережа тянул ее за руку на глубину, и она его не видела. Остановились, когда вода стала ей до плеч. Он сказал, что похоже на священное купание то ли в водах Ганга, то ли в Иордане, где-то в тропических реках, где вода как парное молоко. Русский князь Владимир крестил в Днепре, там все-таки попрохладней. Она посмеялась над ним:

— И все-то ты знаешь!

А он спросил:

— Хочешь, буду учить тебя плавать?

Она удивилась: днем только этим и занимались. Подошла к нему, обняла его за шею, и стояли так долго, целовались, это было впервые и вышло совсем просто, как будто много раз целовались до этого, но странно было одно: кругом люди и никто не видит. Влад издали звал их. Ей сделалось неловко, стала вырываться, они боролись, выбежали из воды и повалились на камни.

Камни были теплые. Но ей стало зябко, она дрожала.

— Где вы тут, чертушки? — кричал Влад.

Сережа зажал ей ладонью рот. Не выдержав, оба прыснули смехом и упали с большого камня, на котором сидели.

— А, вот... замаскировались... — Влад тяжело сел рядом. — А я, братцы, договорился насчет билета.

Ее бил озноб, она боялась спросить, какого билета, чтобы голосом

не выдать, как она дрожит. Нелепо дрожать в душную ночь. Все-таки ей не хотелось, чтобы Влад догадывался, что с ней происходит. Он сказал, что условился с клиником Первого мединститута, что будет там работать в августе. Ведь он был тогда еще студентом, пятикурсником, хотя старше ее и Сергея года на три. Позже начал учиться.

По его голосу она поняла, что он догадается. Было его очень жаль. Язык его не слушался, он бормотал невнятицу, какие-то жалчайшие поручения перед отъездом. Часов до двух ночи тягостно разговаривали на берегу, потом она призналась, что хочет спать. Ей не так уж хотелось спать, мозг был воспален, но что-то побудило ее так сказать: просто сидеть дольше втроем было невозможно. Влад спросил: нужна ли охрана? Оставался рыцарем несмотря ни на что. А каким бы он был исключительным мужем, если бы... Мать Ольги Васильевны считала, что в нем есть «какая-то долька» от Пьера Безухова. Пьер — ее любимый герой, потому «какая-то долька» звучало в ее устах много. Георгий Максимович говорил, что у Влада лицо, как у мордовского бога Кереметь, и что его интересно писать — писал и мучил Влада многократно, — и очень хотел, чтобы у Ольги с ним все сладилось: «Не будь вороной, лучшего друга тебе не найти». Сейчас он доцент, заведует отделением, у него трое детей, жена — добродушная бесформенная толстуха с широкой жирной спиной, врач-рентгенолог. А тогда был раздавлен, несчастен, спрашивал убитым голосом: нужна ли охрана?

Оба ушли, она осталась одна, мокрый купальник лежал на дощатом подоконнике в ожидании солнца. Спать не хотелось, не было страха, не было шагов, голосов, ничего. Она лежала с открытыми глазами, сердце колотилось, она знала, что ночи осталось мало и он скоро придет. Спустя минут двадцать он пришел. Снова ее тревожил Влад: вдруг заметил, как он уходил, и догадался куда; и она спросила, почему он не подождал до завтра, пусть бы Влад уехал. Он спросил:

— А что тебе Влад?

В самом деле, Влад был для нее ничто.

— Я не мог ждать до завтра.

Не было разговоров, обещаний, клятв, она ему просто поверила навсегда.

Потом было много, бессчетно, других ночей в городе и на даче, летом, в дождь, холодной осенью, когда еще не работало отопление и комнату согревал рефлектор, почти каждую ночь они становились женой и мужем. Это был редкостный дар, подруги иногда делились интимностями, она никогда, если бы когда-нибудь рассказала, они бы не поверили и сочли бы такой же ложью, какую сочиняли сами, но суть заключалась в простом: то, чего не хватало одному, находилось у другого, а то, что было у них обоих, соединялось в целое, слитно и полно, но это сделалось понятно не сразу, не в первую ночь и не в первый год. Потом она поняла, что ни с кем у нее не могло быть того, что было с ним. А тогда, в хибарке, — что ж? Душная, забытая ночь...

И еще один день болтался с ними ненужный Влад. В море Сережа не подошел к ней ни разу, все время был с Владом, даже как будто сторонился ее. Она пугалась, успокаивала себя: делает так нарочно, хитрец, ведь и он знал и она знала, что ночью он придет снова. Потом какой-то человек отозвал Влада в море, они отплыли от берега, и человек передал новость. Тогда было много разных слухов и новостей. Она забыла что именно. Помнила только: Влад и Сережа необычайно возбудились, побежали к Порфирию, но домработница сказала, что хозяин уехал в Москву, хозяйка больна и никого видеть не может, а гости разъехались. В саду не было ни одной машины.

Пошли в город, на базар, по магазинчикам. Когда Влад отходил куда-то или отворачивался, Сережа брал ее руку, сжимал пальцы, норовил как-то прижаться к ней, прикоснуться. Влад и Сергей много спорили в тот день, шумели, рассуждали, а она все время думала о том, как будет ночью. На базаре продавали ранний виноград. Она понимала, конечно, что новость, может быть, интересна, но ее переполняло другое событие, и она слегка недоумевала: как мог Сережа в т а к о й д е н ь увлечься чем-то иным и даже мог, например, не слышать ее, когда она о чем-то спрашивала?

Усатая гречанка-домработница шаркала по саду с граблями, да овчарка Титан тосковала на крыльце, положив морду на лапы. Все разбежались, исчезли, и статная дама с синими губами, похожая на гоголевскую покойницу, тоже куда-то сгинула. А хорошо было тогда в доме, в саду! Прожили дней пять на втором этаже, на веранде, гречанка страшилась одна ночевать и позвала: Все там было исполинских размеров, диван — как будто приспособленный для свального греха, и в комнатах стоял не выветриваясь кислый винный запах с оттенком псины, а на веранду втекал изнуряющий и заново придающий силы воздух моря. Ночи и дни шел разговор, ненасытно узнавали друг друга. И уже тогда было так, будто все давно решено. А в октябре Влад поразился, когда его пригласили на свадьбу. Все-таки он не думал, что дело пойдет так далеко и, главное, так быстро.

Ведь только что познакомились — и вот уже веранда над морем, никаких тайн, нет человека ближе, август, его мать с тяжелыми разговорами, но это уже ничего не меняло. Перхушково, осень, вечерние электрички, встречи у пригородных касс, и тут же возникла Светланка, этот кошмар, который рассеялся не скоро и едва не задушил ее.

Когда она впервые услышала это имя? От его матери?

Нет, его мать произнесла это имя так, что Ольга Васильевна содрогнулась: оно было знакомо. Оно уже сидело в сознании ничтожной занозой, воспаля ткань, набухая медленной болью. Он был честен, легкомыслен, болтлив, пробалтывал многое, и она слышала про ту, очкастую, которая не гнушалась ничем, чтобы удержать его, но сначала Ольга Васильевна не относилась к ней чересчур всерьез, ибо не могло же не быть прошлого, и у нее тоже было прошлое: например, Гендлин. Совершенно вытеснилось, погребено тысячелетиями, вроде фараона Тутанхамона. Кажется, познакомились в консерватории. Кажется, он был инженер, высокого роста, ходил как-то странно, чуть присядая на каждом шагу. Укоризненный голос мамы: «Опять звонил Гендлин». И след виноватого чувства — не к Гендлину, а к маме. Расправиться с Гендлиным не составляло труда, он сам отпал тихо, как отпадает лист от осеннего ветерка, но она, однако же, говорила гордо и в поучение: «Вот я: сказала прямо, чтоб не звонил больше, потому что не нужно, и он понял — и все. Надо рвать, как больной зуб, сразу». Сережа соглашался: да, да, разумеется. Как больной зуб. Тогда еще она не знала этот характер, исполненный зыбкости и причуд, и в покорном кивании, в незамедлительном и легком согласии находила покой, длившийся, впрочем, не так уж долго: до первого разговора с будущей свекровью.

Комната на Шаболовке удивила: какая-то шестигранная, обрубок зала с потолком необычайной высоты, лепные амурчики беспощадно разрезаны по филейным частям. Одна ножка и крылышко осеняли шестигранную комнату, а другая ножка и ручонка, держащая лук, висели над коридором. Голов у амурчиков не было. Они приходились на перегородку. На стенах, оклеенных темно-вишневыми обоями в белых корзиночках, развешано множество фотографий. На одну Сережа тут же обратил ее внимание: пирамида усатых мужчин во френчах,

папах, шинелях и сбоку едва заметная, с неразличимым лицом фигурка в белом платке.

— Это мать в политотделе армии. Двадцатый год.

Было обозначено сразу: не чета другим матерям, не просто начинающая старуха, а делательница истории. Но Ольга Васильевна и так смотрела на остроглазую скуластую женщину, очень морщинистую, тонкогубую, с громадной симпатией и честным желанием полюбить ее — не потому что делательница: ко всяким реликвиям, развалинам, свидетелям старины она относилась равнодушно, но потому что — его мать. Пили чай из дешевейших чашек, чуть ли не детских. Пришла его сестра, закутанная в старушечью шаль: толстая, нескладная девушка, совсем на него не похожая, с какой-то блуждающей, многозначительной улыбкой. Разговаривая, улыбалась криво и смотрела в сторону. Она была старше его года на три.

Все в этом доме: стены, потолок, посуда, мебель и люди, тут обитавшие, — отличалось какой-то тайной несуразностью. И однако как она это все полюбила! Он побежал в магазин за красным грузинским вином. В Гаграх пристрастились к красному! И вот когда сестра ушла в другую комнату и Ольга Васильевна осталась с будущей свекровью наедине, та вдруг спросила:

— Вы что-нибудь знаете о Светлане?

Ольга Васильевна призналась, что знает. Но смутно.

— Так вот вам не смутно. — И глаза синие, щелочки со стальным зрачком, впилась в глаза. — Эта Светлана, о которой я слыхом не слыживала до позавчерашнего дня, ждет ребенка от Сергея.

Оказывается, та особа приходила сюда, рассказала, взвинтила (потом все прояснилось как обыкновенный шантаж, расчет на дураков), и вот теперь допытывали — плохонькая гостиная вдруг превратилась в комнату призрачного трибунала, не хватало кожанки и маузера в деревянной коробке.

— Вы уверены, что можете быть счастливы ценою несчастья другого человека?

Ольга Васильевна лепетала:

— Я не знаю... а вы уверены, что это правда?

Женщина со стальными зрачками кивала холодно.

— Но ведь любовь... если любят..., если бросают, уходят... — жалким голосом пыталась сопротивляться Ольга Васильевна.

— Вы говорите о подлецах. Мой сын не подлец. Он просто безответственный тип.

Внезапно возникла сестра, все слышавшая, и, кривя рот улыбкой, нервно, с напором произнесла:

— Не обращайтесь внимания на ее разговоры, она, как обычно, все низводит до схемы! — И, повернувшись к матери, очень зло и отчетливо: — Ты опять говоришь вздор! Уши вянут тебя слушать.

Старая женщина сникла. Прибежал Сережа с вином. Ольга Васильевна крепилась изо всех сил, чтобы не расплакаться, Сережа все понял, стал допрашивать мать, снова появилась сестра и теперь взяла мать под защиту; как они относились к этой змее, к Светланке, было непонятно, ее как бы не существовало, был важен принцип, из-за которого все трое жестоко ссорились, каждый отстаивал какую-то свою правоту, и Ольга Васильевна ничего не понимала. Но одно, казалось ей, она понимала: они и ее не хотят. Несуразность сидела в натуре этих людей, делать выводы по их речам и поступкам было опрометчиво. Сережа говорил, что Светланка лжет. Она ему верила. Но почему-то было очень трудно порвать с ней, она грозила самоубийством, он мучился, ездил к ее родственникам, встречался с ее братом-боксером, ходил к врачам, в лабораторию, анализы были

отрицательные, та действовала, как настоящая аферистка, а на свекровь всегда влияли фальшивые люди, хотя — Ольга Васильевна догадывалась — Светланку свекровь не хотела еще сильнее, чем ее.

Весь кошмар длился недели три в сентябре, и в какой-то миг показалось, что та своего добила: оторвала Сережу, хоть и не к себе, но — от Ольги Васильевны. Решила с ним расстаться — таков был удар этой суки, убийственно рассчитанный, — но что-то спасло ее, она устояла.

Звонок в двенадцатом часу ночи. Плюгавая, взъерошенная, на тонких кривых ножонках девица в очках. Вы Ольга? Да, я. Сразу все поняла, и кровь хлынула в голову. Ненависть к мозглячке была страшная: схватить бы и сбросить с лестницы, чтоб руки-ноги переломала! Но, конечно, вежливо пригласила зайти, разговаривали в коридоре. Та убеждала, что Ольгу Васильевну он не любит и любить не может, пусть она не обманывается, он «таких, как вы», вообще не выносит, зашло затмение, пройдет, «вы будете несчастны» и еще что-то бредовое. Ольга Васильевна чувствовала, как внутри у нее все сдавилось. Онемев, глядела в худое треугольное личико с острым подбородком, который дергался, а в глазах под стеклами очков дрожали громадные зрачки, как у больной. И чтоб доказать, что говорит правду, та сказала — ради этого и пришла, — что он у нее две ночи провел недавно, в августе, после возвращения с юга. Ольга Васильевна ответила твердо:

— Ты лжешь!

Не поверила ни на секунду. Но та с наслаждением поведала такую подробность, о которой знать не могла, если б лгала.

И все же не верила, такая дура, такая тетеха наивная! И на другой день, когда бежала под дождем в книжный магазин у «Метрополя», где договорились о встрече — чтоб прогнать его, проклясть, — на дне души было нелепое спокойствие. Втайне верила, что сейчас он возмутится, что-то объяснит, оправдается, рассеет этот напавший внезапно ужас. Никогда в жизни ни с чем подобным она не сталкивалась. Матери не рассказывала, отчиму тоже. Она сражалась в одиночку. Надо было решать в течение нескольких секунд. А он, потемнев лицом, набычившись — тут-то она стала узнавать странный характер, — сказал: «Она дрянь, но говорит правду. Только не два раза я у нее был, а один раз».

Боже мой, да зачем же, зачем? Зачем он у нее был? Зачем говорить об этом? Даже если правда. «Я ее пожалел. Знал, что расстанусь, и было жалко». Ее пожалел, а женщину, которую полюбил, обрекает на страдания, выложил ей все как на духу. Тогда, под дождем, возле «Метрополя», они бродили как лунатики, наталкивались на людей и говорили, говорили, старались понять — что-то там строилось, красилось, дом был в лесах, в трубах, и они то и дело, когда дождь припущал сильнее, забирались под дощатый настил и стояли там, — как жить дальше, надо ли быть вместе или, может, расстаться навеки. Она думала тогда то так, то этак. Расстаться и проклясть его — с каждой минутой силы для этого убывали. Вдруг она подумала: ниспослано испытание, если перебороть его — значит, быть счастливой. И кончилось тем, что пошли в ресторан «Метрополь» и хорошо пообедали; в тот день он получил зарплату в музее, половину ее потратили на обед.

Свадьба была через месяц. Конец октября, холодный и солнечный, заклеивали окна газетной бумагой, чтоб гостям не простыть, и принесли от соседки радиолу с пластинками. Какая свадьба — обыкновенная вечерушка, водка, закуски, котлеты по-киевски из близлежащего ресторана. Сережа сочинил и напечатал на машинке уморительные пригласительные билеты, что-то вроде: «Дорогой друг! Если хочешь отдохнуть душой, забыться от тягот семейной, холостой, про-



изводственной, учебной (ненужное зачеркнуть) жизни, приходи к нам на домашнюю свадьбу-концерт...» В программе было наворочено много всякой смешной чепухи, он был мастер на такие штуки, какие-то мимические номера в исполнении жениха, чтение слов наоборот, застольные песни, лекция доктора Полысаева о пользе голодания, черта в ступе, все забылось, исчезло, нет, осталось в памяти вот что: «Гастрономические оргазмы. Ответственная — мать невесты, именуемая в дальнейшем теща». Потому что из-за этой фразы среди ночи, во время мытья посуды — мама, Ольга и еще одна женщина, пришедшая помогать, мыли тарелки, Георгий Максимович вытирал, а Сережа, мертвецки пьяный, храпел где-то в комнатах — возникла легкая словесная распря.

Георгий Максимович высказал недоумение: что за гастрономические оргазмы? Если это юмор, то какой-то антисанитарный. Если не юмор, то позволительно спросить, что имелось в виду. Намеки на какую-то болезнь, что ли? И затем: для чего многократно обыгрывать слово «теща»? Все остроты вокруг тещи исчерпаны еще в девятисотом году. Мама иронически улыбалась, говоря, что несколько этим юмором не задета, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но она никогда бы не призналась, если б была задета. Вообще, как обнаружилось позже, мать не хотела ощущать себя тещей, не любила это слово и уж меньше всего претендовала на то, чтобы отличаться в области гастрономии.

Всякий брак — не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоимирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем? Пришли его родственники, его м и р, и открыли в безумном любопытстве глаза, и увидели ее родственников, ее м и р, и хотя, кажется, никогда больше за семнадцать лет не было такой обширной встречи, такого открытого, глаза в глаза, противостояния, но — сшибка тогда началась и длилась все годы неотступно, иногда незримо, неведомо ни для кого. И вот — Сережи нет, а старая война длится.

Войны-то никакой не было. Все устроилось покойно и мирно, если не считать слабых подземных толчков. А Ольга Васильевна нервничала: она угадывала в будущей свекрови углы и колючки, да и сестра, девица с причудами, могла что-нибудь отколоть. Еще боялась за мамино брата, дядю Петю: и он сам и его семейство люди резкие, крикливые.

Перед тем как сесть за стол, Георгий Максимович всех пригласил в мастерскую. Надо пройти длинным коридором: справа двери в мастерские, слева общая ванная, общая кухня, общая уборная для всех жителей третьего этажа. Был такой нелепый дом постройки двадцатых годов. Гости шествовали, топоча, по коридору, а в дверях общей кухни и общей ванной стояли любознательные жильцы — жены, матери и дети художников, да и сами художники приоткрывали двери мастерских и выглядывали на шум. Жены и матери художников были не очень-то добры к Ольге Васильевне и ее матери, хотя те жили в этом доме уже восемь лет и можно было бы к ним привыкнуть. Но жены и матери художников почему-то хорошо помнили первую жену Георгия Максимовича и его сына Славу, с которыми Георгий Максимович расстался за несколько лет до войны.

Процессия гостей двигалась в полном молчании, были тягостные секунды, из общей ванной тянуло мыльным паром, там шла стирка, в общем туалете хлопотала вода, и вдруг Сережа, сжав пальцы Ольги Васильевны, громким, нахальным голосом запел: «Трам-па-пам...» — «Свадебный марш» Мендельсона. Кто-то подхватил, засмеялись, за-

шумели, и тягостное исчезло. И тут появилась рыжая Зика, жена художника Васина, с букетом роз. Она немо совала букет Ольге Васильевне и, нагнувшись — длинная, нескладная, — норовила поцеловать Ольгу Васильевну в щеку. Эту Зику Ольга Васильевна почти не знала. Зато потом узнала хорошо.

В мастерской Георгия Максимовича был необыкновенный порядок, чего, конечно, никто не заметил. Все столпились в середине большой комнаты, под сильной двухсотсвечевой лампой, а Георгий Максимович метал на кресло, служившее пьедесталом, одну за другой свои работы. Ольге Васильевне эти работы не очень нравились. Но, наверно, она чего-то не понимала, потому что жильцы дома говорили о Георгии Максимовиче с уважением и показывали ему свои картины, спрашивая совета. А Ольге Васильевне казалось, что все эти писанные маслом прудики, рожицы, речки, овраги, все это на больших листах сангиной старики, дети, собаки, руки и головы похожи на множество других картин и рисунков, сделанных давным-давно другими художниками, и было непонятно, зачем нужно повторять то, что уже существует в мире.

Но, по-видимому, зачем-то было нужно. Потому что картины Георгия Максимовича принимались на совете, покупались заказчиками, и Георгий Максимович не бедствовал. Он был добрый, образованный, учился в Париже, был знаком с Модильяни и Шагалом, любил вставлять в разговор французские словечки, хотя читал и говорил по-французски очень скверно, когда-то его называли «русский Ван-Гог», но казалось странным: неужели можно, так хорошо всё понимая у других, ничего не понимать у себя? Рассказывали, что в юности он писал по-другому. Но те вещи почему-то не сохранились. Георгий Максимович счень любил зазывать людей в мастерскую и забивать их, заморочивать своими картинами. Очевидно, этими прудиками и рожицами он гордился всерьез. Все это было простительно для старика, не избалованного ни славой, ни благоденствием, и кроме того, мать так сильно его любила, но в день свадьбы тащить людей в мастерскую — это было уж чересчур. И Ольга Васильевна немного на отчима сердилась. Он не постеснялся поставить на кресло серию рисунков — обнаженная женщина на диване, широкие бедра, талия, распущенные волосы, лица не видно. Никто не знал, что это мама. Ольге Васильевне было неприятно, и она старалась не смотреть на рисунки. Все было бы прекрасно, гости одобрительно кивали и, тихо вздыхая, говорили «Да-а...» — но мать Сергея вдруг задала бестактный вопрос, не относящийся к творчеству Георгия Максимовича.

«Э-э, скажите, будьте любезны, — сказала она, — что это за картина?» «Это знаменитая «Герника», — быстро ответил Георгий Максимович, не желавший надолго отвлекаться от своих произведений. — Не картина, а репродукция». «Чем же она знаменитая? Я что-то слышу о ней впервые».

Потом эта фраза Александры Прокофьевны, «Я что-то слышу о ней впервые», стала чем-то вроде девиза или пароля, обозначавшего систему Александры Прокофьевны. Ольга Васильевна и мать иногда переглядывались и говорили друг другу шепотом: «Я что-то слышу о том-то впервые». И принимались хохотать. Но в тот вечер до хохота было еще далеко, и Георгий Максимович, с неохотой оторвавшись от собственных картин, стал добросовестно излагать, в чем слава и величие «Герники». Гости были озадачены, Георгий Максимович объяснял пылко и усердно. Все понемногу склонились перед его авторитетом и как будто поняли, что хотел изобразить Пабло, но Александра Прокофьевна упорно гнула свое.

«Нет, ваши доводы я нахожу несостоятельными. Ничего, кроме

битых черепков и рваных газет, я тут не вижу». «Мама, это твое личное дело», — сказала Сережина сестра. «Я с ней поработаю, она подтянется, разберется», — сказал Сережа. Александра Прокофьевна ответила сыну довольно строго. И тут неожиданно ее поддержал дядя Петя, уже под хмельком раньше всех.

«Вы, милая, совершенно правы в этом вопросе! — заговорил он, наставительно поднимая палец. — А тебя, Егорша, лупцевали за формализм, да, видно, мало. Зачем ты эту дребедень сюда вывесил?»

Александра Прокофьевна добавила: «Вы сами, Георгий Максимович, работаете как реалист. У вас женщина — это женщина, голова — голова, нога — нога, это—это... — При этом Александра Прокофьевна смело показывала пальцем на рисунок, изображавший обнаженную мать Ольги Васильевны. — Все у вас на месте. Как же так: проповедуете одно, а творите другое?»

У Георгия Максимовича было трудное положение. Он поблел, вынул большой фиолетовый платок, стал сморкаться. Что он мог объяснить гостям за пять минут до закусок, до водок, до криков «горько»? Мог ли рассказать жизнь? Ольге Васильевне стало его жаль. Но не успела она открыть рот, чтобы выручить отчима, как мать уже бросилась ему на помощь. «Петя, дорогой мой, — сказала она, — ты, кажется, всю жизнь занимаешься станкостроением. Что бы ты сказал, если бы Егор вздумал учить тебя, как строить станки?» «Что бы сказал? Да я бы его в порошок стер! — Дядя Петя гоголат, свирепо мотая лохматой седой башкой. — Я бы из него котлет наделал! Я бы его в капусту порубал, нахала этакого!» Все засмеялись, лукаво поглядывая на Александру Прокофьевну. Тогда сестра Сережи сказала: «Знаете ли, будет тоска, если все станут высказываться только по специальности».

На этом, кажется, дискуссия кончилась. И все-таки это были два мира, два клана, уходящие корнями в им самим неизвестную глубь, и, столкнувшись, они стремились — невольно — пообмять и потеснить друг друга. Сестра свекрови Вера Прокофьевна тоже что-то бормотала по поводу живописи. А у Ольги Васильевны осталось отчетливое ощущение счастья и страха: кто-то кому-то не то скажет, обидит... Наконец был торжественный миг — ради которого все и приглашались в мастерскую, — и Георгий Максимович достал с антресолей большую картину в громоздком золоченом багете, свадебный подарок жениху и невесте. Подлинник французского художника Дювернуа, изображавший старый Петербург. Потом, в тяжелые минуты, на этого Дювернуа не раз покушались, однажды даже вызвали оценщика из комиссионного магазина, но, пораженные малой суммой — не малой, но значительно меньшей, чем та, которую долгие годы лелеяли в мыслях, — решили оставить. Висит до сих пор. Когда гости выходили, почтительно подталкивая друг друга, из дверей мастерской в коридор, Александра Прокофьевна сказала вполголоса Георгию Максимовичу (в тоне ее прозвучало торжество, Ольга Васильевна услышала, и сердце ее ёкнуло): «А все-таки, дорогой сват, я с вами не могу согласиться...»

Ночью в общей кухне, где, стараясь не шуметь, мыли посуду, Георгий Максимович шептал: «Родственница у тебя — ой-ой! С характером... Это хорошо, что вы первое время у нас... — И, помолчав, добавил великодушно: — У нее интересное лицо. Было бы интересно ее написать». Они были совсем разные люди. Из разных недр земных.

Единственный раз, когда Георгий Максимович напомнил всем, что он единственный съемщик и проявил неуступчивость, случился в мае: решалась судьба Иринки. Была первая весна их жизни. Ничего еще не устоялось, все было непрочно, зыбко. Она еще работала педагогом, но искала место, чтобы уйти. Работа в школе была тяжела, ездить

далеко. Подруги по университету обещали найти что-нибудь получше, но пока не находилось, и она тянула эту лямку: каждое утро в полседьмого на другой конец города. Сережа испортил отношения с директором музея и тоже намеревался менять службу. С деньгами было худо. И тут обнаружилось, что будет ребенок. Матерям не говорили. Решили срочно что-то предпринимать, потому что — невозможно, нельзя никак. Знакомых докторов по этой части не было, вообще никаких медиков, кроме Влада. Да и с тем полгода не виделись. Он уже окончил, работал ординатором в клинике.

Не хотелось Сереже к нему идти. Она тоже колебалась, но так как Влад всегда был для нее н и ч е г о, очень верное, древнее, с детских лет испытанное н и ч е г о, она все-таки решила плюнуть на Сережу, которому было неприятно — ей-то самой было вполне н и ч е г о, и даже почему-то казалось, что Влад обрадуется, — и позвонила старому другу. Влад, к ее удивлению, не обрадовался, даже как-то растерялся и обомлел, но затем с горячностью и быстротой стал действовать. Приехали к нему, он сделал укол. Сережа стоял рядом с диваном, держал ее за руку и смотрел в сторону.

Признавался потом, что в какую-то минуту почувствовал к Владу ненависть: тот должен был отказаться! Но Влад с его ослиной добросовестностью... Укол не помог. Влад рекомендовал знакомого доктора, старичка, тогда это запрещалось. Нужно было делать дома, втайне, при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Пришлось сказать матери, та сказала Георгию Максимовичу — скрыть было нельзя, да и мать перепугалась, не знала, как быть. Сама она никогда этого не делала. Ей казалось, что это какая-то невероятная постыдная, преступная и к тому же смертельная операция. Она смотрела на Ольгу Васильевну глазами, полными паники, в слезах, и шептала: «Девочка моя, что же нам делать?» Во многом она осталась наивной до конца своих дней, когда превратилась в старуху. Ольга Васильевна делала это потом несколько раз дома и в больнице и поняла, что это не самая страшная боль на свете. Хотя бы потому, что у этой боли есть конец.

Но тогда, в мае, было еще все неизвестно. Георгий Максимович вдруг ошеломил всех: «Я, как ответственный съемщик, запрещаю!» Так и осталось неведомо: то ли действительно боялся нарушить закон, то ли поддался паническому настроению матери...

Иринка появилась на свет благодаря фразе Георгия Максимовича: «Я как ответственный съемщик...» Когда-то Ольга Васильевна мучила себя нестерпимыми воспоминаниями. Дочка не знала, что ее не хотели. Все успели забыть — Сережа, мать, Георгий Максимович и, наверное, Влад. Но она-то знала, помнила. И когда осенью слякотным днем бежала по Гоголевскому бульвару в сторону Арбата, спешила в магазин и вдруг что-то сжало низ живота с такой силой, что она качнулась, едва не упала, какой-то человек подхватил под руку и повел на бульвар, чтобы посадить на скамью, она тут же подумала: «Это мне за то...» Иринка родилась семимесячная. Только приехали из роддома, она развернула пеленки, Сережа подошел посмотреть, и она крикнула, заслоня собой: «Не смотри, не смотри! Потом! Уйди!» Не могла, чтоб увидел такое жалконькое, тщедушное. Дня через три показала ему это тельце, уже напоминавшее ребенка. Теперь Иринка, кажется, самая выскокая в классе. А Сережи нет на земле.

Так быстро все это пронеслось.

Ведь была долгая жизнь, необозримая памятью, — отчего же так быстро? Все перепуталось, Оно и быстро и кратко. То, что было долгим, теперь похоже на миг, а нынешний миг тянется без конца, без смысла. Как-то в декабре, вскоре после того дня, разрубившего жизнь,

она сказала дочери — минута отчаянья, ведь ближе нет никого, хоть от кого-то получить каплю утешения, но было слабостью ждать этой капли от девочки, — сказала, впрочем, больше для себя и для кого-то, кто не мог слышать: «Какая у нас с отцом была хорошая жизнь!» В этом вздохе была, конечно, не вся правда. В этом вздохе была ложь. Просто жизнь, хорошая ли, не очень хорошая, плохая, скверная, не имело значения, жизнь — этим все сказано. Жизнь есть и жизни нет, промежуточного не существует. Все в мире относится туда или сюда, и, может, в этом в единственном скрыто не только вечное ее, Ольги Васильевны, страдание, но и надежда. Тогда она этого не понимала, теперь лишь догадывается, и то смутно.

Девочка почувствовала ложь фразы, сказанной «для кого-то, кто не мог слышать», и, посмотрев косо, произнесла: «Хорошенького понемножку».

Ольгу Васильевну это сразило. Не нашлась что ответить. Фаина, умнейшая женщина, старинная подруга, еще с детства, довоенных лет, сказала: «Она у тебя, конечно, эгоистка каких мало, тут уж вы с Сережкой постарались, а особенно бабка. Но дело не в этом. Она сейчас за тебя боится, вот и предупреждает: «Хорошенького понемножку»...» Фаина считала, что нужно срочно искать мужа: «Не будь душой, Сергея не вернешь, а себя погубишь. Имей в виду, у тебя времени в обрез: год, два, потом пиши пропало». Еще и двух месяцев не прошло, она звала в какую-то компанию, но Ольга Васильевна отказалась — какие там компании, когда от чужих людей тоска еще жутче, потом звала в Новгород на рождество, тоже отказалась, поехали с Иринкой в пансионат «Березки», но и там тоска, сбежала оттуда, Иринку оставила с молодежью, а Фаина не отвязывалась, упорная девка — сорока-трехлетняя девка, мужем брошенная, сын в армии, мать в богадельне, — звала на старый Новый год к знакомым архитекторам, милым, интеллигентным: не бойся, дура, никто на тебя не посягнет, просто отдохнешь, музыку послушаешь. Не могла ни к милым, ни к грубым, ни к интеллигентным, ни к каким.

Не почему-либо, не в силу каких-то принципов, а просто — нет охоты.

Тогда, после безжалостных слов дочери, Фаина, поколебавшись, тоже высказала некую правду, не слишком усладительную — наверное, полагала, что дает лекарство, горчайшее, но нужное: «А ты на самом деле считаешь, что жизнь у вас была хорошая?» Ольга Васильевна ответила: да. Что было отвечать? Не знаю? Вам видней? Долгие годы бок о бок с лучшей подругой, лучшей советчицей, лучшей завистницей, лучшим шпионом всех кратковременных счастья и бед, научили главному правилу в отношениях с этим существом: ставить себя на место Фаины и пытаться поглядеть оттуда. Фаина, разумеется, была глубоко несчастна. Рядом с нею Ольга Васильевна всегда ощущала себя бесстыдной, возмутительной богачкой. Происходил постоянный перелив избыточного добра, благоденствия, наглого женского довольства — так временами казалось Ольге Васильевне, она даже себя одергивала — из одного сосуда в другой. Впрочем, точнее говоря: ей казалось, что так кажется со стороны и в первую очередь так кажется бедной Фаинке.

Друг обнаружилось, что Фаина представляла себе все иначе. И теперь с помощью этих неожиданных и так упорно скрывавшихся представлений даже осмелилась ее, Ольгу Васильевну, ободрять. Да полно! Неужто их жизнь нельзя назвать хорошей? И х ж и з н ь, — это было цельное, живое, некий пульсирующий организм, который теперь исчез из мира. В нем было сердце, как в живом организме, были легкие, гениталии, органы чувств; он развивался, расцветал, болел, изна-

шивался, но умер не от старости и не от болезней, а оттого, что исчезла материя, дававшая ток его крови. Странное создание была и х ж и з н ь! Никто не мог понять, что это такое. Все только догадывались, улавливали какие-то формы в воздухе, фантазировали, неясно предполагали, что и х ж и з н ь выглядит так-то, состоит из того-то и этого. А они сами.. И они сами не могли бы ничего определить словами. То Ольга Васильевна думала совершенно искренне, что и х ж и з н ь хороша, то тяготилась ею, а временами — были такие часы, дни — ей казалось, что она ужасна.

Теперь не верилось, что такие мысли приходили в голову, что она иногда ненавидела и х ж и з н ь.

Но было, было! Хотя бы той зимой на Суцевской, когда он мучил ее рыжей Зикой, женой Васина. Кончилось унижением, почти забылось, память выдавила эти страдания и этот стыд из себя, но ведь было — давно, четырнадцать лет назад — и тоже принадлежит к и х ж и з н и. Ей казалось, что он равнодушен к Зике. То, что та с ним кокетничала и, наверное, не шутя стремилась его обольстить, было естественно: женщинам он нравился. Она это знала и страдала. Но знала она и то, что он ленив, тяжел на подъем, что к кокетливым, глупым женщинам равнодушен и женскому обществу предпочитает разговор с мужиками под водку и огурцы. Однажды, когда она выпытывала у него, мог бы он ей изменить, он со вздохом сказал: «Помнишь Хемингуэя: «Если б не надо было с ними разговаривать»...»

Зика была молодая, здоровенная, с длинными руками и ногами, могучими чреслами. Скульпторы с первого этажа просили ее позировать для тематических работ, всяких там дискоболок или колхозниц с корзинами на плечах, олицетворяющих изобилие. Зикина телесная мощь пугала Ольгу Васильевну: ей казалось, что для него этот тип притягателен и напоминает забытую Брунгильду. Лицо у Зики было ничего, круглое, свеженькое, всегда слегка улыбающееся, в белокурых кудряшках. Простоватое личико. Она что-то делала в детском издательстве как книжный график, марала акварелькой, вполне бездарно. А Васин был тщедаушен, некрасив, стар — Ольге Васильевне казалось тогда, что стар, — лет сорока с лишком. Вдвое старше Зики. Все началось с дружбы, взаимных приглашений, чаепитий, выпивок под магнитофон: тогда это увлечение вошло в моду, Васин купил громоздкий и тяжелый, как сундук с железом, магнитофон «Днепр», всех записывал, всем велел петь, болтать, читать стихи, и тут же наговоренную ерунду с восторгом слушали.

Васин много зарабатывал официальными портретами, которые делал с напарником Аркашей. Они размечали холст клетками и лепили фабричным способом, быстро и ловко. Иногда Зика помогала. Кроме того, Васин работал для себя, или, как он выражался, «на модистку», — писал этюды, очень недурные, Георгий Максимович считал его талантливым и беспутным, говорил, что «такими талантами Дорогомиловка вымощена». Васин был пьяница.

Он повторял стихи Саши Черного насчет дантистки для тела и модистки для души. «Теперь всю неделю, — говорил, — буду работать для дантистки». Или же: «Сегодня полдня провел с модисткой. Такая сладость, так хорошо!» Это значило — мчался куда-то с этюдником на электричке, где-то мерз, мок, писал, наслаждался. В общем, Валера Васин — жаль, умер еще не старым, до шестидесяти, пьянство его своротило, а Зика бросила — был художник истинный, жил как во сне, работал как во сне и просыпался только за мольбертом, когда делал настоящее и любимое. К гостям он был равнодушен, мог жить один, пить один, но Зика изнывала от скуки и тянула его в суету. Он Зику сильно любил и делал все, что она хотела.

А та была хитра, подлаживалась к Ольге Васильевне, льстила ей, лезла в подруги. «Хочешь, с девкой погуляю? Молока не надо? Иду в магазин...» И все попросту, по-товарищески. Однажды деньги в долг дала. Ольга Васильевна сперва поддавалась, а потом сообразила, что дело нечисто. Стала от Зикиных приглашений отлынивать и Сережу не пускать.

Сережа — в амбицию. Почему притесняют? Она не могла объяснить, а он не догадывался. Тут была мизерная ревность. Настолько мизерная и, по-видимому, на пустом месте, что говорить о чем-то было стыдно. Но она не могла побороть себя. «В чем дело? Почему ты не хочешь, чтоб я ходил в Валерию?» «Не хочу, и все». «Это диктат!» Он вспыхивал и бежал к Васину. Всю жизнь боялся, что из него хотят сделать подкаблучника. В то время он ушел из музея, еще нигде не устроился, был нервен, нетерпелив. Она пропала днями в школе, а он оставался дома, помогал матери Ольги Васильевны ухаживать за Иринкой, ходил на Минаевский рынок, приносил еду, притаскивал ведрами воду — воду набирали в кухне, в большом коридоре, ходить нужно было раза три в день.

От домашней колготни, от безделья, безденежья и, главное, от неизвестности куда и как дальше — из музея ушел наспех, не успев подготовить места, — он вечерами падал духом. Маялся, не знал, куда себя деть. Тут дылда и подстерегала его. Только непонятно: зачем он был ей нужен?

Теперь его нет, он никому не нужен.

Однажды Ольга Васильевна пришла в мастерскую к Васину и увидела, что Сережа сидит за столом, повязанный, как салфеткой в ресторане, грязноватым вафельным полотенцем, а Зика стрижет его. «Что сие значит?» — поинтересовалась Ольга Васильевна. В ответ ей был хохот. И Васин и кто-то из его приятелей так хохотали, что не могли вымолвить ни слова. Оказалось, он проиграл волосы в покер. Зика очень естественным, веселым тоном успокаивала: «Не волнуйся, Олечка, я сниму чуть-чуть, самую малость. Чисто символически. Ему будет даже лучше».

Ее поразило, что он сидел покорный, как овца.

Неизвестно, что там было между ними. Может, что-то и было. Может, и ничего, Ольга Васильевна перестала с Зикой здороваться. Та сделала врагом. Вся эта перемена — от близкой дружбы до лютой вражды — произошла с необыкновенной быстротой, за два или три месяца. Совершенно исчезло из памяти, как эта ссора развивалась, были ли какие-то разговоры с Зикой до той встречи в пустом коридоре. Весною Ольга Васильевна уже стала ее бояться. Зика смотрела исподлобья в упор, а когда случайно сталкивались на кухне или в коридоре, никогда не уступала дороги, всегда шла напрямик и еще норовила задеть. Кажется, Ольга Васильевна что-то сказала про нее очень меткое, женщины передали, и началась ненависть. Все подробности испарились, но вот что осталось: ее война с Сережей из-за этой несчастной испарившейся Зики, из-за пустого, химеры какой-то, но Ольге Васильевне тогда казалось, что от исхода этой войны зависит жизнь. Любит ли он ее настолько, что готов отказаться — если она умоляет — от мелкого удовольствия потрепаться за рюмкой в васинской мастерской? Как она страдала и как верила в свою правоту! Что может быть яснее, думала она: если любит, значит, откажется. Если не любит, значит, будет ходить. Безошибочная проверка. Но он почему-то яности тут не видел. Ему нужны были доказательства. Он требовал ордера на арест.

«В тысячу первый раз: почему? Может, ты дошла до такого безумия, что ревнуешь меня к Зике?» «Я просто прошу! — едва не плача говорила она. — Прощу, прошу, больше ничего! Я тебя умоляю на ко-

ленях!» И однажды вправду бухнулась на колени, он испугался и обещал сделать все, что она просит. Хорошо, больше туда не пойдет. Она очень любила его в те минуты, потому что вдруг открылось то, что она жаждала увидеть. Но прошло часа полтора — дело происходило на рассвете, не спали всю ночь,— и он опять за свое: «Нет, чистой воды сумасшествие, невозможно... Ты требуешь слепой веры, как отцы церкви... Верую, хотя это абсурдно...» И к ней после прилива радости приходили печальные мысли: слезами, бессонными ночами она выманила у него уступку в ничтожном деле. Подумаешь, перестанет ходить к Васину! А как дальше? Каждый раз рыдать, на колени? Могут быть просьбы куда серьезней. А он будет стоять, как скала.

И еще мучило сознание, что ссорятся так отчаянно, до слез из-за пустой девицы, которая не стоит и того, чтобы тратить на нее презрительный взгляд. Вот бы та ликовала, если б узнала, какие из-за нее страсти! Конечно, это было безумие. И Ольга Васильевна была глупа, не понимала важного, мучилась из-за чепухи..,

Он продолжал ходить к Васину. Теперь делал это из упрямства и из принципа. Они занимались еще вот чем: пытались друг друга воспитывать для будущей жизни. Были тяжелые дни. Ольга Васильевна рзалась уйти к матери, хотела с ним развестись, вот тогда она ненавидела и х ж и з н ь, которая лишь начиналась. И совсем не осталось в памяти, что же предшествовало встрече в коридоре, которой вся эта история завершилась. Может быть, она и наговорила что-то лишнее общим знакомым. Из тех сплетен, что ходили про Зику. Некоторые перестали у Васиных бывать. Все в доме уже знали, что между Зикой и Ольгой Васильевной вражда. Васин тоже перестал здороваться с Ольгой Васильевной, а заодно и с матерью Ольги Васильевны и с Георгием Максимовичем. А Георгий Максимович, как член закупочной комиссии, зарезал две картины Васина. И тот напился пьяный, подошел к двери и кричал всякие безобразия. Ольга Васильевна увидела на улице Зику с заплаканным лицом. Кажется, теперь уж было невероятно, чтобы он бегал к Васиным.

Шла большим коридором, а впереди из-за угла вывернулась Зика. Они были одни, Зика шла не сворачивая прямо на Ольгу Васильевну, и уставились друг в друга, зрачки в зрачки. Успела подумать: «Глаза сумасшедшей...» Та подошла вплотную, белыми губами задвигала: «Я все поняла, мелкая душонка, ты своего мужа погубишь, ну это черт с ним. А если меня и Валерия не оставишь в покое, я тебя уничтожу! Поняла?» И рукой громадную замахнулась.

Ольга Васильевна побежала по пустому коридору. Страх был как жар — охватил всю. Вспоминать немислимо...

А с Фаиной любили покупать горячие бублики в ларьке на углу улицы Чехова и Садовой. Там и до войны продавались горячие бублики. По шесть копеек. И осталось в крови, в зубах неизжитое детское наслаждение: уличная благодать, квадратное маленькое окошко, туда монетку, оттуда, из пахучей глубины, высунется добрая рука с мягким, живым, только что из утробы, воздушным, прожаренным бубликом. Потом гулять, жевать, жуировать жизнью: по Садовой вниз, к Самотеке, оттуда на Цветной бульвар, там суета, многолюдство, цирк, рынок, такси, цыганки, комиссионка, кинотеатр, что душе угодно. И ресторан «Нарва» рядом. Когда надо было утешиться, поговорить на свободе — а Фаина в те годы обреталась на Красногвардейской, в коммунальном муравейнике, в одной комнатке с матерью, сыном, мужем и еще с какой-то пыльной, лежалой родственницей, не разговоришься,— шли туда, на Цветной. В кино с горя, а то на рынок, наглядятся, натолкаются, ягод купят, грушу «бере», сладчайшую, или арбуз, или просто



семечек жареных по стакану, походят, походят по бульвару, пожалуются друг дружке — и легче жить.

Фаина сказала: сейчас же к районному прокурору. И одновременно к ней на работу, где она своими акварельками промышляет. У Фаины был друг, газетный работник, прямо с бульвара, из автомата, позвонили ему насчет статьи или скорей всего фельетона. Ольга Васильевна кипела страстным желанием отомстить. Хотелось упечь Зикю не меньше чем года на два за хулиганство.

Но когда поздним часом подходила к дому, не испытывала ничего, кроме головной боли и какой-то тяжелой разбитости во всем теле, будто после болезни. И решила никому не рассказывать. Стало жаль Сережу нестерпимо: что бы он испытал, если б рассказала! Так это и погибло в пустом коридоре. И мать не узнала.

Не вспоминать, не вспоминать! Но видеть Васиных, сталкиваться с этой женщиной в коридоре или в общей кухне Ольга Васильевна не могла. Впрочем, и та стала Ольгу Васильевну избегать — в глаза не смотрела и сторонилась. Вскоре переехали на Шаболовку. Свекровь осталась одна после смерти дочери, Сережа просил Ольгу Васильевну переехать, она согласилась с облегчением: там не было длинного нелепого коридора, в котором попахивало масляными красками и скипидаром, не было шумных сборищ по вечерам, не было споров о колорите, француззах, супрематизме, не было возбужденной толкотни по всем этажам в дни работы закупочных комиссий, не было общей ванной с цементным полом и объявлением на стене: «Мыть кисти над ванной категорически запрещено!» — не было кухни с четырьмя плитками и четырьмя столами, не было мамы, не было Георгия Максимовича, все еще мечтавшего кого-то удивить, если не мир, то просто соседей по этажу, и не было Васина и его жены Зики. Зато там была свекровь.

Фаина говорит: если бы жили не со свекровью...

Это неправда, ведь для него житье с матерью вовсе не было таким искусом, как для нее. Если бы причина была в старухе, скорее остановилось бы сердце у нее, а не у него. Но, конечно, ее присутствие и всегдашнее поучительство были добавком к чему-то главному. После сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута. Вот и он подпал под чары такой смуты. Это возникло незаметно после того, как Праскухин перетащил его в институт. В музее было тихо, безденежно и безнадежно, но зато невероятное спокойствие, а в институте началось: обещанья, надежды, проекты, страсти, группировки, опасности на каждом шагу, Праскухин против Демченко, Демченко против Кисловского, потом Гена Климук, потом затеялась вся эта история с переменной темы диссертации. Он метался, сначала то, потом другое, потом третье. То история московских улиц, а то охранка, а то и вовсе посторонняя наука. Его сгубили метания. Сначала увлекался, потом неизбежно остывал и рвался к чему-то новому. Вечно рвущийся куда-то неудачник. Боже мой, ну и что? Она никогда не попрекала его, не требовала чего-то неисполнимого. Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове у тети Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио. Никогда в жизни не говорила ему: вот тот уже там-то, а ты еще здесь. Не заставляла его надрываться, выбиваться из сил, чужие успехи ее не задевали.

Наоборот, говорила ему: не нужна нам твоя диссертация! Нам нужно твое здоровье. Оставайся младшим научным, только, ради бога, не мучайся, не гоношись, не тарань лбом стену, твой лоб для этого непригоден.

Скорее уж свекровь страдала оттого, что сын не процветает, как другие. Александра Прокофьевна очень не любила некоторых его товарищей школьных лет, которые кое-чего добились, и когда они приходили в гости, она была с ними холодна. Ей казалось, что ее сын замечательный и достоин лучшей участи. А Ольге Васильевне были чужды муки тщеславия. Ее мучило другое. Конечно, семь лет угроблено на музей, никакой отдачи, никаких накоплений, сам виноват: постоянно разжигали его пустые грезы. Но и они виноваты, все, все, кто был вокруг! Виноваты злодейски, жестоко: не могли остановить эти колеса, ввертывшиеся впустую...

Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девяносто лет. Были какие-то планы, делались изыскания в архивах, велись переговоры с издательством на тему «Москва в восемнадцатом году», и был некий Илья Владимирович, который что-то обещал и продвигал, но все кончилось ничем. После множества встреч, телефонных звонков, застолий и чаепитий Илья Владимирович обнаружил полнейшую никчемность. Александра Прокофьевна возмущалась: «Почему к тебе липнет всякая дрянь?» Он, по обыкновению, оправдывался и защищал прощелыг, которые его подводили: «Но ведь Илья Владимирович не хозяин издательства, он такой же клиент, как я!» Работа нескольких лет — за эти годы выросла и поступила в школу Иринка, произошла перемена квартиры, капитальный ремонт с настилкой паркета, и она, Ольга Васильевна, стала старшим научным сотрудником, а затем и заведующей лабораторией ВНИИС, — вся его долгая возня с «Москвой в восемнадцатом году» кончилась неудачей, книга не вышла. Правда, некоторые материалы оттуда он использовал для первого варианта диссертации, но ведь этот вариант отпал. Появилась новая тема: Февраль, царская охранка и прочее. И тут образовался тупик, какая-то непрошибаемая стена, и последовали прочие неприятности: ссора с Климуком, увлечение этим домом на набережной и все, что с ним было связано, предательство Климука...

Она знала все выражения его лица, знала его походку и то, как у него менялся голос, когда обрушивалась очередная неудача или же наплывала новая изумительная греза.

Конечно, когда познакомились, он был другим.

Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута, — пружинил, но не ломался. И это было бедой. Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим свое бедное сердце, он все же не хотел ломать то, что было внутри него, такое стальное, не видимое никому. А она все равно любила его, прощала ему и ничего от него не требовала.

Спустя две недели после похорон возник Безъязычный. Ольга Васильевна не была с ним знакома, но слышала фамилию от Сережи. Забыла, в какой связи. Кажется, он участвовал в разбирательстве Сережиного «дела», но Ольга Васильевна совершенно не помнила, какова была его позиция. Люди там разделились, по словам Сережи, на три категории: было несколько подлецов, были умеренные и были люди, которые вели себя безукоризненно. Ольга Васильевна нервничала оттого, что не знала, с кем был Безъязычный и как ей с ним разговаривать. Он пришел с пожилой женщиной по фамилии Сорокина.

— Вы меня извините, я вот зашла к вам в гастроном,— говорила Сорокина, улыбаясь виновато и искательно, и показывала зачем-то сумку с продуктами.

Секунды две она шарила глазами, определяя, куда сумку поставить, и не нашла ничего лучше, как поставить ее на ящик для обуви. Ольга Васильевна молча взяла сумку и перенесла ее на столик под телефоном.

— Какой ваш гастроном-то чудный! И «докторская» колбаса, и сырки глазированные, а у нас редко когда бывают. Хотя наш вот тоже считается диетический...

Произнося эту муру, женщина смотрела на Ольгу Васильевну с таким чувством и придала голосу такое выражение проникновенной сострадательности, будто ее похвала гастроному, рядом с которым посчастливилось жить, могла хоть на ничтожнейшую крупичку облегчить горе Ольги Васильевны. Заметив, что Ольга Васильевна не поддерживает разговора о гастрономе, Сорокина, вздыхая, сняла плащ, шляпку и затем некоторое время никак не высказывалась, а только вздыхала.

Прихода людей с Серезиной службы Ольга Васильевна ждала с тоской. Они не могли принести ничего, кроме боли. Все люди, хоть как-то, хоть немного знавшие Серезю, приносили боль. Но было ясно: надо выдержат, и чем скорее они придут и уйдут, тем лучше. Оба эти человека были из профкома и, как поняла Ольга Васильевна, выполняли какое-то общественное поручение. Похороны миновали, захоронение урны произошло, так что похоронная комиссия была распущена, а эти люди принадлежали к «бытовой комиссии» или к какой-нибудь еще в этом роде. Они пришли ненадолго. Творог мог подкиснуть, если разговор затянется, но Ольга Васильевна не предложила сунуть его в холодильник. Она не могла делать над собой никаких усилий. Безъязычный топтался на коврике перед дверью, оглядываясь, мычал невнятно, Ольга Васильевна не понимала, чего он хочет, потом вдруг решительно стал снимать ботинки и остался в носках. Ага, он не хочет грязнить пол, на улице мокро. Как будто Ольгу Васильевну могли сейчас забить полы.

Почему эти люди так ничего не понимают? Пришлось дать ему Серезины летние босоножки, стоявшие на виду возле дверей. Это было неприятно, и с его стороны бестактность: брат Серезины босоножки.

Свекровь что-то делала на кухне, куда Ольга Васильевна зашла, чтобы поставить на огонь чайник. Надо же было как-то их принимать. Александра Прокофьевна сказала, что не выйдет к ним.

— Видеть их никого не желаю,— сказала старуха.— Сначала травят, потом приходят выражать сочувствие. Не знаю, о чем можно с ними разговаривать.

Выходило, будто Ольга Васильевна может с ними разговаривать, потому что как бы занималась с ними одним делом: травила Серезю. Хотела пропустить мимо ушей, но не сдержалась:

— Эти люди не травили Серезю, не надо говорить лишнего. Они ни в чем не виноваты и пришли проявить обыкновенное, казенное внимание. Вообще Серезю никто не травил.

— Травили,— сказала Александра Прокофьевна и вышла из кухни.

Ольга Васильевна села на табуретку и минуту-другую сидела не двигаясь: сильно билось сердце. Серезю не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои цели. Это другое. Она слышала, как Александра Прокофьевна прошла в свою комнату и щелкнула замком. Было неловко перед чужими людьми. Впрочем, пускай! Не имело значения. Она поднялась,

пошла в большую комнату, неся что-то в вазочке. Двое из профкома сидели у стола в окаменевших позах, означавших глубокое уныние. Женщина при этом чуть заметно качала головой, глядя в одну точку в пол. Вероятно, ей представлялось, что такой позой и таким чуть заметным покачиванием головы должно выражаться истинное сочувствие. «Какая дура!» — подумала Ольга Васильевна. Безъязычный тотчас вскочил, стал говорить, что они пришли буквально на минуту, не нужно никаких хлопот, никакого чаю. Он был коротконожка, румяный, с крепким моложавым лицом, волосы подстрижены бобриком, совсем седые. Непонятно, какого возраста, наверное, лет пятидесяти. На нем был черный костюм, пиджак очень широкий и мятый, с несоразмерно большими плечами, подбитыми ватой. «Надел специально, чтоб прийти к вдове, — подумала равнодушно. — Черный. Из сундука».

— Вот несколько предметов, принадлежавших Сергею Афанасьевичу... — Он вынул из портфеля железную коробку из-под чешских сигарет, в которой что-то брэнчало, линейку, складной туристический нож, применявшийся, по-видимому, для открывания консервов и вытаскивания пробок в часы «сабантуйчиков», которые в отделе устраивались нередко, три затрепанные книжки, гребень с длинной ручкой, футбольный календарь за 1969 год, номер «Иностранной литературы» и какую-то старую записную книжку, телефонную, с загнутыми завитком страничками. Каждую вещь он доставал и выкладывал на стол с осторожностью, как будто это было стекло.

Ольга Васильевна остановившимся взором смотрела на всю эту мелкую, случайную чепуху, которую зачем-то принесли сюда, и думала: «Должно быть, больно глядеть на вещи мужа, который умер. Для чего же тогда это делают?» Ей хотелось взять все это и выбросить. Она собрала вещи и перенесла их на подоконник, чтобы не видеть.

Безъязычный протянул конверт, говоря что-то. Она поблагодарила и стала разливать чай. Какие-то деньги от профкома. Безъязычный, отпивая неслышными глотками чай, говорил о том, что все в отделе горюют и как недостает Сережи, потому что его многие любили. Эта фраза задела Ольгу Васильевну, и она как бы очнулась. Почему он сказал м н о г и е л ю б и л и? По правилам этой игры он должен был сказать «его все любили», или же «его у нас любили», или, на худой конец, просто «его любили». Но он сказал м н о г и е л ю б и л и, что означало, что находились — и находятся теперь, когда его уже нет, — какие-то н е м н о г и е, которые его не любили и все еще не любят. Разумеется, такие есть. Ольга Васильевна несколько не сомневалась в существовании н е м н о г и х, но намекать на них вдове в первые же минуты визита было как-то странно.

Она посмотрела внимательно на Безъязычного, стараясь еще раз припомнить, что говорил о нем Сережа. Ничего не вспоминалось.

— Вы говорите так, будто Сергей Афанасьевич до последнего дня работал в институте, находясь со всеми в мире и согласии. Будто не подавал заявления об уходе, — сказала Ольга Васильевна. — Практически он считал себя уволенным.

— Но это неверно! Вы глубоко заблуждаетесь! — Безъязычный прикладывал руку к груди. — Я знаю про заявление. Но, во-первых, вопрос оставался открытым до того, так сказать, до трагического дня.. Директор был в отпуске. А Геннадий Витальевич этот вопрос решать категорически не хотел.

— Геннадий Витальевич не хотел? Про Геннадия Витальевича можете мне не рассказывать. Он-то как раз хотел больше всех, но только — чтоб чужими руками.

— Я уверяю вас: вы заблуждаетесь!

— Нет, не заблуждаюсь.

Этот человек неспроста сказал: многие любили. Он проговорился. Теперь ясно, что это был враг Сережи или, может быть, сочувствовал его врагам. Неужели дошли до такой низости, что посылали сюда с деликатным поручением Сережиного врага?

— Сергей Афанасьевич работал вот как раз в нашем секторе, — дрожащим голосом заговорила женщина и, сняв очки, уткнув мясистый подбородок в грудь стала протирать очки платком. Лицо ее приняло совсем плачущее выражение, голос звучал едва слышно. — Революции вот и гражданской войны... Мы с ним работали шесть лет вместе... Он был прекрасный человек, очень вот добрый, отзывчивый... хороший человек...

Мясистый подбородок дрожал. Ольга Васильевна смотрела на женщину холодно.

— Интересно, как вы оба голосовали при разборе этого пресловутого Сережиного дела? — спросила она.

Женщина вздрогнула, глаза ее расширились и проделали мгновенное вращательное движение. Разумеется, Ольга Васильевна спросила грубо и, наверное, поставила гостей в неловкое положение, но ведь они тоже: сидят тут, пьют чай, разговаривают о Сереже...

— Я не голосовал вовсе по причине моего отсутствия в столице. Я был в Польше в командировке, — сказал Безъязычный и махнул презрительно рукой. — Да ну, знаете ли...

Жест и тон означали: стоит ли вспоминать об этой чепухе? Сорокина сказала:

— А я, кстати, голосовала за то, чтобы вот на вид... — Она покраснела. — Это было единственное, это было вот самое в тех условиях...

Тут вошла, вернее бесцеремонно влетела по своей привычке, Иринка и попросила полтора рубля поскорее, пока не закрылся универмаг. Выпав из это, она заметила гостей и сказала:

— Здравствуйте!

Ольга Васильевна представила дочь, та очень приветливо, обаятельно улыбнулась, как она умела улыбаться, когда нужно было выклянчить деньги.

Ольга Васильевна рылась в сумочке, собирая серебро и медь.

— Ой, что я вижу? — обрадованно крикнула Иринка, бросившись к подоконнику. — А я его искала, искала! Откуда он здесь?

Она схватила гребень с длинной ручкой.

— Это принесли с папиной работы. Вот тебе полтора рубля.

— А... — Поколебавшись, Иринка положила гребень назад на подоконник, потом спросила: — Мам, можно, я его возьму? Ведь ты мне купила, помнишь?

— Возьми, — сказала Ольга Васильевна.

Иринка убежала. Видимо, кто-то ждал в прихожей, зашептались, хлопнула дверь. Гости сидели. Говорить было не о чем. Казалось, сейчас встанут и пойдут, но Безъязычный завел разговор о незаконченной Сережиной диссертации. Будто бы есть мнение ученого совета — решения пока нет, но раздаются голоса, — чтобы работу завершить силами института и издать в виде монографии. Выделить специальных людей. Работа плановая, весь отдел заинтересован. Придется подобрать неиспользованные материалы, найти то, что осталось у Сергея Афанасьевича в папках, на рабочем столе. Все рассчитывают на помощь Ольги Васильевны. Она почувствовала, как в ней закипает раздражение.

— Я займусь этим, когда будут силы и время, — сказала она. — Сейчас ничего искать не стану.

— Конечно, конечно! Разумеется, Всеволод Борисович... — залопотала Сорокина. — Когда Ольга Васильевна сможет...

— Это абсолютно в интересах Ольги Васильевны,— сказал Безъязычный.

В коридоре Безъязычный неожиданно сказал своей спутнице, подав ей пальто:

— Полина Романовна, извините, я не смогу вас проводить. Мне надо Ольге Васильевне два слова...

Вернулись в комнату. Ольга Васильевна не хотела вести разговор в коридоре, под дверью комнаты свекрови. Почувствовала, что предстоит неприятное. Безъязычный сказал, что ему неловко говорить, но выхода нет, потому что дело общественное. Он председатель правления кассы взаимопомощи. Сергей Афанасьевич взял сто шестьдесят рублей с обязательством вернуть в течение полугода, но прошло почти два года, деньги не возвращены, и теперь возникла сложность: касса пуста, есть заявления с просьбой о небольших ссудах, удовлетворить невозможно. Есть правление, есть решение, есть суждение всех без исключения, есть мнение, есть изумление... Так вот: каково положение?

Ольга Васильевна слушала ошеломленно. Слова долетали сквозь плотный воздух.

— Таких денег у меня нет,— сказала она.

— Собственно говоря, тут дело обстоит таким образом... Понимаете, мы не имеем права... Если только общее собрание всех пайщиков, но захотите ли вы...— Безъязычный бормотал, дергаясь румяным тугим лицом, как бы неслышно и нарочно чихая, что означало, по-видимому, сильную степень смущения.— Поверьте, мне неприятно... Но я выполняю...

Ольга Васильевна сказала, что на Сережиной книжке лежит сто рублей. Но эти деньги она сможет получить не скоро, когда вступит в права наследства. Что касается ста шестидесяти рублей, взятых в кассе взаимопомощи, то она слышит о них впервые.

— Когда он брал эти деньги?

Безъязычный достал из кармана блокнот, полистал его, нашел: деньги были выданы 5 марта семьдесят первого года. Откуда все это свалилось? Зачем ему понадобились такие деньги? Женщина. Это сразу пришло в голову, бросило в жар, она очень спокойно сказала:

— Я действительно впервые слышу. Обычно он делился со мною всеми тратами, долгами...— Это была неполная правда, но все же в общих чертах — правда.

— Тогда мне еще более неприятно. Извините меня.

После паузы сказал:

— Я постараюсь сделать все, чтобы убедить членов правления, учитывая обстоятельства... Вам придется, может быть, сочинить бумагу... Что смогу, я сделаю! — Он прикладывал руки к груди и наклонял голову.— Большинство товарищей хорошо относились, так что я надеюсь... Я поговорю кое с кем предварительно...

В таком духе он продолжал бормотать, прижимая руку к груди и кланяясь, пока двигался из комнаты в коридор. Кажется, было сказано все. На сей раз конец. Зачем же дали деньги в конверте, если сами требуют от нее? Все было смутно. Ольга Васильевна смотрела на коротенького, седого, в черном и мятом старомодном, пятидесятых годов, костюмчике и что-то говорила, не слыша себя. На прощанье он сказал:

— Так вам позвонят насчет монографии. Вы уж там поинщите, соберитесь. Ту папку, про которую я говорил, с розовыми шнурочками.

Раньше, когда возникали внезапные неприятности и она не знала, как поступить, всегда советовалась с Сережей. Обыкновенно вечером, перед сном, когда Иринка уже спала, а свекровь забивалась к себе в комнату. В своих делах он ничего не мог добиться, но ей советовал толково. Легко умел успокаивать, когда ее обижали. А теперь — к кому?

Свекровь знать не должна, потому что ничего, кроме злорадства, не испытает. Усмотрит в этом подтверждение своей веры в то, что они не были близки и он жил отдельной жизнью. Ольга Васильевна ощущала томящее чувство, которое не было ревностью, а было чем-то совсем другим, иного качества: как бы перегоревшей ревностью. Ей как бы вручили урну с этим странным прахом. Ревности уже не было на земле, но ее останки она держала в руках, прижимая к груди.

Почему-то была убеждена в том, что тут замешана женщина. Прах, прах, ничего, кроме праха. Но руки ее дрожали. На ее собственной сберкнижке лежало двести восемьдесят рублей, накопленные Сережей и ею для целевой траты: покупки телевизора. Снимать оттуда деньги для покрытия сомнительного долга глупо. Сережа говорил:

— Старуха, не суетись.

Это была его фразочка, которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню. Хороши эти господа: месяца не прошло, бегут к вдове с векселем! Но одно она знала твердо: они были близки по-настоящему. Ближе людей у него не было. Пусть свекровь замолчит. Последние годы он с матерью не делился, скрывал от нее разные свои неприятности. Говорил:

— Есть вещи, которые не могу ей объяснить.

Она многого не понимала, и это непонимание его злило. А между ними такого непонимания не было. Она понимала все досконально, до малейшего вздоха. И даже если кто-то был у него, это не имело значения.

Так она убеждала себя, стараясь оставаться невозмутимой и спокойной, но спокойствия не было. И помочь ей не мог никто. Фаине рассказать нельзя, потому что лучшая подруга поймет по-своему. И тоже, наверное, втайне обрадуется, ибо тут соответствие ее цели, в которой сама признавалась: вывести Ольгу Васильевну из оцепенения. Для этого требовалось слегка наклепать на Сережу. Но она не верила, не хотела верить! Тут была какая-то тайна. От всего этого разболелась голова, Ольга Васильевна оделась, взяла сумку и вышла на улицу.

Сеялся слабый дождь. В гастроном забежали последние посетители: было минут двадцать до закрытия. Ольга Васильевна зашла купить масло, кефир, что-нибудь к чаю для Иринки. Уборщица шаркала шваброй, отгоняя посетителей от прилавка и ворча злобно. Ольга Васильевна постояла в небольшой очереди в кассу, потом подошла к молочному прилавку, думая о том, что людей вокруг много, знакомых много, есть подруги, но нет близкого человека и это значит — нет никого. Худшее, что предстоит в жизни, подумала она, это одиночество. Смерть и несчастья — только прелюдия к худшему. Как жить, если не с кем посоветоваться, некому сказать? У людей, стоявших с чеками, был какой-то суетный и случайный вид. Будто забежали сюда по ошибке. Вечерние посетители, озабоченные далекими отсюда мыслями. На самом деле: опаздывали домой, в этот час обыкновенно они сидели у телевизоров в домашних тувлях, или занимались мелкою стиркой в ванной, или гладили школьную форму на кухне, постелив на стол старое, в желтых пятнах от утюга байковое одеяльце, все это им еще предстояло, но они не торопились. Продавщицы двигались медленно. На их лицах, как тяжелый грим, лежала дневная усталость.

Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась: Иринка! Дочь стояла возле высокого столика, где пьют кофе и едят пирожки, но теперь было поздно для кофе, буфет закрыт, она стояла с двумя подружками, и все трое болтали и жевали что-то. Длинные худые ноги Иринки в темных чулках, ее куцеватое пальтишко, из которого она выросла, надо менять — каждый раз при взгляде на это пальтишко Ольга Васильевна испытывала какое-то душевное

ущемление, мгновенный укол, но не заводила речи о покупке, Иринка тоже молчала: осень уж как-нибудь доходит, а на зиму есть неплохая шубка,— вся сутулая, долговязая фигура дочери с распущенными по нынешней моде волосами вызвали у Ольги Васильевны судорожный прилив нежности. Было так сильно, что она чуть не побежала к ней. «Моя сирота,— подумала она чуть не со слезами.— Она еще не понимает, что это. Но я знаю!»

Ольга Васильевна сделала несколько шагов к девочкам, думая о том, что самая высокая среди них, самая бедно одетая, самая красивая и добрая — это и есть близкий человек. С нею говорить обо всем. Теперь ближе этой девочки нет. Она подошла к столику, одна из девочек — любимая Иринкина подруга Даша, восточная красоточка, всегда чересчур бледная, с подкрашенными длинными глазами,— заметив Ольгу Васильевну, перестала щебетать и улыбаться и глядела испуганно.

— Вот они где прожигают жизни! — сказала Ольга Васильевна.— Интересно, что вы тут обсуждаете?

— А мы, Ольга Васильевна, обсуждаем завтрашний урок по обществоведению, где будет очень интересный разговор на тему личность и общество. Вот думаем, как получше подготовиться.— Выражение испуга на хорошеньком личике Даши сменилось выражением победоносной иронии.

Другая девочка прыснула, Иринка смотрела на Дашу исподлобья, но с тайным восторгом: исподлобный взгляд относился к появлению матери, а восторг адресовался, разумеется, Даше. Бедная Иринка была в эту стеровочку влюблена. Ольге Васильевне Даша не нравилась, она считала ее неискренней, манерной и, что хуже всего, преждевременно взрослой. По некоторым Иринкиным обмолвкам она поняла, что у Даши какая-то сложная личная жизнь, есть человек гораздо старше нее, которого она называет другом. Неизвестно, как далеко эта дружба зашла, Ольга Васильевна пыталась осторожно выведать, но Иринка не поддавалась. Не хотелось верить во что-то серьезное, ведь девочкам нет еще семнадцати, и она сама, Ольга Васильевна, в их годы не думала ни о чем, кроме учебы. Десятый класс, такая ответственность!

— А деньги, между прочим, были даны на универмаг,— сказала Ольга Васильевна. Наглость Даши задела. Эта дурочка с нее глаз не сводит.— А ты, я вижу, транжиришь на пирожные и сигареты. Девчонки, ну зачем вы курите?

Они что-то залопотали хором, совершенно невнятное, шутовское и понарошке. Кажется, тоже в ироническом стиле. Ольга Васильевна почувствовала, что ее присутствие тяготит. Иринка, глупо смущенная, даже не смотрела на нее, зато ловила каждое слово подружек и неестественно громко хохотала. Вторая девочка, Лена Кукшина, была вялая, анемичная толстуха из очень обеспеченной семьи, на ней было пальто из замши, на пухлом пальчике кольцо с камнем — безобразие, раньше ни одна девчонка в школе не посмела бы надеть кольцо! — рядом с нею на столике лежал складной японский зонтик, очень изысканный, Ольга Васильевна видела такой у приятельницы, и вообще от Кукшиной пахло, как иногда пахнет от человека дешевыми парикмахерскими духами, благополучием и богатством. Ольга Васильевна этот запах выносила с трудом. Но Иринка говорила, что Кукшина добрая. Правда, Иринке не нравилось, что Кукшина подхалимничает перед Дашей. А уж эта Даша у них — прямо царица некоронованная, великий авторитет, этакая пигалица. Ольга Васильевна сказала строго:

— Ира, пойдем домой, будем ужинать.— И взяла ее руку выше



локтя. Не потому, что собиралась потянуть ее от столика, а просто хотелось до нее дотронуться. — Пора, девочка, пойдем.

— Мама, я пойду домой, когда захочу, — отчеканила Иринка с внезапной враждебностью.

— Что значит: когда захочешь?

— То и значит: когда захочу, тогда пойду.

— Нет, ты пойдешь сейчас со мной.

— Нет, не пойду.

Ольга Васильевна почувствовала, как хлынула изнутри какая-то слабая ярость.

— Да как ты можешь... со мной... сейчас... — заговорила, задыхаясь.

— А как ты можешь? У меня тоже неприятности. Мне надо поговорить с друзьями.

— У тебя тоже! — крикнула Ольга Васильевна. — Эх ты...

Она повернулась и пошла из магазина. Кто-то догонял, схватил сзади за руку.

— Ольга Васильевна! Пойдите!

Даша. Опять выражение испуга в карих прелестных глазах.

— У Ирки правда неудача с одним мальчиком — да вы знаете, с Борей, — и нужно поговорить совсем немножко, минут десять. Сейчас все равно выгонят, мы по бульварчику погуляем.

— Она просто дрянь, — сказала Ольга Васильевна.

Когда поднималась лифтом на восьмой этаж, подумала: вот истина. Одна в закрытой коробке. Можно читать надписи, нацарапанные гвоздями. Но некому сказать, какая боль в сердце. Никто не услышит. В одиночестве человек ползет в шахте все выше и выше или все ниже и ниже, это безразлично, смотря что считать верхом, что низом. «Никто не услышит!» — произнесла она вслух. «Алло? Говорите громче!» — рявкнул над ухом гулкий и страшный голос. Она вздрогнула: диспетчер из третьего корпуса. Обычно не докличешься, а тут — услышали. Значит, надо говорить, надо кричать, даже если голые стены. Кто-нибудь услышит.

Иринка пришла не через десять минут, а спустя час. Ольга Васильевна уже простила ее, и когда, отворив дверь, увидела ее с поникшей головой, шмыгающую носом — конечно, прозябла в тонком пальтишке, целый час на бульваре, — увидела детское виноватое выражение ее лица, опять охватило волною тепла и жалости. «Бессовестная я! Зачем рычала на нее? — пронеслось в сознании, помутившемся от жалости. — Ведь она сирота, нет отца, нет защитника. Если не я, то кто же...»

Ничего не сказала, провела рукою по волосам дочери. Та вдруг рванулась, обняла мать, ткнулась холодноносой, щенячьей мордочкой в щеку, в ухо, шепча что-то жалобное, и Ольга Васильевна тоже шептала, они друг друга не слышали, все произошло в течение двух секунд. И обе вдруг ослабели, обнявшись, и, едва сдерживая слезы, пошли на кухню, чтобы побыть одним, совсем одним, без бабки, потому что ближе их людей не было. Двое самых близких на свете. Там долго сидели, пили чай, Иринка рассказывала о Боре. Она была скрытной, делилась переживаниями редко, молча вела свою маленькую житейскую битву. Но это значило, что теперь силы ее оставили, она нуждалась в помощи. Боря перестал звонить, а в школе совсем не подходит. Она предполагала, что влияет одна девчонка, с которой он отдыхал на юге. Даша обещала выведать. Боря был мальчик из параллельного класса, некрасивый, Иринке он никогда особенно не нравился, но все было похоже на настоящее горе.

Ольга Васильевна шептала какой-то ласковый вздор. Иринка ус-

покоилась и ушла в ванную мыть голову. Ольга Васильевна стала убирать со стола, грязные тарелки сложила в мойку, горячая вода в этот поздний час шла плохо и была недостаточно горячей, а нагревать воду в чайнике не хотелось. Решила: все завтра, завтра, встать часов в семь. И тут позвонила та женщина, что приходила с Безъязычным.

— Извините, что так поздно. Пока доехала до своей деревни, до Кузьминок, пока вот дела, то, другое... А звоню вот зачем, Ольга Васильевна. Всеволод Борисович вас, наверное, кассой взаимопомощи пугал, долгом Сергея Афанасьевича, а вы не пугайтесь — долг будет списан. Это, можно сказать, уже решено. Понимаете? И вы, пожалуйста, ни одной папочки, ни одного листочка не отдавайте. То, что я вам сейчас звоню, это, конечно, к моей невыгоде, но просто я уж очень Сергея Афанасьевича уважала. Извините, милая Ольга Васильевна, что беспокоила вас на ночь глядя. Будьте!

Этот странный разговор, это «будьте!» озадачили Ольгу Васильевну, но не настолько, чтобы придать ее мыслям другое течение. Ночью она могла думать только о прошлом, но не о будущем.

Давно надо было взяться. Но не хватало духу. Все его папки, блокноты, тетради толстые и тонкие, вырезки из газет, аляповато расклеенные по альбомам, выданные из журналов страницы, кипы исписанной бумаги, рассованные по разным местам — часть находилась в ящиках стола, часть на нижних полках в шкафах, какие-то папки пылились на самом верху шкафов, под потолком, куда месяцами не достигала тряпка, и Ольга Васильевна сердилась и во время каждой уборки требовала, чтобы он куда-нибудь пристроил «свой хлам», лучше всего в мусорный бак, именно «хлам», потому что, будь это ценное, он не держал бы на верхотуре, в пыли, а еще какие-то бумаги в дни ремонта попали на антресоли, — все это еще было его плотью, несло в себе его запахи, эманацию его существа, поэтому притрагиваться было страшно. Она знала, что рано или поздно это пройдет, но пока она не могла. И так же не могла видеть и трогать его вещи в гардеробе. Фаина сказала, что надо продать. Говорила, что так делают все вдовы, чтобы не травить душу. Обещала найти покупателя. Жена Феи Праскухина Луиза, овдовевшая восемь лет назад, сказала, что продала Феины вещи тотчас, единым духом, но Ольга Васильевна никак не могла решиться.

Да и времени не было на такие дела. Луиза не работала — это сейчас, кажется, пошла работать страховым агентом, — а то сидела дома с детьми. У нее и нянька была и бабушка, ее мать. Сидеть дома — с ума сойти.

И еще непереносимое: фотографии. На стене висела одна очень хорошая, юных лет, он улыбался мягко и задумчиво, с травинкой во рту, Ольга Васильевна любила эту фотографию, повесила ее давно, при Сережиной жизни, и привыкла к ней. Но даже на нее Ольга Васильевна, когда входила в комнату, старалась не смотреть или — как-то бегло, секундно. Про альбом говорить нечего. Спрятала его подальше. Всякое прикосновение — боль. А жизнь состоит из прикосновений, потому что — тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей — бесчисленно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним. Разве хватит жизни? Вчера ездила по делам на Ново-Басманную, вышла из метро «Лермонтовская» и сразу — укол в сердце, вспомнила, как зимою в сильный мороз бежали отсюда по Садовой вниз в гости к кому-то. Седьмой месяц, но легче

не делается. Люди говорят, что должно пройти пять лет, но Луиза сказала: что-то непохоже, она бы почувствовала, ведь у нее прошло уже больше.

Видела Луизу недавно на улице, случайно. Так обрадовались друг другу, так много хотелось сказать, спросить: ну как ты? что ты чувствуешь? что происходит с тобой? Стало ли... вот хоть на столько, хоть на крупницу?

Луиза смотрела серыми, вымершими глазами:

— Я не знаю, чем измерять. Нет инструмента...

Ольга Васильевна еще хотела спросить: «Есть у тебя кто-нибудь?» — но не осмелилась. В этой битве все сражаются в одиночку. Выглядела Луиза хорошо в своей старой дубленке, но уже чищенной, отчего коричневый цвет посветлел и приобрел пошлый розоватый оттенок. Ольга Васильевна спросила: как дети?

— Очень хорошо, — ответила Луиза. На все вопросы она отвечала: «Очень хорошо».

Восемь лет назад в сентябре ранним утром — Иринка еще не ушла в школу — трезвонили в дверь. Ольга Васильевна поразилась, увидев Гену Климука — тогда еще Гену, старого приятеля, — который обязан был в этот час делать утреннюю гимнастику на каменистом кокетбельском пляже перед завтраком. Лицо Климука было в багровых пятнах. Не здороваясь он спросил: «Где Сергей?» — шагнул в прихожую и привалился плечом к стене. Сережа вышел из ванной, намыленный для бритья.

— Сережа, ты должен ей все рассказать... Я не могу... У меня нет, нет... — И этот гигантский мальчик со старообразным круглым лицом качнулся, ноги его согнулись, и он легко сполз по стене на пол. Он не упал, а как-то вдруг оказался на корточках и сидел так секунды две или три, тяжело дыша.

Два дня назад Климук и Федя поехали вдвоем на юг на неделю. Федя только что купил нового «Москвича». Они иногда устраивали холостяцкие побеги, или, как Климук любил выражаться в старославянском стиле, «убеги», заманивали и Сережу, но она делала все возможное, чтобы его от этих вылазок отклонять. Не то чтобы ревновала к мужской дружбе, не то чтобы беспокоилась о его нравственности в компании старых приятелей, еще не утративших навыков студенческой вольницы — когда собирались втроем, эти навыки как бы гальванизировались, они начинали чудить, хорохориться и бог знает о чем мечтать, — и не то чтобы заботилась о его здоровье: ведь там, где Климук, там выпивка. Она просто не любила, когда он исчезал из поля ее зрения. Он должен быть всегда рядом, поблизости, лучше всего в одной комнате с нею. Это было, наверно, большой неправильностью в ее жизни, но переделать себя она не могла, да и не пыталась.

Всегда противодействовала Климуку, Феде и кому бы то ни было в их кознях отнять у нее Сережу! Иногда ловко находила причины, удачно присочиняла — например, ссылалась на недомогание, требовавшее его неотлучного присутствия, — а иногда грубо и прямолинейно взывала к его совести, великодушию. Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной морочки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, может быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко. Этот редкий случай был в сентябре. В институте заканчивался ремонт, занятия прекратились, все торчали по домам,

и Федя с Климуком замыслили проветриться недельку у моря и побивали Сережу. Была такая неразбериха, что никто бы не хватился. Кому хвататься? Федя Праскухин сам хозяин, ученый секретарь.

Сережа очень хотел поехать. А ей чутье подсказывало: не пускай ни за что! Ах, никакого чутья, просто обидно было, что покатит на юг один, станет там веселиться, хорохориться и пить, конечно. Она ссылалась на отсутствие денег, на то, что у него ничего не движается — ни диссертация, ни книга с тем жуликом, Ильей Владимировичем, — и что хорошо прожигать жизнь Феде Праскухину и Гене Климuku, у них прочное положение, а куда он-то, как рак с клешней?

— Тридцать рублей, которые я тебе могу дать на дорогу, — говорила она, — сделают тебя прихлебателем. Тебя это не пугает?

Он сказал: не пугает. Сказал, что у них здоровые мужские отношения, не то что жалкая дамская дружба, когда считаются друг с дружкой копейками. Он даже позволил себе этак высокомерно:

— Ты этого не поймешь!

Бедный, как он ошибался. Ольга Васильевна сказала, что если он поедет с ними, тогда — развод. Кто-то звонил, то ли Луиза, то ли эта дурочка Мара Климук, по наущению мужиков, уговаривали ее смягчиться и разрешить. Но она была непреклонна. Если уедет — развод. Пожалуйста, уезжай, тебя не держат, но когда вернешься, ее здесь не будет: она переедет на Сушевскую. Неужели было подсказано провидческим голосом из тех неземных пространств, куда Сережа углубился потом и где ждала его гибель? Сережа рассвирепел, не разговаривал с нею несколько дней, но поехать все же не осмелился. На рассвете на Симферопольском шоссе южнее Харькова старик переходил дорогу, не слышал сигналов, а Федя не мог погасить скорость и выскочил на левую сторону, где его ударил «МАЗ». Федя умер в сельской больнице, не приходя в сознание, а Климук отделался ссадинами. Он как-то уперся руками в стенки кабины — руки у него сильные — и, хотя машина два раза перевернулась, остался цел.

Теперь он едва шевелил белыми губами:

— Тело везут автобусом... Я дал сто двадцать рублей...

Он умолял Сережу пойти к Луизе. Сережа пошел. Он умел быть другом. Поэтому его мн о г и е л ю б и л и, и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его уменье.

Ночью она не выдержала — этого ни в коем случае не следовало говорить, но ее распирало — и сказала ему тихо на ухо:

— Сережа, ведь я тебя спасла... Ты видишь, какая я пророчица?

Он, ни слова не говоря, отодвинул ее и повернулся к стене.

И она сразу почувствовала, что сказала нехорошее. Но уж очень сильно ее распирало: и страх, и жалость к Феде, которого она любила, и какое-то странное, непобедимое внутри себя чувство тайного самодовольства. Наверное, думала она, похожее испытывали люди на войне, когда рядом убивали товарищей, а они почему-то оставались живы и невредимы. Говорить не нужно было. Как раз та минута, когда мысль изреченная неминуемо оказывалась ложью.

Он, помолчав, сказал:

— Я все-таки надеялся, что ты прикусишь язык... Нет, сказала...

Конечно, не следовало говорить. Но и ему не следовало быть с нею таким злым. Ведь и в самом деле: спасла жизнь. Он говорил о Феде, о том, что другого такого товарища в его жизни не будет. Верно, они были приятели, учились все трое на одном курсе — когда-то, страшно давно, — Сережа, Федя и Гена Климук. Ну и что? Ее удивляла эта наивная привязанность к старым друзьям, то ли школьным, то ли институтским. Старался не замечать их недостатков, не видеть их смешного, неприятного. «Парень из нашей школы» или «парень с нашего кур-

са» — для него это звучало высшей аттестацией, включало в себя все добродетели. Дружба не по выбору, а по воле обстоятельств: с кем оказался за партой, с тем и дружу. Впрочем, у всех мужчин эта странность. Не могут жить без старых дружков. А Ольга Васильевна отлично обходилась без подруг и, когда был Сережа, могла месяцами не видеть ни Файнку, никого. Ей нужен был он — один. Ну, и с Луизой, с Марой виделась по необходимости, потому что мужики очень любили «обща»: «Давайте обща!», «Что-то мы давно не обща!»

Теперь их объединяли одни интересы: институт и все, что там творилось. Гена Климук шутил, подмигивал:

— Давайте сколотим свою группку, свою кликочку, свою маленькую, уютную бандочку!

А Федя не болтал, он делал. Он помогал по-настоящему: втащил Сережу в институт, всячески продвигал, добился повышения оклада, переубедил пучеглазого Ивана Евдокимовича Демченко, директора, насчет перемены темы диссертации и умаслил Сережиного руководителя, профессора Вяткина, который был вовсе не рад этой перемене. Все было нелегко. Но Федя сделал. Если бы Федя был жив и оставался ученым секретарем, он, конечно, никогда бы не допустил всей этой пакости, что повалилась на Сережу год назад по вине старого друга Климука и его «маленькой бандочки».

Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно.

С его приходом на должность что-то неуловимо нарушилось. Она долго не замечала. Когда Гена звонил, он был так же бодро-шутливо приветлив с нею, как раньше, иногда и Мара звонила, делилась с Ольгой Васильевной новостями по части трикотажа и косметики — она работала в золотом месте, на Петровке, рядом с Пассажем, — но прошло несколько месяцев, прежде чем Ольга Васильевна сообразила, что она совсем не видит ни Гену, ни Мару, общение ограничивалось звонками. Давно не раздавался радостный Генкин клич: «Будем обща!» Сообразивши, она отнесла этот факт на счет Фединой смерти. Все-таки чаще собирались у Феде. Кроме них троих, там бывали еще Федины друзья физик Щупаков с женой-болгаркой по имени Красина и чета врачей Лужских, она рентгенолог, он психиатр, из-за Лужских Ольга Васильевна, собственно, и ходила к Феде и Луизе, потому что медицина очень интересовала ее и она любила разговаривать с врачами.

Но Луиза после смерти Феде не собирала друзей, были у нее лишь однажды на поминках и потом еще раз в шестилетие Фединой гибели. Гена Климук и раньше-то не особенно звал к себе, вечно он что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы. Теперь, кажется, обосновался на Новом Арбате в небоскребе, где магазин «Мелодия».

Сережа как-то сказал посмеиваясь:

— А наш Гена действительно стал важной птицей. Даже бросается в глаза. Когда Федя был на этом месте, я почему-то не замечал...

Она спросила: что именно важное и птичье проявилось в Гене? Сережа похмыкивал, отмалчивался. Она знала, что рано или поздно не выдержит и расскажет. Так и вышло: через несколько дней «раскололся». В профкоме возникли туристские путевки во Францию, одна-надцать дней, шесть дней Париж, пять Марсель, Ницца и прочее, мечта жизни стоимостью в кругленькую сумму. Так как путевки было всего четыре, в профкоме решили не рекламировать, а распределить, что называется, втихаря. Сережа узнал случайно, и вовсе не от друга Гены, а от секретарши Ивана Евдокимовича, которая к Сереже благово-

лила. Желающих поехать было много. Сначала профком нацелился кинуть жребий, но затем тот же Климук проявил осмотрительность, сказав, что жребий внесет ажиотаж и опасную бесконтрольность, выдав путевки тем, кому вовсе не нужно ехать во Францию, и обойдя тех, кому это настоятельно нужно. Собственно, тут была разумная логика, как во всем, что отстаивал Климук. Но вот загвоздка: кто будет решать, кому нужно и кому не нужно? Сережа как-то прямо сказал Климуку, что Париж ему необходим не для прогулок и развлечений — тут была капля лицемерия, конечно, — а для того, чтобы порыскать там за материалами, нужными для работы. Всякий знает — и Климук знал прекрасно, — что, изучая русскую охранку, историк непременно сталкивается с Францией, с эмиграцией, русскими агентами. Можно было все это внятно объяснить, потому что Сережа был прав, имел полнейшее, законное основание претендовать на поездку, но Климук как-то кряхтел, переспрашивал, уточнял — хотя чего было кряхтеть, когда дело абсолютно правое? — и Сережа, потеряв терпение, сказал ему что-то грубое, по-свойски. Что-то вроде: «Брось занудствовать!» или «Брось пыжиться, Генка!»

Климук пожал плечами и холодновато ответил:

— Ты изложи свои доводы, треугольник будет решать. Пойми, вопрос этот не такой простой, как кажется.

Слово «пойми» было единственным прежним и человеческим во всем разговоре.

Сережа был подавлен, рассказывая про Климука.

Она решила, что Сережа, может быть, преувеличил, уязвлен мелочами, и в особенности главной мелочью: тем, что Климук разговаривал с ним как начальство. А что делать? С этим надо смиряться. Он начальство, ты подчиненный. С этим надо жить. Втайне от него, когда он ушел куда-то из дому, она позвонила Маре просто как приятельница. Почему не звоните, куда пропали, что у вас слышно и так далее. Она поняла, что надо действовать. Сережа был удручен, хотя ничего еще не случилось, а что же будет, когда на самом деле откажут? Ей хотелось, чтоб он поехал. «Убег» в Париж мог бы дать ему силы и стать поворотом. Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга, издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него полторы тысячи старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери.

И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятельским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось, Мара разговаривала таким же манерным и якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала некстати, была, в сущности, невыносима, но все это было не ново, и Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что ничто не изменилось и он напрасно ввал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и нетонкой организацией, чтобы реагировать чутко, следовало поговорить с Климуком, и Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости. На дачу, в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора, покупаться, позагорать, пошататься в лесу... А? Почему бы не собраться без долгих размышлений — хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена. Он ужасно

много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, просил передать привет и сказать, что как-нибудь придут непременно.

Сережа ворчал:

— Получается нелепо: я вижу его чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда — и зовешь...

Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала:

— Ты видел Климука? Они собираются к нам?

— Видел, но не спросил... Навязываться не хочу...

То, что было раньше естественно и легко, превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: Гена, когда вы к нам приедете? Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение в Васильково остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго.

— Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна.

— Ну, не знаю. Он так сказал.

В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива и на такси поехали в Васильково. Всю неделю там жили Иринка и свекровь одни, с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было ей тяжело: далеко от станции, рано вставать, электричкой почти час. И все же, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена долгим путем, толкотней в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз свертков, кульков, батонов, банок и книг, набитых в сетки и сумки, ни тащила, — сразу орошал ее прохладный лесной воздух, она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вздохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость и все ее существо полнится новой силой. Было так здорово! Откуда она бралась, эта сила, после изнурительного дня, дробившего без пощады, без роздыху? От неба, леса? Оттого, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки, или рассказывал, покуривая, о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо, Рыжик опять гонял курей у соседей...

У него были присутственные дни в институте, остальные дни — иногда три-четыре дня — он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники рассеивались, и когда миновал лесок, выходили к полю на васильковский большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу за увалом, казалась провалившейся, закатившейся как бы за край поля, кое-где торчали из провала крыши изб с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными горами серебрились ивы вдоль невидимой речки, мальчик в красной рубашке ехал тропью поперек поля на велосипеде, и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх.

До деревни было версты три, и еще в городе мечталось: лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, выпить чаю — и на боковую, в большую тети Пашину комнату с запахом свежего сена и чабреца, растыканных пучочками по углам для «духа», потому что никаких сил не было. А получалось каждый раз так: после чаю шли с Иринкою в рощу, в десять укладывали ее и потом еще долго гуляли вдвоем — если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и

возвращались скоро, но свекровь осмеливалась на этакое не часто, все же соображала, что мужу и жене надо побыть вдвоем, — а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда-то брались силы и не хотелось спать.

Но были, конечно, и дожди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма, Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсестрой Агнией...

Климук приехал на своей старой «Победе» и привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кисловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходящего из машины Кисловского, съезжился на секунду и сделал губами хорошо ей знакомую гримасу, означавшую «вот те на!». С Климуким была Мара в сногшибательном темно-зеленом брючном костюме — тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы, — в белых босножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратившаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в Маре с головы до ног было ново и неузнаваемо и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало: сидишь дома в фартуке, в затрапезном — и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этаких перьях... Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так и сочилась. Если бы она, бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима, но ей хотелось непременно высказываться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии. Нет, Мара не могла испортить Ольге Васильевне настроение.

Испортила другая. Та, что приехала с Кисловским. Имя ее теперь забылось. Эта молодая особа, какая-то развинченная, цыганистая смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она была вся в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню и говорило, конечно, о дурном вкусе.

Ольга Васильевна сразу же, улучив минуту, спросила у Мары тихонько: чем занимается же она Кисловского? На что Мара, как и предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как «я твоя бабушка».

Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долге товарищества, уже готовился поить их остатками французского коньяка и угощать печеньем, но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердой рукой все это пресекла и незваных спровадила. Климук был тогда очень зол. Но теперь чувствовал себя хозяином: ведь его так зывали! И кроме того, теперь он явился с Марой.

— Мы на одну минуту... Мы по дороге на водохранилище... Просто секунду передохнем... — говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит, стало быть, случаен, мимоездом и не следует принимать его всерьез.

Ольга Васильевна сбивалась с ног, Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибов соленых, гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом — тот мчался на мотоцикле, радостно исполощенный от предвкушения выпивки, — и только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на терраске, разгороженной куском холстины



надвое, своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсультация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольге Васильевне не верилось, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилось нипочем, но с Сережей она об этом не говорила.

Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду, Колька носил ведрами, бегал к колодцу — а вода в Василькове была в самом деле удивительная! Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала... В Ереване хуже, там они хвалятся, что у них какая-то особенно замечательная... Ах, что вспоминать! Томило что-то, раздражала та девица, что приехала с Кисловским, задевали ее поглядыванья на Сергея и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары, и беспокоило то, что не хватит еды, вина и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции, и как себя вести с этим Кисловским, прилизанным, каучуковым, похожим на циркового артиста — а все-таки было такое истинное, легче, молодое, неповторимое — ну, ну что же? — счастье, наверно... Тогда оно и было на деревенском дворике, где пахло землей, навозцем, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломилось с мыком и топом узкой улочкой — Матильда, умница, сама, треща воротами, завалилась в свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком: «А ну ее к богу в рай, шалапутку!» — потому что их «секунда» давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер, а они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уж опорожнились бутылки, и Колька на мотоцикле гонял к какой-то бабке Кренделихе на другой край деревни за самогоном.

Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась.

Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественном, сказала ему на ухо, что видела сейчас в горнице нечто мало-высокохудожественное.

— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.

— Ну, для такой любви есть определенные заведения, — сказала она, — а не изба тети Паши.

Тетя Паша, не поняв о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:

— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребята, всех тут раскурочу... — И трясла пальцем. — Все ваши тайности разберу... Коль, ты там этого, скажи...

Колька был бригадником, чем немало чванился, всем об этом общал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы носил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредством на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца, пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма, — но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.

Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят — да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы, — а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть недолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.

И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу — Кисловского едва выманили из горницы, — Александра Прокофьевна завела придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климук, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил драный, тощий и голодный из общежития («Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое») и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились незаметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчёркнуто говорила Климuku ты, называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.

— Что-то я позабыла, память стала изменять, — говорила она. — Кстати, странно, памятью я всегда гордилась, с гимназических лет... В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла... Какое-то дело, связанное с хищением...

— Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна, догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору.

— Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете Марковне в городскую коллегию, а если Елизавете Марковне — это значит дело хозяйственное, она такие дела любит, не то что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию... Ведь там что важно? Сумма хищения. Надо каждую копейку отбивать...

Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. Напрасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать:

— Слушайте, это же театр абсурда! Какой-то гиньоль! Бог мой, зачем все это помнить — мне, вам, кому бы то ни было?.. Есть такое понятие: историческая целесообразность... Вы знаете, кто сейчас мой брат?

Хочоца и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так, беспричинно смеясь, подошли к излучине реки, где был песчаный бережок, место купанья. Днем тут бултыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодная и пахла тиной. Мужчины купались, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали, но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанистым, и она сообщила, что тоже будет купаться, в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через двадцать из-за ольхи раздался зов о помощи: Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтоб Сережа подал руку.

Мара, при всей ее недалекости, кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне:

— Я тебе сочувствую!

Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то большое. Сначала они мирно перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки, потом спор стал тяжелеть, и на обратном пути в деревню спорили вовсю, хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости, в спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю.

Может, с того пьяного вечера в Василькове — на самом деле, наверное, раньше, но в сознании Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом — затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которая так мучила его и кончилась печально. Когда пришли в тети Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уже кричали друг на друга в озлоблении. Она не думала, что Климук может быть таким злым.

Про Сережу-то знала: когда влезал в спор, его охватывала неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии. Ему нужно было одно — доказать.

— Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре! Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне.

— А я знай! Отец откель приволок, наменял, говорит, в голодные года...

— Наменял, приволок — все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают верно и каждые полчаса играют Штрауса. Правильно я говорю, тетя Паша?

Тетя Паша чопорно поджимала губы:

— Мне ни к чему, милый человек, только я вам не позволяла меня тетей Пашей звать...

— Правильно, руби меня плеча! Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности, — запомни это, тетя Паша, и плесни, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая же тетя Паша, вроде вас, только зовут ее тетя Павлина и живет она в Белгородской области, Шебекинском районе...

— Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь, — говорил Сережа, — это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота...

— Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться!

— Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нет? Ученый совет большинством голосов?

Он настолько зарвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и молотившие ерунду, позабудут кто, что и зачем говорил всерьез, но, как оказалось, те запомнили Серезины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.

Когда Сереза браво шутил: «Ученый совет, что ли, большинством голосов?» — и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильнее, чем слова. И уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сереза был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил — шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Чего стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло: Геннадия Витальевича прозвал Генитальич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно — так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки — Кольку опять гоняли к Кренделихе, — женщины клевали носом, Иринку давно уложили спать, Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала, и в открытые окна глядел из темной синевы высокий месяц.

Нет, не уезжали! Тоже зевали, потягивались и тоже всем видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Серезей и Климуком — мужчины ходили в домик на другой конец двора, и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло: после нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность гульнуть мужчинам. Странно: глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала, довольная:

— Правильно, что он их не оставил! Ну их... Подумаешь, персоны граты!

Колька свистел в бригадильский свисток и, размахивая руками перед фарами машины, орал:

— Эт-та почему такое — выпимшие за рулем? Кто разрешил? А ну вылазть, машина не пойдет!

Сереза рассказал, что Климук просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески:

— Ты меня приглашал с ночевкой, я имею право на два койко-места на твоей даче, ну так я уступаю эти места своим друзьям... — Потом стал угрожать: — Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя... — И наконец едва не со слезами в голосе умолял: — Старик, сделай это ради меня! Я твердо обещал! С твоих слов! Как я буду выглядеть после такого обмана?

Сереза сказал, что почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение.

— Я вдруг догадался, что передо мною торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся сделка рушилась... Какую он мне закатил истерику! Как шипел, как клокотал в ярости! «Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться. Ты ненавидишь людей». И этот неподдельный гнев не оттого, что он сочувствовал приятелю, а оттого, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь?

А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзка, но если Кисловский столь важная

фигура и Климук просил... Уложить их в комнате, самим на терраске... Но у Сережи было несуразное, в к у с о в о е отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений.

— Друг чувствую, что я тоже торгаш и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало тошно, и я отказал. Сославшись на тебя. Дескать, ты у меня строгих правил... Да ну его к бесу!

Боже мой, теперь очевидно, какая это была цепь глупостей и жалких изобретений! Не надо было зазывать их на дачу. Не надо было, коль уж зазвали, фордыбачить и обижать. И не надо было так уж рваться в прекрасную Францию...

Разумеется, в Василькове Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но — зачем тогда это судорожное гостеприимство? Прошло два дня. Он поехал в институт. Вернувшись вечером домой, на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказал: Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригадмила Коли и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливым тоне:

— А Эдуард Николаевич не говорил каких-нибудь слов? В связи с нехваткою мест в гостинице?

Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем: до самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос: «Принесли?» Так никто и не понял, что это значило.

Постояли, поохотали в коридоре и разошлись. А что насчет Франции? Пока ничего. Полная неясность. Вообще-то Климук поговорит с кем нужно, он обещал.

— Старуха, не суетись! Генка сделает, это не проблема...

В ту минуту он, кажется, искренне в это верил.

Проблема была — добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы взаимны и просто так, без отдачи, но тут мать заколебалась: сумма ошеломила ее. Таких денег у матери не было, Георгий Максимович давал ей на расходы ежемесячно.

— Неужели этот вояж так уж необходим? — Мать слабо пыталась сопротивляться. — В вашем доме столько дыр... Тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла... И потом: если бы уж вдвоем!

Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да и никто не предлагает вдвоем, а ему такая поездка была бы полезна во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно, речь шла о понятиях таинственных — например, о присутствии духа, о самоутверждении, — но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонила и сказала, что Георгий Максимович просил Сережу зайти.

Были уверены, что «зайти» значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже три года жили на новой квартире недалеко от прежнего дома на Суцевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка. Много работать запрещали врачи. Но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картина-

ми, маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы, кое-что поправлял, не напрягая зрения, или же приглашал какого-нибудь приятеля со второго или первого этажа и они согревали чай на плитке, обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам.

Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к нему нечто вроде благодарности: не за то, что тот творил на полотне и бумаге, а за то, как вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне:

— Есть такие детские картинки: смотреть на них сквозь розовую пленку — видишь одно, сквозь голубую — совсем другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает такую картинку. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы...

Ольге Васильевне не понравилось, ей показалось, тут унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело: она любила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека... А кто процветал в эвакуации? Если б он был дельцом, он бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб. Не умел ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми расплюснутыми носами — они хорошо ей запомнились, — он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились: и он стал легко зарабатывать деньги.

Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Конечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да и ей самой в худую минуту было куда ткнуться...

Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тестю. Он как будто чувял неприятное.

— Пойди одна. Я тебя прошу...

— Нет, Сережа, неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты и так ходишь к ним редко.

— Скажи, что я заболел. Я действительно плоховато себя чувствую.

— Нет, если не пойдешь, я не пойду тоже. Тогда все отменяется.

Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест — у кого бы он занял такую сумму? у дружков-приятелей? черта с два! — а от него требовался минимум внимания; посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну и, конечно, сказать «спасибо», или «я вам благодарен», два слова в знак признательности. Неужто трудно? Нет, нетрудно, даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже на рю де Муфтар, о чем мы много слышаны, но... э, да что говорить! Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость — вот что такое просьбы, и это делает все разговоры, чаепития и родственные встречи фальшивыми.

— Поэтому я тебя просил — видишь, опять просьба, опять невыносимость! — если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет — пожалуйста, идем...

Она должна была понять его, но — не поняла, потому что мысли ее были заняты матерью, которой тоже было непросто и, может быть, невыносимо, но она пересилила себя и попросила.

— Приходится иногда делать неприятное,— сказала она непре-

клонно. — Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай: пойдём или останемся дома?

Всю дорогу ехали молча. Она ещё разжигала себя: интересно, почему это он считает себя вправе обижаться? На что, собственно? На то, что едет во Францию, а она остаётся? Иринка тоже молчала. Она чутко улавливала трещины и размолвки, возникавшие между родителями, и реагировала по-своему — нет, не пыталась рассеивать, веселить или мирить, как, по рассказам, делали другие дети, а вела себя точно так же, как родители: если они угрюмо молчали, и она тотчас замыкалась, если были сварливы и раздражительны, и она разговаривала точно так же, раздражительно, ворчливо, как маленькая старушонка.

Так, в молчании, доехали до Суцевской, прошли мимо старого дома, углубились в переулки, где все теперь было неузнаваемо, сломано, перестроено. Удивительная загадка: почему у нее было мрачнейшее настроение, когда подходили к дому матери? И у него тоже? Ведь были молоды, здоровы, занимались делом, он собирался за границу, она надеялась за это время сделать небольшой ремонт в квартире, а ещё рассчитывала на то, что он привезет какие-нибудь парижские тряпки, и, порасспросив, даже наметила какие именно... И они все трое были вместе, вместе! Это была и х ж и з н ь.

Но они мрачно вошли в подъезд, мрачно погрузились в лифт. Единственная фраза, которую произнесла Ольга Васильевна, было строгое приказание дочери:

— Не трогай грязную стенку!

Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая в красивых, карминного цвета венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Георгий Максимович со вкусом расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки, и все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид. Кроме того, на стенах, конечно, было множество картин, гравюр и рисунков под стеклом, не только Георгия Максимовича, но и других художников, среди этих вещей были два этюдника Левитана и Коровина, рисунки ещё каких-то знаменитостей и, гордость Георгия Максимовича, волнистый прочерк карандашом Модильяни, изображавший нечто неясное и эротическое. На всех этажерках, полочках и на книжном шкафу стояли свечи, свечечки и толстые, узорчатые, необыкновенных форм и оттенков свечи для запаха, купленные за границей знакомыми Георгия Максимовича — сам он за границу не ездил, запрещали врачи, — и все это теперь курилось, мерцало, горело и пахло благовонно и сладко, как в церкви.

— Иллюминация в вашу честь, медам и месье! — Георгий Максимович парадным жестом приглашал в комнату.

Французские слова были сказаны не без смысла, и это Сереже, как видно, не понравилось: она заметила, как его губы слегка надулись в знакомой гримасе. Благородный поступок — дача ссуды родственникам жены — производился хотя и в домашней, но в торжественной обстановке. И сам Георгий Максимович выглядел торжественно: в широкой, из черного вельвета художнической куртке, недавно пошитой в ателье МОСХа, с фиолетовым фуляровым платком на шее, в белоснежной рубашке, в брюках модного серого цвета «гудрон», но, правда, внизу у него были старые шлепанцы со смятыми задниками.

Сначала пили чай, ели торт, Иринка рассказывала о школьных делах — Ольга Васильевна слушала с большим интересом, потому что дома Иринка никогда ничего не рассказывала, негодница, а в присутствии бабушки, дедушки или каких-нибудь не самых близких людей,

но и не слишком посторонних в ней открывался дар рассказчицы, и она им щеголяла,— а затем мать увела Ольгу Васильевну и Иринку к себе в комнату, а мужчины остались для беседы.

Георгий Максимович заговорил о своей жизни в Париже, на рю де Муфтар, которую они, русские парижане, называли «Муфтаркой», о своих тогдашних приятелях, двое были из Одессы, один из Елизаветграда и один из Витебска, тот, что потом прославился на весь мир. А про остальных Георгий Максимович ничего в точности не знал: кажется, кто-то уехал в Америку, другие умерли в неизвестности, одного убили немцы, когда вошли в Париж. Все это было чудовищно давно. Это была юность века, юность эпохи, юность аэропланов, кинолент, игры в футбол, разложенческой живописи, всего того, от чего теперь сходит с ума мир, и — совпадение! — это была его собственная, Георгия Максимовича, юность. Поэтому он запомнил девушек, их шутки, их жесты, то, как они сбрасывали платья и закрывали глаза, и что они при этом говорили, он запомнил голод, он запомнил кафе, он запомнил радостную, неутомимую работу по ночам неизвестно для кого и зачем, не приносящую заработка. Вспоминая, Георгий Максимович стал волноваться, и его крупное мягкое лицо с большим носом покраснело, и он вынул из кармана куртки шелковый фиолетовый платок и вытирал лысую голову и щеки.

Все это Ольга Васильевна представляла себе очень отчетливо, потому что Сережа потом подробно и красочно — подражая движениям и голосу Георгия Максимовича, совершенно по-актерски, как он умел, — изобразил разговор.

— Собственно говоря, я был в Париже дважды... Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах, но тогда я ничего не понимал... Второй раз в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал не сколько больше... Ну что вам сказать? Второй раз мы жили на улице Вожирар... Это самая длинная улица Парижа...

Сережа думал: вступление затянулось. Когда же он перейдет к делу? Георгий Максимович еще некоторое время что-то говорил с затухающим энтузиазмом, потев и обмахиваясь платком, что-то про свою первую жену, с которой жил на улице Вожирар, она работала машинисткой в нашем посольстве, а он делал эскизы к большой картине о Парижской коммуне. Почему-то эта картина так и не была закончена.

— Ну что вам сказать о Париже? — неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович. — Париж, конечно, красив... Но не более красив, чем Одесса, чем Киев... И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река... Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать...

Сережа спросил, не намекает ли Георгий Максимович на то, что ехать в Париж не имеет смысла?

Георгий Максимович покачал головой и улыбнулся хитро и значительно. О нет! Совсем нет. Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая получить удовольствие и промотать денежки. А о том, кес-кесе современный туризм, Георгий Максимович не имеет представления и не берется судить... Сережа смеялся: вас понял! Я не отношусь ни к первой, ни ко второй категории и, стало быть... Бог с вами, дорогой зять, я не отговариваю вас и даже приготовил по просьбе Галины Евгеньевны некую сумму «аржэн» для приобретения...

Из кармана вельветовой куртки появилась пачка десятирублевков.

— Пожалуйста, — сказал Георгий Максимович, очень радостно и



добро улыбаясь всеми своими пластмассовыми зубами, и протянул пачку Сереже.

— Спасибо,— сказал Сережа. Но пачку не взял. По его словам, он испытал в ту секунду какой-то странный сдвиг: точно все побежало вдруг в обратном направлении.

Георгий Максимович положил пачку на стол рядом с Сережей. Они продолжали разговор. Георгий Максимович расспрашивал о работе, о том, как подвигается диссертация.

Диссертация подвигалась плохо. Сережа не любил говорить об этом. Он стал отвечать отрывисто и небрежно, а на какой-то вопрос Георгия Максимовича не ответил вовсе, замолк, отключился и, замурыкав мотивчик, глядел в окно, размышляя о постороннем.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросил Георгий Максимович.

Сережа, поблагодарив, сказал, что помочь ему не может никто. Да и как, собственно, помогать? Это ведь не забор красить и не огород копать. Он стал понемногу накаляться. Ему показалось, что Георгий Максимович проявляет к нему сочувствие, а сочувствие было нечто особенно ненавистное ему, и тут он решил окончательно, что денег не возьмет.

— Вы знаете, как я поступал, когда работа не ладилась? — бормотал старик, не догадываясь, что в эту минуту ему надо было помолчать.— Я находил в себе силы уничтожить начало и начать снова...

— Да, да, понимаю...— кивал Сережа, улыбаясь.

— Вы зашли в тупик. Так? — Старик изображал что-то руками.— Вам следует отойти на несколько шагов и поискать — так? — какой-то другой путь, другой ход... Надо находиться в непрерывном движении, и тогда...

— Вы совершенно правы, дорогой мэтр. И ваше творчество прекрасно подтверждает... (Ольга Васильевна вошла в комнату и, услышав эти слова, ахнула про себя: поняла, что Сережа находится в последней стадии раздражения, ибо перешел к язвительностям.) Но вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Георгий Максимович. Все будет в порядке. Я вам обещаю.— Увидев вошедшую Ольгу Васильевну, он сказал быстро:— Собирайся, мы засиделись. Надо ехать домой!

Георгий Максимович воскликнул:

— Возьмите! Вы что-то забыли! — Он размахивал пачкой, держа ее над головой, как флаг.

Это «что-то» вызвало у Сережи новый приступ язвительности:

— Не «что-то», а определенную сумму дензнаков, которую вы, Георгий Максимович, очень любезно и так далее... Я вам горячо благодарен, но — спасибо, я обошелся. Большое спасибо!

На улице после долгого молчания он сказал Ольге Васильевне, чтобы она ни своим родителям, ни кому бы то ни было не рассказывала о его делах с диссертацией. И вообще о его делах. Присутствие Иринки сдерживало его, но Ольга Васильевна видела, что он клокочет. Он выбрасывал короткие шипящие фразы, смысла которых Иринка, конечно, не понимала, но видела, что родители ссорятся, отец нападает, и поэтому взяла Ольгу Васильевну за руку и смотрела на отца сердито. Ей было тогда лет одиннадцать, и она уже всю влезала в разговоры взрослых. Он говорил, что всякого рода сочувственные распросы, советы, рекомендации из собственного опыта ему не только не нужны и бесполезны, но и — пошли они к черту! Ольга Васильевна долго крепилась, видя, что он взвинчен сверх меры. Но когда он заявил явную ложь: «Я тебя не раз предупреждал, чтобы ты никому не сообщала о моих делах, а ты болтаешь, трепло!» — она не выдержала и

сказала, что это неправда, она не болтает и не надо свое раздражение изливать на нее.

— Откуда же он знает подробности?

— Да ты ему сам говорил!

— А почему же ты не можешь написать диссертацию? — крикнула Иринка.

— Тебя тут не хватает... — Он щелкнул дочь по макушке. — Цыц!

Иринка отбежала вперед и, приплясывая, кричала:

— Эх ты! Эх ты! Диссертацию не можешь написать!.. Эх, эх, эх!

Диссертацию не можешь написать!

Эта глупая Иринкина выходка подействовала неожиданно: он прыснул со смеху, потом замолчал и до дома не проронил ни слова.

Но что с ним происходило? Она не могла понять. Не потому, что была чересчур занята работой, лабораторией, сложными отношениями, которые существовали в ее мире так же, как повсюду — она, кстати, умеет ладить с людьми и не боится сложностей, — но потому, что его предмет представлялся ей странным слитком простоты и тайны. Что, казалось бы, могло быть проще того, что уже было? Всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа — история, — пересоздает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком, — следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бесмертие без очереди...

Однако Сережа очень мучился на этой простой милицейской должности. И тут-то заключалась тайна. Было недоступно ее уму. Почему нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытащить из гигантской очереди все, что касается московской охраны накануне Февраля, и добросовестно это вытащенное обработать? Ведь не надо создавать невиданного. Не то что они с Андреем Ивановичем бьются над БСС — биологическим стимулятором совместимости. Пытаются сотворить нечто, еще не существовавшее в мире, ни в Америке, ни в Японии, ни в Древней Греции, ни в Египте, нигде. Сережа сидел в архивах с утра до вечера. Заполнил выписками тридцать шесть толстых общих тетрадей. Тридцать шесть! Она недавно пересчитала. И все-таки чего-то ему не хватало — какого-то последнего знания, последнего опыта или, может быть, не хватало страсти, охоты...

С ним бывало: вдруг пропадал интерес. Вернее: возникал интерес к чему-то совсем другому.

Так было с Францией: вдруг сказал, что исчезло всякое желание ехать: «Мне сейчас не с руки». Позвонили из профкома, сообщили, что группа сократилась и он, к сожалению, не поедет. Выслушал равнодушно и вялым голосом — будто из вежливости — пробормотал несколько слов: «Что вы говорите? Как жаль...» — а там, наверное, думали, что он здорово владеет собой, что на самом деле убит горем. Но она видела, что ему действительно плевать: пропал интерес.

Сказал ей:

— Чего я там не видел? То, что мне нужно, я могу найти только здесь...

Сначала ему нужно было очень много. Не вполне представляя себе объем и суть работы, которую он задумал, она все чаще догады-

валась, что он замахнулся на нечто слишком большое, даже безграничное. Она приводила в пример диссертацию — докторскую! — Андрея Ивановича о биологических стимуляторах, написанную удивительно емко, сжато. Там не было ни единой лишней детали. Она вся будто на пружине, простая и динамичная, как английский замок, а пружиной была мысль. Одна гениальная догадка Андрея Ивановича: о диффузионной структуре стимуляторов. И вот она добивалась: а какая мысль у тебя? Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадошки, выписки, факты, цитаты?

Это говорилось из желания помочь, а не в укор. Но он не разговаривал с нею о своей работе всерьез, вернее — никогда не высказывался до конца, она чувствовала, что какие-то мысли он оставляет в своем подполье, как неприкосновенный запас. А может быть... Вдруг — никакого запаса и не было? И все это блеф или, точнее сказать, с а м о б е ф? Как раз на это намекал Генка Климук, когда пришел однажды — еще в начале своей деятельности на высоком посту — доверительно поговорить о Сереже.

Трудно было понять, чего он хотел. И тогда-то было неясно, а теперь и подавно: подробности исчезли. Пришел внезапно в тот день, когда Сережа был в Ленинграде. Вошел с мимозой, в красной рубашке, в красных носках, как молоденький, обнял Ольгу Васильевну и даже чмокнул в щеку по-свойски. Она ему сказала:

— Генитальчик! — И погрозила пальцем. — Жен приятелей целуют в присутствии мужей...

А он сказал, чтобы не называла этой собачьей кличкой, которая только дам отпугивает.

В его лице старого мальчика на миг мелькнуло лукавство. Но она почувствовала — сердцем, как обычно, когда дело касалось Сережи, — что под этим лукавством таится озлобление. Какова была цель? Что-то нудно толковал о «ложном положении», о каких-то «обязательствах», о том, что Сережу взяли на определенных условиях, но Сережа добился — с помощью Феде — перемены темы диссертации и это почему-то было плохо. Не могла понять почему. Нарушался план института или что-то в этом роде.

— Мы пошли ему навстречу! — говорил он тоном все строже. — Мы в ущерб себе согласились с его просьбой!

Он говорил не как приятель, а как доброжелательный чиновник. Ее это поразило. В первые минуты она держалась с ним фамильярно и чуть пренебрежительно, потому что знала, что он меняется к худшему, и ей хотелось его проучить, но затем его речь и тон так ее ошеломили, что от растерянности и совершенно невольно она стала разговаривать с ним как подчиненная.

— Хорошо, — говорила она, — я ему скажу. Я передам.

Одно было ясно: они могут сделать так, что защита не состоится.

Все преподносилось в форме заботы о нем: он себя губит, пошел куда-то не туда, зарылся в дебри, потерял путеводную нить.

— Сережка дико упрям, ты это знаешь, — произнес он вдруг человеческую фразу. — И если вовремя не остановить, он себе голову расшибет.

Она не знала: рассказать Сереже или, может быть, скрыть на время? Он вернулся из Ленинграда усталый, сердитый, все там было плохо, погода, гостиница, знакомые недостатки почтительны, не проявляли внимания, и, главное, не нашел в архивах того, что искал. Но она все-таки рассказала. К удивлению, он принял рассказ спокойно и даже как-то свысока посмеялся:

— Бедные дурачки, они все боятся, что я буду защищать Бросова... Там был такой Толя Бросов, которого Климук сживал со света.

Но дело было в другом. Бросов оказался ни при чем, и спустя два года, когда разбиралось «дело» самого Сережи, Бросов и Климух выступали дружно в одной упряжке. Им не нравился метод, с которым он носился и который назвал полужутливо-полувсерьез «разрывание могил». На многих его тетрадях написано на обложке «РМ», что означает «разрывание могил» и говорит о том, что он относился к этой романтической метафоре более всерьез, чем шутливо. Он искал нити, соединявшие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим.

Из того, что она уловила когда-то: человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду... Она улыбалась, слыша такие его речи за ужином и в постели, когда на него вдруг находил стих курить и философствовать. Надо ли было ей, биологу и материалисту, опровергать эти рассуждения? Господи, если бы она могла переделать себя! Хотя на минуту. Но, к сожалению, это было ей недоступно. Знала твердо: все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами. Несколько раз он спрашивал у нее вполне серьезно:

— Нет, ты действительно думаешь, что можешь исчезнуть из мира бесследно? Что я могу исчезнуть?

А она отвечала ему с искренним изумлением:

— А ты действительно думаешь, что не можешь?

И он говорил, что, как ни тщится умом, как ни силит воображение, представить себе не может...

И вот он исчез. Его нет нигде, он присоединился к бесконечности, о чем говорил когда-то легко, куря сигарету. Боже мой, если все начинается и кончается химией — отчего же боль? Ведь боль не химия? И и х ж и з н ь, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве была соединением формул? Человек уходит, его уход из мира сопровождается эманацией в форме боли, затем боль будет гаснуть, и когда-нибудь — когда уйдут те, кто испытывает боль, — она исчезнет совсем. Совсем, совсем. Ничего, кроме химии... Химия и боль — вот и все, из чего состоит смерть и жизнь.

У него это началось — то, что он называл «разрыванием могил», а на самом деле было прикосновением к нити, — с его собственной жизни, с той нити, частицей которой был он сам. Он начал с отца. Он очень любил слабую память о нем. Ему казалось, что его отец был замечательный человек, что было, наверно, преувеличением и в некотором смысле гордыней. Это во многом шло от Александры Прокофьевны, которая мужа боготворила и числила примерно так: Горький, Луначарский, Надежда Константиновна и Афанасий Дементьевич Троицкий. После гражданской войны он что-то делал на ниве просвещения. А в семнадцатом, после Февраля, будучи студентом Московского университета, работал в комиссии, разбиравшей архивы жандармского управления. Комиссия выявляла тайных сотрудников бывшего охранного отделения. Когда Сережа наткнулся на этот факт — участие отца в работе такой комиссии, — он стал копаться, полез в архивы и увлекся всей этой историей. А потом дальше — почему? откуда? — стал изучать семью отца, и деда, и даже прадеда, для чего ездил в Пензу.

Она догадывалась, что он пошел куда-то чересчур вглубь. Все это было любопытно, интересно — но зачем? Как-то сказали, что в

одном доме можно познакомиться с правнуком знаменитого поэта, он с радостью ухватился:

— Пойдем непременно!

Повела одна женщина с работы Ольги Васильевны. Сказала, что у правнука поэта времени мало, он попьет чай, посидит полчасика и уйдет не позже пяти. Встреча происходила в блочной новостройке в Черемушках. Все в этой комнатке, стандартной, с низким потолком, состояло как бы из обломков. Вокруг стола, покрытого простой скатертью — хозяйка отмахнула край и показала инкрустированную музейную поверхность, тщательно отполированную, — стояли рядом с обычными мебельторговскими стульями два скромных произведения начала прошлого века с золочеными головками сфинксов на высоких спинках, а чай пили из кузнецовских и гарднеровских чашек, бывших, разумеется, тоже обломками каких-то рассыпавшихся сервизов.

Правнук поэта был средних лет, белесый, морщинистый, с модно подстриженными бачками. На нем был синий пиджак, украшенный медальками и значками. Он звенел ложкой в стакане, постукивал пальцами по столу и, торопясь, очень многословно и невнятно рассказывал какую-то запутанную историю жилищного обмена. При этом повторял то и дело: «В отношении того». Ольга Васильевна смотрела на правнука во все глаза и сначала робела, не зная, о чем говорить с ним, Сережа тоже молчал и выглядел хмуро, но затем Ольга Васильевна стала разговаривать с правнуком насчет обмена и давала ему советы, так как сама недавно менялась.

— В отношении того, — бубнил правнук, — что приближается юбилейная дата... Я составил в отношении того письма... Академик Велегласов обещал подписать, артист Сонин подписал...

Старушки говорили между собой по-французски. Вскоре правнук заторопился уходить, одну из старушек он чмокнул в щеку, другим поцеловал ручки, и, взяв со стола бутерброд, завернув его в салфетку, сказал:

— Там и буфета нет поблизости, гиблое место в отношении того.

Одна из старушек спросила:

— Куда вы сегодня, Константин?

— О, далеко, ma tante. — Правнук присвистнул. — Но сообщение отсюда превосходное. На метро до Сокольников, а там автобусом пять минут...

Когда он ушел, старушки рассказали, что по воскресеньям он судит футбольные матчи. Что делать? Он инженер, заработок невелик, жена больная, двое детей...

Шли темным бульваром. Сережа был мрачен.

— Лучше бы не приходиться... Одно из двух: либо в этом оболтусе есть нечто скрытое, неразгаданное, либо в знаменитом поэте было что-то «в отношении того»...

Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются исчезающие элементы. Это больше относилось к биологии, чем к истории. И вот когда он вплотную занялся изучением охранки, в частности московской охранки накануне Февраля, составил по документам списки секретных сотрудников с обозначением всех их служебных «подвигов» и «заслуг» перед отечеством — кропотливейшая работа отняла не меньше двух лет, а ведь это была лишь часть диссертации, — его, кроме прочего, интересовало то же, что погнало на встречу с правнуком поэта: отыскивание нитей. Ему мерещилось, что тут таится необыкновенно важное. Временами он работал с бешеным энтузиазмом. Когда возвращался домой из библиотеки или из архива, бывал землистого цвета, едва держался на ногах и не мог сразу сесть за ужин: лежал несколько минут,

успокаивал сердце. Последние года два он так ослаб, что даже перестал выпивать. Приглашали, отказывался. Так его поглотила работа. Он вкладывал в нее гораздо больше, чем следовало, чем она могла вместить.

Однажды пришел вечером, и вид был такой, будто выпил. Улыбался странно. Она испугалась, потому что если выпил, значит, что-то стряслось.

— Ты выпил? — спросила она.

— Ничего. Только что в буфете.

Продолжал улыбаться странно. Она видела, что неспроста.

Его мать тоже что-то почуяла и крутилась на кухне, где Ольга Васильевна готовила ужин. Она знала, что он не всегда готов откровенничать при матери, и, пока та крутилась тут, не стала ничего спрашивать. А он, как посторонний, сидел нога на ногу, покачивал носком и смотрел в окно. Как только мать вышла, Ольга Васильевна сказала тихо:

— Объясни, что случилось... Я же вижу.

Он покачал головой и ничего не сказал. Омет был готов. Он пытался вилкой, отставил. Свекровь опять зашла на кухню, прислушивалась к каждому слову, и Ольга Васильевна стала нарочно рассказывать ему какую-то чепуховую сплетню, услышанную на работе. Потом он выпил крепкого чаю, и было видно, что ему стало лучше, бледность исчезла. Они пошли в свою комнату — теперь, после обмена, у всех было по комнате, у Иринки, у свекрови и у них вдвоем, где протекала и х ж и з н ь, — он закрыл плотно дверь, взял Ольгу Васильевну за руку и сказал:

— Ну что, меня гробанули. Было обсуждение на секторе. Накидали столько замечаний, что нужно сидеть еще два года, если не... Только матери не говори!

Произнес все это померкшим голосом, но последнюю фразу: «Только матери не говори!» — высказал нервно и бойко, и в голосе слышался истинный испуг. Как бы мать не узнала! Не могла понять, что тут: забота о материнском покое, чтобы та не расстраивалась, или же, что было ужасно, его вечная зависимость от ее мнения, настроения, его обязанность отчитываться и оправдываться перед нею.

Новость, конечно, была плохая. Она знала, что это такое, когда предварительное обсуждение проваливается, с тревогой ждала этого дня; но он скрыл, что сегодня обсуждение. Удивительные люди он и его мать! Все время подчеркивают: мы сами, мы одни, мы обойдемся. Он уходит на обсуждение, никого не предупредив, а она едет в больницу на опасную операцию — как было лет восемь назад, — и тоже никто об этом не знает. «Бабушка ушла утром и сказала, что придет поздно», — сказала Иринка. А бабушка звонит вечером и говорит, что находится в больнице, все уже позади — да что позади, боже ты мой?! — и через день вернется домой. То, что рассказал Сережа, Ольгу Васильевну сразило. И еще раздосадовала фраза и истинный испуг в голосе: «Только матери не говори!» Она сказала, что это глупая фраза и вообще не об этом надо теперь заботиться. Он спросил: о чем же? Надо заботиться о деле, о том, чтобы выплыть, а не о всякой домашней чепухе. Конечно, она выставила свою досаду совершенно напрасно. Ну что с того, что он примерный сынок? Впрочем, он был вовсе не примерный сынок, она-то знала и потому еще сильнее раздражалась, когда он вдруг настаивал на том, что он примерный сынок. Все это нужно было крикнуть про себя и прикусить язык до боли.

Потому что — на него свалилась гора. Лежачего не бьют. Однако бес толкал ее, подзуживал непобедимо, и она произнесла негромко —

боясь, что свекровь может постучаться, а то и без стука войти,— и с неизвестно откуда взявшимся гнуснейшим ядом сказала:

— Вместо того чтобы оберегать мамочку, ты бы столь же бережно отнесся к своей защите...

Он поглядел загнуто и равнодушно, как человек, готовый ко всему, и спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Надо было подготовиться. Поговорить с людьми. Со всеми, от кого что-то зависит... А ты по своей обычной халатности пустил все на самотек. Ты виноват сам. Так не делают;

Он пожимал плечами:

— Но я думал...

— Почему же ты думал? Почему они должны? Кто ты такой для них?

И еще что-то поучительное и скрипучее. Сережа молчал, глядя на нее остановившимся взором: такой взор бывал у него, когда он внезапно погружался в задумчивость.

— Ты всерьез? — спросил он.

Она пылко продолжала его учить. Кипело низкое раздражение. Он махнул рукой и куда-то вышел. Через минуту вернулся с чемоданом. Она не сразу поняла, что он собрался уезжать. А когда он сказал, что поедет на несколько дней в деревню к тете Паше — что было нелепостью, никто его в Васильково не звал, жить там было негде, вся родня тети Паши уже перебралась из клетушек и сараюшек в избу, лето кончилось,— она рассердилась, не могла сдержаться и громко кричала о том, что это бегство, малодушие и что, если он сейчас уедет в деревню, она снимает с себя всякую ответственность за его здоровье, быт и вообще не даст ему денег. Орала вздорно, постыдно, как можно орать только в большом гневе. На крик пришла свекровь. Прибежала Иринка из своей комнаты. И он тут же выложил матери про обсуждение, про то, что его зарубили и что защита откладывается на меньше чем на год. Понять нельзя: свирепо требовал, чтобы ни в коем случае ей не рассказывать, и тут же сам выложил все в подробностях!

Разумеется, это был удар для матери, но ведь не такой, как для Ольги Васильевны, Старуха всегда как-то приосанивалась в трудные минуты, когда надо было проявить мудрость и хладнокровие. Ей казалось, что тут она незаменима.

— Спокойно, товарищи, без паники! Только без паники! — говорила она тоном комиссара, ободряющего бойцов.— Что, собственно, произошло? Дали замечания? Очень хорошо! Чем больше замечаний, тем лучше для нас. Тем ценней станет содержание. Мне непонятно, почему ты раскис, сын...

— Никто не раскис. Но мне вся эта гадость не нравится.

— Нравится она не может. Кому она может нравиться? Однако нельзя, в конце концов... Когда твоему отцу... Если бы твой отец...

Она успокаивала его, постепенно переходя от комиссарского тона к тону доброй бабушки, и даже слегка потрепала его по щеке. Этот жест показался Ольге Васильевне фальшивым. Разговаривала с ним, как с десятилетним мальчиком. И он поддерживал этот стиль. Ольга Васильевна сказала, что паники, собственно, нет, надо спокойно все обдумать, учесть замечания, переделать, что необходимо и с чем ты внутренне согласен,— словом, взяться засучив рукава, но не поддаваться слабости. Сережа хочет уехать в деревню, что неправильно, это бегство от трудностей.

Так сказала Ольга Васильевна, что было, может, верно по существу, но неуместно именно в ту минуту. Она не должна была произно-

сить слово «слабость». Сережа слушал мрачно, продолжая кидать вещи в чемодан.

— Нет, вы не правы, Оля,— сказала Александра Прокофьевна, вновь переходя от тона бабушки к металлической комиссарской твердости.— Вы глубоко не правы! Если он чувствует, что ему нужно поехать, пусть едет в Васильково. Пусть возьмет книги, тетради, поработает в тишине...

— Да не будет он работать! Он будет пить водку с Колькой. А ночью ему станет плохо.

— Папочка, мама не хочет, поэтому не езди! — сказала Иринка и, подойдя к чемодану, стала выбрасывать оттуда отцовские вещи.

Он ее шлепнул, она убежала, схватив белье и машинку для бритвы. Разговор — ехать, не ехать — длился до десяти вечера, ничем не кончившись. Ехать было поздно. Александра Прокофьевна продолжала гнуть свою линию семейного судьи, исполненного благородства и справедливости:

— Не понимаю, почему у вас обоих траур на лицах? Откладывается защита — откладывается ставка, что ли? Ничего, можно перетерпеть. Мы в вашем возрасте о деньгах совершенно не думали. Кто думал о деньгах? Какие-нибудь нэпманы, кулаки и лишенцы. А у нас не хватало на это времени. Мы были слишком увлечены жизнью, трудом, друзьями, событиями. Да, да, событиями! Ты не улыбайся, Ирина, в твоём возрасте я была в курсе всех политических новостей, знала ход военных действий, делала вырезки из газет, а у тебя на уме только кино да мороженое. В двадцатые годы Афанасий Дементьевич получал очень скромную зарплату, мебель в нашей квартире была казенная... И нам ничего не было нужно, кроме книг... Впрочем, и книги Афанасий Дементьевич брал в библиотеке... У него никогда не было черного костюма, он не носил галстуков... Ты не беспокойся, сын, я тебе в крайнем случае помогу, если будет туго. Ты должен работать, не думая ни о чем.

Через два дня он уехал в Васильково.

Ее мучило вот что: когда ему бывало плохо, он стремился куда-то уехать, и не с нею, а один. Это значило, она не могла быть поддержкой. Так считала его мать. Это было бессовестно. Так же, как то, что она внушала ему, будто вся беда с провалом диссертации — по мнению ее, Ольги Васильевны,— состоит в том, что кандидатская ставка уплыла. О деньгах она не думала! Никаких денег не держала в уме! И никто в их семье, кроме Иринки, которая копит то на какую-то пластинку, то на трехрублевое ожерелье, о деньгах не думает. Не надо так уж кичиться бесребреничеством. Ольгу Васильевну больно ударило, отчего она взорвалась и так постыдно кричала, то, что его мгновенной реакцией было: уехать от нее. Как будто в ней — вся беда. А без нее — спасение. Но потом, немного успокоившись, она смирилась с этим, а он, тоже поостыв и поразмыслив, решил в Васильково не ехать, но приход Климука опять все нарушил.

Климук пришел на другой день после обсуждения. Они пошли с Сережей гулять. Гуляли долго. Ольга Васильевна уже стала волноваться. Сережа вернулся в половине двенадцатого.

— Все! — сказал он.— *Finita la comedia!* С Геннадием разругались вдрызг. Он безнадежен.

В его голосе не слышалось скорби. Случилось то, к чему дело шло. Она только спросила: из-за чего?

— А! — Он махнул рукой.— Из-за всего...

Вид у него был рассеянный, будто рассказывать не хотелось и не стоило труда. Но рассказал в тот же день, вскоре. Была любовь. Почему-то очень запомнилась любовь той ночью, когда он впервые рас-



сказал про Кисловского. Обыкновенно он засыпал сразу, на него действовало как наркотик, а она, наоборот, не могла заснуть долго, и чем сильнее было, тем дольше не спалось, но в ту ночь он был возбужден, ему хотелось разговаривать, и он сказал, что Климуку уговаривал его отдать какие-то материалы Кисловскому, которому они нужны для докторской. Он отказался. Сказал, что не хочет лишаться таких ценных материалов, которых нет даже в архиве, а есть только у него. Климуку сказал, что лучше лишиться материалов, чем диссертации. Ну и поругались. Оказалось, что это старая история. Климуку назвал его идиотом, а он сказал Климуку: «Ты дерьмо!»

Что это было? Какие материалы? Она помнила только, что Сережа, когда достал их — это произошло как-то случайно и неожиданно, — безмерно радовался. Списки секретных сотрудников московской охранки за последние годы, вплоть до февраля семнадцатого. Конечно, материалы ценнейшие, потому что архивы охранки были уничтожены, сожжены. Откуда-то он эти списки раздобыл. Нашел какого-то человека, то ли пропойцу, то ли жулика, то ли просто опустившегося, несчастного босяка — она ни разу его не видела, звали его странно, Селифон или Селиван, что-то в таком роде, — который списки продал Сереже за тридцать рублей. Кажется, его дед был связан с охранкой, был там мелким чиновником и сохранил списки, чтобы шантажировать людей и вымогать у них деньги. Одно время Сережа был очень увлечен всей этой историей, совершенно фантастической. Какие-то люди Сереже не верили и говорили, что Селифон его надул, что списки поддельные, кто-то сфабриковал их если и не теперь, то в двадцатые годы, и, может быть даже, с их помощью кого-то шантажировали. В институте был такой профессор Вяткин, особенно горячо возражавший. В споре с Вяткиным Сережа придумал всю эту поездку в Городец. И, конечно, об этих списках — в папке с розовыми шнурочками — говорил Безъязычный и хлопчет Климуку.

Зачем? Кисловского уже нет в институте. Она им не даст ничего. Было бы странно: чем-то помогать Климуку.

И вот когда он уехал один в Васильково — был теплый сентябрь, двадцатые числа, — начались ее страдания. Прошел день, другой, третий... Сначала она боролась с собой. Хотела победить грызущее беспокойство, тоску по нем и тревогу о нем, что было на самом деле у интеллигентной и смертельной зависимостью от него, и заклинала себя не думать, не вспоминать о нем, погрузиться в работу. Он не хотел, чтобы она приезжала. Ему нужно побыть одному. И она понимала это, понимала! Но тревога, или тоска, или бог знает что это было, какое-то беспощадное, сжигавшее душу смятение, росло в ней неудержимо, и она уже знала, что поедет, должен был только найтись повод. И тут как раз пришло письмо с казенным штампом из института, официальное уведомление из сектора: сосговорилось обсуждение, такие-то поправки, длинный перечень, срок защиты отодвигается до такого-то месяца будущего года. С этим письмом, даже не дождавись субботы, а взяв на работе отгульный день в пятницу, она помчалась.

Васильково возникло в их жизни давно. Иринке было годика четыре или пять, дача на Клязьме отпала, бросились искать, им посоветовали северную дорогу, и вот однажды поехали безо всякого адреса, сошли через пятьдесят минут — просто понравилась безлюдная платформа, купы деревьев, луговой простор — и пошли к деревушке на горизонте. Дом тети Паши был украшен табличкой с топориком. Этот топорик и остановил их. Зачем топорик? Отчего топорик? Стояли, рассуждали вместе с Иринкой, и тут вышла тетя Паша во двор, они ее спросили: вот, мол, девочка интересуется. Тетя Паша объяснила:

когда пожар, надо, значит, топор тащить. А на других домах другие таблички, где ведро, где багор. Так и остались у тети Паши, в «доме с топориком». Потом, спустя годы, когда прожили у тети Паши несколько жарких и хмурых, гнилых и солнечных лет — а мужик ее, дядя Ваня, Иван Пантелеймонович, был невидный и тихий, малого роста, плотник и без конца разъезжал с артелью, так что дома его по летам не бывало, и никто его хозяином не считал, а все тетя Паша, да тетя Паша, баба могучая, рослая, работающая, крикунья и добрая душа, — и вот потом уж, распознав их хорошенько, и сына Кольку, бригадмилца, Сережа часто возвращался в мыслях и разговорах к началу, к топорнику. В особенности любил рассуждать на эту тему, подвыпив: «Дом с топориком! Это, мать, неспроста... Тут символ... Тут заложено ой-ой сколько...»

Иногда философствовал будто бы всерьез, а иногда, в присутствии забредших на чаек или на грибки дачников вроде Льва Семеновича, физика, или Горянского, артиста эстрады, милейшего старика, болтал насчет топорика, дурачась, поддельваясь под некий высокопарный, старорежимный стиль: «Господа, а знаете ли вы, где водку пьете? Это ведь изба с топориком... Вы тут поосторожнее...» Дурачился, дурачился, потом и вышло: накаркал.

День был отчетливо ясный, но уже с прохладцей, небо высокое, дорога через лес пахла опавшим листом, любимый запах Ольги Васильевны, похожий на запах прогорклого, отстойного вина, — и она бежала, торопясь, ничего не замечая вокруг, вдыхая этот запах и опьяняясь им. Так спешила увидеть его скорей, будто не виделись много лет! А прошло лишь четыре дня. Он сидел на терраске с книгой и, увидев ее, сказал:

— А, это ты...

Он не улыбнулся, не вскочил со стула, не поцеловал ее и даже не взял у нее из рук тяжелых сумок с продуктами, с банками, коробками и двумя бутылками красного венгерского вина «бикавер» — их симпатия к красному сухому, зародившаяся бесконечно давно, все еще как бы продолжалась, хотя теперь это была скорее традиция, гнездившаяся в сознании как память о лучших временах, особенно бережно хранила память о красном вине Ольга Васильевна, и то, что она тащила из города две бутылки, значило на их языке много, — он сделал слабое движение рукой, которое могло означать то ли полуприветствие, то ли жест «все пропало...», и ушел с терраски в комнату. Так он ее встретил. Она решила все прощать. Взяла книгу, которую он читал: Пушкин. Книга была довольно потрепанная и грязноватая. Вероятно, из Колькиной библиотеки.

Ольга Васильевна сидела на терраске, не зная, куда и зачем он ушел от нее и что ей теперь делать. Но она твердо решила все прощать. Сумки положила на пол.

Через короткое время он вернулся и спросил, глядя зло:

— Зачем ты приехала?

Она должна была объяснить, что просто не вынесла жизни без него, нет сил для такого испытания, это глупо, ведь они не в ссоре, расстались по-хорошему, и она понимает, что ему необходимо побыть одному, но — что делать, если нет сил? Вместо этого она размахивала письмом из института, говоря казенным тоном какую-то чепуху. Он закричал:

— Зачем ты приехала? — И затряс кулаками перед своим лицом.

Она испугалась, что сейчас он заплачет и упадет, и побежала в избу, зовя тетю Пашу. Дом был пустой. Она зачерпнула кружкой воду в ведре — колодезная вода в Василькове изумительная! — прибе-

жала на терраску. Сережа лежал на топчане, отвернувшись к окну. Она присела рядом, гладила его волосы и говорила вполголоса, что беспокоилась за него, он уехал в таком дурном состоянии. Все беспокоились, и мать и Иринка. Упоминание о матери и дочке должно было смягчить его, но он вдруг выкрикнул:

— Не ври! Не впутывай Иринку и мать!

Она пыталась объяснить, но он не хотел слушать.

— Не ври! Не ври, тебе говорят! — повторял он. — Ты приехала по собственной воле и, конечно, только оттого, что тебя гложут идиотские подозрения...

— Ничего подобного! Какой вздор!

Она искренне отрицала, потому что в подозрениях, которые ее действительно мучили, она не признавалась себе. Ей казалось, что ее мучает что-то другое. Поэтому подозрений как бы не существовало и она могла с честным выражением гнева на лице отрицать эти обвинения. Но, боже мой, как стало вдруг тепло и покойно, когда она увидела, что он сидит на терраске один и читает книгу.

— О чем ты говоришь? Какие подозрения? Успокойся, мой милый, это не для нашего возраста... Ты уже опоздал, да и я тоже...

А ей было тогда тридцать восемь. Ему сорок. Но она не упускала случая внушать: твой, мол, поезд ушел, не заглядывайся, не тормозишь. Всегда смешило: сядет в метро и пялится на какую-нибудь девицу напротив. Затевала иногда разговоры по этому поводу, он сердился... Опять стала говорить про письмо из института, все еще держа его в руках. Он вырвал письмо, смял и выбросил в окно.

— Не хочу читать, все мне известно... к черту... — бормотал он. — Тоже умница! Надо забыть, отсечь, не помнить всей этой дряни, а она как нарочно... На черта оно мне нужно, это письмо!

Ей хотелось помочь ему, она не знала как. Пришли тетя Паша и Иван Пантелеймонович, копали картошку где-то на дальнем поле. Очень обрадовались, увидев ее:

— Батюшки! Васильевна! А твой-то совсем счах без тебя...

Все перепуталось. Эти люди не понимали, что с ними происходит. Ей было безумно жаль его и хотелось помочь. Что его загнало сюда, в эти черные доски старенькой деревенской терраски с вязками лука на рамах, с какими-то банками и мешками на полу? От рук тети Паши, когда она собирала ужин, пахло землей. Иван Пантелеймонович крутил транзистор и разговаривал с Сережей об американском президенте и Суэцком канале, тетя Паша с истовым и горячим волнением расспрашивала про Иринку и Александру Прокофьевну, а также про мать Ольги Васильевны и про Георгия Максимовича, которые, хоть и редко, навещали в Васильково, и Георгий Максимович говорил, что у тети Паши «интересное лицо», и заставлял ее позировать. Потом тетя Паша и Иван Пантелеймонович жаловались на то, что картошка уродилась мелкая, что копать припозднились, лошадь с телегой никак не выпросишь, а на горбе таскать далеко, нынче картофельное поле «на столбах»: это где линия высоковольтной передачи, там с обеих сторон раскопали да засадили. «На столбах» называется. Ольга Васильевна слушала, глядела на тетю Пашу и Ивана Пантелеймоновича и думала: ведь старые люди, тете Паше за шестьдесят, ему под семьдесят, но они трудятся, напрягают все силы, копают землю, таскают мешки с картошкой, и делают все остальное бесконечно тяжелое изо дня в день, и не считают свою жизнь особенно трудной. Она сказала вдруг просто так, ради шутки:

— Сережа, ты книжки читаешь, а старые люди надрываются, картошку копают — пошел бы да помог...

Тетя Паша на нее накинулась, Иван Пантелеймонович рукой махал:

— Это зачем? И не думай, и пускай отдыхает! И никогда чтоб такого разговору!

Зарыкал мотоцикл под крыльцом, приехал Колька. Оба мужика, отец и сын, были невысоки, худощавы, с бледноватой тонкостью в лицах, оба голубоглазы, светловолосы, у старика седина впрожелть, и манера была у обоих плутовато тянуть губы, улыбаясь, а Колька еще и глаза отводил в разговоре, как девушка. Только подвыпивши он становился смел и горласт.

Хлебая щи, которые заедал то ломтем серого, то сосиской — он привез сосисок громадный куль, килограмма два, тетя Паша тут же бухнула десяток варить и была очень довольна Колькиной добычей, — он рассказывал, как на лесоскладе в Истомине, где он и сосисками разжился в буфете, появились штакетник, прожилины и брус для ворот и он хотел с дедом договориться, но тот почему-то не соглашался. Говоря все это, Колька странно конфузился и на Ольгу Васильевну не глядел. Она давно уже замечала, что парень в ее присутствии робеет. Однажды не удержалась, сказала об этом Сереже:

— Ты знаешь, мне кажется, что Колька... ко мне...

— Ну?

— Я ему немного нравлюсь...

Он посмотрел с удивлением:

— А зачем ты мне это говоришь?

Нарочно напускал на себя холодность и равнодушие, когда возникал хоть малейший повод для ревности. Да поводов-то... откуда им быть? Не было никаких. Иногда она придумывала что-нибудь, чтоб его подразнить, вызвать его волнение, и он привык, разгадывал, перестал обращать внимание. Но с Колькой было что-то похуже на правду. Она это чувствовала. Может, и он чувствовал? И все равно — наплевать? Мысли его были увлечены другим. Понемногу он примирился с ее приездом, а к концу дня — после прогулки на речку — даже радовался, говорил, что она молодец, что приехала. Ночью было хорошо. Они совсем не спали. Заснули к утру. Он рассказывал о своей работе все-все, с подробностями. Советовался с нею: как быть? Главное вот что: он безнадежно испортил отношения с людьми. Климука обхамил, сделал врагом, причем оскорбительные слова сказал в присутствии посторонних, что, разумеется, не простится. Но с Климуком все уже шло к разрыву, тут неизбежность, а вот зачем говорить резкости профессору Вяткину, человеку влиятельному? Ах, неумно, неумно! А с Кисловским? С этим хитрейшим, каучуковым, который Ольге Васильевне представлялся человеком крайне опасным и готовым на все? Черт бы с этими несчастными материалами, за которые плачены тридцать рублей, отдал бы их — и дело с концом. Тридцатку спас, а диссертация завалилась. Теперь была очевидна суть неудачливости этой странноватой семьи: отец когда-то был крупный работник, но так никуда и не вылез, мать — домашняя юристка с принципами и запросами и он сам им под стать. И была еще сестра той же масти. Она умерла старой девой, обездоленность и тоска привели к болезни, говорят, кто-то любил ее очень сильно и мог бы составить ее счастье, но она всю жизнь любила школьного товарища, жалкого человека. Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей...

Ночью он вдруг сказал:

— Знаешь, почему все у меня с таким скрипом? — Шептал едва слышно: — Потому что нити, которые тянутся из прошлого... ты понимаешь? — они чреваты... Они весьма чреваты... Ты понимаешь?

Она не понимала:

— Чем?

— Ну как чем! — Он засмеялся. Ей стало страшно, показалось, что он сходит с ума. — Ведь ничто не обрывается без следа... Окончательных обрывов не существует! Ты понимаешь? Должно быть продолжение, не может не быть, это так понятно...

Она смотрела на него, похолодев от ужаса.

Безумие! То, чего она страшилась, зная неустойчивость его нервной организации. Она обняла его голой рукой, прижала его голову к своей груди и гладила его волосы. Он тихонько фыркнул, вновь она содрогнулась от этого смеха.

— Ты, наверно, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед...

Это не было безумием. Впрочем, какую-то долю это было, возможно, безумие, какую-то долю шутка и частично всерьез. Безумие и всерьез — это было одно. Она заплакала, слушая его невнятный лепет. Тогда, ночью, ей показалось, что он погиб. Он говорил что-то путаное насчет своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости, — во всех них клокотало и пенилось несогласие... Тут было что-то, не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни столетиями, заложенное в генетическом стволе... Вдруг терялось ощущение бреда и казалось, что он говорит нечто разумное, стройное, может быть, очень умное, но тут же пронизывал страх: не сходит ли он с ума? Какая могла быть связь между пензенским распопом, жившим сто двадцать лет назад, и трудностями с диссертацией, с возбуждением в секторе? Он говорил, что связь есть. Тогда же, ночью, возникла идея поездки в Городец.

Профессор Вяткин сомневался в списках, добытых Сережей не вполне научным путем.

Совсем недавно она отрыла папку с розовыми тесемками, погребенную под ворохом других папок на нижней полке большого книжного шкафа. Папка из глянцевого желто-мраморного картона, который был в моде в десятых годах. Она читала, плохо понимая, буквы прыгали перед глазами, потому что думалось с горечью о том, что жизнь состоит из непоправимостей. Какая огромная часть его существа осталась неизведанной! А ведь ей казалось, что она достаточно, сверх-достаточно знает о нем. Нет, ей казалось, что все это бесконечно неинтересно. Ничего поправить нельзя. Она переворачивала хрупкие, пахнувшие тленом странички, старалась вдумываться в смысл и с отчаяньем понимала, что смысл от нее отлетает: пустой и безжизненный, он мог лететь, лететь...

Какие-то фамилии, годы, села, волости, города, клички, занятия, адреса. У многих было по несколько кличек. Что со всем этим делать? Невозможно понять. Тоска сжимала сердце. Прежде чем спрятать листочки в папку, завязать бантиком тесемки и сунуть папку под пресс десятка других папок, более толстых и тяжелых, она нашла в списке фамилию Кошелькова Евгения Алексеевича, 1891 года рождения, крестьянина села Городец Московской губернии, портного, служившего в магазине «Жак» на Петровке.

С этим Кошельковым связывало единственное: сентябрьское утро

в дымке, тишина пустой дороги, земля, уже чуть стылая, затвердевшая за ночь, пожелтевший и звенящий березняк и запах грибов (Серезино непременно бормотанье: «Грибы прошли, но крепко пахнет...» — и еще другое, его любимое: «Какая холодная осень, надень свою шаль и капот...»), когда шли просекой, не торопясь, но и не очень медленно, дорога предстала далекая, у него было чудесное, веселое настроение, он шутил, дурачилась далекая, и брал ее руку, заставляя размахивать сцепившимися руками с видом влюбленного школьника. И даже читал слова наоборот. Вдруг он становился таким, каким был когда-то давно. Она тогда подумала: это, что ли, называется счастьем? Ясное утро, дорога, желтые рощи... Нет, не хватало Иринки... А вот когда-то приехали в Васильково в марте, на Иринкины каникулы, шли лесом на лыжах — Сережа убежал далеко вперед, Иринка едва телепалась, и было уже под вечер, красноватая желтизна за темными стволами, слепил глаза сумеречный снег, — и Иринка спросила: «Мама, а что это — счастье?»; ей было лет десять, на все вопросы следовало отвечать всерьез, и она задумалась всерьез, чтобы ответить понятно и кратко, но ничего не придумывалось, и тогда она вдруг сказала: «Вот этот вечер в лесу, мы трое на лыжах — это счастье. Понимаешь? Это и есть...» Иринка, конечно, не поняла. Да и она, сказав, не понимала по-настоящему. Должна была исчезнуть и х ж и з н ь.

А когда шла сентябрьским утром из Василькова на станцию, все боялась, что натрет ногу. Туфли были жесткие, новые. Не для дальней дороги. Но, кажется, все обошлось. Они отправились в село Городец в надежде отыскать хоть какие-нибудь следы Кошелькова Евгения Алексеевича, имевшего в московской охранке клички Тамара и Филипчук. Сережа говорил: разумеется, никаких родственников и отпрысков не найдется, сколько лет прошло, все перепахано, перемолото, но ведь что-то должно остаться, какие-то обрывки нитей, искры чьей-то памяти. Если хоть что-то найдется — просто запись в местной церкви о рождении и крещении, — значит, список не врет. Городец выбрали потому, что ближайший пункт к Василькову, двадцать восемь километров всего. Сначала ехали электричкой, потом автобусом. Село превратилось в городишко. Вокруг старенькой, еще когда-то французом поставленной сукновальной фабрики выросли четырехэтажные блочные дома с телевизионными палками на крышах, а когда шли мостком через тинистую, в зеленой ярске речонку по имени Вопря, слева громоздился склон, весь облепленный черными, изгнившими сараями и домушками, в которых непонятно что хранилось, жил ли кто или же это береглось как историческая реликвия, как свидетельство дореволюционной нищеты и бесправия. Перед кирпичным одноэтажным домом с вывеской «Продтовары» стояли несколько мужчин с тем бездельным и лениво-рассеянным видом, который безошибочно обозначал вынужденную праздность, бюллетени, ночные смены и нехватку чего-то, нужного им всем в эту минуту. Сережа пошел к ним узнавать. Через четверть часа он уже стоял в компании троих возле торцовой кирпичной стены дома ипил водку из бумажного стаканчика, закусывая помидором. Ей это очень не нравилось, она нервничала. Мужчины шутили. Он благодушествовал. Был замечательный сине-золотой день. Они бродили по городку, который местами напоминал деревню, заходили в дома, разговаривали в палисадниках, где пахло яблоками. К концу дня нашли старика, очень румяного, крепкого на вид, ходившего мелкими-мелкими медленными шажками в черных валенках: в прошлом году случился удар, думал, что помирает, но выжил. Старик говорил, улыбаясь красивым белозубым ртом:

— Бабья лета нынче удалась...

Это был сам Кошельков Евгений Алексеевич.

В марте в первый же час возвращения из Ленинграда — она при-мчалась самолетом, так извелась по Иринке — услышала жалобы от обеих. Иринка сказала, что бабка держала ее на казарменном положе-нии, денег не давала, никуда не пускала, а с друзьями, которые прихо-дили в гости, обращалась возмутительно. Выставляла грубым образом. Было не поздно, ну, полдвенадцатого от силы. Ребята, конечно, ушли, она пошла провожать, вернулась через час, а бабка в истерике — зво-нила всем подряд, Дашке, Тамарке, Бэле. Люди спать легли, она их поднимала. Совсем уж офигела.

— Я с ней после этого три дня не разговаривала.

— Но, может быть, ты тоже не вполне тут права?

— В чем же я не права?

— Зачем пошла провожать так поздно? По-моему, это было лиш-нее. Она беспокоилась за тебя.

— А зачем она им хамила? Потому что не надо было хамить...

Разговор этот возник сразу, она не успела переодеться, распако-вать чемодан, где лежали нехитрые подарки, купленные в Гостином дворе. Настроение еще не успело омрачиться. Слушая дочь и коря ее, она поглаживала Иринку по костлявой спине: лопатки выпирали, а трикотажная синяя кофточка с короткими рукавами заметно стала ма-ла и для лета не пригодится. Но через четверть часа, когда Ольга Ва-сильевна, переодевшись в халат, пошла в ванную, включила горячую воду, принялась с ожесточением тереть и мылить ванну старой мочал-кой с помощью порошка «Гигиена» и что-то напевала вполголоса — как не напевала давно, может быть полгода, разучилась напевать, и сейчас это получилось бессознательно, и если бы она вдруг сообразила, что напевает, она бы, наверное, сразу замолкла,— дверь ванной комнаты скрипнула и раздался голос Александры Прокофьевны:

— Больше никогда Ирину на меня не оставляйте. Не хочу, хватит с меня, она взрослая девушка, пускай живет как хочет.

— Хорошо, после поговорим,— сказала Ольга Васильевна.

— Или уж вы сидите дома, поскучайте немного. А у меня есть работа, я должна ее делать.

Старуха очень гордилась своей ерундовой работой для газетной «Юрконсультации», получаемой нерегулярно, после многих звонков и просьб: ее там просто жалели как пенсионерку и ветерана соцзакон-ности. Но вообще-то, как испытанный в судебных ристалищах боец, она умела нацелиться и кольнуть в больное. Так и теперь: слова «по-скучайте немного» кольнули Ольгу Васильевну, однако она все еще не была в настроении ссориться и ответила миролюбиво:

— Хорошо, Александра Прокофьевна, дайте мне принять душ, потом поговорим.

Затем выяснилось: Иринка чудовищно распустилась, ничего не до-просишься, ни в магазин, ни в прачечную, ни просто пол подмести, от-вечает дерзко и все только требует, требует, требует. Иринка, подо-шедшая к дверям кухни и слушавшая обличения бабки с насмешливым видом, спросила:

— Что я у тебя требовала? — Голос у нее действительно был дерз-кий и грубый.

— Я с тобой не желаю разговаривать. Матери объясню, пусть голову ломает, как с тобой быть.

— Ах, не желаешь? Ничего я у тебя не требовала.

— Ирина, не огрызайся. Пойди в комнату, дай нам поговорить.

— Ага, я пойду, а она тут будет врать...

— Слышите? «Она», «врать»...

— Ирина, уйди!

— Я уйду, но ты, пожалуйста, ей не верь. Единственное я просила: деньги на «Вкус черешни» в «Современнике». Она не дала. Я заняла у Дашки три рубля. А зимние сапоги, которые она обещала, я все равно знала, что она не купит. Так что ничего удивительного.

— Я, кажется, тебе объяснила, в чем дело, почему я не могу дать денег ни на театр, ни на сапоги,— сказала Александра Прокофьевна.— Спекулянтами никогда не пользовалась и пользоваться не стану, не дождетесь. Подлецов я не поддерживаю. Когда увидишь в магазине хорошие сапоги, скажешь мне, пойдем и купим. Я тебе многократно говорила. Но теперь, впрочем, придется отложить.

Ольга Васильевна почувствовала, как в голову над бровями вступила боль. Ирина ушла. Свекровь продолжала обличать Ирину: доказывала, что плоха, неумна, скверно воспитана и виновата в этом, конечно, мать. От всего этого, что стянулось узлом и выхода не предвиделось, никакого выхода, кроме начинающейся мигрени, которую лечить неизвестно чем, Ольга Васильевна стала ненужно и зло спорить, защищая дочь:

— Вы не видите в ней ничего хорошего. А она нуждается в доброте, в ласке, ведь она лишилась отца...

— Вы смеете мне объяснять!

В узеньких глазках свекрови показались слезы, лицо ее побелело, губы обвисли. Это внезапно изменившееся лицо Александры Прокофьевны как бы подстегнуло Ольгу Васильевну, она поднялась и, стискивая лоб, будто желая удержать рвущуюся наружу боль, а другою рукой потрясая перед собой — самообладание покинуло ее,— заговорила громко, сбивчиво:

— Потому что у вас нет доброты! Вы злая женщина! Но я не разрешу! Я не дам... Если нет отца, вы думаете — некому заступиться? Я... я вам не дам! — Спазма перехватила горло.— Почему вы не дали несчастные три рубля? Боялись, что не верну? Девочка должна побираться, как нищая! Она не нищая, нет! Пока есть мать, она не нищая — вы слышите? Зачем вы лгали и заманивали ее сапогами, будь они прокляты?..

Свекровь, глядя на нее презрительно и брезгливо, качала головой и отступала к двери. Лицо ее окаменело. Ольга Васильевна не слышала своего голоса. Вдруг крик:

— Мама! Замолчи!

Она увидела искаженное страхом лицо дочери. Ирина обняла ее, потащила куда-то. Потом Ирина исчезла, может быть ушла в школу или в магазин, ее не стало, Ольга Васильевна лежала в полумраке, с занавешенными окнами и думала: «Взрослая дочь. Она меня защитит. Не могу без нее. Старухе раз навсегда сказать: не смейте...»

Встала в потемках. Обедала на кухне одна: Ирина убежала в кино. Свекровь доставала что-то из холодильника, молча подавала на плиту. Почему Ирина смылась в кино, зная, что мать так расстроена, что была ссора? Станный характер! Что-то неустоявшееся, гибкое, жесткое, отцовское. Такие же «убеги», исчезновения. Вдруг проявит человеколюбие, откроет умение жалеть и сочувствовать, обнаружит — на миг — взрослый и трезвый ум, а затем ошарашит какой-нибудь полудетской выходкой, капризом или же таким матерым эгоизмом, что оторопь возьмет. Ну да, тянули в разные стороны. От отца слышала одно, от бабки другое. Для Ольги Васильевны главное — научить самостоятельности, независимости от людей. Нет никого жалче тех бедняг, которые зависят душевно от других. Мать Ирины всю жизнь такая. Теперь кончилось. И настигла другая мука: душа независима и пуста.



А у Иринки, при всей избалованности, вспышках эгоизма и грубости, есть эта слабость: незащищенность от чужой воли. Та история с театром в январе, на каникулах. Раньше билеты в театр доставал Сережа. У него сохранились приятели студенческих лет по театральному кружку: один стал артистом Театра Моссовета, другой сделался могущественным театральным администратором. Но вот заставить позволить им было задачей. Как он не любил просить! Наседали на него вдвоем. Долбили неделю подряд. Если удавалось добыть три билета, тогда шли все вместе, если два — он уступал дочери. Иринка любила ходить с отцом: он был щедрее в буфете. И вот после ноября пошла в театр впервые. Билеты достала Даша. И как раз в тот театр, куда Иринка ходила с отцом чаще всего: в Моссовета. Ольга Васильевна беспокоилась, девочке многое там будет напоминать. Сама бы не пошла в этот театр ни за что. Весь вечер Ольга Васильевна изнывала, томилась, звонила Дашининой матери: не будет ли кто девчонку встречать? Мать у Даши поразительно беспечна. Иринка пришла около двенадцати, мрачная, ни слова не говоря, пробежала в свою комнату, ужинать отказалась: «Болит голова!» Ольга Васильевна заглянула через четверть часа: девчонка плакала. Захлестнуло жалостью. Обнимала дочь, гладила, успокаивала и сама едва сдерживалась. А затихнув, Иринка рассказала неожиданное: Даша, оказывается, пригласила в театр еще одну девочку и весь вечер разговаривала с нею, а не с Иринкой. В антракте гуляли под руку вдвоем, а Иринка была как посторонняя. И шептались о чем-то секретно. Иринка так огорчилась, что после театра убежала не попрощавшись. Ольга Васильевна была поражена. Ведь так любила отца! А страдает из-за дрянной девчонки, притворщицы. Примирилась со своей Дашенькой скоро, встретила Ольгу Васильевну счастливая: «Дашка сказала, что Майка дура! С ней разговаривать не о чем. Она Феллини не признает...»

Звон, гром, хлопанье двери, бег по коридору — возвращение из кино в одиннадцатом часу. Не раздеваясь, стоя посреди комнаты и раскручивая длинный шерстяной шарф, дочь сообщила новость: завтра хочет поехать за город дня на два. К Даше на дачу. Понимала, конечно, что наносит удар. Мать истосковалась, хотела провести субботу и воскресенье с дочерью. В глазах Иринки пряталась жалкая шкодливость. Ольга Васильевна старалась не показать ошеломления.

— Сначала разденься.

Иринка разделась, села к столу. Могла бы сесть на диван рядом, но села подальше, к столу, это значило: готовится сопротивляться. Тут вошла Александра Прокофьевна со словами, что чай горячий. Ольга Васильевна спросила, кто собирается на эту дачу.

Последовал пересказ имен, частью незнакомых, человек восемь. Надо же ей немного подышать воздухом для здоровья. Это же необходимо, правда же?

— А школу вы пропускаете?

— Да ну! — махнула рукой. — У нас в субботу один урок. Все болеют, такой ужасный грипп в Москве.

— Какой урок?

— Физика.

— Нет, — сказала Ольга Васильевна. — Мне это не нравится.

— Мамочка, ну почему?

— Пропускать урок — мне это не нравится.

— Но почему, почему? Что такого? Один урок, подумаешь!

— Если не понимаешь, объяснять не желаю. Не нравится мне это.

Ей не нравилось не только это и, наверно, гораздо больше не это, а то, что дочь так легко расставалась с нею, едва встретившись после десятидневной разлуки. Бог знает что. Быть такой тупой, так ничего

не понимать в близких людях. Это от отца. На него находили периоды глухоты. Свекровь стояла рядом и слушала молча. Одобрить Иринкину авантюру она, конечно, не могла, но и сказать два слова в поддержку Ольги Васильевны было свыше ее сил.

— Мало ли что тебе не нравится. Мне тоже, может быть, кое-что не нравится...— Иринка сидела выпрямившись у стола, нога на ногу, с высокомерным видом, глядела в скатерть. Правой ногой она сильно раскачивала. Был как раз тот самый независимый облик, к которому так стремилась Ольга Васильевна.

— Что тебе не нравится?

— Кое-что.

— Например?

— Мало ли... Например, то, что ты часто уезжаешь из дому. То в Челябинск, то в Ленинград.

— Я уезжаю, милая моя, в командировки. Меня посылают, хочешь не хочешь. («Вот уже и оправдываюсь перед ней».) Ты думаешь, я так, по своей воле?

— Знаю, что в командировки, но ведь и самой хочется немного отвлечься, правда же?

— От чего отвлечься? Что ты глупости мелешь?

Но то были не глупости. Кровь прилила к лицу Ольги Васильевны. Свекровь продолжала стоять молча.

— С чего ты взяла, что я хочу отвлекаться? Кто тебе сказал такой вздор? — Ольга Васильевна не смотрела на свекровь, но всем нутром ощущала ее присутствие. Ей казалось, что свекровь улыбается.

— Всем нам, конечно, тяжело без папы,— продолжала бормотать девчонка,— но мы с бабушкой никуда не можем уехать. А ты...

— Что я?

— Ну, делаешь себе такие отдушины... А мне, может, тоже грустно дома сидеть и я хочу отвлечься. Каких-то два дня.

— Дура ты, дура...— слабым голосом сказала Ольга Васильевна, вытирая ладонью глаза.— Я себе в этих командировках места не нахожу, стремлюсь домой... Каждый вечер по телефону... Дни считаю, когда увижу тебя, бессовестную... А ты — отвлечься... Неблагодарный ты человек. Уходи, видеть тебя не желаю!

Иринка выбежала.

Александра Прокофьевна произнесла в пространство:

— Пускать за город, конечно, не следует.

— Почему вы это ей не сказали? — спросила Ольга Васильевна.— Хотите быть хорошей?

Потом стирала до полночи. Иринка, чертовка, ничего своего не выстирала. Да все равно перестирывать, только грязь развезет. На другой день перед школой, уловив минуту, когда бабка отлучилась из кухни, Иринка просила прощения. Как обычно, делала это казенно-жалобной скороговоркой: «Мам, прости меня, пожалуйста, если хочешь, я не поеду», но Ольге Васильевне показалось, что это важный акт смирения. Она простила, сказав, что поговорит с Дашиной матерью по телефону, после чего будет принято решение. Но главное: опять обволочла и обессилила жалость! Опять взглянула на девчонку со стороны, и сжалось сердце: сирота, все одна, одна в своей комнатке, отца нет, мать в разъездах... Как не отпустить? И — отпустила.

Старичок в черных валенках ходил по саду бесшумно, даже листьями не шуршал и все улыбался:

— Бабья лета нынче удалась...

Ольге Васильевне старичок не нравился. Она думала с беспокойством: «Боже мой, но почему же у д а л а с ь?» В том золотом дне, в

глушине сада, в беспамятности старичка была тревога, она ощущала отчетливо, только не могла понять: откуда и почему? Все эти поиски были ненужной забавой. Ну вот нашел замшелого старичка, когда-то служившего в магазине «Жак» на Петровке,— выдернул его, как туза из колоды, ну а дальше? Тот ничего не помнил, не знал, не желал, не ведал, ибо после магазина «Жак» свалилась на него громадная жизнь, как гора камней, и все засыпало и задавило, что едва шевелилось в памяти.

— А господин Жак был знаете какой? Ого! Чуть что не по-ихому...

— А конец февраля! Вы помните?

Нет, ничего не высекалось, не вылущивалось из пещерных недр. Ведь были войны, лихолетья, далекие страны, ледяная стынь, смерти и погубления, а Городец с садиком, с тишиной возник лишь недавно, как поздняя зарница на краю жизни. И то спасибо, господи, за поздноту! Сережа вынул тетрадку с карандашом, да так ничего путного не записал. Дочка старичка, приземистая мрачноватая баба, позвала ужинать на терраску. Там же была невестка этой бабы, медсестра, и двое ее ребят, а вскоре пришел муж медсестры, стариков внук, которого звали Пантюшей, это имя хорошо запомнилось.

Пантюша был сутул, на голову ниже Сергея, черен, броваст, из провальных глазниц так и зыркали злые, колючие, как у крысака, глазенки. То ли был он пьян, то ли болен чем-то, то ли просто злоба кипела в нем и душила его, как иных душит слишком густая кровь. Сначала молчал и все рассматривал Сережины брюки, ботинки, часы, свитер, потом так же внимательно изучал туфли Ольги Васильевны, ее замшевую курточку, тогда еще новую, нигде не засаленную и очень красивую. На курточку смотрел особенно долго. Ольга Васильевна даже подумала: «Неприятно смотрит». Сережа не замечал злобной внимательности Пантюши — как вообще не замечал внешности, взглядов и выражений лиц людей, его интересовали слова — и продолжал упорно добиваться у старичка каких-то подробностей насчет московской охранки. Пантюша вдруг спросил, притрагиваясь к рукаву замшевой курточки:

— И где же такие пиджаки берут?

— Это из Венгрии,— объяснила Ольга Васильевна.

— А! Не наш, значит. Ишь ты, как бархат..

— Да это замша,— сказала медсестра.— Что ж ты, не видишь?

— Я вижу. Я-то вижу.

— Ну и сиди молчи. Руками не трог. Рук не отмыл небось, а на него всякая грязь садится, на замшу. Ах ты горе! Вроде чуток загрязнил!

Она схватила платок, бросилась к рукаву замшевой курточки оттирать. Дети тоже подскочили, сгорая от желания потрогать необыкновенную курточку. Пантюша скрипел зубами. Старичок, как будто занятый беседой с Сережей и к тому же крепко недослышавший, внешне и очень к стати вступил в разговор о курточке:

— Почему у нас нет? В Камергерском переулке, магазин братьев Шульц, «Земииш-ледер» называется... Перчатки, кофры...

Пантюша махнул на деда рукой.

Принесли картошку в чугуне. День неожиданно смерк, зажгли электричество. Сережа начал что-то записывать. Он все старался разузнать насчет пожара в феврале семнадцатого: кто приказал, да кто тушил, да кто тогда командовал. Старичок был ничтожно мал в ту пору, пылинка в бурю, однако прошло пятьдесят три года — пылинка страным образом еще существует, еще пляшет в луче солнечного света, хотя все вокруг смыто, унесено... И Ольга Васильевна понимала, отчетливо с такой жадностью вслушивается Сережа в полувнятное бормотанье. Одно изумляло, и хотелось спросить: как же уцелел? Неужто никогда ничего... не тягали?

— Как не тягать? Это беспрерывно...— говорил старичок, улыбаясь.— То на войну, то излишки... У нас, конечно, специальность хорошая, так что нигде не пропасть... Мы начальство общивали, всегда с куском хлеба... И даже на другой пункт затребуют, а наш начальник, товарищ Гравдин, не отдает, так что ссорились из-за нас...

И старичок подмигивал, радостный.

Пантюша, уходящий куда-то, опять возник за столом.

— Вы чего у деда пытаете?

— У вашего деда богатейшая жизнь,— сказал Сережа.— Разговариваем о жизни...

— А записываете на кой?

— Я историк, мне все это важно для истории.

— Какой еще истории?

— Истории февраля семнадцатого года. Февральской революции и всего, что с нею связано. Это сложный, еще не полностью изученный период, и каждое новое свидетельство для нас ценно. Так что вы извините за то, что мы вам надоедаем, мы скоро уйдем.

Сережа говорил спокойно, терпеливо, но тот хотел ругаться. Стал вдруг кричать:

— Нё хрена выпытывать! Будя! Историки, туды вас! — И тряс перед лицом Сережи узластым пальцем.— Я вам не позволяю!

Мать и жена успокаивали Пантюшу, но как-то робко. Ольга Васильевна испугалась. Надо было уходить. Но Сережа никогда не мог уйти вовремя, ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснить или же доругаться. И он вдруг, побагровев шеей, надувшись, пустился с пьяным дураком объясняться, что есть история и зачем она нужна. Пантюша слушал усмешливо и враждебно и, возражая, тряс пальцем:

— Да мы в школе эту историю читали. Зна-аем! Чего вы мне мозги пудрите? История, история... Хватит, есть одна история, а больше не нужно.

— Послушайте, Пантелей, вы кем работаете, собственно?

Когда Сережа разговаривал с простыми людьми, в особенности когда затевал с ними спор, у него возникал почему-то неприятный высокомерный тончик, по-видимому невольный, но людей раздражало. Пантюша грубо ответил: какое, мол, дело, где работает? Может, на Богородском кладбище за трояк могилы копает. А вы, случаем, не из милиции или из ОБХС проверщики? Все это говорилось с угрозой и с трясением уже не пальца, а кулака перед носом Сережи. Ольга Васильевна тянула Сережу из-за стола. Но тот упорно сидел, втягивался в скандал.

— Нет, послушайте, я вас, кажется, ничем не обидел... Просто интересно — за что вы на меня взъелись?

— Да на хрена мне твоя история! Нечего выпытывать!

— История не моя, она и ваша тоже и вашего деда. Она принадлежит всем. Вот, к примеру, село Городец очень древнее...

Медсестра шептала Ольге Васильевне, чтоб на мужа не обижались, он чумовой, у него голова слабая, и, если выпьет, обязательно начудит и к людям пристанет, за что его бьют тяжелым боем, а работает он механиком на элеваторе и вообще хороший человек. Старичок Кошельков, давнишний сотрудник московского охранного отделения, столь давнишний, что это потеряло теперь всякий запах и цвет, перегорело и выдохлось, дремал безмятежно, опустив на грудь голову в венчике младенческих белесых волос. Сережа что-то рассказывал о здешних князьях, о татарах. Ребятишки слушали. Пантюша щурил бешеный, неподкупный глаз:

— А ежели по шее? А? — Скрипел зубами.— Во будет история...

До автобусной станции идти было долго, шли впотьмах. Ольга Васильевна дрожала то ли от страха, то ли от холода. Золотой день сменился осенним ледяным вечером. Она Сережу торопила, а он еле шкандыбал, разморившись от водки, и благодушествовал, и болтал, радуясь своей удаче со старичком. Ей это казалось вздором. Кому все это нужно? Лаяли собаки, некоторые, особенно злые, выскакивали на дорогу и бежали следом, он на них замахивался, швырял камни, они свирепели пуще.

— Перестань! — просила она.

Но он как будто получал удовольствие от войны с собаками. Каждую минуту могли появиться из темных дворов какие-нибудь парни с батогами, с вилами. Ох, как она на него сердилась! Все было нелепым мальчишеством: поездка, сиденье до ночи, разговоры со стариком, выжившим из ума.

— А-рр! А-рр! — дразнил он собак и хохотал, слушая лай.

«Боже мой, — думала она, — и этот человек, почти пожилой, почти кандидат, почти ученый... Нет, ничего не добьется». Эта догадка, смешанная со страхом, пронзила ее в тот вечер на черной улице, где он сражался с собаками. Их окружала уже целая свора от здоровенных псов до визгливых малявок, которые прыгали вокруг них, как блохи. И вдруг — спасение — треск мотора и, разгоняя псов и слепя фарой, подкатил сзади и остановился мотоцикл.

— Садись! История! — гаркнул Пантюша. Белый мотоциклетный шлем и белые перчатки с крагами, как у милиционера, светились в темноте. — Айда до электрички, до Вороновской, докачу! Семь километров, это мы сейчас!

Ольга Васильевна колебалась, все-таки чумовой да и пьян, но Сережа уже толкал силой в коляску, сам влез на багажник, обхватил недавнего супротивника под мышками, как лучшего друга — мужчины, конечно, поразительны в том смысле, как легко их мирит и сплавливает хмель и как быстро они прощают друг другу оскорбительное, — свистнул по-бандитски, как не свистел много лет, и — помчались. Путешествие было недолгое, каких-нибудь четверть часа, но незабываемое. Ольга Васильевна полагала, что живыми из этой переделки не выйти. Бросало, кренило, дергало, зубы колотились, хотела крикнуть, но не могла разжать рта и набрать достаточно воздуха, и самым ужасным был страх за Сережу, который все норовил приподняться на своем багажнике и, выкидывая вверх руку, кричал громовым, парадным голосом: «Славным труженикам Городца — ура-а!» — или: «Героическим колхозникам села Барановка — ура-а!» Пантюше эти лозунги, как видно, нравились, он тоже кричал ура, а дорога была мутна, призрачные избы летели навстречу, мелькали столбы, озаренные на миг, какие-то тени шарахались в кювет. «Одиноким прохожим — ура-а!» — орал Сережа и махал шарахающимся рукою с кепкой.

Ольге Васильевне было страшно, но она смеялась про себя, даже плакала от смеха, а может быть, от того, что переполняло ее тогда. Она и сердилась на него и любила его. Недолго этому крикуну, неизжитому мальчику оставалось шуметь на земле. Климук вдруг потребовал, чтоб Сережа подтвердил, что Кисловский просил у него документы для своей диссертации, а взамен обещал поддержку во время защиты — так оно и было, наверно, но ведь Сережа знал об этом только от самого Климуга, тот был посредником, а теперь почему-то перевернулся на сто восемьдесят градусов и плел сеть на Кисловского. Сережа не умел интриговать, его это отвращало и злило, и он от злости совершал нелепейшие поступки. Господи, если бы он тогда объединился с Климуксом! Тот его так просил! Все могло бы сложиться иначе. Он бы остался жить. Он бы прекрасно жил, работал, шутил, ка-

тался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх. Но неизвестно отчего умирают люди. Неожиданно что-то иссыкает, благо жизни, как говорил Толстой. Благо его жизни еще длилось, он еще тормозился, еще чего-то хотел, стремился куда-то.

Он еще мог знакомиться с новыми людьми и приобретать, как ему казалось, новых друзей. Вдруг появилась Дарья Мамедовна. Вспоминать о ней тягостно. Но и отвязаться нельзя. Эта женщина впервые и по-настоящему напугала Ольгу Васильевну, потому что вдруг отчетливо представилось, как Сережа исчезает — с ней. Он и исчез потом, и она оказалась дальней виновницей, той точкой несчастья, из которой размоталось потом все непомерное несчастье, как буран в «Капитанской дочке», разросшийся из чуть заметного облачка. Люди в долгой жизни окружают нас какими-то скоплениями, друзьями: внезапно кристаллизуются и внезапно пропадают, подчиняясь неясным законам. Когда-то были друзья юности вроде Влада, студенческие компании — сгнули без следа; потом Суцневская, художники, старики, пьянчужки, Валерка Васин с Зикой — тоже канули в воду; потом люди из музея, те, другие, Илья Владимирович — точно не было никогда! Потом институтские, васильковские — теперь уж и эти провалились в тартарары... А потом Дарья Мамедовна со своими умниками...

Как только Ольга Васильевна увидела в первый раз зеленоватосмуглые щеки, белки с синевой, смоляные гладкие волосы без единого завитка, без волнистости, как облитую водой маленькую змеиную голову, сердцем почуяла: беда! Сорок с небольшим, а фигура двадцатилетней девицы. Но не фигура тут была страшна, не смуглота, не ноги стройные, а та слава, что шла о ней и раздувалась подпевалями и дружками, шарлатанами разных мастей: о том, что будто бы умна необыкновенно. Чепуха это! Выдумка! Ольга Васильевна видела ее несколько раз, в гостях, в театре, и у Лужских и однажды даже в собственном доме, и разговаривала с нею на всякие темы от ее излюбленной парapsихологии до современной поэзии, и поняла скоро: королева-то голышом. Все показное, нахватанное, приблизительное, но при этом, конечно, самоуверенность адская и манера выражаться твердо и категорично, как бы вынося приговор, который обжалованью не подлежит. Неприятнейшая особа. Но какие-то дураки на нее клевали.

Ну, подумаешь, кандидат наук, почти доктор — забавно, что про нее так и говорили, вероятно, сама такую аттестацию про себя распустила: «без пяти минут доктор» — ну, философ, психолог, передрала массу книг, язык хорошо подвешен, но ведь это не все. Можно нафаршировать себя информацией, но ума не прибавится.

Было шесть лет со дня Фединой смерти, Луиза пригласила друзей: Лужских Борю и Верочку, Щупакова с его Красиной, еще кого-то из института и Генку Климука с Марой. Сережа с Климуком уже были почти врагами. Луиза из-за этого нервничала, советовалась с Ольгой Васильевной по телефону: как быть? Не позвать Климука было невозможно. Он ведь изменился как раз после Фединой смерти, а при жизни Феде вел себя сносно и Луиза знала его как доброго малого, старого приятеля. Сережа сказал:

— Черт с ним, пусть приглашает, я его трогать не буду.

Луиза Сережу любила, и, разумеется, он был для нее самым дорогим гостем — потому что и Федя его любил, — но Климук тоже был товарищем Феде, спутником в последней поездке и, кроме того, организовал Луизе какую-то помощь от института. Устроил единовременную безвозвратную ссуду — и, как Ольга Васильевна потом узнала, сумма была не маленькая, вдвое больше, чем получила она, — и каждое лето отправлял Фединых детишек в институтский пионерлагерь. В общем, не пригласить его она не могла.

— Я знаю, его многие не любят, считают подонком, но ко мне он хорош. Не могу же я быть свиньей,— объясняла она Ольга Васильевна.— Каждый Новый год присылает открытки. И в Федин день рождения поздравляет, даже цветы привозил. А Сережа забывает...

Сережа забывал. Были случаи, забывал даже Ольгу Васильевну поздравить с днем рождения, а уж путал день — вместо 4 июня поздравлял 3-го — постоянно. Климук ничего не перепутает. Зачем-то ему было нужно быть с Луизой хорошим. Кажется, Луиза надеялась, что Климук поостережется садиться с Сережей за один стол, пить с ним водку и под каким-нибудь предлогом не явится. Но тот явился. Маре хотелось покрасоваться перед бывшими подругами, рассказать о новой квартире, голубом кафеле, обоях под дуб, о причудах спаниельчика Рэди и, конечно, о зарубежных впечатлениях — много всего накопилось, пока не виделись. А не виделись правда давно. Все как-то пожухли, потускнели. Красавица болгарка Красина, жена Щупакова, пожелтела лицом. Боря Лужский, врач-психиатр, с которым Ольга Васильевна так любила разговаривать, превратился в подсохшего пожилого человечка, к тому же в тяжелых американских очках, которые его старили. Борина жена Верочка жаловалась на печень и ничего не ела. Но заметней всех изменилась Луиза, похудела, ссутулилась, и платье на ней было такой чудовищной пошлости и дешевизны, что Ольга Васильевна ужаснулась: женщина махнула на себя рукой! Было ее очень жалко. Она, конечно, натужилась из последних сил, чтобы пригласить людей и угостить как следует, стол был богатый, но по жадным глазам детей, по тому, как они таскали потихоньку с тарелок то кусочек ветчины, то сыр, видно было, что едят такое не часто. Водки было две бутылки, раньше бы вмиг осушили и уже гоняли бы за добавком, а теперь насили за вечер «усидели» одну, и ту без охоты: у одного гипертония, другому ночью доклад писать, Климук и Боря Лужский за рулем. Сережа, конечно, не отказывался, но больше всех налегала Мара. Она была, кажется, единственной, кому шестилетие пошло впрок: налилась соком, раздобрела, стала плотной, холеной дамочкой, ее круглое малиновое от водки личико сияло, выражая полное удовольствие жизнью. Ольгу Васильевну она раздражала. Не хотелось с нею разговаривать, а уж тем более слушать ее хвастовство.

Как только та заводила что-нибудь про спаниельчика Рэди, понимающего сто сорок слов, или про свои путешествия: «(Представляете, ужас, идем в Ницце по бульвару...)» — Ольга Васильевна нарочно громко перебивала ее, прося передать блюдо, или включить телевизор, или еще что-нибудь. Конечно, это было грубо, но Ольга Васильевна не могла себя побороть: слушать самодовольную Мару было несносно. И она и Климук как будто напрочь выкинули из головы, что Сережа долго добивался поездки во Францию, она была ему необходима, но у него почему-то не вышло, а эта трясогузка — ничтожество, нигде не работающее,— уже побывала и в Ницце, и в Париже, и в Риме, черт знает где. Ну хорошо, исхитрились, словчили, но имейте же чувство такта, не хвалитесь на всех углах, тем более при Сереже.

Сережа, впрочем, как будто не слушал всей этой заграничной брехни, думал о своем, но Ольга Васильевна на Мару злилась. Люди, которые по мере житейских успехов обрастают все более толстой кожей, были всегда неприятны, и она старалась держаться от них подальше. Раньше она относилась к Маре терпимо, даже добродушно. Та казалась жизнерадостной полудурой, далекой от фокусов и интриг, которыми занимался муж. Но вот обнаружилось: с каким аппетитом пожираются плоды этих фокусов и интриг!

— Луизочка, киска, у тебя все очень вкусно,— снисходительно

одобряла она, беря из вазы фрукты.— Почему мы перестали обща́? Давайте обща́!

Дети с тоской смотрели на то, как сочные груши конвейером, одна за другой исчезают в зубастом рту толстой малиновощекой тети в голубом парике.

А Климук был мрачноват или, может быть, переполнен чувством собственной значительности: не разговаривал помногу, как обычно, не балагурил, а когда Луиза принесла гитару — знаменитую Федину, на которой тот чудесно играл, — и попросила спеть любимую Федину «Быстро, быстро донельзя», Климук сказал, что такими делами больше не забавляется, просит уж извинить, голос сел.

Слишком большой человек, чтобы петь под гитару песенки неясного содержания, как студент в электричке. Вот если бы что-нибудь вроде «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Это уж Сережа после издевался над ним, дома, вспоминая все перипетии вечера, окончившегося ссорой и руганью. Было ужасно, что не смогли сдержаться и наскандалили в такой день. И Сережа был виноват не меньше Климука. Вначале все было тихо-мирно, они просто не разговаривали, сидели на разных концах стола. Их отношения еще не были смертельно враждебными, какими стали потом, но они демонстративно презирали друг друга: Сережа презирал его за карьерность, а тот его за якобы завистливость. Он ведь считал, что Сережа не может пережить его, Климука, сказочный взлет.

Все бы кончилось благопристойно, тем более что Климуки собирались рано уйти, если бы не одна институтская дама — имя забылось, — дородная, черновато-седая, которая стала вдруг с нажимом, очень пылко восхвалять Федино бескорыстие и неумение жить.

— Таких людей сейчас просто нет! — восклицала она. — Федор Александрович был в этом смысле уникальный человек. Ведь он ничегошеньки, ни вот столечко себе не урвал.

Голос дамы дрожал от волнения, она, конечно, преувеличивала, Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала. Еще кто-то заговорил на эту тему, стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления, — его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно расплакалась и стала жаловаться на все подряд: куда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, все хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что.

— О себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других, — шептала Луиза, поникнув головой, заметно поседевшей.

Никто не хотел этих слез, жалоб. Спокойствие было подорвано, заговорили разом, охваченные порывом любви к Феде, такому чистейшему, не похожему на обыкновенных людей — боже мой, непомерное преувеличение, но в тот миг казалось, что прикоснулись к самой истине! — растроганные горем этой женщины, обликом бедноватой квартиры со старыми вещами и, наверное, подогретые рассказами Мары о климуковском процветании... А как будет выглядеть ее собственная квартира через шесть лет?

Получилось так, что, восхваляя Федю, невольно метили в Климука. Тот напружинился, тоже пел про Федю что-то хвалебное, но в голосе была трещинка. Все катилось ко взрыву. Бородатый Щупаков, Федин друг школьных лет, как человек посторонний, поинтересовался наивно:

— Разве ученый секретарь имеет какие-либо особые возможности?



Вероятно, был не так уж наивен, просто первым нанес удар. Черновато-серая дама немедленно отозвалась:

— А как вы думаете?

— Я не знаю, посему интересуюсь.

— Возможности немалые. Да вот Геннадий Витальевич сидит перед вами, он подтвердит, я думаю.

Климук честно округлял глаза, мотал головой и признавался, что при всем желании не может понять, о каких возможностях речь:

— Ну, ей-богу не могу догадаться...

— Да как же так, Геннадий Витальевич? У вас же все в руках! — искренне изумлялась дама.

— Что у меня особенное в руках? — Климук смеялся. — Вот уж не знал!

— Да все, все! Абсолютно все!

Дама тоже смеялась несколько льстиво. Климук пожимал плечами. Все могло уйти в шутку, в болтовню, но Сережа вдруг совсем иным тоном — твердым и хамоватым — сказал, что Федина талантливая диссертация нигде не напечатана, а твоя, мол, крайне посредственная, вышла уже двумя изданиями, в сборнике и отдельной книгой.

Климук сделал вид, что не слышал. Даже не посмотрел в Сережину сторону. Последовали чьи-то реплики, не относившиеся к делу, после чего Климук произнес со вздохом:

— Жаль мне тебя, Сергей... Как трудно, должно быть: все время следить за чужими успехами!

Было сказано беззлобно, как бы с сочувствием. Сережа взорвался: какие успехи, черт побрал? Да плевать хотел! Не успехи, а дерьмо! И еще что-то яростное, комом, криком. У Луизы побелело лицо. Ольга Васильевна махала руками Сереже, чтоб замолчал. Она испугалась за него. Мара ринулась защищать мужа и верещала, как на кухне. Кто-то из институтских — и дородная дама с пылкостью — ополчились на Сережу. Климук улыбался мстительно. Дородная дама восклицала:

— Непарламентские выражения! Вы допустили непарламентские выражения!

Климук и Мара ушли. Вскоре ушли и другие институтские. На их лицах, когда прощались с Сережей, было напечатано осуждение. А дородная дама — которая, как выяснилось, была важной функционеркой, членом какой-то комиссии, — шептала озабоченно:

— Сергей Афанасьевич, должна вас огорчить: это называется *casus belli*!

Сережа усмеялся беспечно:

— А, черт... Пускай!

У него сделалось веселое настроение.

Он стал разговорчив, шумлив, рассказывал, изображая забавно — как он умел, — про поездку в Городец и встречу со стариком Кошельковым, Луиза успокоилась, все подобрели, Щупаков с Красиной были, конечно, на Сережиной стороне. И неприятное, с криком, как-то сгладилось и заслонилось иным — забыть нельзя, но старались забыть, — и вот тут-то впервые возникло имя Дарьи Мамедовны. Сережа говорил, что в списке секретных сотрудников охранного отделения были три нераскрытых крупных фигуры, обозначенных кличками. Вероятно, с ними или с кем-то из них связаны аресты в 1916 году. Эти темы занимали его постоянно. Ольга Васильевна даже подшучивала над ним:

— Ты кто, историк или частный детектив?

И так как перед этим Красина, милая и добрая женщина, но не слишком далекая, рассказала об одной крестьянке из горного села на юге Болгарии, которая обладает даром провидения и какими-то дру-

гими парапсихологическими талантами — настолько удивительными, что к ней приезжают из-за границы, и знакомая Красиных получила от нее точный ответ по поводу своего погибшего таинственным образом друга, — кто-то шутя сказал: а вот обратиться к такой пророчице и спросить бы по поводу секретных сотрудников! Вдруг откроет секрет? И совсем уж смехом кто-то предложил: а если спиритическим сеансом вызвать дух полковника Мартынова и все у него вызнать? Тут Боря Лужский и рассказал про Дарью Мамедовну. Это уж без шуток, она занимается парапсихологией всерьез, а заодно интересуется всякого рода оккультизмом, восточными магами, медиумизмом и прочими темными делами. При этом в высшей степени образованна, знает четыре языка, выступает с лекциями. Отец ее кавказский человек, оттого она Мамедовна, он был врач-гомеопат, очень богатый, умер во время войны, а мать из дворян.

Так заинтриговал, что все стали требовать, чтобы с нею познакомил, привел бы к кому-нибудь из общих знакомых в гости. Особенно горячился Сережа, еще бы, экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор! Боря обещал непременно это сделать. Его жена Верочка охладила общий энтузиазм, сказав, что Боря сам знает Дарью Мамедовну едва-едва, познакомился у Костиных, это молодые физики, очень талантливые, и вряд ли мимоletное знакомство позволит пригласить эту женщину в дом.

То, что Верочка назвала Дарью Мамедовну холодновато этой женщиной, еще более насторожило Ольгу Васильевну. Значит, и Верочка чувствует тут опасность. А Верочка не станет неспроста опасаться, она рассудительная, умная. Ольга Васильевна спросила:

— Вера, а ты знакома с Дарьей Мамедовной?

— Видела один раз. Вот тогда, у Костиных.

— Ну и что? Восточная красотка?

— Да нет, пожалуй... — с запинкой ответила Верочка. — То, что называется на любителя. Но наш Боря как раз любитель. По-моему, она его сразила наповал.

— Боря, немедленно знакомь! — дурачился Сережа. — Какой же ты товарищ? Как тебе не совестно?

— Не суетись, ты там не проходишь.

— Я не прохожу? А кто же — ты проходишь?

— Я под вопросом. Но все-таки есть шанс. Потому что я занимаюсь психиатрией, это ей близко. А ты, мой милый, со своей историей Февральской революции там даром не нужен...

Так они юродствовали и болтали, а у Ольги Васильевны сердце замирало от недоброго предчувствия. Выяснились подробности: ей сорок с чем-то, но прекрасно выглядит, очень спортивная, плавает в бассейне. Была замужем, муж погиб. В прошлом году появилась в «Науке и жизни» ее статья о парапсихологии, что-то вроде «Таинственное вокруг нас», журнал нельзя было достать, в библиотеках записывались в очередь. Боря грозил Ольге Васильевне пальцем:

— Оленька, этот тип нацелился всерьез. Ты за ним приглядывай...

Все хохотали. Ольга Васильевна изо всех сил стремилась улыбаться и отвечать в таком же игривом тоне. Прошло месяца три. Ничего о Дарье Мамедовне не было слышать. Потом Ольга Васильевна узнала, что Сережа с нею познакомился, он сказал об этом мимоходом, небрежно, как о факте совершенно незначительном. Может быть, так и считал сам, а может, притворялся. Рассказывая о выставке художника Преснина, анималиста, обмолвился:

— Кстати, познакомился там с этой Нигматовой.

— С какой Нигматовой?

— Да с этой, с Дарьей Мамедовной, о которой — помнишь? — Боря рассказывал у Луизы...

Еще бы не помнить! Она обомлела. Женя Преснин, оказывается, знал ее мужа, художника. Это что же, было заранее договорено? Ничего подобного, случайное знакомство. На роковую женщину не похожа. Какая-то сухонькая, поджарая, на цыганку смахивает. Говорила, что сейчас ее повсюду ругают, громят. После вернисажа Женя устроил аляфуршетик для своих, там были знакомые из дома на Суццевской. Кто-то сказал, что Георгий Максимович болеет...

Слова про отца Ольга Васильевна расценила как дымовую завесу и вовсе на них не отозвалась. Она знала от матери — разговаривала чуть ли не каждый день по телефону, — что у Георгия Максимовича нехорошие анализы, он слабел, жаловался на боли, и, вероятно, его положат в больницу. Все это было известно, и Ольга Васильевна очень жалела Георгия Максимовича и волновалась за мать. Но сейчас поразило другое: какой-то аляфуршетик, где Сережа познакомился и разговаривал с этой особой. Ольга Васильевна еще не знала ее, ни разу не видела, но при упоминании имени испытывала какое-то странное астматическое раздражение, вроде легкой одышки. В чем тут было дело? И вот в таком состоянии раздражения, слегка задыхаясь, она стала упрекать его за то, что, пользуясь вольным режимом дня и тем, что она занята на работе от звонка до звонка, он шатается один — к друзьям, на выставки, заводит знакомства. Точно холостой...

Пошлые слова, пошлые мысли... То, что она говорила, было постыдно... Но ведь это была болезнь, это была аллергия, несовместимость. Она задыхалась и не могла себя победить.

Зимой приехала тетя Паша из Василькова со слезами: Николай под арестом, будет суд, парню грозит большой срок. Семковские с васильковскими разодрались в клубе, а Колька как бригадмил хотел разнять и одного семковского срубил. Тот едва не помер, сейчас в больнице. Отходили, спасибо врачам. Он этого семковского сроду не знал, слыхом не слыхивал, и вот на ж тебе — несчастный случай. Чем срубил-то? Да топором. Хотел, конечно, разнять как бригадмил, а они, козлы пьяные, на него кинулись, он и маханул. Александра Прокофьевна заметила, что топор — странное оружие для бригадмила.

— А, забыли? — сказал Сережа. — Дом-то с топориком, помните?

Тетя Паша плакала, просила помочь. Адвоката нанять, пускай хоть сколько возьмет, она денег достанет, корову продаст, мотоцикл продаст. Александра Прокофьевна стала суетиться. Хотя дело казалось ей безнадежным. Ездил в Васильково и в райцентр Рябцево, где он сидел под арестом, разговаривала со следователем, с начальником милиции. И после первой же поездки (было глубокой осенью, в конце ноября, погода стояла отвратительная, внезапный холод и мокрый снег, все уговаривали ее не ехать, Сережа кричал на нее: «Я тебе запрещаю! Думать не смей! Ты старуха и должна вести себя как старуха!» — такие грубости позволял себе не часто, это уж с перепугу, она отвечала: «Никогда не буду вести себя как старуха, и если обещала человеку, женщина меня ждет, значит, я должна ехать», он еще покричал, погрозил и поехал в институт, уверенный, что мать не совсем уж свихнулась и останется дома, Ольга Васильевна ушла на работу, Иринка в школу, а старуха взяла зонт, надела свой туристический наряд времен наркома Крыленко, резиновые сапоги и отправилась на вокзал, — и вот вернувшись вечером, измученная и продрогшая, похожая на жалкое, страховидное чучело, она рассказала, что дело обстоит совсем не так, как изобразила тетя Паша. И хуже и лучше. Сережа был рассержен на мать, не захотел слушать и нарочно вышел из-за стола, а Ольга Васильевна всегда была для старухи не луч-

шей собеседницей, поэтому свекровь стала все рассказывать Иринке. Голос ее звучал, как ни странно, бодро.

Она узнала вот что. Колька был, конечно, так же пьян, как остальные, но драка затеялась не на пустом месте. Замешана некая Тамара. Семковские приставали к ней, хотели мстить за то, что бросила одного семковского ради Кольки. Этот тихоня Колька, болезненный и невзрачный, хороводился со многими девками и считался почему-то завиднейшим женихом. Тамара от него как будто уже и ребенка ждала, но теть Паша полагала, что врет, и Колька на ней жениться не собирался.

— Я ее убедила, что нужно стоять как раз на противоположной позиции, ты понимаешь? — объясняла Александра Прокофьевна Иринке. — Только тут наша надежда. В припадке ревности и защищая честь матери своего будущего ребенка...

Она говорила с Иринкой как со взрослой. А девчонке было тогда четырнадцать лет. Ольге Васильевне это не нравилось, но ведь сделать замечание невозможно, тут же обиды, резкости. Она терпела эту нудню с Колькой, разговоры свекрови, ее суету, звонки, телеграммы — та влезла в дело всерьез и действительно нашла адвоката, бойкого старичка по фамилии Луповзоров, — и постепенно все более удивлялась: откуда такое рвение, такой пыл в защите чужих людей? Кто такие для нее, да и для всех тетя Паша и Колька? Случайные домовладельцы, хозяева дачки, дравшие за лето вполне безбодно. Говорить с ними было не о чем. И Александра Прокофьевна редко с ними разговаривала, лишь иногда их поучала. Конечно, Кольку было жаль...

События эти совпали с тяжелой болезнью Георгия Максимовича, маемой матери. И с нависавшею тенью Дарьи Мамедовны. Ольга Васильевна нервничала из-за всего. Ее раздражали беспомощность матери, эгоизм дочки, невнятная жизнь мужа — что он делает днями, когда она на работе? — и теперь еще хлопоты по чужим делам вздорной свекрови. Вместо того чтобы как-то помогать по хозяйству, содержать дом в чистоте... Пойти на родительское собрание в школу, как делают все бабушки и дедушки, когда родители заняты... От Сережи не дождешься, а Ольга Васильевна валилась с ног... Оплатить хотя бы жировки в приходной кассе днем, когда мало людей, — разве трудно? Все трудно. Намного трудней, чем ехать в дурную погоду за город на электричке, месить грязь на проселочных дорогах, высиживать в судах ради малознакомых и, в общем-то, далеких людей. Тут было много показного. Как всегда в этой женщине.

И как-то в крайнем раздражении от всего этого — не в раздражении, а в приступе усталости, такой тотальной, когда голова перестает соображать и ты поддаешься всем подкорковым раздражителям сразу, — она сказала ему, что судьба Кольки интересует ее гораздо меньше, чем болезнь Георгия Максимовича. И пусть уж Александра Прокофьевна со своим показным человеколюбием оставит ее в покое. Это было несправедливо. Александра Прокофьевна меньше всего надоедала ей, но Ольга Васильевна слышала постоянные консультации по телефону, подробнейшую информацию за ужином, и еще Сережа пересказывал то, что слышал от матери. А кроме того: она только что пришла с Суцневской, где мать бесцельно металась и мучилась в горе, видя, как гибнет родной человек. Георгий Максимович был уже полмесяца в больнице. Ему становилось все хуже. Операцию сделали три дня назад, делал профессор Родин — известный специалист, и больница была хорошая, устроили туда с трудом через Влада, было сделано, что в человеческих силах, и все же мать себя терзала: ей казалось, что надо было дать профессору Родину двести рублей перед операцией. Кто-то сказал такую глупость. Она не дала ничего. Потому что сказала поздно. И теперь ее грызла мысль, что из-за этого, может быть,

операция не принесет избавления. Профессор Родин был с нею как-то сух, жестковат и сказал: «К сожалению, не могу вас обнадежить, хотя и не могу сказать, что конец».

Мать была убита этой фразой.

— По-моему, издевательство так говорить с родственниками! — возмущалась она сквозь слезы. — Кто дал ему право... Он говорил со мной как чиновник...

И тут же винила себя и ругала за слабодушие, за то, что язык не повернулся предложить профессору Родину деньги. Потому что, хотя ей сказали поздно, она и сама раньше об этом думала, но не могла решиться. Теперь, после операции, нужно было достать редкое швейцарское лекарство эритрин. Надо было обзванивать людей. Мать обесилела, лежала с тахикардией, и Ольга Васильевна провела два часа у телефона. Некоторые обещали узнать, поспросить, но большинство говорили, что сами ищут редкие лекарства и не могут достать. Ольга Васильевна вернулась с Суцевской часов в девять вечера, выпила чаю и собралась позвонить матери, потому что ушла от нее с тяжелым сердцем. Просто узнать, как самочувствие, утихла ли тахикардия. Но пробиться к телефону было невозможно.

Александра Прокофьевна разговаривала с адвокатом Луповзоровым. Это продолжалось ровно сорок минут. Наконец Ольга Васильевна подошла к старухе вплотную и шепотом сказала, что ей нужно срочно звонить. Свекровь недовольно кивнула и, поговорив еще с минуту, повесила трубку.

— Александр Иванович рассказывал о суде. Для меня это очень важно! — сказала она строго.

Ольга Васильевна ответила тоже строго:

— А мне — позвонить маме. Она плохо себя чувствует.

Нет, свекровь не спросила: что с Маргаритой Николаевной? не нужна ли помощь? какое-нибудь лекарство? Кое-что она могла доставать в одной поликлинике на Кировской. Эритрин вряд ли. Но ведь можно спросить. Она не относилась к матери враждебно, никогда с нею не ссорилась, если и бывали сдержанные споры, то в давние времена, когда мать занималась Иринкой и Александра Прокофьевна поучала ее. В те дни на почве обоюдной экзальтации и любви к младенцу закипали иной раз крохотные смерчки. Все давно забылось. Теперь наступили времена покойного равнодушия. Любой посторонний, нуждавшийся в т о в а р и щ е с к о й п о м о щ и, был для нее ближе, чем мать невестки.

Вот после той секундной стычки у телефона, ничем не кончившейся, Ольга Васильевна, придя из коридора в комнату, и сказала про «показное человеколюбие». Сережа тут же вскинулся, как зоркий полевой с ружьем:

— Парень получил вместо семи лет три! Это что? Показное? Нет, моя милая, это истинное... тебе недоступное...

Она что-то ответила. Потому что уж очень он вскинулся. Очень уж встал на защиту матери. Ну, может, она была не права, даже наверняка не права, свекровь помогала людям порою от чистого сердца — не могла иначе, это привычка, воспитание, а вовсе не заслуга, — но ведь нужно было понять, в каком состоянии Ольга Васильевна вернулась с Суцевской. А он решил обидеться. Вдруг увидела, что он входит в комнату в пальто, в шапке, с тем выражением угрюмой окаменелости и стиснутых челюстей, какое появлялось у него в минуты крайней обиды, и кружит по комнате, ища чего-то.

— Ты куда?

— К Федорову.

Нашел, что искал — портфель, — и бросил туда какие-то бумаги.

Федоров был его приятель по музею, пустой малый. Из тех болтунов, к кому он странным образом лепился и которые его самого тянули вниз. Слава богу, встречаться стали реже, потому что Федоров переехал куда-то в страшную даль, за Кузьминки. Она спросила: что за срочность? Никакой срочности, просто обещал приехать. Помолчав, добавил: там будет Дарья Мамедовна. Оказывается, Федоров ее прекрасно знает. Она придет поздно, после лекции. Это известие произвело на Ольгу Васильевну такое впечатление, будто в соседнюю комнату влетела шаровая молния и стало видно, как комната озаряется светом, и слышно потрескиванье.

Ослабшим голосом — ей показалось, что все кончено, он уходит навсегда, — она спросила, как он думает возвращаться. Был одиннадцатый час. Он сказал, что останется там ночевать. Он говорил спокойно, даже несколько ворчливо, как будто она приставала с пустяками, и у нее сил не было возмутиться и закричать: да что это, черт возьми, за бардак? Почему ты уходишь из дому ночевать черт знает куда?

Он держался как человек, делающий нечто совершенно естественное: разумеется, ехать в половине одиннадцатого куда-то за Кузьминки — это значило остаться там спать. Что странного в том, чтобы переночевать иной раз у приятеля? Да ничего странного, боже мой! Но в и х ж и з н и такого заведения не было. Никогда еще не было. И вот он, воспользовавшись обидой, как-то спокойно и нагло вводил это новшество. Она молчала, ибо все это ошеломило ее, в особенности Дарья Мамедовна.

Он сказал: «До свиданья!» — и вышел.

Раньше, бывало, ругались, ссорились из-за чего-то отчаянно, он уходил, уносился, или она уносилась к матери, но такого — чтоб тихо, без шума, взял портфельчик, сказал «до свиданья»... Как разлука чужих людей: на часок или на всю жизнь, это безразлично.

На похоронах Георгия Максимовича она рыдала неудержимо, почти в бесспамятстве — холодная весна, орали галки над крематорием, — ее держали, чтоб не упала, упасть хотелось, продолжение жизни не имело смысла, накануне он сказал «может быть» и опять ушел до ночи. Он требовал, чтобы она прекратила его мучить. Нельзя было сказать простой фразы, сделать ничтожное замечание: тут же схватывался и уходил. Она спросила всего лишь:

— Может, у тебя роман с этой Дарьей?

То уходил к Федорову, то еще куда-то. Говорил, что парапсихология интересует его всерьез, и верно, читал старые книги, какую-то чепуху вроде «Голоса безмолвия» Блаватской, журналов «Ребус» и «Вестник загробной жизни» — кто ему давал? — и новые американские, английские журналы, сидел со словарем, делал выписки и сам шутил над собой, но ей было не до шуток. Она, как биолог, прекрасно знала цену всем этим бредням. А его запутывала женщина. Она хотела получить над ним власть.

— Зачем тебе это нужно?

— Низачем. Я хочу понять, чем люди занимались в течение тысячелетий. Кроме того, мой полковник Мартынов был спиритом и состоял членом тайного кружка. В связи с этим имел даже неприятности в шестнадцатом году...

Когда он как бы шутя рассказал, что был у Федорова на спиритическом сеансе и они вызвали дух Победоносцева, который сказал темную фразу: «Не сим победиши» — и они спорили два часа люто о том, что бы это могло значить, его мать наконец не выдержала и устроила скандал. Кричала, что отец умер бы от стыда, если бы такое началось при его жизни. Сын Афанасия Троицкого — спирит! Сын

участника революции, соратника Луначарского! Если бы отец встал из гроба... Он заметил ядовито:

— Ага, ты допускаешь такую возможность?

Разумеется, тут была во многом игра, шутовство — он пока еще не превратился в полного кретина, — и тут были неудачи, угнетавшие его постоянно, и тут было то самое ужасное, о чем Александра Прокофьевна не догадывалась: Дарья Мамедовна. Сначала он ездил к Федорову, к черту на кулички, звал с собой Ольгу Васильевну, но не было никакого желания ехать в такую даль слушать глупости, и она отказывалась, высмеивала его, издевалась над ним. Все впустую. Как-то потратила целый вечер на чтение журнала «Спиритуалист» за 1906 год, оборванные брошюры в бумажных обложках валялись у него на столе: что-то потрясающее по жалкости и провинциализму! Иногда она смеялась, иногда злилась, но более всего изумлялась тому, что чепуха на постном масле — все эти медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса — дотащились до наших дней. Начитавшись журнальчика, она пришла к двум выводам, сильно ее испугавшим. Первый — ярими энтузиастами во всей этой музыке были женщины. Тут крылась какая-то приманка для них. Знаменитая Блаватская, авторы «Спиритуалиста» Быкова, Сперанская, Щегольковая, какая-то очень активная Капканщикова. «С жиру бесились, что ли? Им бы помотаться по магазинам, по ателье, постоять бы в ГУМе в очереди за сапогами...» И второй вывод, страшноватый: пустота всего, что касалось вызова духов и якшанья с загробным миром, была столь очевидна, что, если он продолжал отдавать этой дребедени время, это значило — тут были другие причины. Вот почему, когда он сказал «может быть» и ушел, сердце ее упало оттого, что было готово упасть: она ждала такого ответа. И никто так не рыдал над гробом Георгия Максимовича у Донского монастыря, как Ольга Васильевна.

Сережа держал ее с одной стороны, Влад с другой. Она ощущала гранитное Серезино спокойствие. Однажды он прошептал холодно:

— Надо взять себя в руки!

Потом Влад повел ее осторожно в сторону — это было в тот момент, когда заиграла музыка, — и, отведя к стене, достал из кармана пузырек с лекарством, стаканчик и дал ей выпить. Она сказала, глядя в его старое рябое лицо:

— Георгий Максимович тебя любил, Владик...

Влад кивал скорбно, но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке перед входом в крематорий. Ольга Васильевна подумала: все могло быть иначе, если бы Влад не привел тогда Серезу, она бы не мучилась. Прошла очень быстро жизнь. Сереза стоял не оглядываясь, теперь он держал под руку мать Ольги Васильевны. Музыка убивала все. Потом поехали на Суццевскую, там хлопотали соседки, добрые женщины, распоряжалась незнакомая дама по имени Генриетта Осиповна, из московской организации, энергичная и деловая, как раз такая, как нужно — она называла мать «моя дорогая», — художники быстро перепились, криком о чем-то спорили, про Георгия Максимовича говорили с невозможными преувеличениями, и поэтому казалось, что лицемерят, и все вещи в мастерской — картины, багеты, гипсовые модели, банки, кисти выглядели осиротевшими, никому не нужными и чужими. Дядя Петя, превратившийся в белого тощего старичка, весь вечер кашлял трубно и кричал на кого-то: «Да бросьте вы!»

Мать в этой суматохе и тесноте потерялась, вид у нее был такой, будто она тут случайно. Ольга Васильевна думала о матери со стра-

хом: как она будет жить? Осталась ночевать с матерью, а Сережа с Иринкой и Александрой Прокофьевной ушли домой.

Первая жена Георгия Максимовича была в крематории и приехала после на Суцевскую, но не пришла в мастерскую, хотя приглашали, а устроила, комедиантка несчастная, свои поминки — на том же этаже, в комнате одной художницы. Некоторые гости ходили от одних блинов к другим. Дядя Петя иногда распахивал дверь и кричал в пустой коридор грозно:

— А вот пойти сейчас и всю посуду в черепки! Поминальщики нашлись!

Из комнаты художницы что-то отвечали, но не было слышно.

А Ольга Васильевна сидела на кушетке рядом с бородатым стареньким Лихневичем, который все не уходил, подливал себе то чаю, то наливки и рассказывал, плача, о житье на Муфтарке сто лет назад, когда они с Георгием Максимовичем, молодые нахалы, задумали покорить Париж, и еще Марк Шагал был с ними, и что из этого вышло — поминальные блины на Суцевской, — и советовал два рисунка сангиной, церковь на Монмартре и автопортрет с кривым лицом, продать, а все остальное подарить кому угодно, кто возьмет, потому что лучшее Георгий Максимович сжег собственными руками в тридцатых годах, такая дурость, минута слабости, и жизнь раскололась, как этот гипс, ни собрать, ни склеить, пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы («Не подумай, Оля, что я завидовал, я его жалел, бедного Жоржа»), но Ольга Васильевна, уже оплакав отчима и разорвав сердце сочувствием к матери, оглушенной и не понимавшей будущего, думала о том, почему Сережа не остался с нею, Иринка уехала бы со свекровью. Так должно было быть. Но он не захотел. «Ну, мы пошли, — сказал он. — Отвезу Иринку. Ей пора спать».

Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить — ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить связь с неким братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.

Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьерке. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:

— Там в углу Дарья Мамедовна!

Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, худощава, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких мгновенья — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд, — и они отошли.

— Мне тебя очень жаль, — сказала Ольга Васильевна.

— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракта. Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом — предвестьем беды.



Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автодорожник, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:

— Пойдем, сходим... Посмеемся.

А на самом деле не желал, чтобы она там появлялась. Поэтому надо было себя пересилить. Их жизнь распалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла с головной болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.

Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.

Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. У людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автодорожник, бледный человек с русской шкиперской бородкой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок команды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете со шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и ярко и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход; открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.

Сережа сидел напротив. Выражение лица его было непроницаемо. О чем он думал? У нее сжималось сердце от тревоги и от жалости к нему: ведь ему было худо, как и ей. Дома ждали дела, уборка, магазин, отнести белье — до девяти вечера, но каждый день что-то мешало, то усталость, то другие заботы, — и надо писать отчет, а его ждали выписки в толстых тетрадах, книги, папки, все то, что застыло на полпути и не двигалось, а вместо этого... Человек в красном жилете командовал:

— Левую руку на правую руку соседа... Ступней на ступню... обрадовать цепь...

Стаканчик действительно как бы оживал под руками, сначала неуверенно дергался, затем шаркал по бумаге конвульсивно и резко от буквы к букве, и из невнятицы, сумбура возникали фразы. Отец Паи-

сий сказал: «Не скупись творить добро, оплатится тебе, дураку, стоицей». Недоумение вызвало слово «дураку». Почему же презрительно сказано о делающем добро? Одна дама объяснила: дух отца Паисия, по-видимому, иронизирует над земной моралью, где творящие добро считаются, по нашей циничной житейской логике, дураками. Дух Торквемады разговаривал долго и путано, но фразы были почему-то газетного типа, что вызвало разочарование.

Потом был сделан опыт психографии: одна из женщин села с карандашом к листу бумаги, остальные сидели как прежде, вокруг стола, пытались вызвать дух Герцена, тот упорствовал, не являлся, капризничал — кто-то предлагал оставить его в покое, не соглашались, хозяин дома злым шепотом потребовал, чтоб прекратили спор и продолжали дело, — свет был погашен, напряжение росло, и наконец все услышали в полной тишине скрип карандаша. Женщина, сидевшая за отдельным столом, п и с а л а! Никто не сомневался в том, что ее карандашом водила рука Герцена. Когда зажгли свет, бросились к бумаге — женщина сидела, откинувшись на спинку стула в изнеможении, лицо в поту, страшно бледно, ей тут же налили валерьянки, — увидели громадные, во весь лист, каракули.

Хозяин дома, схватив бумагу, прочитал сдавленным от волнения голосом:

— «Мое... пребежище... река...»

Ольга Васильевна услышала, как Сережа хмыкнул. Прекрасно знала это его ехидное хмыканье, не могла ошибиться, но, когда взглянула на него, увидела все ту же непроницаемость. Раздались голоса:

— А что дальше? Больше ничего?

— Больше ничего, только эти три слова, — ответил хозяин дома быстро, все еще во власти волнения.

Рассматривали бумагу, изучали каракули и опять спорили. Что значит «река»? И почему «пребежище»? Согласились на том, что «река» — это, вероятно, символ времени, река времен, и дух Герцена, стало быть, уповает на время. Это сообщение показало значительным и глубоким. Что же касается «пребежища», то тут стали в тупик. Мог ли дух Герцена совершить столь грубую орфографическую ошибку? С пристрастием допрашивали женщину: твердо ли знает она, как пишется слово «прибежище»? Женщина — это и была театральная касирша, отличавшаяся особой с е н с и т и в н о с т ь ю, то есть чувствительностью, что определяло ее медиумические способности, — нервно и возмущенно отвергала предположение о том, что могла совершить ошибку.

— Неужели вы думаете, я такая неграмотная? — говорила она, едва не плача.

Сережа заметил, что в таком случае неграмотным следует признать Александра Ивановича. Это вызвало новый спор, все говорили разом, но хозяин внес ясность: орфографические ошибки не имеют значения, важна суть сообщения, а не форма. Когда на пиру Балтазара, сказал он, появились мистические письмена «мене, текел, фарес», никому не пришло в голову рассуждать, правильна ли орфография. Всех охватил ужас. Кстати, в книге пророка Даниила сказано, что письмена были «мене, мене, текел, упарсин» — обычная при психографии тавтология и перестановка букв... Ольга Васильевна почувствовала, что головная боль усилилась, не могла больше сидеть и встала. В соседней комнате легла на диван. Было темно и холодно. Кто-то прошел вслед за ней и закрыл окно.

Был приступ, как в худшие времена, до тошноты. Сережа принес стакан горячего чая и лекарство. Накрыв ее чем-то. Ей хотелось, чтоб

он посидел рядом — чтобы побыть одним, в темноте, — и она взяла его за руку и спросила:

— Ты понимаешь, что все это чушь?

Он сказал, что понимает. Сквозь страшную боль, стиснувшую виски, иглоу просунулась другая боль: зачем же приходит, если понимает? Но не спросила об этом. Чувствовала себя слишком слабой.

— Все это идеомоторика... На пятом курсе на занятиях по психологии... — шептала она.

Спустя минут двадцать или полчаса вошла женщина, зажгла настольную лампу.

— Как себя чувствуете? — спросила женщина, и Ольга Васильевна увидела Дарью Мамедовну.

Через силу заставила себя подняться и сесть. Сережи в комнате не было. Голову ломило как прежде.

— Лучше, — сказала она.

На женщину со смуглым остроконечным лицом смотрела с изумлением. Зачем пришла? Не раз думала об этом: поговорить с нею наедине, слова подбирались язвистые, ненавистливые, но теперь слова вдруг пропали, злобу как выдуло сквозняком, и единственное, что испытывала Ольга Васильевна, была слабая, астматическая одышка.

— Я не хочу, чтоб Сережа занимался этой чушью, — сказала она, слегка задыхаясь.

Та протянула стакан:

— Выпейте.

Ольга Васильевна послушно выпила.

Дарья Мамедовна села рядом на диван и произнесла спокойно: она тоже против того, чтобы он занимался чушью. Собственно, это не чушь, а забава, игра. Субботнее развлечение замороченных и усталых людей. Одни режутся в покер, другие в ма-джонг, третьи играют до одурения в шахматы, четвертые... И еще какие-то банальности... Все-таки наглость: она тоже против! Никто в мире, кроме Ольги Васильевны, не имел права быть против чего-либо в Сережиной жизни. «Какая глупая! — подумала Ольга Васильевна. — А говорят, будто бы умна». И эта догадка очень успокоила, даже голове стало легче.

Дарья Мамедовна сказала:

— Я рада, что мы познакомились. Мне давно нужно было с вами поговорить...

«Это еще зачем?» — подумала Ольга Васильевна безо всякого страха. Вслух сказала:

— Во-первых, мы были знакомы. В театре, помните?

— Правда? Я забыла.

— Хотите сейчас разговаривать?

— Если вы не очень худо чувствуете. Ведь когда еще увидимся? — Дарья Мамедовна достала из сумочки сигареты, зажигалку и, не спросивши разрешения — очень милая и характерная для нее подробность, — закурила. — Сергей Афанасьевич мне как-то говорил о том, что вы занимаетесь проблемами биологической несовместимости...

Ах вот что! И это все? Проблемы несовместимости касались каких-то ее занятий. С другого боку. Ольга Васильевна кое-что рассказала. Та расспрашивала про Андрея Ивановича, которого знала по университету. Потом заговорила о своей работе, об экстрасенсорном восприятии, о всякого рода пробах, испытаниях и мишенях, о тысячах опытов, которые проделаны там-то и там-то, и о том, что мы, к сожалению, отстали и должны догонять. Вы, как биолог, изучающий проблемы связи и биологической несовместимости, должны постоянно сталкиваться... А летучие мыши с их локатором? А рыбы? Согласитесь, нет оснований отрицать особые, экстрасенсорные связи и в структуре... Не

хотелось с нею спорить, но все же слабым голосом и слегка задыхаясь: в парапсихологии слишком много обмана. Ни в одной науке, если это считать наукой, не было такого количества жуликов. А как вы думаете, отчего? Да оттого, Ольга Васильевна, что люди находятся в постоянном самообольщении: будто все уже познано.

Ольга Васильевна сказала:

— Если говорить о несовместимости... Загадки аллергии... Вы знаете, что есть люди, которые болезненно реагируют на присутствие определенного человека: начинается кашель, они задышались...

— О да! Разумеется! Так вот: каков механизм?

Ольга Васильевна отвечала что-то, глядя на смуглый кавказский лобик, и думала: они хотят докопаться до всего, обнаружить структуру, найти средства связи, передающие ненависть, ревность, страх. И любовь. А если средства будут найдены — тогда управлять? Кто-то открыл дверь, хотел войти. Дарья Мамедовна произнесла строго: «Закройте!» — и дверь закрылась.

— Дарья Мамедовна, я вас хочу... об одном... — вдруг проговорила Ольга Васильевна жалким, прыгающим голосом. — Пусть уж Сергей Афанасьевич не увлекается так всем этим очень интересным... Понимаете, он ведь немолод, не очень здоров, у него есть дела, есть обязанности...

Дарья Мамедовна странно ширила черные, в синеватых белках глаза, и голова ее все более кренилась к правому плечу.

— О чем вы? Я не понимаю.

— Да о том, Дарья Мамедовна, что он погибает... Погибает, все остановилось, диссертация не пишется...

— Голубушка моя, да что ж можно сделать? Диссертация не пишется? — Она вдруг засмеялась. — Ну и хорошо, что не пишется... Ей-богу, не обижайтесь, Ольга Васильевна... Я вообще не люблю — нет, неправда, не то что не люблю, а жалею филологов, всех этих литераторов, историков, пишущую братию, которые вынуждены болтать, болтать, ничего, кроме болтовни. Я их жалею, бедных. Ну что за чепуха — вот уж поистине чепуха, — которой он занимается всю жизнь: состав секретных сотрудников московской охраны. Кому это нужно? Я смеялась, когда он рассказывал о своих, знаете ли, открытиях в этом микросмосе, и с таким увлечением...

В соседней комнате раздался взрыв хохота, кто-то стучал кулаком в стену и крикнул:

— Нигматова, идите сюда!

— И это в то время, когда решаются судьбы... Когда шекспировский вопрос...

Потом неожиданно она рассказала о том, как началась ее парапсихология. Несколько лет назад ее муж, художник Нигматов, погиб в самолетной катастрофе. Той ночью она видела во сне его лицо, искаженное ужасом.

Было рассказано совершенно бесстрастно, просто как один из фактов экстрасенсорной, телепатической связи. И Ольга Васильевна не испытала никакой жалости к Дарье Мамедовне. Она подумала: если он влюблен в эту женщину, тогда он глубоко несчастен.

Было поздно, дома ждала Иринка, которой она что-то обещала в тот день, поэтому, как только в комнату вошел Сережа, она сказала, что надо ехать домой, и встала. Он быстро и зорко оглядел обеих и, как видно, остался доволен, потому что ответил спокойно:

— Поехали.

Обычно приходилось вытаскивать из гостей трактором.

Когда вышли на улицу, он сказал, что всех заинтриговало: о чем так долго они беседовали с Дарьей Мамедовной?

— На нее не похоже, она не любит болтать. Значит, ты ей понравилась.

— Да. Я ей понравилась,— сказала Ольга Васильевна.— Разговаривали о тебе. А тебя она жалеет.

— Меня? Жалеет? Пожалуйста, пускай. Есть за что.

— Она считает, что ты занимаешься чепухой.

— Да что ты! — Он засмеялся и подмигнул лукаво, как человек, которого не проведешь.

И все-таки она испытывала облегчение.

А через несколько дней все пошло сначала — уходил, пропадал, жил неведомой жизнью, и она мучилась.

В раннем детстве Иринки, когда ей было лет семь или восемь, с нею происходили странные вещи. Вставала ночью и ходила во сне сомнамбулой, натываясь на вещи, а как-то на Шаболовке напугала гостей, появившись в дверях, как маленькое привидение в белой рубашке, и, подойдя к столу — лицо спящее, глаза закрыты,— сказала, протягивая пустую руку: «Хотите мою цыганку?» Была любимая кукла, цыганка. Потом это случалось с нею все реже, а лет с десяти прекратилось совсем. Сережа вспомнил об Иринкиных странностях и решил, что она, может быть, как раз относится к тем с е н с и т и в н ы м натурам, которые он искал для своего хобби. Он увлекся парапсихологическими опытами не на шутку. Извел всех в доме, пытаясь угадывать, что они думают или намерены сделать, и стараясь внушить им свою волю. Воля, разумеется, была на первых порах пустяковая: принести коробок спичек или погасить свет в коридоре. Иногда внезапно радостно восклицал:

— Bravo! Наконец-то! Полчаса индуцировал тебя, чтобы закрыла форточку...

А иногда столь же неожиданно огорчался, досадовал и даже позволял себе обидные замечания:

— Нет, мать, все-таки ты толстокожая, тебя не прошибешь. Я ей внушаю, внушаю, а она хоть бы хны...

Все это было веселым мальчишеством, напоминало игру любознательных школьников из кружка «Занимательная психология», и Ольга Васильевна могла бы так и относиться к этому, полушутя и полуодобрительно, ибо Сережа как-то ожил, взбодрился, тонус жизни его заметно повысился, и на лице заиграл румянец, что означало пользу нового увлечения, но ведь все хорошо в меру. Тут игра перерастала в нечто большее. И Ольга Васильевна с тревогой улавливала намеки на то, что это, мол, все подходы, поиски метода и что, когда он немного освободится, он займется психологией и парапсихологией вплотную. Она сказала, что это звучит довольно наивно, все равно что сказать, что собираешься заняться физикой и метафизикой.

— Ты не боишься превратиться в чеховского ученого соседа?

Он посмотрел на нее рассеянно:

— Ты шути осторожней. Это сейчас единственное, что меня интересуется в жизни.

После такой фразы что оставалось делать? Она перестала шутить. И стала ждать, что будет. Все-таки ей казалось, что наваждение кончится.

Боже мой, тут крылась ошибка! Нельзя было ждать. Нельзя было не бороться, отдавать его в полную власть этой Дарьи и гоп-компаний. Какая блаженная дура! Ведь было очевидно, что он отходит, отплывает, как корабль от пристани, подняв все паруса и флаги, а она продолжала чего-то ждать, на что-то надеяться. Она не понимала, что он находится на переломе судьбы. Главной мукой было непонимание. Однажды вздумала действовать энергично, будто ничего не случилось,

будто между ними не воздвиглось проклятого хобби: не спросивши, купила билеты на какой-то дефицитный фильм, на который рвалась тогда вся Москва. Он сказал, что как раз в десять он занят. Чем же занят? Уходит? Нет, будет дома. Но с десяти он занят.

Было очень обидно, но допытываться не стала, пошла одна, смилив гордость. Не смогла вынести в кинотеатре четверти часа и побежала домой. Неужели вдобавок ко всему стал лгать? Было чувство бессилия: ведь если обманывает, то лишь оттого, что запутался, затормошился окончательно — раньше никогда не обманывал, — а она не может помочь. Нет большей муки, чем непонимание и невозможность помочь! Но когда примчалась домой, увидела: действительно занят.

Сидел в комнате запершись, хмуро-сосредоточенный и раскладывал карты Зенера. Эти свои парапсихологические, с квадратами, звездами. Оказывается, у них с Дарьей Мамедовой был назначен на десять вечера сеанс: та в качестве перцепента, то есть отгадчика, находилась в Болшеве, в доме отдыха киношников.

Этими картами он совсем заморочил Иринку. Первое время говорил, что у нее большие способности, приходится изумляться, процент попаданий значительно выше вероятностного.

— Ты можешь стать мировой знаменитостью! Я не шучу. Тебя будут приглашать за границу, а мы с мамочкой будем ездить с тобой.

Таковыми сказками хотел увлечь ее и задобрить, потому что вскоре ей стало, конечно, надоедать. И отгадывала она все хуже и хуже. Он нервничал, сердился. Таких высоких очков, как в первые дни, она не получала больше никогда.

— Думай серьезней! Сосредоточься! — говорил он, раздражаясь. — Что с тобой происходит?

Терпения у него не хватало и раньше, когда он пытался помогать Иринке с уроками. Всегда его репетиторство кончалось ссорой. И тут было то же самое. Иринка однажды разревелась. Бабушка ударила кулаком:

— Ну, довольно! Не могу видеть, как ты калечишь ребенка! Сам сходи с ума как хочешь, мракобесничай, ты взрослый человек и за себя ответишь, а Иру оставь в покое...

Они стали спорить. Как всегда, спорили негромко и не грубо, но как-то крайне ядовито и, вероятно, болезненно друг для друга. Александру Прокофьевну еще подогревала, вероятно, память о диспутах Луначарского с митрополитом Введенским.

— Если допустить хоть на секунду существование загробного мира и высшей силы, то есть бога...

— Я этого не говорил. Не передергивай по своей адвокатской привычке.

— Что же это, как не агностицизм?

— А по-твоему, паровоз дошел до последней станции? И дальше пути нет?

— Твой путь, Сергей, ведет не вперед, а назад, во тьму средневековья. Только не понимаю: зачем двойная жизнь? Будь уж последовательным. Надень рясу, прими схиму, уйди куда-нибудь в пещеры или в заброшенные каменоломни — по Павелецкой дороге, кстати, недалеко от Москвы есть старые каменоломни, — сиди там и созерцай собственный пуп, как тибетский монах. Питайся акридами. Жена будет привозить тебе акрид из зоомагазина... (Надо сказать, старуха иногда блистала злым юмором. Кроме того, ей никак не хотелось верить в то, что во всем этом безобразии виноват он один, без Ольги Васильевны.) Но тебя это не устраивает: ты не уходишь из института, получаешь там зарплату...

— Может, и уйду. Кстати, ты кинула неплохую идейку. Вот если будет создана, как обещают, лаборатория экстрасенсорной связи при одном институте, я бы с наслаждением туда ушел.

Все это говорилось пока что в пылу спора. И для того, чтобы подразнить. Он опять стал говорить, что его интересует наука, и только наука. В этом мире слишком много странностей. Антивещество, квазары, загадочные частицы, не обладающие ни массой покоя, ни зарядом,— почему нельзя предположить, что существуют неизвестные науке, сверхчувственные средства связи?

— Сережа, я с ужасом вижу, что в твоей голове за сорок лет образовалась невероятная каша...

— Зато ты, мамочка, за это время осталась совершенно нетронутой. Своего рода достижение.

— И горжусь этим! Я не думаю о смерти, как другие старухи. Да, я знаю, что с последним вздохом я исчезну из этого мира бесследно — и все тут. Не о чем говорить.

— Да, да, не о чем говорить...— бормотал Сережа, кивая.— Какая ясность, как здорово... И то же касается смерти твоих близких? Они тоже исчезнут совершенно бесследно?

— Я надеюсь, что мои близкие, кого судьба еще оставила мне, не уйдут раньше. Но если такая несправедливость, не дай бог, случится, мои близкие не уйдут для меня — я повторяю, для меня! — совершенно бесследно. Они останутся вот здесь.— Она пошлепала ладонью по тому месту в середине груди, куда ставила в минуты сердечной слабости горчичники.

А Ольга Васильевна не могла выносить такие разговоры. Она знала только одно: не может помочь. И это приводило в отчаянье. Когда через некоторое время зашла в комнату, увидела, что Сережа один.

Он стоял в нерешительной позе, полуобернувшись к окну — то ли собираясь отойти от окна, то ли шагнуть к нему,— и смотрел на двор, вниз. Было похоже, что он о чем-то с громадным напряжением думает. Ольга Васильевна увидела его согбенную спину, опавшие плечи и седину в поредевших волосах. Вдруг показалось, что стоит старичок.

— Мой старичок...— сказала она тихо, подойдя к нему и обняв.

Он не повернулся, не отозвался, продолжая стоять и смотреть на двор, вниз. Лето неслось. Она маялась. Мать гасла в одиночестве на Суцевской. Первое лето, когда не сняли дачу. И это был эскиз будущего бездомья. У Фаины глаза стали круглые и сверкающие от сладострастного любопытства, она жалела Ольгу Васильевну, жалела изо всех сил, даже стонала от жалости: «Я пойду в профком научных работников! Я покажу этой Дарье, как морочить женатых мужчин!» Голос ее дрожал от гнева. Нет большей сласти, чем сострадать любимой подруге. Слава богу, куда не пошла. Но рассказала Маре. И все заколыхалось и стало расти, как волшебное дерево, управляемое факиром, на глазах. Она не знала подробностей до того дня, пока не поехали в лес за грибами. Знала одно: он подал заявление об уходе.

Вдруг показалось, что так будет лучше для него.

Осенью, в еще теплом и лиственном октябре — все кончилось, кроме тепла, кроме грибов, кроме леса,— поехали автобусом в четыре утра от института. Почти вся лаборатория Ольги Васильевны. Он сидел рядом, положив голову ей на плечо, и спал. Было такое наслаждение ощущать тяжесть его головы. Ей хотелось, чтоб все сидело тихо и он бы спал. Желала этого всею силою воли. Серое, дымное бежало за окном Подмосковье, сначала развороты глины, грязно-меловые блочные горы новостроек, потом поля водянистой зелени, березы, осины, потом ели, дорога ныряла, опять белыми горами среди елей возникали новостройки, редкий дождь пластами лип к стеклу, вдруг пропадавал.

Когда вышли из автобуса на пятьдесят втором километре, за Пахрой, дождь прекратился. В лесу было мокро. Пахло отсыревшей усталой травой. Земля под елями, безтравная, усыпанная бурой хвоей, казалась пухлой и темной. Грибов было мало. Все люди куда-то рассеялись. Он сказал: если бы он осудил себя за всю эту чепуховину со стаканчиком, ужалил бы себя, как скорпион, собственным хвостом, они бы все равно не отстали. Климук теперь замдиректора, спихнул с кресла Кисловского, а на его месте Шарипов. Этот Шарипов, двадцать восемь лет, железный малыш, он уже и кандидат и автор каких-то книг, провел дело недрогнувшей рукой. Что ж, ему разве трудно? Он с Сережей не ел, не пил, впервые столкнулись тогда на лестнице, когда спросил, остановившись на секунду, быстрым приятельским говорком: «Простите, Сергей Афанасьевич, это верно, что вы посещаете спиритические сеансы?» Сережа ответил так же легко, мимоходом: да, посещал прошлой зимой просто из любопытства, а кроме того, искал людей, обладающих сенситивностью. Ведь он увлечен парапсихологическими опытами. Это очень интересно. Парапсихология, безусловно, наука будущего. Шарипов слушал, сочувственно улыбаясь. Эти железные малыши умеют быстро бегать по лестницам, задавать стремительные вопросы и сочувственно улыбаться. Климук стоял в стороне от дела. Он не стал подписывать заявления, хотя мог бы это сделать — директор был в Болгарии, — и, пригласив Сережу, для видимости отговаривал его и даже пробормотал совершенно нелепые, показавшиеся чудовищными слова: «Как Ольга? Позвоните когда-нибудь...» — на что Сережа, засмеявшись, спросил: «Ты шутишь?» Но нет, ничего ужасного не произошло, ничего не случилось, он рад всему этому, потому что надо начинать другую жизнь. Черт возьми, так мало времени остается для другой жизни. Надо наконец начинать. Что начинать? Делать то, что волнует воистину. У каждого человека должно быть то, что волнует воистину. Но надо до этого доползти, докарабкаться.

Мы удивляемся: отчего не понимаем друг друга? отчего не понимают нас? Все зло отсюда, кажется нам. О, если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн... Парапсихология — мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя другому, исцелиться пониманием, эта песня безумно долга... Но куда же мы, бедные, рвемся понять других, когда не можем понять себя? П о н я т ь с е б я, боже мой, для начала! Нет, не хватает сил, не хватает времени или, может быть, недостает ума, мужества... Вот она, к примеру, биохимик, заведует лабораторией, на хорошем счету, получает премии и прибавки к зарплате, но истинное ее предназначение здесь ли? Сама говорила: как жалею, что не пошла в прикладное искусство! Так люблю что-то делать руками, лепить, вырезать. А он не говорил разве, что история — это магическое зеркало, по которому можно угадывать будущее, и он готов всю жизнь изучать его, вглядываться в него... Говорил, говорил! И так ощущал, так думал. Но, может, тут действовала совсем иная, потаенная тяга: изучать, чтоб угадывать... Потому что теперь ему кажется, что все эти подробности подробностей, эти крохи, сметенные со стола каких-то давних пиров, которые он вылавливает со дна колодца, не нужны никому, кроме пяти или шести человек в целом свете... Если думать о себе, которому эти хитроумнейшие и ничтожные уловы нужнее всего, тогда, может быть, есть смысл продолжать закидывать свои крючки, но так скучно думать о себе. Однажды становится дико скучно. И вдруг сверкнет как догадка, как слабая заря за стенами — другая жизнь...

У нее сжималось сердце, было страшно. Откуда, бог ты мой, возьмется другая жизнь? Переехать из дома в дом? Купить новый портфель? Начать ходить вместо той конторы в эту? Ведь, в сущности, по-



всюду одно и то же. Он ответил: э, нет! Так рассуждать — это все равно что говорить, будто все женщины одинаковы. Но ведь ужас прожить век с женщиной, которая не мила. Большинство так живет, впрочем. Он говорил спокойно, как о чем-то постороннем и совершенно чужом для них, но все равно было страшно. В разговорах они прошли далеко в глубь леса, забыв о грибах. Да грибов и не было. Встретилась женщина с полупустым ведром, где белели волнушки. Стали спрашивать: неужто такие грибы едят? Женщина объясняла охотно, как вываривать, отвар сливать, а еще лучше вымачивать в воде с уксусом. Рассказавши, женщина исчезла. Забыли спросить, как идти в сторону шоссе. Осины и березняк редели, пошел ельник, густой и тяжелый от влаги, здесь совсем ничего не находилось, и они торопились продрагаться сквозь хвойную чащу, потому что где-то впереди брезжила светлота, там мерещились прогалы, поляны. Там начиналась другая жизнь. Сидели на пнях, он устал, лицо было серое и дышал тяжело, потом шла дальше — сырость в бору давила, от валежника, овражных низин тянуло гнилью, — местами залезали в черную топь, шли и шли, разговаривая, светлота манила, облачный день яснел, но ни просек, ни полян не открывалось за стволами. Она уже знала, что заблудились. Вдруг возникла Иринка, шла рядом, Ольга Васильевна крепко сжимала холодную ладошку. Иринка была маленькая, лет двенадцати. Надо было непременно спросить у Сережи что-то мучающее, что касалось только их двоих, Иринка мешала. Но потом она отошла куда-то, и Ольга Васильевна спросила про Дарью Мамедовну. Правда ли? Ее мучило одно: правда ли? Он засмеялся и сказал, что неправда. Тогда она спросила: «А те деньги, которые ты брал в кассе взаимопомощи? Пришли после смерти и требуют деньги назад. На что ты потратил их? Только говори честно, нас никто не услышит, мы в лесу». Он сказал: «Я не потратил. Просто давал людям, а они не возвращали». Это было так несуразно и так на него похоже! Он называл имена. Какие-то незнакомые имена. Но все равно она мгновенно и глубоко поверила его словам. Она подумала: как мне жить в этом лесу одной? Надо было скорее бежать, они опаздывали, автобус ждал на шоссе, но неизвестно, где шоссе и куда бежать. Однако бежали — напрямик через овраги, сквозь ржавый еловый сухостой, обдирая лицо и руки. Наконец появился забор. Глухой и высокий, выкрашенный темно-зеленой краской, они увидели его внезапно, когда подошли вплотную. Что там, за забором? Ничего не слышно, не видно. Растут такие же ели, как в лесу. Пошли вдоль забора по не очень ясной тропинке — хожено тут было мало — и чем дальше шли, тем меньше оставалось надежды. Перед воротами на скамейке сидели четверо мужчин и одна женщина. Среди мужчин был один громадный, рыхлый, с большим вздутым лбом и свиными глазками, с тем выражением добродушной тупости на лице, какое бывает у больных болезнью Дауна. Был еще какой-то старик, который все время качал головой, и были двое средних лет, один бородатый, с мрачным угольным взором, и другой малорослый, с плоским несчастным лицом, он болтал короткими ножками, не достававшими до земли. Все четверо молчали, а женщина в сером больничном халате читала газету. Ольга Васильевна спросила, как пройти до шоссе. Эти люди не знали. Громадный человек, больной болезнью Дауна, сказал, что здесь нет шоссе. Сережа стал сердиться и доказывать, что шоссе есть, они приехали на автобусе и автобус ждет на шоссе. Нет, сказали они, автобус сюда не ходит и шоссе нет. Сережа горячился. «Не спорьте с ними, — сказала женщина, отложив газету. — Они не знают. Идемте, я вас провожу». Когда они отошли на некоторое расстояние от мужчин, оставшихся сидеть на скамейке, женщина сказала: «Это больные. Они не знают, где шоссе».

Женщина вела их лесом, без дороги. Наверное, это был короткий путь. Ольга Васильевна сжимала руку Иринки. «Вы нас извините,— говорила она женщине.— Мы опаздываем. Автобус ждет нас на шоссе». «Я понимаю,— отвечала женщина.— Поэтому веду вас самым коротким путем». Густели сумерки. Стало темно. Незаметно истаял день. Надо было зачем-то спускаться по крутому склону, поросшему елями, затем опять углубиться в чащу. «Скоро, скоро»,— говорила женщина. Не было сил идти. Они очень устали. Вдруг женщина сказала: «Вот здесь».

Они стояли перед маленьким лесным болотцем. «Что это?»—спросила Ольга Васильевна. «Это шоссе,— сказала женщина.— Вон стоит ваш автобус». Она протягивала руку, показывая на заросли осоки на противоположной стороне болотца. Ольга Васильевна почувствовала, как немеет, застывает, охваченная мгновенной, как молния, ледяной истомой. И тут треск врubilся в сознание. Через миг пронеслась весть из другого мира: вставать...

Будильник звонил в семь. Вырывал из вязкого, опустошающего забытья. И так продолжалось много дней, похожих один на другой, хотя временами было солнечно, а то шел дождь или снег, но однажды она проснулась раньше будильника и, босая, подошла к окну, откинула занавеску и посмотрела в сторону парка: там над деревьями, над зубчатым из крыш и труб темным оком выкатывался в слабо светящееся небо красный шар солнца. Она распахнула форточку. Ветер, летевший со стороны парка, обнял ее усталую кожу, и грудь напряглась от холода. Босыми ногами она почувствовала, как дрожит пол от неясного подземного гула.

Если бывало часа три свободного времени, они уезжали гулять в Спасское-Лыково: троллейбусом до конечной остановки, там немного пройти и затем полчаса речным трамвайчиком. Село стояло на высоких холмах, поросших сосновым бором. Москва давно уже подступила со всех сторон к этому древнему полудеревенскому-полулучному уголку, обтекла его, устремилась дальше на запад, но почему-то не поглотила его совсем: сосны бора стояли, заливной луг зеленел, и высоко на холме над рекою поверх сосен плыла стоймя колокольня старой спасско-лыковской церкви, видная издалека отовсюду. Спустившись с дощатого причала на тропу, которая вилась вдоль берега, они шли и шли, разговаривая, дыша речным воздухом, обходя рыболовов и с неприязнью поглядывая на маленькие автомобильчики, неведомо как прорвавшиеся сюда, хотя проезжей дороги к берегу не было, и стоявшие, загораживая тропу, у самой воды. Тут находилось их убежище, их берег, их трава. Все остальные, очутившиеся тут, были пришельцами, чужаками.

В Москве места не было. Слишком много людей знали его и ее. Никто из этих людей, приятелей и знакомых, не мог ничего понять. И она не понимала, и удивлялась, и стыдилась себя: так внезапно и быстро наступила другая жизнь! Когда-то мечтали о другой жизни, мыкались и рвались достичь. Но достичь невозможно, это приходит само. У него были слабые легкие, он простужался, болел. И всегда болел тяжело, маленькая простуда длилась долго, потому что организм у него был особенный, не принимал антибиотиков, он жил как в девятнадцатом веке: лечился малиной, чаем. И она мучилась оттого, что он болел вдали. Казалось, что люди, которые окружали его, не могли помочь ему как нужно. Шли тропой по глинистому склону, она рассказывала о новостях на работе, об опытах, термостатах, рассказывала про Иринку, которая собиралась замуж, и не стеснялась говорить

про нее сокровенное, а он тоже рассказывал обо всяких делах, неурядицах на службе, о людях, которые ему подчинялись, советовался с нею, но о доме говорил неохотно. И она понимала его.

Однажды взобрались на колокольню спасско-лыквской церкви. Эзбираться было тяжело, он раза два останавливался на каменной лестнице, отдыхал, а когда взошли на самую верхнюю площадку, под колокол, сильно стучало сердце, и они оба приняли валидол. Но они увидели: Москва уходила в сумрак, светились и пропадали башни, исчезали огни, все там синело, сливалось, как в памяти, но если напрячь зрение, она могла разглядеть высотную пластину Гидропроекта недалеко от своего дома, а он мог отыскать туманный колпак небоскреба на площади Восстания, рядом с которым жил. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтоб заслонить, спасти, он ее обнял. И она подумала, что вины ее нет. Вины ее нет, потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнувший в ожидании вечера.



---

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН



## ЛОЗУНГИ ЖАННЫ Д'АРК

Звучал с непонятной силой  
Лозунг ее простой:  
За свободу Франции милой,  
Кто любит меня — за мной!

Драпают пешие воины,  
Смешался конников строй,  
А она говорит спокойно:  
Кто любит меня — за мной!

Знамя подьмет белое,  
Его над собой неся,  
Как будто идет за девою  
Сзади Франция вся.

Истерзана милая Франция,  
Проигран за боем бой.  
Уже бесполезно драться...  
Кто любит меня — за мной!

Шестнадцати лет девчонка,  
Носительница огня,  
Сменила свою юбчонку  
На латы, меч и коня.

Свершая святое дело,  
За ударом неся удар.  
Едет нежная дева,  
Железная Жанна д'Арк.

В стане британцев паника,  
В стане британцев вой,  
А она поднимается — ранена я,  
Кто любит меня — за мной!

Конечно, мне лучше было бы  
Цветы собирать в лесу.  
Но гибнет Франция милая  
И Францию я спасу.

Девчонка я, мне бы все же —  
Жених, ребяташки, дом.  
Но если не я, то кто же?  
Если не я — никто.

Будут изгнаны бритты,  
Все как один уйдут.  
Только те, что убигы,  
Смогут остаться тут.

Хрупка я, но бог поможет,  
Дух укрепляя мой.  
Если не я, то кто же?  
Кто любит меня — за мной!

В чем силы ее источник,  
Загадка не решена.  
Но все исполнилось в точности,  
Как сказала она.

Победа — ее награда.  
Как молния, меч сверкал.  
С Орлеана снята осада,  
Коронован в соборе Карл.

А дальше? Позор мужчинам.  
Людям стыд и позор.  
Суд заседает чинно,  
В Руане горит костер.

Британцы или бургундцы,  
Епископы или князья,  
Девчонку мучить? Безумцы!  
Отвагу судить? Нельзя!

А что же Франция милая?  
Где же она была?  
С легкостью изменила,  
Походя предала.

И Карл, коронованный Жанной,  
Где же тогда он был?  
Король, как это ни странно,  
Первым руки умыл.

А эти зеваки, толпы  
Вокруг костра на ветру,  
Почему не бросились, чтобы  
Спасти из огня сестру?

Конечно, каре, охрана,  
Войско во всей красе.  
Но если бы ради Жанны  
Бросились сразу все?

В больших городах и малых,  
В селах и деревнях,  
В харчевнях и пышных залах,  
Пешими, на конях?

Труссы? Рабы обмана?  
Горем сердца полны?  
Не вас ли спасала Жанна,  
Бросаясь в костер войны?

Люди, сделайте милость,  
Пока не померк еще взор.  
Одна за всех — получилось.  
Все за одну... Позор!

Вечером под золою  
Нашли в углях палачи  
Сердце ее как живое,  
Только что не стучит.

Сердце бросили в Сену,  
Чтобы стереть и след.  
С тех пор прошло постепенно  
Полтысячи с лишним лет,

Слава ее окрепла.  
И там, где в беде народ,  
Дева встает из пепла,  
На помощь она идет.

Тогда всех других дороже  
Лозунг, зовущий в бой:  
Если не я, то кто же?  
Кто любит меня — за мной!

### ОНА ЕЩЕ О ХИМИИ СВОЕЙ...

- Чем вы занимаетесь?
- Химией.
- Как ваша фамилия?
- Муромцева.

\*

На следующий день 13 ноября я, как обычно, работала над чем-то по органической химии. Стояла у вытяжного шкафа. Меня вызвали к телефону... Я услышала голос Бунина.

\*

В пятницу 1 декабря, возвратившись из лаборатории раньше обыкновенного, я нашла у себя на письменном столе несколько книг Бунина.

В. Н. Бунина, «Беседы с памятью».

Она еще о химии своей...  
Не ведает (о, милая наивность!),  
Что в звездах все уже переменялось —  
Он ей звонит, он книги носит ей.

Он в моде, в славе. Принят, и обласкан,  
И вхож во все московские дома.  
Им угощают. Только мать с опаской  
Глядит на дочкин с Буниным роман.

Жуир. Красавчик. Дон Жуан. Сладена.  
Уж был женат и брошена жена.  
Перчатки, трость. Небрежно и влюбленно.  
Свежейших устриц! Белого вина!

Она еще куда-то в длинном платье  
Спешит, походкой девичьей скользя.  
О, женщина, оставь свои занятия —  
Иная уготована стезя.

Она еще о химии лепечет.  
Шкаф вытяжной. Пробирки. Кислота.  
Но крест чугунный лег уже на плечи...  
Ну хорошо. Пока что — тень креста.

Пока еще святая Палестина,  
Борт корабля, каюта, зеркала.  
Свободный брак. Пускай смеются в спину.  
Над Средиземным морем ночи мгла.

Как все легко, доступно. Мать смирилась.  
А он красив, талантлив и умен.  
Чтоб это длилось, длилось, длилось, длилось.  
Чтоб только он, навеки только он!

Что ж, так и будет. То есть даже ближе  
И дольше, чем дерзала бы мечта.  
В голодном и нетопленном Париже —  
Вот где любовь воистину святая!

Париж-то сыт, да проголодь в Париже  
Растянется на много, много лет,  
Где друг ее уж тем одним унижен,  
Что Бунин он — прозаик и поэт.

Ну а пока — извозчик, стерлядь, вина.  
Он наклонился. Что-то шепчет ей.  
Московский снег. В неведение наивном,  
Она пока — о химии своей...

### НЕГЛИНКА

Пусть не размашисто, не длинно,  
Но все же в птичьих голосах  
Текла себе река Неглинка  
В зеленых смешанных лесах.

Там дуб, там ель, там кустик тала  
Гляделись в воду без труда.  
Когда ж сосна преобладала,  
То медной делалась вода.

В ней, розоватой на закате,  
Все было видно до земли —  
И головы на перекате  
И пескаришки на мели.

Смыкались над водой вершины  
И создавали мрак и тень.  
Зато фонарики кувшинок  
Светили ярко целый день.

Стрела щуренка из засады,  
Коряги, заросли осок,  
Стрекозы в радужных нарядах,  
В дрожащих зайчиках песок,

Да пена белая, как вата,  
Да птичьи мелкие следы,  
А там, где глина красновата,  
Свисали корни до воды.

То звезды высыплют над нею,  
То синим куполом — зенит.  
То тихим омутом темнеет,  
А то по камушкам звенит.

Так и жила себе Неглинка,  
Не знала горя на веку,  
Текла неторопко, не длинно,  
Впадая в большую реку.

И не ждала б судьба лихая  
Речонку с мохом и травой,  
Когда бы та река другая  
Не оказалась вдруг Москвой.

Где цвет черемухи душистой,  
Где блики утренней зари?  
Где отраженный месяц чистый,  
Где соловьи, где пескари?

Домов кирпичные громады,  
Земля асфальтом залита,  
Машины, вывески, ограды,  
Киоски, рынок, суета.

И только улица Неглинка  
Напомнит вам наверняка,  
Что, по преданиям старинным,  
Когда-то здесь текла река.

Текла, была — и ни приметы,  
Ни берегов, ни дна, увы.  
Ну что ж, была, а нынче нету  
Среди разросшейся Москвы.

Как и стогов нет на Остоженке,  
А на Садовом нет садов,  
Как нет Соломенной сторожки,  
От рощи Марьиной следов.

Где Сивцев вражек, долы, горы,  
Полянка, мох и топь болот?  
Где сосны сумрачного бора  
У Боровицких — в Кремль — ворот?

Растет Москва, никто не ропщет.  
Преобразуют мир века.  
Но речь одна — сады и рощи,  
Другая речь, когда — река.



Однажды, идя по Трубной площади, я увидел, что открыты большие железные люки, около которых стоят грузовики, наполненные снегом. Грузовик за грузовиком сваливал снег, как в бездонную пропасть. Мне стало интересно, куда снег девается, и я подошел. В темной глубине, в тесных осклизлых стенах, бурля и как бы радуясь мгновенному просвету открытых люков, быстро неслась вода. Она подхватывала глыбы грязного городского снега, тотчас размывала и уносила его.

— Что это? — спросил я у рабочих, занятых снегом.

— Как что? Река Неглинка.

В другой раз, в июле, на центр Москвы обрушился светлый ливень. Ручьи мчались вдоль тротуаров, становясь все обильнее. Вдруг на той же Трубной площади на месте как бы взорвавшихся люков вздыбились большие бугры воды. Площадь превратилась в натуральное озеро. Теперь мне не надо уж было спрашивать, я знал, что это вырвалась из подземного заключения к летнему небу, к ливню река Неглинка.

Так дважды я убедился, что даже такой город, как Москва, не может окончательно умертвить маленькую речушку, что, загнанная под землю, придавленная навалившимся на нее многомиллионным городом, она все-таки жива, и в то время как мы проезжаем по Москве в троллейбусах и такси (и когда спим — тоже), под нами бьется, как жилка, как слабенький пульс Земли, вечная и живая струя реки.

Шумит великая столица,  
Шуршит машинами над ней.  
И что же ей, Неглинке, снится  
Среди подземных кирпичей?

Кувшинки, синие стрекозы,  
Чуть розоватый свет зари?  
Луга, песчаные откосы  
И на быстринке пескари?

Весной лихое половодье,  
Июль в цветах, январь во льду?  
Хоть в берегах, да на свободе,  
Хоть под уклон, да на виду?

Или мечтает, может статься,  
И видит словно наяву,  
Как лет миллионов через двадцать  
Она переживет Москву?

Как расточатся по крупинке  
Асфальт, чугун, кирпич, гранит  
И будет у реки Неглинки  
Опять речной привычный вид?

Леса вокруг. Свежо. Светает.  
Природа в вечной кутерьме...  
Что ж, время есть. Пускай мечтает.  
А что ей делать там, во тьме?



---

---

НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

★

## СИМОДА \*

Роман

Глава 15

### Дело принимает иной оборот

**К**апитан Константин Николаевич Посьет не дремал, живя в храме Гекусенди в городе Симода, в самом котле событий. Главная его обязанность — приготовить текст договора, сохраняя дружеские связи с послами. Ссориться с японцами он не намеревался. Знал, что японцам не понравится его знакомство с Адамсом. Но ведь Адамс его старый знакомый. Посьет помнит, как встретились впервые. Миссионер Вельш Вильямс шел с охапкой растений для коллекции, а негр в военной форме тащил корзину с попугаями. Адамс устало брел за ними. Потом еще было много встреч в разных портах.

Адское терпение нужно, чтобы после страшного кораблекрушения не помчаться на шлюпке на «Поухатан». Но последняя новость сломала холодную сдержанность Посьета и побуждала действовать молниеносно. Пришла пора рисковать.

Гошкевич в сопровождении матроса обошел квартиры переводчиков, чтобы объявить о намерениях, но никого не застал. Ночью с фонарями, без всяких сопровождающих Гошкевич и матрос Палкин вышли из города и очень быстро зашагали по дороге в Хэда, не имея на это никаких разрешений.

Никого из должностных лиц перед выходом из города повидать не удалось. На заставе не задержали, так как эбису пользуются законным правом ходить за город в любое время на расстояние семь ри от порта.

Гошкевича все знали, и никто не удивился, и шпион не послан следом. Долговязый цуси-сан<sup>1</sup>, молодой, но с белыми, как седыми волосами, единственный из всех иностранцев — из американцев, англичан и русских — говорит по-японски. Ему доверяют вполне. Все знают, что он никуда от Посьета не может уйти далеко, так как тот останется без языка. Те же, кто и подозревал, зачем помчался Гошкевич в такую тьму, быстро перебирая своими огромными ногами, сделали вид, что ничего не поняли и не знают. В правилах не было указано, днем или ночью. Сказано: на семь ри может удалиться. И все!

Гошкевич — модный, в клетчатых штанах в обтяжку, денди лондонский, судя по галстуку и жилетке с цепочкой; всегда выфранчен. Голова стрижена... И никто не знает, что Осип Антонович — попович и сам был попом. Закончил духовную семинарию, выучил китайский и

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

<sup>1</sup> Цуси-сан — господин переводчик.

маньчжурский языки и на семь лет послан был в Пекин, в духовную православную миссию. Возвратившись, поступил в министерство иностранных дел и стал в этом англоманском ведомстве одним из самых приличных и усердных чиновников. Теперь, по мнению всех, делает колоссальную карьеру в Азии, двигаясь с кораблями Путятина повсюду и при этом не зря, все изучая, становится специалистом по языкам, знатоком экономики, политики, культуры Китая и Японии и всех тонкостей азиатской жизни. Но злые языки страшнее пистолетов. Говорят, что у нас это не нужно, незачем, зря старается джентльмен из семинарии, этим в Петербурге никого не удивишь, там тузы, кажется, этим не интересуются, чин за это большой не дадут и денег много не отваяют, и должностей хлебных по Дальнему Востоку у нас не водятся... Есть много хороших должностей, и чинов, и сытых местечек, которые раздаются осмотрительно и все на счету, но не для такого карьериста с уклоном в науку и политику, да еще в далекую и ненужную Азию! Да еще столь старателен и добросовестен, что бывает стыдно за него! Кто так говорит? Да чуть ли не каждый из его спутников в плаваниях «Паллады» и «Дианы» — с горькой иронией, имея в виду и себя в подобном же положении...

Офицер командует паровым катером и доставляет в Кронштадт государя с семьей. За это награда — перстень с изумрудом. Офицера помнят и потом. Можайский и Колокольцов с Сибирцевым спроектировали шхуну «Хэда» для японцев. Что им за это будет? Фига, господа! Гошкевич все это знает сам. Фига! Но что-то высшее ведет их всех и его, поповича.

И Палкину за опись фига. Еще адмиралу могут пожаловать что-то... Но далеко ему до «притронных», поэтому и сумрачен наш Евфимий Васильевич! Он тоже не царедворец, наш адмирал, хотя и генерал-адъютант, но все смотрит в себя, а не на начальство.

В любой миг из чащи может выпрыгнуть воин князя Мито и снести голову Осипу Антоновичу. Хотя на этот случай есть у Гошкевича барабанный пистолет, а у матроса ружье и у обоих ножи с японскую саблю.

За вихрями воинственных чиновничьих танцев, за толпами, которые мчатся в погоне за похвалами, наградами, за возвеличиваниями друг друга могут совсем не вспомнить о тех, кто сейчас тут старается. Могут забыть... Это, мол... А-а, Япония? Да-а-с... Неплохо бы... Но что там? Заняли? Ничего? Да помилуйте, Аральское море в таком случае и то нужней. За описание его моряк Бутаков удостоен Гумбольдтовской премии. Подвиг ваш, господа офицеры, как и Путятина, секретен. Молчит же Невельской и не жалуется. Кто знает Крузенштерна? Все! А кто знает Невельского? Никто. Крузенштерн оставался при дворе и придворным даже совершал кругосветное. Невельской даже при дворе был брulloном и мечтал о будущем, а это значит — не о личности государя. Он недоволен настоящим!..

Ночь. Тьма. Гошкевич шагал по горам и долинам. Матрос Палкин тащил мешок на лямках, а в руках нес ружье и фонарь. Ходить в горах Идзу без японца и днем страшно до сих пор, а не только в исторические времена.

Пришли в деревню. Гошкевич постучал в крайний дом и заговорил. Японцы вышли из дома. Сначала они ответили на все вопросы. А потом подумали и удивились. А потом уже испугались и рассердились, разобрав, что ответили иностранцам и что ночью здесь ходят варвары. Что же делается на свете! Эбису ходят по Японии! Но, значит, жители не боятся их?

Один японец схватил фонарь и побежал вслед ушедшим эбису. — Америка? — спросил он, догнав Гошкевича.

— Ватакуси мачи ва орося-хъто дес!<sup>2</sup> — сказал Осип Антонович.

— А-а! Орося! Ясно... Ясно...

Ночь еще была темной, когда вошли в деревню Матсузаки и узнали у японцев, что тут ночует адмирал с конвоем. На сердце отлегло. Тут же Накамура с самураями.

Тоже жители сначала ответили, а потом испугались.

— Вот местечко! — Спотыкаясь, лез через какие-то ползучие корни Гошкевич.

Вокруг лес, видно тропический. Поднялись на холм и догадались, что рядом океан. Вдруг под крутым берегом увидели отблеск воды, чуть-чуть заметно что-то покраснело посредине, и, словно затухающие громадные угли, стала видна мерцающая вода.

Закричала обезьяна, и пропел петух.

Ван, ван, — тявкнула басом собака.

Гошкевич вспомнил рассказы симодских торговцев, что при этой деревне на островах во множестве живут макаки.

Палкин оступился и бултыхнулся сапогами в воду, видимо в ключ.

— Засмотрелся... — оправдывался матрос.

— Кто здесь? — послышался в темноте испуганный голос Можайского.

— Это я, Александр Федорович.

— Осип Антонович?

— Я... Почему вы не спите?

Можайский сказал, что адмирал проснулся и что-то странное спросил.

— Я подумал, что ему почудилось, и вышел без фонаря. Экая крошечная тьма!

Вдали догорал чей-то костер, освещая лишь развесистое дерево, все в красных листьях, как букет роскошных гортензий. Фонари виднелись у дома, где самураи охраняли сон Накамура. В воротах у русского часового ручной фонарь погас, он не мог зажечь светильник и ходил впотьмах спокойный.

— Пропусти, это мы, — сказал Можайский.

— Случилось то, что в Симуду пришел...

— Что-то случилось в Симуде, господа! — воскликнул в доме Шиллинг, тоже не спавший. Он слышал разговор. — Это Гошкевич, господа! Он спешит... Идите сюда!

Шиллинг выскочил из помещения и закрыл за собой двери.

— Все здесь? — вдруг спросил адмирал, подымаясь во сне.

Вопрос адмирала и тревожные крики обезьян, казалось, предвещали недоброе.

Во дворе чуть теплился фонарь на каменном столбе у входа, двое матросов стояли на часах. За воротами на улице металась какие-то разноцветные чудовища. Но матросов уже ничем нельзя удивить, хотя они и не знают, что это.

— Мне показалось, кто-то говорит на улице, — сказал адмирал.

Вдруг под самой дверью кто-то спросил по-русски:

— Да где же они, я вас спрашиваю?

Можайский что-то ответил.

— Ба-а! — удивился матрос Синичкин. — Здорово, брат Палкин!

Все вскочили и стали целовать вошедших Гошкевича и Палкина.

— Кто там? — спросил адмирал.

— Это Гошкевич идет в Хэда...

— Осип Антонович? Боже мой, с кем вы?

<sup>2</sup> Мы русские люди.

— Вот с Палкиным вдвоем.

— Без проводников?

— Да, без японцев. Еле ушли из Симода без всяких провожатых.

— Что же случилось? — спросил адмирал. — Подойдите сюда!

— Да... срочно... Я ночью вышел и без усталости... Евфимий Васильевич... В Симоду прибыл громадный французский китобой. Команда соток человек, плохо вооружена, гарпунные пушки, средств к защите у них мало. Они сдадутся сразу... И я поспешил...

— Господа! Вы не думайте, что французы сдадутся, — произнес Путятин и встал.

Он оглядел офицеров, как бы желая знать, готовы ли они к бою. Зачем же утешать, что сдадутся? Сейчас перед всеми вместо посла, заданного чиновническими предрассудками и инструкциями глупейших бюрократов, явился военный моряк.

— Военный совет, господа! — объявил адмирал. — Прошу всех садиться... Вам чай, Осип Антонович... И тебе. И ты около меня, Палкин, садись здесь же, — сказал адмирал матросу, снявшему с плеч лямки мешка. — Переведите дух и докладывайте, Осип Антонович.

Гошкевич выпил зеленого чаю и заговорил.

— Ваше мнение, господа офицеры? — обратился адмирал, выслушав.

Все повторяли друг друга. Мнение общее — напасть на француза и захватить!

— Господа! — заговорил наконец Путятин. — Наш воинский долг — захватить китобоя. Сразу же идем на войну, в строй защитников отечества! Долг наш призывает нас. Благодарю... Но французы на корабле! Это смелый и отчаянный народ... Одни мы с вами не сладим, сейчас же вызовем команду из Хэда. Все рассчитать и тщательно подготовиться... Немедленно доставить мой приказ в Хэда. Александр Федорович...

— А как же шхуна «Хэда»? — спросил Можайский.

— Японцы сами достроят. Оставим им офицера и плотников. Их-то я не обижу, только бы меня не надули...

— Я готов, Евфимий Васильевич, — подымаясь во весь свой огромный рост, сказал Можайский. — Ноги у меня длинные, как говорят японцы, поспеть за мной невозможно. Никакому мецке.

Путятин тут же написал записку капитану Лесовскому: отобрать восемьдесят матросов, вооружить до зубов всем чем возможно, немедленно идти морем в бухту Симода на двух баркасах и, не заходя в город, ночью напасть на француза. Плотники постарались — починили шляпки — с «Дианы». И не зря Евфимий Васильевич ежедневно проводил парусные учения и держал гребные суда наготове. Самому капитану командовать при абордаже. Идти с ним Сибирцеву, Елкину и Колокольцову.

— Как же постройка без Колокольцова?

— Плотники сами управятся, — ответил адмирал, — там Глухарев.

Замечание Можайского опять было важным и напоминало адмиралу о его ответственности перед японцами во всей этой затее.

— А японцам скажите, — продолжал Путятин, — что американцы предоставляют нам муку и мясо, для этого надо срочно людей в Симоду и оба баркаса под грузы. Помните вы дорогу?

— С фонарями не собьемся... Но светает, надеюсь, придем за светлом.

— Просить вам японца в провожатые?

— Палкин поведет вас в Симоду. А мы с Синичкиным без японцев не собьемся. Зачем мы их будем впутывать?

— Они своим же головы поотрубают, когда разберутся...

Можайский и Синичкин ушли.

Говорили о Посьете. Как и уверен был адмирал, Посьет извещен, что японцы сами приглашают адмирала. Евфимий Васильевич подумал, что японцы могли предупредить француза.

— Дело принимает совершенно новый оборот, — сказал он Гошкевичу. — Но если в Симодэ японцы запрямятся? Этот корабль будет не только нашим спасением, но и важным доводом. Я не хочу уходить без договора, я сделаю все, чтобы довести до конца. Но если меня обманут — пойду, не подписав договора, куда требует долг. Мы будем сражаться на этом океане. Желание исполнить свой долг уже сейчас воодушевляет всех моих офицеров и матросов! Но пора идти, господа!

Адмирал, привыкший рано вставать и молиться, держал речь как в парламенте.

— Мы должны захватить французский корабль! Риск велик, мы сами этим лишаем себя статуса потерпевших кораблекрушение и снова вступаем в войну! Но сидеть сложа руки? И так много оплошностей...

— Ну а как же шхуна «Хэда»? — опять спросил Гошкевич. — Японцы очень надеются, что мы построим им образцовый европейский корабль.

— Да, так! — ответил адмирал. — А кто вам говорил об этом?

— Кавадзи говорил. И Кога. И старик Тсутсуй... Все всегда упоминают об этом. Когда пришел «Поухатан» и когда у них начались споры, как быть с нами, извещать ли нас, Кавадзи сказал мне, что у Японии пока еще нет возможности завести такие пароходы, но что все великое начинается с малого и что уроки первого учителя с благодарностью запоминаются на всю жизнь.

Когда-то Гошкевич объяснялся с японцами иероглифами, но за последний год он выучил обе японские азбуки и сам заговорил японски почти как японец. Послы бакуфу знали его давно, доверяли и охотно делились с ним новостями как бы нечаянно и забывшись и так передавали через Гошкевича адмиралу и Посьету то, что им неудобно было сказать самим.

— Я не собираюсь покинуть японцев, и я не отступлюсь от намерения обучить их. Пусть будет память о русских моряках... Да, я оставляю мастеровых с офицером достраивать корабль.

Когда пошли, то Гошкевич безудержно рассказывал при Накамура, что происходит в Симодэ, как живут старые знакомцы адмирала, что в Эдо происходит борьба партий в правительстве.

Накамура все время кивал головой, словно понимая и подтверждая адмиралу, что все происходит действительно так. Возможно, он что-то понимал на самом деле? Поверил ли он, что Можайский послан за баркасом для хлеба?

Гошкевич упомянул вскользь о Мито Нариаки. Он сказал о претендентах на руководство обновленным государством и о канцлере Абэ. Он сторонник быстрых нововведений и дружбы с Америкой и Европой. Глава реакционеров — князь Мито. Молодой канцлер Абэ гениально лавирует и ведет мелкие умелые интриги... В стране брожение. Когда американцы пришли, их встречали торжественно. Весь город был разукрашен фонарями, это и днем красиво, а ночью — феерическое зрелище...

В этот омут, где все на острейших самурайских саблях, где вот-вот начнется резня, где о договорах с иностранными государствами думают меньше всего, надо было идти и ввергаться. «Минет ли меня чаша сия? — размышлял Путятин. — Но если китобоя возьмем?» Он готов уйти на войну и сложить голову в честном бою. Дипломатические

споры можно и отложить, тем более у них тут такая сумятица, что даже своих послов не кормят как следует и город все еще в развалинах. И все города вокруг развалились в землетрясение. В столице тоже трясло... Победа России над союзниками, как верил Путятин, произойдет обязательно. Этому его учили. И только к победе он был готов. Поэтому он верил, что победителю будет предоставлено все, договорам, что обещано. Пока он все более и более настраивался возвращаться в Россию на китобое. Для этого надо идти на абордаж.

Японцы уверяли Гошкевича, что согласны подписать трактат как обещали. Но ведь начнется обсуждение договора по пунктам — и опять пойдут ссоры, разногласия... Все же Путятин надеялся, что и договор будет, нельзя, никак нельзя не заключить договора, когда американцы заключили и уже ратифицировали. А нам обещание было дано и послы ждали, конечно, не зря, хотя теней еще много и сумятица у них великая, и Путятин понимал, что Кавадзи могут убить свои же, если его заставить пойти на уступки... И нельзя от него многого требовать при заключении договора.

— «Поухатан»? Так кто же на нем? Японцы говорят, там много старых знакомых?

— Адамс пришел. И Мак-Клуни.

— Боже мой, господи! Вы с поухатанскими офицерами встречались на Доброй Надежде и в Китае? Там у вас знакомые... — сказал Шиллинг.

Среди моря — желтые и белые скалы с висящим тропическим лесом, дельфины прыгают из воды и запускают вверх фонтаны. Полукругом стоят скалы, которые ночью светились красным светом. На островах, похожих на холмы, — избы рыбаков под травой. Сети на просушке на столбах, полукруглый пляж. Морская вода кажется густой, как синька. Стая сытых обезьян важно вышагивает гуськом по отмели, как породистые жеребцы на прогулке.

Путятин никогда в жизни не видел такой густой синей морской воды при таком чистом небе и таких важных обезьян, похожих на министров с портфелями.

Десятки чиновников сопровождают Путятина и Накамура. Слуги несут фонари разного цвета и формы. Ночью казалось, что в черном аквариуме плавали фантастические зеленые, красные и желтые шары, рыбы, чудовища, кубы и солнца. А теперь синь моря, солнце, умиротворенные обезьяны, желтая дорога и полная загадочность впереди. На фонарях еще видны тусклые иероглифы, как бы загадки и загадки.

— На колени! На колени! — раздавались крики самураев, шедших впереди, и прохожие опускались в почтительных поклонах.

Верховых лошадей вели в поводу, на седла никто не садился, они совсем нехороши. Матросы завьючили коней, чтобы не мучить японских крестьян перетаскиванием тяжестей, как принято, когда путешествуешь знатные личности.

Там, где дорога узка и скорей похожа на тропу, походный марш стихал и все плелись по чаще и по желтой высокой, уже зимней, траве, переговариваясь между собой, как идущие гуськом шанхайские кули.

Внизу, под яркой желтизны скалами, — синяя пропасть океана, огромная как небо. Где-то далеко, как чайка, рыбацкая белая фунэ. Кит окунется и пустит фонтан.

— Путятин идет! Путятин... — говорили в деревнях.

Все смотрели на высокого сумрачного человека, шагавшего в своих некрасивых сапогах по пыльной солнечной дороге.

## Глава 16

## Рукопашная

Трое юнкеров, пыля начищенными до блеска сапогами, шагали из чертежной на обед.

Капитан не брал их с собой в Симода. Степан Степанович — «лукавый царедворец»! Не хочет подвергать адмиральских сыновей опасности. Они взяты в кругосветное для выучки, для опыта и выработки характера «sea dog»<sup>3</sup>. При этом Лесовский совсем не намерен посылать их под меткие пули. Держится все в величайшей тайне, и даже юнкерам сказано, что баркасы идут за американской мукой и продовольствием по случаю прибытия «Поухатана».

Как будто мы матросы и нас можно уверить! «Ну и что же!» — полагает юнкер Урусов. Он теперь ждет ухода капитана и офицеров.

Последний обед задавал товарищам юнкер Корнилов. Отец его сейчас в Севастополе, в самом пекле войны, подвергает испытанию построенный им флот, укрепления, дух сражающейся армии, состоящей, верно, наполовину из морских офицеров и матросов.

Хозяйкой сегодня на обеде Урусова будет мисс Ота. Наконец она согласилась. Кажется, даже воодушевлена. И не скрыла своей радости от офицеров, от Алексея Николаевича, который с ней еще сегодня проходил по арифметике счет. «Ориң, ува...» — считала Оюки. А сама, верно, спит и видит стать хозяйкой на обеде.

Хэаа, Эдо и Симода,—  
запевает юнкер Лазарев.

Тру-ля-ля-ля-ля,—  
подхватывают Урусов и Корнилов.

Нет девицам перевода.  
Тру-ля-ля-ля-ля...

Сегодня все уходит. Сражение против китобоя не может быть опасным. Тут верный выигрыш Располагая такими ловкими и сильными офицерами и матросами, Степан Степанович не упустит «приза». Могли бы взять юнкеров. Дом сегодня, однако, опустеет, и храм Хонзенди опустеет. Мусин-Пушкин переходит в Хосенди. Юнкерам предоставляется полная возможность покутить. Обед будет самый тонкий, аристократический. Готовит капитанский повар. Все это с позволения и при полной любезной внимательности Степана Степановича, который — хитер, — верно, полагает: «Чем бы дитя ни тешилось...» Ота-сан во все посвящен и разобьется в лепешку, будут омары и креветки. Ота-сан больше юнкеров волнуется и млеет при этом от счастья.

Навстречу валит толпа молодых японцев с таким громким, заражающим смехом, какого никогда слышать не приходилось. Парни прыгают, как козлы, у всех физиономии расплылись. Сегодня воскресенье, на стапеле нет работы, отдыхают, веселятся и японцы.

Хэн но цунами ни,—  
запевает молодой паренек с узким шустрым личиком.  
Это знакомый плотник Хэйбей. Сегодня он в опрятном коротком халате, чист, умыт, подвязан кушаком.

Орося но атама о  
ка ки ку кэ ко-о.

Опять раздается взрыв хохота. Толпа, расступаясь, останавливает-

<sup>3</sup> Морского волка (собаки).



ся и, не прерывая смеха, вежливо пропускает шагающих в ногу юнкеров.

— Орут что-то про русских. Орося — русские или Россия, Атамао — это голова. Видно, болит у нас от цунами голова.

Хохот, крики, кутерьма невероятная. Мальчишки орут, мусмешки суетятся.

Оказывается, японцы — веселый и разбитной народ и гулять умеют. Куда тебе! Матросы говорили, что святки прошли, а не рянулись, показать бы японцам ряженных. Букреев на днях надевал медвежью шкуру, купленную или выменянную за какие-то пустяки, и матросы под самодельные балалайки водили «медведя» вокруг лагеря. Может быть, и разбередили японцев. Им, кажется, не время еще веселиться, идет Новый год. Наверное, еще посятятся, как предполагают наши. Но, может быть, у них свой деревенский праздник, и наши матросы в этом разбираются, кажется, проще и скорее, чем японисты и синологи — знатоки буддизма и иероглифов.

Сегодня с утра нагрянул Можайский с приказом от Путятина, и сразу все переменялось, начались копеечные секреты и обманы друг друга, важности, чванство и проволочки. Юнкеров не берут с собой, отказано категорически: мол, молокососы, за вас еще отвечать. Ну ничего. Молокососы не будут сидеть сложа руки!

В лагере идут сборы. Там уже строятся команды. Юнкера побыстрей минули ворота храма, где Лесовский во дворе покрикивал на офицеров. Сборы шли к концу. Сделано все чудодейственно быстро, и отряд за отрядом уходит на пристань. Японцам сказано, что идут срочно за мукой и солониной. В деревне не все знают про это, но кое-кто знал заранее. Предсказывали в последние дни, что скоро русские пойдут в Симода. На работе некоторые плотники как умели старались расспросить: мол, почему еще же не идете?..

Хэда, Эдо и Симода,  
Тру-ля-ля-ля-ля...

Заслышав свирепеющий голос Лесовского, Корнилов перепрыгнул загородку и за ним товарищи, и все, как дети, пустились бежать через кладбище...

Пройдя на пристань, Лесовский велел поднять брезент в баркасе. Открылся целый склад самодельных пик, секир и железных крючьев.

— Что же это такое? — холодно спросил капитан.

— Оружье для абордажа, Степан Степанович, — отвечал матрос. — Ковали в кузнице.

— Унтер-офицера сюда!

— Тотчас, ваше высоко...

— Что это такое, Соколов? Японцы ковали или вы?

— И мы и японцы, — отвечал Соколов, — вот эту пику Сизов делал.

— А откуда почти на всех предметах ржавчина? Ржавое из кузницы не выходит.

— Ржавым еще страшней, Степан Степанович, — сказал Букреев. — Француз сразу сдастся.

Но капитан, кажется, хотел придраться во что бы то ни стало.

— Я вас спрашиваю: где вы набрали столько ржавого оружия? Чье это? Как сюда попало? Кто разгласил? Вы что же, раньше времени разгласили?

— Японцы уж который день говорят нам, что надо вооружиться да идти в Симоду, — сказал спокойный Сизов.

Лучшего оружия невозможно придумать для абордажа. Тут мож-

но и цепляться, и вскакивать на борт, и бить, колоть, рубить. Не все ли равно капитану?

— Японцы сами все знали прежде нас, Степан Степанович,— говорил Букреев,— а мы никому не говорили. Они думают, что у нас война с Америкой. И стали приносить кто что может.

— Война с Америкой? С кем же вы ведете такие разговоры? Как ты их понимаешь?

Голова капитана набычилась, лицо стало багроветь, а маленькие глаза сузились.

— Мы не просили. Они сами... Изрядное изделие для абордажа,— сказал унтер-офицер.

— Зачем же им эти изделия? Они сеют рис, ловят рыбу. Где, почему они заржавели?

— Для охраны берега,— небрежно обронил Букреев и добавил: — для бунта ли...

«Экая свинья! — подумал Лесовский, глядя в лицо Василия.— Рожу наел у японцев. Тебя только на войну... Этакое мерзавцы, какие они, оказывается, разговоры тут ведут... Чуть недогляди...»

— Что ты сказал?

Букреев невольно отступил, видя, как плотная капитанская фигура закачалась на носках как на пружинах.

— Рыло! — заорал Лесовский.— Свинья! Благодетель японский! Вот тебе и дай волю!.. Волю тебе? Куда ты пятишься, сволочь, стой, тебе приказываю!..

Капитан крутил Букреева вокруг себя и бил по спине и по лицу.

— Горб не набейте, Степан Степанович,— сказал Васька, словно не чувствуя силы ударов и приводя этим в бешенство Лесовского.— Мне сегодня в рукопашную...

«Подделом вору мұка! — думал матрос Иванов.— Маслено едят они здесь с Янкой. Надо бы и Берзиню». Но никто не выражал ни сочувствия, ни осуждения. Каждый знал: не радуйся чужой беде, своя на гряде.

«Наказание перед боем не вредит»,— полагал Степан Степанович. Во флотах всего мира известна эта истина старым капитанам, требующим от людей готовности к бою и бесстрашья.

Фельдшер обтер Васькины ссадины спиртом. На чистой, надетой перед боем рубахе матроса появились коричневые пятна.

Море уже темнело, и вид волн становился черней и грозней.

С палубы корабля на такую волну не обратишь внимания, а в баркасе раскачиваешься вровень с ней. Такая волна ночью для баркаса — как шторм для фрегата. Но люди за веслами привычно сумрачны.

На небе, куда, кроме Леши Сибирцева, никто, кажется, не смотрел, еще светло, разрисованы веера из перистых облаков, похожие на вышивки ширм или на рисунки на золотистой шелковой материи. От горизонта мчится небольшое черное облако, подымается в небе и растет над морем как черная, махровая хризантема гигантских размеров. На баркасах снимают весла, ставят паруса, ровный ветер заполняет их и подхватывает маленькую эскадру из двух суденышек. Люди снимают весла с уключин.

Избиение Букреева капитаном всех давило. Матросы наготове, со всей силой и злостью кинутся они в ночи на борт французского судна и как бы за все оплатят.

Ветер способствует.

«Прощание с мисс Ота было очень трогательным,— думает Леша.— Странно — прощание обычно разъединяет...» Объяснил ей, что уходит, может быть навсегда, и желает ей всего наилучшего. Вот от

этих-то пожеланий милые глаза ее смотрели с ужасом, казалось, не верили, что разлука возможна... И тут же он узнал, что она согласилась быть хозяйкой у юнкера. Все, что ждет его, небывало, интересно: абордаж, заключение договора, жизнь в Симода, уход на родину на захваченном судне. Адмирал, однако, просил особенно не уповать. Хотел договориться о присылке за остающимися моряками судна нейтральной страны. Наши здесь еще останутся. Но кто?

А черная хризантема еще в небе, в ее махрах замелькали огни, красные как выстрелы, поднялся хребет дракона, и открылась пасть. Горы Идзу в несколько террас выступили друг над другом, и там что-то сверкнуло, а очертания гор ползут и возвышаются в обрывах и туманах. Что это за мир?..

Саша Можайский расстроен чем-то. Но вот накатывает тьма и успокаивает всех. Примиренный со своими сомнениями, Леша подымает воротник шинели и тяжко, изнеможенно засыпает весь в тщетных усилиях понять какую-то таинственную красоту.

Просыпается, когда сменяются гребцы, и опять засыпает после работы веслом. Офицеры гребут вровень с командой, так как перед смертью нельзя отделять себя от простого матроса. Неписанный закон. Хотя Букреев бит и унижен капитаном только что.

Страшно подумать, если вдруг представится желаемая возможность. Возвращение в Россию! А там уже конец войны... И в Петербург! Увидеть Верочку... Да, он на прощанье сам поцеловал Оюки. И что же... На прощанье... Очень все чисто, и на душе так легко и вместе так сложно, что если смерть — она примирит его в том противоречии, которое он все же чувствует и от которого все время в опьянении.

Чем крепче ветер и чем рискованней этот необыкновенный поход, тем жизнь становится все прекрасней и прекрасней. При этом стоит Степану Степановичу взглянуть на лейтенанта Сибирцева, сказать одно слово, как он привычно погасит возвышенное чувство и превратится в дисциплинированного офицера — весь внимание и готовность к делу.

Ночь наступила, и нашла туча со снегом, низко, чуть не задевая мачт, и сразу заштило и стало холодней.

Кутались, закрывая поверх шинелей плечи и колени ватными халатами из тех пятисот, что дарены японцами на все морское войско адмирала Путятина и присланы на джонках из интендантских запасов правительства бакуфу, из замка-дворца в Эдо. «Становишься флибустьером, пиратом, — думал Леша. — А господа юнкера — бездельники и жуиры. Безграмотные и неряшливые молодые люди. Оюки согласилась служить в офицерском доме? Ота-сан сломил ее? Как дельный человек, он предвосхищает действия своего правительства в новую эпоху!»

В глубине души так ясно ощущалось, что останешься жив, более того, несмотря на все устрашающие приготовления и на небывалую ночную гонку за китобоем, особенного ничего не произойдет. Слишком все напряжены и ждут боя, слишком рвутся в Россию. Леша на все, кажется, готов, как и матросы. Все время спит, если не гребет его вахта, старается сохранять силы.

Капитан тоже засыпает, подняв воротник шинели и сидя на банке. Матросы во сне мерзнут, сверх шинелей закрывают плечи и спины ватными японскими халатами по одному на двоих, а потом, просыпаясь, отдают товарищам, сменяя их у весел.

Наступил штиль. Вот тебе и на!

Чтобы схватить ветер, капитан велел отгребать в океан. Маневр удался. Ветер нашли, донесло до Симода быстро, но опять наступил перед рассветом полнейший штиль.

Легли в дрейф, обмотали уключины тряпками, чтобы не лязгали. Теперь враг рядом. Обе шлюпки сблизились.

— Закурим,— сказал поручик Елкин, подводя корму своей шлюпки.

«Будь она европейской девушкой, я мог бы послать ей из России письмо,— думал Сибирцев.— Через нейтральную страну... Через Голландию, например. Я, наверное, не забуду ее. Я кое-что умею написать иероглифами или их азбукой. А она мало знает по-русски. Неужели Япония так и останется недоступным отдельным миром?» Леша представил, как пригласил бы Оюки-сан в Россию. Но ни о чем подобном никто из офицеров и помышлять не смел, а скажи — подняли бы на смех.

В темноте штурманский поручик высек огонь и, закрывая его полкой шинели, подал закурить Колокольцову и матросам. Александр Александрович зачмокал трубкой.

Знали, что это последняя передышка перед атакой. Все это под слабый плеск, как под тихую грустную музыку. Матросы работали хорошо, погонять не приходилось. «Так и надо Васье! — полагает Колокольцов.— Будь поосторожнее. У нас как принято: люди бессердечные». Из людей выветрился дух казармы, смердящий запах табака, лекарьств и пота.

Звезды на небе огромные, зимние, как куски хрусталя. В свете их мерцает тихая черная вода. Чуть покачиваются шлюпки. Неподалеку, как черные перья, из воды торчат скалы.

— Мы у входа в Симодскую бухту. Сейчас поворот,— сказал штурманский поручик.— До рассвета остается полтора часа.

— С богом! — сказал Лесовский.

На миг все сняли шапки.

Елкин принял руль от унтер-офицера, и его шлюпка пошла вперед. Он пощупал крюк. В кузнице выковали, преотличная штука. Закинуть можно на борт китобоя и сразу прыгать на палубу.

Набрали железных обломков, выковали ножи, кинжалы, штыки, забрали топоры у японцев.

Плотник Таракити дал другу Сизову гирьку на цепи и показал, как надо бить по голове Америку. Японцы, конечно, догадывались, хотя все держалось в величайшем секрете, им никто ничего не говорил.

Леша опасался, что есть матросы, которые не понимают разницы между американцами и французами. Многие не понимали, что происходит, и только исполняли все старательно. После бессонной ночи и такого напряжения все смешалось в головах.

Сейчас придется бить сонных. Об этом думал матрос Сизов. Ему велено прыгать первым, на него надеются. Лишь бы ловко вскочить на борт да самого не сшибли бы. Годами учились забрасывать крюки и, держа в руке трос, быстро, прямо из лодки бегом руками по нему, а ногами по борту. Или с размаху ногами вверх, как на трапеции. А товарищ должен из ружья сбить любого, кто подбежит к борту. И тогда по стремянкам-лестницам из веревок на крюках хлынут на штурм корабля, на абордаж, все.

Ну, только бы вскочить! Надо подойти тихо и хотя бы пятерым неслышно оказаться на борту. Сердце стучит, бьет дробь, как барабан, мерещится во тьме черный борт, краска облезла, медь видна.

Тьма сгустела, душно, облака нависли. Шлюпки вошли в полосу тумана. Сменились гребцы, Елкин все держал лево руля, посматривая на компас.

Вошли наконец в бухту. Пронеслась мимо скала-остров, похожая на развесистое столетнее дерево. Прошли мыс. Все черно, и узнаются места с трудом. Вот другой остров, на котором в декабре, перед Но-

вым годом, держали наблюдательный пост. Все кажется каким-то другим.

«Ну, теперь чем скорей, тем лучше»,—думает Сизов. Все товарищи на него положились. Сизов ждет этого тяжкого мига испытания. Он должен размозжить в этом бою первую голову. У него и гирька, пистолет и нож для ближнего боя. Китобой сейчас спят, если японцы не предупредили. Все равно куда не денутся, перебьем их и передадим. Ночь темна, к борту подойдем незаметно. Стрелять нечем, пороха почти нет.

Матрос оглянулся назад. Скалы стиснулись вокруг, закрывая выход, и душа его стиснулась. Уже в бухте! С берега пахло цветущим лесом. Это не сирень и не черемуха. Это горная вишня цветет...

Сибирцев ждет. Он с детства умел прыгать на стены. При абордажных ученьях легко, не хуже матросов, закидывал крюк и взбегал руками по тросу, а ногами по борту. На корабль любого тоннажа. Он хочет помочь Сизову.

Букреев приготовился: «Меня смерть найдет в бою, а не в наказанье». В первой пятерке и он стоит с крюком и со страшной поковкой из железа и ждет команды.

— Что за чертовщина,— бормочет Елкин.

— Что такое? — громко спрашивает капитан.

— Смотрите хорошенько! Где же город? — сказал Колокольцов.— Куда нас занесло?.. Петр Иванович, что же вы...

— Голубчик...

— Что голубчик? Это другая бухта! — ответил Елкин капитану.

— Я тоже ничего не пойму...

— Тут и понимать нечего. По ошибке проскочили дальше, в другую бухту, Степан Степанович... Тьма, звезды закрылись. Я теперь узнаю место. Тут вот есть пролив под скалами, пройдем прямо к острову Иннобасари. Мы в западной части бухты Симода.

— Потихе, дорогой мой, вы не на плацу...

— Если они ждут нас с другой стороны, то это даже на пользу, что мы нагрянем отсюда.

Из-за острова стали открываться огни на берегу.

Бесшумно опускались и подымались ряды весел.

— Поручик, как идти дальше?

— Ничего, Степан Степанович... я этот берег на карту наносил.

— Сдерживай! Табань! Скала. Риф...

— Не беспокойтесь, я вижу,— говорит Можайский.— Лево руля.

— Теперь, господа, тихо...

Виден черный борт корабля.

«Ну, только бы вскочить! — думает Алексей.— Хотя бы нам пятерым вскочить!» Его матросы уже поднимают крюки. Сейчас придется убивать. И он думает: лишь бы на борту не сбили.

Все же тут течение, и корму заносит. Черный борт судна быстро приближается.

— Степан Степанович, это японец стоит,— говорит кто-то из матросов.

На носу японской джонки появляется фигура с фонарем. Японец молча смотрит на идущие мимо шлюпки.

— Америка? — подымая фонарь, спрашивает он.

— Америка! — отвечает Елкин, и шлюпки быстро идут дальше.

Но вот наконец и китобой. Громадное судно бесшумно надвигается кормой на шлюпки и становится все выше. Слишком высока корма. Шлюпки расходятся. С Колокольцовым и Шиллингом идет впереди, держа к правому борту, Елкин направляется к левому. Штурман поды-

мается, держа в руке веревку с крюком. Сибирцев и все матросы встают. Сейчас, как кошки, кинутся они на этот черный борт. Но что это еще? Колесо? Пароход?

— Сигнал! — раздается тем временем команда капитана.

Трубач заиграл призыв к битве, вызов врагам, предупреждение, что сонных не бьют, и захлебнулся, словно с борта его порешили.

Елкин замахнулся и запустил крючья, но при свете фонаря увидел приспущенный огромный звездный флаг и тучную трубу над палубой.

— Ху из камин? — раздался тревожный голос.

— Американцы! Вон башенное орудие...

— «Поухатан», господа...

— Где же француз?

— Отставить! — раздалась команда, и баркас быстро пошел от борта парохода в кромешную тьму.

При свете многих вспыхнувших на палубе фонарей видно стало, как потоком в полном порядке бегут матросы в высоких фуражках.

Заревели голоса, раздался свист дудок, ударили в рынду. Из всех люков потоки людей все быстрее и быстрее хлынули на палубу. «Пошла кутерьма! — подумал Сизов.— Сейчас они нас попужнут из карабинов».

— Поручик! — крикнул Лесовский.— Что за переговоры! Извинитесь и отваливайте!

Елкин задерживался у борта. При свете фонарей множеству лиц на палубе видно, что офицер в шляпке увещан оружием. На него с борта наведены дула карабинов. Елкин положил себе под ноги штормтрап с крючьями, который успел было закинуть на палубу и норовил уже вскочить, когда набежавшие американцы выбросили эти крючья вместе с веревочной лестницей.

Высокий американский офицер, перегнувшись через борт, спрашивал:

— Рашен? «Диане»? Уи ар америкэнс...

Он говорил с величайшим пафосом, видимо понимая, что произошла ошибка и корабль принимают за француза, и всем, в первую очередь самим русским, грозит ужасная опасность. При этом произносил букву «р» по-американски, словно ворочая языком во рту горячую картофелину.

Елкин еще чего-то подождал.

— Рашен! — ответил он с оттенком разочарования.

Взял весло у своего матроса и не торопясь оттолкнулся от щербатого американского борта, и его шляпка сразу ушла во тьму.

Василий Букреев видел, что получилось не то, на что рассчитывали, вдруг словно потерял память на все, что было прежде, и на все обиды, как будто в том, что случилось, лучшая отместка Мордобою.

## Глава 17

### Симода-Фудзи

Посьет с фонарем вышел из храма, как самурай, в халате. Путятин обнял его на ступенях.

— Я послал гребные суда, чтобы захватить «Наполеона», — сказал он, входя в помещение, — Слышно ли что-нибудь?

— Француз ночью ушел, — ответил Посьет.— Кем-то был предупрежден. О наших гребных судах пока никаких известий. В Симодэ стоит американский пароход «Поухатан». Капитан Адамс прибыл для замены ратификациями. Накамура обещал мне, что известит вас об этом.

— Японцы, наверное, и предупредили «Наполеона»,— с досадой сказал Путятин.

Стоя над жаровней с горячими углями, он стал раздеваться.

— В горах ветер и дождь со снегом. А по термометру — тепло.

Витул принял от адмирала клеенчатый плащ, башлык, фуражку с мокрым пятном вокруг адмиральской кокарды и шинель и понес все сушить. Лишнего Евфимий Васильевич не носил, полагая, что старые кости нечего зря греть, пусть потерпят, пока мерзнется.

Жена священника вошла со служанкой и показала, куда поставить корзину с углями. Посыет железными щипцами стал подкладывать древесные угли в жаровню. Гошкевич разливал зеленый чай.

— Опять пустой чай,— сказал Пещуров.

— Наилучшее угощение для голодного и озябшего путника,— ответил Гошкевич.— Европейцы обижаются... А ведь нет ничего, что сравнилось бы. Сразу силы возвращается.

За ночь глаз не сомкнули. Впереди и по сторонам шли японцы с фонарями, освещая дорогу. Днем ливень и потоки с гор задержали адмирала. Пережидали вместе с Накамура и со всей свитой и матросами в придорожной беседке с крышей, похожей на копну соломы.

Посыет стал докладывать, что текст договора почти готов.

— С американцами снеслись?— спросил Евфимий Васильевич, прихлебывая чай.

— Я ждал вас и не стал тревожить японцев. «Поухатан» пробудет здесь не менее месяца... У них, как мне кажется, что-то не ладится с японцами.

— Японцы всеми силами не хотят подчиняться давлению. Американцы ходили с подписанным трактатом в Вашингтон, а пока президент ратифицировал, японцы что-нибудь передумали.

— За ними дело не станет! От них то и дело жди, что поднесут дулю.

— Но в то же время они знают, что шутить с американцами нельзя. Американцы благородно декларируют и тут же показывают, что у них сила. И этим учат японцев лгать. Но и японцы не сдадутся! Надо, Константин Николаевич, попытаться склонить Адамса к доставке нас на Амур. Или к присылке за нами их торговых судов, если сами не осмелятся. Что вы думаете?.. Да, где же Степан Степанович?

Посыет ответил, что Лесовский прибудет благополучно: в море спокойно и ветер попутный, можно не беспокоиться. С Адамсом, видимо, можно сговориться, но снести с американцами будет нелегко.

— Меня уже предупреждали, чтобы никто из русских не шел на борт «Поухатана» в Японии.

— А вы?

— Американцы знают, что мы здесь. Я виделся с капитаном Мак-Клуни в городском управлении. Он так горячо приглашал меня, что японцы решили, что у нас спор. Потом спрашивали: мол, почему если встретятся европейцы-капитаны, то смотрят друг на друга очень гордо и никогда не согласятся? Они разделяют нас всеми силами, установили сильные караулы и просят не встречаться. Я не стал им виду показывать, и мы с Мак-Клуни отложили все до вашего прибытия. Он только успел сказать, что на Камчатке нами одержана победа над союзным флотом.

Японцы не знали, что почти все американские офицеры, как и командор их и капитан, были старыми знакомыми Константина Николаевича.

— Шила в мешке не утаишь,— сказал Евфимий Васильевич.— Однако что за победа на Камчатке? Туда шел Прайс с эскадрой...

— Француз вошел в гавань под американским флагом. Американцы вызвали к себе шкипера, и, вернувшись с «Поухатана», француз спустил американский флаг. Японцам хотелось бы нас задержать. Они говорили мне, что боятся: если американцы помогут нам задержать французское судно, то в Японии будет война...

— Я предупредил послов Кавадзи и Тсутсуя, послал им письма с просьбой обдумать два пункта договора: о портах для торговли и о консулах, — сказал Путятин, переходя к делу.

— Они представляют так: если согласиться на консулов, то надо дать им место для жилья, значит, надо отдать японскую землю, тогда начнутся протесты в народе...

Рассвело, когда на отмели ниже храма Гекусенди, где волна подбегала к узловатым корням, пристали под гигантской ивой две шлюпки.

Старик, ходивший по деревне с колотушкой, остолбенел, увидев шедших с моря в проливной дождь людей...

— Где адмирал? — спросил Лесовский, входя в храм и видя Посьета.

Адмирал вышел в туфлях на босу ногу.

— Французский китобой скрылся! — доложил Лесовский.

— Его предостерегли... Вон Константин Николаевич объяснял...

— Отдых, ребята! — крикнул капитан, выходя во двор. — Пейте горячий чай — и спать.

— Рис готовить? — спросил повар.

— Разводить костры, ставить палатки. Щи и кашу, варить к подъему.

— Зачем же костры? У нас при храме кухня отличная.

Люди, измученные бессонной ночью и выбившиеся из сил, валились, едва поставив палатки. Некоторые засыпали, сидя на крыльце, под навесом колокола или на узкой терраске вокруг храма.

Через комнату, где накрывался стол для офицеров, с поклоном прошли двое японцев. Заглянул хозяин храма — бонза. Промелькнул в сплошном поклоне застенчивый молодой японец с бритой головой. Через некоторое время он с поклоном прошел обратно.

— Где бы мы ни были и что бы ни делали, около нас всегда трутся какие-нибудь личности, — сказал Посьет. — Вот сегодня появился какой-то новый лысый старичок...

На дворе дождь. Костров не разжигали. Повар Посьета вместе с японцами готовил на кухне у священника.

— Японская охрана нашего храма усилена с тех пор, как вошел в бухту «Поухатан», — объясняет Гошкевич. — Они делают решительно все, чтобы помешать встрече с американцами.

— Но как бы то ни было, господа, будем доводить дело до конца, сохраняя дружеские отношения, — заявил Путятин. — Сегодня же я снесусь с Кавадзи. Как он здесь чувствует себя и как живет?

— Погружен в разбор разных дел, связанных с присутствием в Симодэ американцев. Кажется, во главе делегации стоит здешний губернатор Мимосаку, знакомый нам, Евфимий Васильевич, который в числе четырех уполномоченных подписывал договор с Перри в Канагаве. Кавадзи терпеть его не может, как заметно, несмотря на всю скрытность японцев.

— Взаимно не любят друг друга, — заметил Путятин. — Может быть, сегодня увижусь с Кавадзи. А пока, господа, еще по чашке чая — и спать.

Сибирцев чувствовал нервное возбуждение; кажется, так переутомился, что не мог бы уснуть.



Пройдя через двор, превратившийся в военный лагерь, на знакомый берег, Алексей смотрел на бухту, окруженную тропическим лесом с пальмами, с мысами, расколотыми в штормы на множество камней. При откате волны на каменных плитах видны, как наклеенные, лишай или грибы. Но это живые существа, черные и шершавые. Их множество. Наклонись и тронь — почувствуешь, как в палец ударит электрический заряд. Японцы их едят. «И я ел», — подумал Леша.

В сером свете проступал город, растекающийся к морю. За развалинами и новыми крышами много малых сопков в веселом лесу, из них самая отдаленная похожа на сахарную голову. Симода-Фудзи, как ее тут называют. Похожа на Фудзи, как домашняя кошка на тигра.

Из-за толстой ивы чиновник с сабелькой добросовестно присматривал за ранним променадом эбису.

Алексей ушел в храм и улегся на циновку, где ему постелено. Слышно, как в соседней комнате адмирал сказал несколько слов Посьету, и все стихло.

Утром тяжкую усталость спростонья живо разогнали душистая свежесть ветра и прохлада воды. На стол поданы рисовая каша, яйца, щи и соленья.

Путятин сказал, что, не теряя времени, сегодня же хотел бы начать переговоры с послами бакуфу. Отхлебнув зеленого чая, он добавил:

— Константин Николаевич, берите шлюпку да отправляйтесь на «Поухатан». Что там, в Крыму? Какая победа на Камчатке?

— Обе шлюпки наши надо осмотреть перед обратным переходом, — отозвался Лесовский. — В них есть течи. Люди спят, замученные, и поднять их невозможно.

— Ступайте на пристань и вызовите американскую шлюпку. С визитом к коммодору! С вами барон Шиллинг, Александр Александрович и поручик Елкин.

— Меня-то зачем? Да что вы, Евфимий Васильевич! — краснея и вскакивая, вскричал Елкин. — Мне на себя надеть нечего... Вы посмотрите, в чем я... В таком рванье мне не хватало идти на североамериканский пароход! Ни за что на свете!

Мундира лишился Елкин еще при высадке с гибнущей «Дианы», когда волной перевернуло вельбот и пришлось все с себя сбрасывать.

— Да, вам нельзя, — согласился Путятин. — Алексей Николаевич, возьмите сигнальщика и конвой. Выберите лучших матросов и унтер-офицера... Вызовите американскую шлюпку. У них код другой, но они сразу поймут.

— Можно вызвать американским кодом.

— Не отсюда вызывайте, они вас не увидят из-за острова. Ступайте прямо на городскую пристань и подавайте сигналы при японцах. До начала моих переговоров, господа, надо узнать новости... Сообщите о нашем положении. Мы не можем терпеть подобные стеснения... Губернатор не имеет никакого права запрещать мне сношения с американцами. Мы должны поставить в известность о нашей судьбе государя и правительство. С богом и немедля! Выберите и подымайте людей, пусть оденутся и наедятся досыта. Хлеба нет? Вы, Константин Николаевич, сам знаете все.

Сеял дождь. Вся Симода посерела. Вокруг, как деревья в саду, в тусклой росе стоят малые веселые горы. Из таинственного отдаления заглядывает на пристань через долину в развалинах стройная Симода-Фудзи в сумрачном кимоно водянистого цвета. Шли гуськом по мосткам через реку. Рыбак сидел в лодке, закрыв голову травяной рогожей. В открытой бухте волны прыгали на каменные столбы и на островок с крошечной кумирней на вершине. Минувшим декабрем об эти

скалы чуть не разбило «Диану» вдребезги во время цунами. Ее крутило на канатах, она носилась по бухте, как секундная стрелка, сделав сорок оборотов!

На берегу множество пушек с «Дианы» лежат рядами. Выгружены перед уходом с фрегата по приказу адмирала. А вокруг, как после сильнейшей битвы, — сгоревшие кварталы, развалины. Дальше, там, где в облицованных камнем берегах течет другая речка, дома отстраивались. Торгуют лавки.

— Эй, гляди, Петруха, — подтолкнул Букреев товарища, — мы этот дом с тобой ставить начинали.

Глаза Сизова обратились на второй этаж соседнего нового здания.

— Знакомые, — кивнул Маслов японкам, выглядывавшим в окна.

На этой улице отстроены новые хорошие лавки, некоторые в два этажа. А было тут поле тины и щепья, поваленных деревьев и кучи золы и углей.

Прошли мост, улицу, опять женщины выглядывали из верхних окон. Одна помахала из широкого рукава маленькой рукой Сибирцеву, он подумал: «У моих матросов по всей Японии, кажется, есть знакомые...»

Дома богатых людей отделены канавами в камне от гостиниц и от заведений на другой стороне. Еще дальше роскошные парки у храмов и на кладбищах, которые тянутся на изволок к горам. На каждый храм приходится два-три как бы покровительствуемых заезжих дома.

Посьет рассказывал офицерам, что тут очень сложные отношения между хозяевами храмов и прочим населением, что до Осипа Антоновича, между прочим, дошел слух, как около Хэда и Симода появились беглые монахи секты ничирен, известной якобы изуверствами и преступлениями. Будто правительство разогнало сборище их при каком-то храме и, видимо, начнется расследование деятельности секты. За всем этим ощущается та борьба партий, что идет сейчас в Японии. Разбежавшиеся из разоренного пристанища монахи якобы ищут повода загладить вину и доказать верность правительству.

— Ухо надо держать остро, — заключил Константин Николаевич. — Хотя все может оказаться выдумкой для устрашения.

Опять вышли на берег, теперь уже ближе к пароходу. Там, где река впадала в бухту, образовался мыс правого берега. На картах-рисунокках этот мыс похож на сидящего на корточках японца. Он охранял вход в город и в Японию. Всюду символы воинственного духа, охраняющего покорную любовь и цветущие плодородные низины.

Спустились на отмель, к самой кромке, до пены, которую, откатываясь, оставляла волна. Подошли полицейские и знакомый переводчик Тацуноске. Он стал уговаривать Посьета не встречаться с американцами. Японцы растянулись цепью. Посьет шагнул вперед. Переводчик забежал с другой стороны и, замочив ноги, сказал, что просит уйти всех с берега. Откуда-то подошла лодка с солдатами под зонтиками. Они вышли на отмель и вместе с полицейскими образовали одну цепь.

— Пожалуйста, через мой труп! — сказал переводчик, расставляя руки.

Офицеры в плащах и матросы в куртках смотрели на «Поухатан». Там был близкий мир, который для всех уже почти погиб вместе с «Дианой». Видны внушительная труба и громадина поворотного орудия на палубе как символы этой цивилизации.

— Сигналь! — велел Посьет.

Маслов поднял флажки.

— Совершенно не разрешается вам идти на американский корабль! — подбежал второй переводчик.

Это явился приятель Эйноске.

— Кто не разрешает? — спросил Посьет.

— Не разрешает губернатор. Он не просто чин, а чин-дай, то есть большой чин.

— Чин-дай? Симода буге? Губернатор Симоды? Он не разрешает? — не растерялся Посьет.

Секунды шли очень быстро.

— Исава? — назвал он губернатора по имени. — Исава Мимосаку но ками? — называл он его же по имени с прибавлением титула, пока Маслов сигнализировал. — И-чин? Но И-чин дурак, не понимает сути дела! Хотя и большой чин! Когда я уже поехал на американский корабль, посылает людей остановить меня? Когда иностранцы встречают иностранцев, какое до этого дело большому чину?

Приятели Эйноске пытались объяснить.

— Чин чина почитает! — сказал он по-русски.

Пословицу он выучил, слово «чин» у русских и у японцев, так же как слово «баба», имеет, как полагал переводчик, одинаковое значение. Как и слово «атаман». Атама — голова. То же, что «атаман».

— Посьет-чин... Посьет-чин... очень прошу...

— Найдутся еще дураки, не только И-чин... — ответил Посьет.

На мачте американского корабля стали подыматься ответные сигналы шарами. Означало: «Вижу!» — и сразу же: «Ждите! Посылаем шлюпку немедленно!»

Посьет перевел вслух.

— Держитесь, ребята! — сказал Сибирцев своим матросам. — На задор не поддавайтесь.

На «Поухатане» послышался крик в трубу и свисток. Американцы на шкентелях прыгали в шлюпку прямо с борта. Слышно было, как запели блоки и тали, полез с палубы вверх и потом стал спускаться на воду еще один баркас.

Не зря Евфимий Васильевич все эти годы заставлял изучать американский флот, их устав, знакомиться офицерам и матросам с их людьми. Уже в тридцатых годах американцы, флот которых до того ничем не был примечателен и не принимался никем всерьез, вдруг удивили мир, построив бронированные пароходы — батареи, переплывавшие океан. У государя нашего флот отстал. В свое время царь серьезно отнесся к визиту американского корабля в Петербург и, пригласив к себе тогда еще молодого капитана Метью Перри и офицеров, долго и с интересом расспрашивал о новинках в американском флоте. Невельской довел до конца замысел Петра Великого и дал стране океаны. Так полагал Сибирцев.

Матрос Маслов хотел еще сигнализировать, но уж от далекого борта отделилась и стремительно пошла, направляясь к берегу, шлюпка. Японцы угрожающе стеснились толпой, загоразивая все подходы к берегу.

— Посол Путятин приказал нам идти на американский пароход, — дружелюбно сказал Посьет.

— О-о, Путятин! О-о! — пролепетал Тацуноске, делая вид, что изумлен, что не знал ничего подобного, первый раз слышит, что Путятин здесь, но не отступал.

Американская шлюпка врезалась в песок. Матросы в картузах без козырьков сразу прыгнули с обоих бортов на берег и стали бесцеремонно расталкивать самураев, а матросы в круглых шляпах, с синими воротниками на белых рубашках, держа весла стоймя, смотрели с крайним любопытством, делавшим их всех похожими друг на друга.

Офицер в голубом мундире с золотым поясом, при кортике и палаше подошел к Посьету.

— Поздравляю вас, капитан, и ваших офицеров с прибытием! Капитан Мак-Клуни рад, ждет вас с нетерпением, так же как вас ждут все офицеры и весь экипаж корабля Соединенных Штатов «Поухатан». Пожалуйста, капитан, прошу вас, господа, и прикажите садиться вашим людям.

— Кам, кам... — любезно заговорили американские матросы, приглашая дианских в свою шлюпку.

— Ну, будет, будет тебе, — молвил Сизов еще упрямо наседавшему на него японцу.

Остальные теперь не мешали. Они смотрели молча и с любопытством, а Эйноске кланялся. Когда обе шлюпки пошли, переводчик махнул рукой, словно от души пожелал счастливого пути и успеха. Спектакль прекрасно удался. Главный японский посол Кавадзи прав. Он все устроил так, чтобы старались задержать, препятствовать, но чтобы русские могли встретиться с американцами. Япония только сделала вид, что недовольна этим. Ни тени не падает на благородную совесть Кавадзи и князя Тсутсуй. Они поступили вежливо и благородно. Путятин, конечно, понял. И Посьет не сердится!

Каждый из русских матросов подсел в баркасе вторым у весла. Сосед искоса присматривался к гиганту Сизову, а тот, как в деревне принято, старался сделать вид, что не обращает внимания, а только работает.

## Глава 18

### Звездный флаг

Приближался борт «Поухатана», черный и блестящий, как гвардейское голенище. Огромный пароход накренился, такое множество людей столпилось и налегло на борт. По вантам и реям до салинга и чуть не до топов мачт висят матросы, держась рукой за снасти и устойчиво упираясь в дерево хотя бы одной ногой. Судьба людей погибшего корабля «Диана» занимает и тревожит весь экипаж «Поухатана».

Офицер отдает команду. Весла подняты стоймя, и шлюпка полукругом все тише подходит к трапу.

Крепят концы два американца. Видны их окладистые бороды и темные фуражки без козырьков, которые стягивают голову серыми околышами, как узкими стальными обручами.

Капитан Посьет переступает на трап и подымается на палубу.

Вздернув огромную рыжую бороду и раскинув руки, его как старого знакомого встречает Мак-Клуни, капитан этого великолепного парохода. Улыбка у Мак-Клуни несколько свирепая, торчат хваткие большие зубы с желтизной, ладонь огромная, как лопата, из-под белесых бровей жмурятся маленькие карие глаза.

— Рад видеть вас, капитан Посьет. С прибытием! Милости просим! Поздравляю вас! Очень рад! Спасибо! Здравствуйте, господа! Милости просим...

— Очень рад! Благодарю вас, капитан Мак-Клуни. Очень рад! Позвольте представить...

Все пожимают друг другу руки, вглядываясь в лица.

— Как было в Макао? Вы помните? Ха-ха-ха-ха... — захохотал Мак-Клуни, слегка обнимая Посьета.

Энергично подошел пожилой джентльмен в галстуке и сюртуке без эпюлет. Генри Адамс пожал руку Константину Николаевичу.

— У царя все такие? — спросил он, поздоровавшись с огромным Можайским и обращаясь к Посьету как к старому знакомому. — Поздравляю вас, господа! Милости прошу ко мне. Идемте, капитан... Идемте, господа!

Неясно, с чем поздравлял Генри Адамс, кажется, с благополучным исходом, что пережили катастрофу и прибыли на «Поухатан». «Или же имеет в виду камчатскую победу?» — с неостывающей гордостью думал Сибирцев.

Генри Адамс полноват, с клочковатой бородой на большом несвежем лице, косички нестриженных волос торчат из-под околыша. Он показался Алеше уставшим и будто едва оторвался от рабочего стола. Произносил сухие английские слова без интонаций, но приветливо. Глаза открытые, светлые, взгляд их тоже чем-то заглушен, посол озабочен.

Адамс тронул локоть Сибирцева, как бы прося почувствовать себя непринужденно. Посол оказывался любезным, как француз, умел придавать значение оттенкам, как Мак-Клуни, и не связывать себя формальностями.

Бородатый капитан бросил беглый и острый взор на лица четырех русских офицеров, словно желая увидеть что-то скрытое, и впечатлительному Алексею вспомнились описания рабовладельцев из Южных Штатов.

— Ужасное, небывалое кораблекрушение! — сказал Мак-Клуни.

Лица молодых людей не выдавали никакого огорчения. В Японии их действия могут выглядеть значительными! Русский флаг молод на этом океане, как и американский.

По речам всех без исключения японских чиновников, с которыми приходилось об этом говорить, чувствовалось глубокое уважение к Путятину и его людям.

Газеты Лондона, Шанхая и Гонконга писали о сражении на Камчатке. В английском парламенте этому придано значение, сделан запрос, от правительства потребованы объяснения.

— Экипаж просит матросов «Дианы» подняться на палубу и быть гостями, — сказал старший офицер «Поухатана».

— Пожалуйста, Александр Александрович, передайте приглашение людям, — обратился Константин Николаевич к Колокольцову.

Мак-Клуни поднял раскрытую ладонь. Плотная масса американских матросов дисциплинированно расступилась, и Мак-Клуни провел всех по палубе через живой коридор в парусине, как через Черное море<sup>4</sup>.

В посольском салоне все расположились на кожаных диванах и креслах.

— Где же адмирал Евфимий Путятин? — подчеркивая, что задает главный вопрос, осведомился Адамс. — Ах, здесь? Путятин здесь! Господа! Я немедленно посылаю приглашение его превосходительству.

Под рукой у посла визитные карточки, отрывной блокнот и перья.

— Лейтенант Пегрэйм...

У стола появился высокий черноволосый американец с голубыми глазами и в голубом мундире.

— Доставьте приглашение его превосходительству, — сказал Адамс. Он вложил письмо и визитную карточку в конверты с американскими морскими орлами и подал лейтенанту. — Возьмите с собой свежие газеты, пожалуйста.

— Серьезная победа на Камчатке. Разгром английского флота, — держа руки на круглом столе с бархатной скатертью и обрезая сигару, говорил Шиллингу молодой американский лейтенант. — Убит адмирал Прайс... Поврежден пароход и линейный корабль.

Шиллингу хотелось отблагодарить и сказать что-то любезное про

<sup>4</sup> Славянское название современного Красного моря.

Америку, про ее большое сердце, ее желание счастья и процветания всем народам, но подозвал Посьет, чтобы посоветоваться.

Мак-Клуни посылал приглашение на обед капитану Лесовскому и всем офицерам. В Гекусенди ехали трое американских лейтенантов. Мак-Клуни велел, чтобы в храм доставили два мешка хлеба, морские бисквиты и бочку солонины.

— А где же ваш офицер, который ночью схватился на бордаж с «Поухатаном»? — спросил Пегрэйм.

— Он уже закинул нам на борт крючья веревочной лестницы... — сказал кто-то из лейтенантов.

— Кто это, господа? — спросил Посьет, обращаясь к своим офицерам.

— Это Петр Иванович Елкин, — ответил Колокольцов.

— Так едемте за ним!

— Вот лейтенант Пегрэйм разговаривал с ним у борта.

Шиллинг пожал плечами в недоумении и тихо сказал Алеше:

— Удивляюсь, как он мог разговаривать, не зная ни одного языка!

— Почему не приехал лейтенант Елкин?

— У Елкина нечего надеть, и он отказался ехать, — сказал Сибирцев по-русски.

Посьет перевел, и американцы громко рассмеялись.

— Возьмите для него все что нужно, — под новые взрывы смеха сказал Мак-Клуни. — Отважным все прощается...

Американские матросы тесно обступили поднявшихся на палубу дианцев.

Американцы столпились молчаливо, но с крайней степенью любопытства и восторга. Лица в ссадинах и синяках, голубые и черные глаза и разномастные бороды.

Вдруг откуда-то сверху как с неба раздался чей-то громовой бас, может быть проповедника из святых квакерских потомков, ушедших в плавание.

— Ну как, братья, вам живется на рисе?

Грохнул дружный матросский хохот сотен здоровенных глоток и, раскатившись по палубе, поднялся на реи и мачты. Смех адресовался хозяевам островов, которые уже всем успели досадить и насолить, с которыми все непросто. Верно, и русских накормили досыта не только рисом, но и своими причудами.

Началась грубая и отчаянная давка. Теперь каждый пробивался как мог. С рей прыгали прямо на палубу или спускались по снастям, скользя, как на роликах, на собственных смоленых мозолях. Гостей хлопали по спинам и плечам, в карманы дианцам совали какие-то бредлоки, табакерки, картинки и побрякушки, резные фигурки...

— Ночные пираты! Здорово, ребята! — врывается новый голос.

Жали руки, заглядывали, как цыгане коням в зубы, в глаза, в уши, трогали рубахи...

...Мы кое-что узнали про вас! Как вы после кораблекрушения? Это удивительно. Наверно, молились? Все было, ребята! Мы понимаем! Со стороны еще страшней! Думали, что начинается светопреставление? Так, говорят, и было! Но я не верю, что горы двигались... Разве могло море ринуться в трещины и уйти, а бухта высохнуть...

Вся эта бурная, непонятная речь перебивающих друг друга людей пришла по душе Букрееву.

— Японцы умеют насолить и довести до бешенства и при этом улыбаются! А что сделалось с Симодой! Если бы не эта катастрофа!

— Да, да... Мы бы с вами провели время на берегу...

— На площади у храмов Старый Медведь<sup>5</sup> показал им парад. С пальбой и в барабаны били.

— Русские! Тут хорошо не в такую морось!

А японские лодки все время ходили под бортами у открытых иллюминаторов, словно хотели узнать, о чем сговариваются русские и американские матросы.

На палубе появился негр с мешком хлеба на плече. Целая вереница матросов подымалась за ним из глубины парохода.

— Хлеб, ребята! — обрадовался Иванов.

— Брэд! — сказал американец и толкнул Ваську в грудь, потом так же толкнул себя и своих товарищей. — Брэд! Брэд! — приговаривал он.

— Да, брэд, ребята! Мы все едим хлеб наш насущный, живы хлебом, как вы, пашем и печем! И мы вас, ребята, очень хорошо понимаем. Столько просидеть без хлеба! Мы знаем, у вас тоже есть свой Старый Медведь! Наверно, он, дьявол, сам жрет хлеб и сахар. А вы, ребята? Столько просидеть голодом и еще так работать! Правда! И еще как черти нападать на француза...

Американец поставил мешок на палубу и открыл его, достал ковригу.

— После кораблекрушения все дозволяется! Идем на берег к вашему Путятину и заодно доставим хлеб для команды.

— Ребята будут довольны. Как раз к обеду, — ответил Маслов.

Американец разломил ковригу.

— Пробуйте после поста!

— Мы понимаем... В стране цветов... И просидеть два месяца с церемониями...

Остролицый американец с таким рябым лицом, что оно, казалось, расшито кружевами, а каждая рябинка выстрочена белыми нитями, так вошел в интересы гостей, что сам стал есть хлеб, как вырвавшийся из японского плена.

— Каждый из нас, моряков, может, ребята, оказаться в таком же положении. Мы сами такие же... И при всем сочувствии нам могут, конечно, приказать драться друг с другом не на жизнь, а на смерть.

— Ну, а что поделаешь! — как бы понимая, соглашался Маслов.

— Мы ведь тоже дисциплинированные, — пробился наконец и громовым басом загудел проповедник, свалившийся с неба. — У нас линьки и еще бамбуки! Бамбуки переняты нашими офицерами у китайцев! Удобная штука! Казаки и черкесы, наверно, так не наказывают. А если бы вы знали, что случилось на «Поухатане» из-за вас сегодня утром... Так пока, братья, простим друг другу прегрешения — и до первой бойни! Не будем обижать друг друга. Ешьте, но не здесь. Мы вам приготовили пир внизу под надзором цепного собачника. Идемте! И посоветуем что-нибудь друг другу для спасения души.

Взваливая мешки с хлебом, американцы, уходившие в шлюпку, вступали вереницей на трап.

Дежурная шлюпка, в которую грузили продукты, хорошо выкрашена, а вода из нее вычерпана чуть не досуха. Прежде замечено, что американцы в порту не сидят без дела, у них матрос с кистью на длинной палке и с ведром висит у борта и подкрашивает облезлые места. По рассказам людей, живших с Посьетом в Гекусенди, по утрам на «Поухатане» целыми часами виден густой строй матросов на палубе. Наверное, всем задают ранним утром уроки. Сегодня дождь, и, может быть, поэтому люди на палубе не выстраивались.

<sup>5</sup> Так называли Перри.

— Push on, America!<sup>6</sup> — кивнул Букреев с палубы загребному на шлюпке, здоровенному детине, вершков четырнадцати ростом, с маленьким ястребиным носом и с прорыжью в баках. Букреев, как и многие его товарищи, бегло говорил.

Американец, однако, не собирался стараться сверх меры. Он загребной, работал, как полагалось, ни меньше ни больше.

Голоса на палубе постепенно стихли, первый приступ сумасшествия проходил. Матросов повели вниз, где накрыт был обширный стол. Выставлена бочка рома.

— Как полагается ночным пиратам! — объявил «проповедник».

— Ты не в конгрессе. Заткнись!

Во главе стола уселись объемистые пети-офицеры, люди немолодые, как и наши унтера и боцманы, дерущие и сами драңые. Из машинного отделения слышался лязг железа, там работали.

Маслов, высокий и осанистый, с толстой шеей, с нашивками унтер-офицера, сразу опознан был стариками пети-офицерами и посажен тоже в вершине стола, как главный гость, хотя он и моложе их. Рядом — Сизов. Петруха такого же роста, как Семен, но пожиже и в поясе потоньше. Сизов половчей, сметливей, любит щегольнуть на берегу, пройтись с форсом, женщины обращают на него внимание. Но товарищи знают, что в душе он телок. А смех! Японку уместил, все были еле живые после высадки, а он... Сизов носит кольца, серьгу и уже отпускает кудрявые баки сверх меры. Японки удивляются, как могут быть у молодого человека такие белые волосы, как седые.

Американцы все щеголеватые, говорят просто, держатся с форсом и сильно походят на Петруху. Не от них ли он в плаваниях набрался?

— Пан понимает мою мову? — заговорил матрос с бритой верхней губой и в светлой бороде-жабо.

Американцы стеснились, ловят каждое слово переводчика.

Весь обед говорили о пустяках. Дарили друг другу монеты. Американцы спрашивали, есть ли казаки в команде. Сизов показал на Семена Маслова. Тот поглаживал усы.

— Оттого казак и гладок, что поел, да и на бок, — сказал Букреев.

— Вот наш скверный кофе, — сказал пети-офицер, — нет сливок и молока.

— В Японии нет сливок, — подтвердил переводчик.

Васька ответил, что один из матросов доит корову у японки и пьет с ней молоко. Американцы засмеялись дружелюбно, кажется не веря, что в Японии можно доить корову. Вася чувствовал, что это не японцы, которые всегда и всему верят и сразу все хотят увидеть и понять. У этих все изучено, и они ничему чужому цены не дают? Неужели лучше Букреева знают, действительно ли доит корову Янка Берзиль?

Сизову сказали, что его офицеры останутся тут жить. Матросы повели гостей по трапам, показывали опустевшие каюты, в которых все чистится и ставится наново, и объяснили, что это для русских.

— Как посмотрит адмирал, — сказал Маслов.

На «Поухатане» рано утром произошло «избиение младенцев». Ночью экипаж подымали по боевой тревоге, которую никто не ждал.

Не зря Боярд Тейлор, юный корреспондент известной нью-йоркской газеты, ставший известным после путешествия в Японию и в сиогунские моря с коммодором Перри, написал в своей книге, что в командах американских военных кораблей собран сущий сброд, среди

<sup>6</sup> Вперед, Америка!



которого немало темных личностей. Подобные животным, они ничего не делают без понуждения и заслуживают постоянных тяжелых телесных наказаний. Есть лгуны, бездельники, нездоровые и слабые, порочные и просто «хог-хэд», грязные боровы.

В час тревоги поднялись не все, старикам пети-офицерам пришлось пустить в ход кулаки, линьки и цепочки от дудок.

В то время как на палубы и к орудиям хлынули сотни крепких молодцов и подошедшие на двух баркасах русские разглядели приспущенный звездный флаг и вооруженную карабинами и холодным оружием дружную команду, в это время в жилых палубах валялись и не могли или не хотели подняться те, кого Тейлор, со слов Перри, называл отребьем человечества. Старый Медведь их не щадил. И доказал Тейлору, что это необходимость. Негодяи убили в Наха — на острове Окинава — туземца. Потихоньку посещали в городах притоны, искали удобного случая, чтобы совершить насилие. Неряхи, пьяницы, нализывавшиеся после вахты водкой — сакэ, выменянной в подворотне у известного всему экипажу японца с провалившимся носом. Заразившиеся в портах, их в наказание заставляли, несмотря на болезни, нести вахту и делать грязную работу. Многочисленные павшие духом, которых ободрали на суше как липку. Только побои еще могут их встряхнуть, заставить работать и принять человеческий образ.

Американцы лицом к лицу с возможным неизвестным противником держались отважно, изготовив по тревоге дальнобойную пушку и бортовую артиллерию и заняв все места согласно приказанию командиров.

Расправа началась после, когда рассвело. Подняли флаг, и заменивший больного пастора миссионер-переводчик, от которого всегда пахло чесноком, прочитал молитву. Всех созвали вниз, в жилую палубу. Явился капитан Мак-Клуни. С ним лейтенант Кошь со знаменитыми железными кулаками, которые двигаются, как поршни паровых машин. На месте, прямо там, где только что убраны койки, начался мордобой. Мак-Клуни сам угощал могучею рукой так, что хрустели скулы и ломались переносицы.

Матрос сидел в свободное время, резал из дерева фигурки японцев и японок, раскрашивал их ярко, чтобы потом продавать товарищам. Его смазали так, что лопнула кожа на скуле. Стенли, один из лучших матросов, невольно оттолкнул в грудь офицера, видимо, не разглядел, кто кого бьет.

Когда это произошло и офицер упал, то все расступились и побоище мгновенно стихло. Лейтенанта подняли. Он достал из кармана большой крахмаленный платок и вытер под носом и бороду. Холодно сказал, показывая на Стенли: «Он!» «Военный суд! — сказал рыжебородый капитан, выходя в середину образовавшегося круга. — Виселица! Взять его!» «Провались к черту!» — тихо сказал Стенли. На него надели наручники. Мак-Клуни велел пети-офицерам прекратить избиение.

Офицеры были собраны в кают-компани. Мак-Клуни сидел под портретом Вашингтона. Он сказал, что назначает комиссию. Ни один из провинившихся в эту ночь американской тревоги не избежит справедливого возмездия по закону, в полном согласии с правительственным уложением о телесных наказаниях и о праве личности на свободу. «Американский флот после победы над Мексикой отвыкает от боевых тревог! Бог послал нам ложное столкновение в заливе Симода как испытание, и все офицеры, как и большая часть экипажа выказали доблесть. Но это напоминание Америке о вечной опасности... Помните, чему учил нас наш отец, наш Старый Медведь!»

...Коммодор Перри — из семьи потомков английских крестьян-

квакеров, которые еще на старой родине объединились в сообщество, составляя уставы. Главными были пункты о взаимопомощи. Во время бедствий, болезней, пожаров, падежа скота и в случаях жестокой эксплуатации крестьян ростовщиками, как значится в этих старинных бумагах, члены общества помогают друг другу. Не в силах сохранить свой крест и бороды при пашнях на острове, многодетные квакеры предка Перри поплыли за океан, где на плодородном побережье, в мягком и теплом климате благодатного цветущего материка основали колонию, назвав ее Новой Англией и установив День благодарения бога. К ним потянулись люди всех народов без исключения, читавшие газеты или слышавшие, как бывалые морские бродяги льют колокола про Америку.

Теперь на кораблях, которыми командовали потомки пионеров Новой Англии, матросов драли и лупили беспощадно. Эта разноязычная масса гибла от лихорадки и поносов. У Перри в Макао, Шанхае и Гонконге перемерло много, но освободившиеся места тут же занимались эмигрантами.

Отец, дед, дядя Перри созидали американский флот на Великих Озерах, плавая на корытах и лоханках и разбивая адмиралов королевского флота. Матросы, белые и черные, в борьбе за независимость были товарищами.

Когда были открыты морские колледжи и их воспитанники уж не сморкались по-британски, ноздрей наотмашь, родной дядя Метью Перри, известный американский капитан и живодер старого закала, с подозрением поглядывал на замечательное развитие в среде моряков образования одновременно с фискальством. Ему не нравились юнцы, говорившие по-французски. Он редко бил простых людей, потомков квакеров или негров, которые добросовестно бегали по реям и дрались с французами, англичанами и пиратами. Но зато он учил образованную молодежь с длинными волосами. Однажды несколько гардемарин, проходивших практику, явились на корабль пьяными. Капитан приказал бить их, а потом велел товарищам мочиться лежавшим в стельку гардемаринам в рот. Событие это увековечено в документах военного суда, оправдавшего капитана, который объяснил, что желал такой мерой вызвать рвоту у молодых людей, чтобы сохранить их здоровье.

Племянник этого американского самодура был назначен начальником экспедиции в Японию для ознакомления закрытой империи с западной цивилизацией. Назначили его в Вашингтоне с неохотой, памятуя свирепые замашки семьи Перри, пригодные для войны за независимость, но неподходящие в наступавшую новую эпоху маклеров и адвокатов.

Теперь на кораблях били того, кого и следовало бить, — простых матросов за их тулость и врожденную порочность. Били потомков квакеров Новой Англии, бродяг, изболевшихся или отчаявшихся, героев Брет-Гарта, изуверившихся во всем, кроме колоды карт, случайного счастья, удачного грабежа или шотландского виски. Били новичков и романтиков моря без разбору и разницы. А образованных и фискалов не трогали пальцем.

Все уже встало на свое место под сенью закона о равноправии и свободе личности, когда Перри, отчалив от банкирских контор Нового Света, подвел к Японии свой совершенный флот. Торговцы всего континента братски дружно стремились к магазинам фарфора, сабель, шелков, к залежам угля и золотым приискам. Пионеры коммерции уже видели, как любезно раскрывают гордые самураи лазейки за спинами театральных стражей со сверкающими рыцарскими мечами острейшей в мире стали.

Сейчас все радовались встрече с дианцами, бедствия которых оказались еще страшней, чем предполагали, и все сочувствовали гостям.

Было в экипаже и немало отличных, грамотных матросов, безусловно прослуживших долгие годы, умных, здоровых и заработавших себе достаток. Дома их сыновья гордятся отцами, плавающими в океанах. Жены ждут и молятся за них. Некоторые матросы имеют на атлантическом побережье деревянные и кирпичные коттеджи под черепицей и железом. Жены некоторых держат лавки, кондитерские и магазины, обучают детей в хороших школах.

Адамс — из старой американской, теперь уже аристократической семьи, где воспитывали в правиле: *to trust God and to hate England*<sup>7</sup>. Посьет слышал, что один из родственников Адамса по восходящей линии, кажется, был президентом Соединенных Штатов. Японцы подозревают, что Адамс — переселившийся в Америку потомок того Адамса, который долго жил в Японии чуть ли не во времена Хидейоси и в память которого до сих пор в Эдо существует «квартал капитана».

Известно, что Адамс всегда был дельным и уравновешенным человеком. Многие самые сложные и трудные заботы на флоте, говорят, возлагались на него. За спиной Перри или рядом он был советчиком Великого Коммодора и не раз терпеливо и привычно выручал его из многих осложнений. Но с Метью Колбрайтом Перри бывало такое, что и Адамс оказывался в тупике.

Тяжелый, властный и капризный Перри с вечными декларациями о борьбе против казачества и тирании, за свободу, демократию и права человека был убежден, что японцы лгуны и что Японию можно преобразовать лишь решительными действиями. Перри видел будущее Японии только как колонии Америки.

Слухами земля полнится, и Посьет с Путятиным все это знали от консулов Англии и Америки в Шанхае, и от знакомых в Гонконге, и от японцев, которые по-свойски постарались обрисовать Посьету склад характера нового посла Америки, прибывшего в Симода вместо Перри, который остался в Вашингтоне.

## Глава 19

### В кают-компани

Путятин принял американских офицеров за рабочим столом, сказал, что рад будет видеть его превосходительство коммодора Генри Адамса, но что занят, благодарит, сегодня не может принять приглашения, а капитан и офицеры будут.

На столе разложены бумаги и словари, идет подготовка и сверка текстов договора. Гошкевич пишет на длинном листе кистью китайские иероглифы.

Высокий черноволосый Пегрэйм, в светло-синем вицмундире передал с оттенком значительности пачку газет, как бы вручал торжественно, и поздравил адмирала с победой.

Путятин поблагодарил.

— Вам ехать, Степан Степанович,— сказал он, обращаясь к Левовскому.

Капитан и офицеры пошли собираться.

Громадный белокурый Витул подал самовар и чашки, разлил чай.

— *Difficult task*<sup>8</sup>,— бесцеремонно сказал один из американцев про

<sup>7</sup> Верить в бога и ненавидеть Англию.

<sup>8</sup> Трудная задача.

сидящего через стол Осипа Антоновича, который, склонившись, усердно писал иероглифы.

— Every day difficult task<sup>9</sup>,— отозвался Гошкевич, не подымая глаз на гостей.

— O! Japanese!<sup>10</sup>— сказал полюбезней Пегрэйм и многозначительно глянул на оплошавшего лейтенанта.

Когда партия во главе с Лесовским была готова и одета в шинели и все поделились остатками французской парфюмерии и собрались во дворе, лейтенант Пегрэйм сказал:

— Извините... а где же... полный молодой офицер... блондин?..

— О ком он спрашивает?

— Про кого вы говорите, сэръ?

— Меня просили капитан и все мои товарищи... Сцепившийся на бордаж с крейсером «Поухатан»...

— Господа, где же Петр Иванович? Петр Иванович... Куда он делся? Он совсем не полный.

— Он сбежал!

— Вот досада! Как же сказать?

— Да так и скажите...

Елкин ушел из храма, как только понял, что всех приглашают на обед. Он терпеливо отсиживался на могиле погибшего во время цунами матроса Симонова. Сеял дождь. В залатанном мундире и в старых штанах, закрыв плечи и спину японским ватным халатом, подперев кулаком подбородок и подняв воротник, поручик казался мокрой нахохлившейся птицей.

В таких штанах, в таком рванье можно кидаться на бордаж во всей ненависти к врагу, но не в гости же! «Что вы, с ума сошли!» — хотелось ему крикнуть.

Елкин все время трусил, слыша, как любезничают во дворе с американцами его товарищи. Всю жизнь он стеснялся своего неумения держаться в обществе. Душа его обмерла: через травы и кусты шли Лесовский и американцы. Дальше некуда бежать по мокрой и скользкой глинистой круче да в дождь.

— Мистер Елкин... Мистер Елкин...

— Да вы что, господа! — краснея, вскочил Петр Иванович.— Вы так не шутите со мной!

— Поручик! — строго сказал Степан Степанович.— Капитан Мак-Клуни прислал лично вам свое приглашение на обед. Вот вам письмо... Американские офицеры просят вас к себе и желают познакомиться. Кто-то сказал им, что у вас не во что одеться, и Мак-Клуни послал вам полный костюм американского офицера. Они ждут именно вас...

— Как это меня? Почему?

— Это вы их спросите. Их желание, а не мое. По мне, сидите тут хоть до ночи... Да вы извольте не капризничать. Ступайте и сейчас же переоденьтесь. Они вам и размер подобрали.

При этом все трое американцев кивали головами покорно, как ученики.

— Мы ждем вас, поручик!

Елкина провели в храм, сняли с него халат и старый мундир.

— Одевайте теперь его, братцы, во все американское,— велел денщику Лесовский.— Больше у вас нет оснований отказываться. На «Поухатане» для вас как для гостя приготовлена каюта... Зайдите к адмиралу и попросите, он разрешит вам остаться у американцев.

— Я ни за что не останусь. Это пусть барон Шиллинг. Это его дело... Это он про меня всюду плетет...

<sup>9</sup> Каждый день трудная задача.

<sup>10</sup> O! Японцы!

Когда Елкин оделся и вышел, все офицеры от удивления ахнули. Американцы восхищались и хлопали штурмана по плечу теперь уже как вполне своего, а русские уверяли, что за ним-то и прислал шляпку Адамс почти как за адмиралом.

— Довольно язвить, господа! — властно ответил поручик.

В голубом костюме вид у Елкина, как сказал Пегрэйм, был на тысячу долларов. Костюм, казалось, сшит по нему.

Через четверть часа все появились в кают-компании «Поухатана».

— Где адмирал?

— Он не будет.

«Блистать отсутствием», — недовольно подумал Адамс.

Поручик Елкин несколько неуверенно вошел последним, но обратил на себя всеобщее внимание. Светлый синий костюм с американскими эполетами лейтенанта, крахмальная грудь с широким атласным галстуком необыкновенно шли к его стройной фигуре и к белокурой голове, лицо выглядело энергичным, подчеркивалась его чистота, загар и свежесть.

— Господа, честь имею представить нашего товарища, — сказал Пегрэйм, будто вводил в общество кают-компании вновь поступившего на корабль американского офицера.

Слова лейтенанта покрыты были всеобщими криками приветствий. Американцы, кажется, готовы были видеть в штурмане героя дня и чуть ли не главного персонажа экспедиции Путятина.

«В общем-то, они правы, таков он и есть, — подумал Леша в восторге от этого демократизма. — Это у нас ему подчеркивается: мол, штурманский офицер... А все опиши его, он ведет гидрографические записки... Главный винт на корабле!»

За большим столом под крахмальной тяжелой скатертью, напоминающей о рождестве, святках и родных снегах, — множество неизвестных вин за исключением виски и французского шампанского, экзотические фрукты из ледников «Поухатана» и мандарины с японского берега, изобилие холодных деликатесов.

Все уже слегка разгорячены вином, и бурный разговор не стихает ни на миг, словно эти люди веками ждали, когда смогут встретиться за одним столом.

— Мистер Елкин, ваше место! — Черноглазый американский лейтенант Коль, как бы принявший его от лейтенанта Пегрэйма, провел штурмана к середине стола и сам сел рядом.

Офицеры русские и американские сидят вперемежку, и Пегрэйм сел на свое место с Алексеем Сибирцевым. Леша попросил позволения налить ему вина и спросил, говорит ли он по-французски.

Пегрэйм ответил, что говорит, но что сегодня он хотел бы говорить по-русски, да не умеет.

— А говорите ли вы по-английски? — спросил он.

Алексей ответил, что немного.

Высокий лейтенант Коль, тот, чьи руки могли двигаться, как поршни паровой машины, уселся рядом с Елкиным напротив Леша и сочувственно выслушал ответ.

— Но пережитая вами катастрофа... — говорил Елкину по-французски тонкий и очень высокий американец.

— Вуй, оказьон де террибль!<sup>11</sup> — ответил Елкин.

Шиллинг потом уверял, что это была единственная французская фраза, которую смог Елкин сказать в этот вечер, и то неверно, и даже стыл насмешливо звать штурмана «оказь он де террибль».

<sup>11</sup> Да, ужасный случай!

— Вы понимаете, капитан Лесовский, что я не могу заставить молчать своих людей при наших неизбежных встречах с англичанами,— говорил Мак-Клуни,— о том, что произошло сегодня ночью.

Лесовский это отлично понимал.

Поднялся капитан Мак-Клуни.

— Господа! — переводил Шиллинг. — Сегодня мы принимаем капитана Посета, представляющего посла и адмирала Путятин дружественной России... капитана Лесовского и офицеров русского корабля «Диана», потерпевшего самую необыкновенную катастрофу из всех когда-либо происходивших на море...

Американский капитан предложил тост за дружбу между Россией и Америкой, между которыми нет и не может быть разногласий. За будущее наших великих молодых держав на Тихом океане. За народ потомков Петра Великого и за народ Соединенных Штатов, протягивающих друг другу руки через океан.

— Вы думаете, что противоречий не может быть? — спросил Пегрэйм.

— Да, мы должны так думать,— ответил Сибирцев. — Становится сегодня очевидным.

— Надо предусмотреть противоречия заранее. На территорию Аляски является множество авантюристов из Сан-Франциско и из Канады. Известно ли вам, что по реке Стахин открыты залежи золота? Недалеко то время, когда тысячи людей со сковородами хлынут туда не только из Канады, но также из Калифорнии.

Заговорили о компаниях, о том, что кончается век их монополий. Лейтенант Коль сказал, что в Сан-Франциско известно, будто Россия хочет продать Аляску. Тогда Штаты будут владеть восточным тихоокеанским побережьем, а Россия — северо-западным, и движение между этими силами составит новое начало мировой цивилизации.

Алексей никогда в жизни не слышал, что Россия собирается продать Аляску.

Сдерживая зычный голос, заговорил Лесовский:

— От имени адмирала Путятина честь имею приветствовать вас, ваше превосходительство коммодор Адамс! Господин капитан Мак-Клуни! Господа офицеры! Наши великие державы встречаются на Тихом океане, и наши моряки впервые в истории знакомятся. Узнав о прибытии в Симоду военного корабля дружественной Америки, адмирал повелел мне с частью людей немедленно отправиться из Хэда, где мы имеем стоянку после катастрофы, на двух баркасах сюда, чтобы засвидетельствовать вам, господин посол, вам, капитан Мак-Клуни, вам, господа офицеры, наши лучшие чувства. Господа! В нашем положении не было цели важнее, чем спасение жизни и поддержание духа матросов и офицеров, очутившихся в чужой, закрытой стране, обычаи которой вам хорошо известны. Поэтому мы сделали все возможное для скорейшей встречи с вами и с благословения всевышнего сегодня прибыли благополучно. Ваше превосходительство, мы выражаем вам глубокую благодарность за вашу готовность содействовать нам...

Американцы притихли. Они сразу почувствовали характер деловой и практической. Лесовский говорил по-английски без переводчика. Холодность его лица, строгость речи еще более подчеркивались некоторой неправомерностью построения фраз, но мысли капитана и цель его речи были очевидны.

Вскоре Адамс и капитаны перешли в салон коммодора, оставив молодежь веселиться.

— Разберемся, что мы можем предоставить,— сказал Адамс.

Пришел корабельный клерк в клетчатых брюках, с пером за ухом. Он уселся, стал перебирать реестры и щелкал костяшками на счетах.

— Наши родные берега близки отсюда,— сказал Посьет,— и вы могли бы, ваше превосходительство, доставить нас на Камчатку.

— Англичане пишут в газетах, что ваша Камчатка — второй Севастополь! К Петропавловску подходил соединенный флот из шести кораблей и понес поражение. Первое поражение англичан на Тихом океане за всю историю.

— Да, я понял. Но куда бы вы предложили?

Адамс взглянул на Мак-Клуни, словно между ними это было уже решено.

— Мы могли бы вас взять в Шанхай.

— В Шанхай — в плен англичанам?! — удивился Лесовский.

— Ни о каком плене не может быть речи,— энергично ответил Мак-Клуни.

Адамс сказал, что он хотел бы поехать сегодня к адмиралу Путятину, выразить ему соболезнование. Видимо, Адамс намеревался о чем-то поговорить подробно. Он, казалось, колебался. Только что флаг-офицер приходил с сообщением, что к храмам, где живут уполномоченные японского правительства, подаются их паланкины.

Клерк опять защелкал на счетах.

— Сколькo же еще ветчины и морских бисквитов?

— Морскими бисквитами называются у них сухари,— пояснил Лесовский.

Посьет сказал, что адмирал готов заплатить за все золотом.

— Я не имею права принять от потерпевших кораблекрушение никакой платы,— ответил Адамс.— Потом наши правительства все решат.

— Золото еще пригодится адмиралу Путятину,— заметил Мак-Клуни.— Завтра с утра жду вас. Покажу все, что у нас есть. Вы скажите, что вам нужно, и мы с вами сразу все решим.

В кают-компании шестеро китайцев в белоснежных костюмах артистически быстро скатали скатерть, переставляя бутылки и бокалы, и почти под нее их быстрые матовые руки застилали, раскатывая, другую, еще более белоснежную, переставляя обратно тончайшего букета южноамериканские вина, названные именами святых великомучениц — «санта Елена», «санта Августина», «санта Эмилиана», — серебряные ведерца со льдом и шампанским, вазы с цветами, фрукты и чистые бокалы. «Как в английских колониях», — подумал Шиллинг.

Начиналась вторая часть обеда. На столе появлялись горячие блюда.

Совершенно лысый человек лет сорока оказался из шанхайских миссионеров. Он любезно улыбался, подавая широкую в кости руку. От него чуть-чуть отдавало чесноком, как от чайной чашки в харчевне. Видимо, изучая иероглифы, он заодно пристрастился и к шанхайской кухне.

Все пили. На еду все меньше обращали внимания. В четыре руки заиграли на рояле. Выходили на палубу освежиться.

— Ведь вы шли, чтобы ночью напасть и захватить французского китобоя? — спрашивал лейтенант Коль.

— Господа, откуда вы взяли?.. — отвечал Шиллинг.

— Ночью у нас была тревога. Ваши шлюпки подходили к «Поухатану» и пытались взять на бордаж.

— К «Поухатану» подходили, а не к французу! — с деланным добродушием ответил Колокольцов, казавшийся слегка опьяневшим.

— Я при этом не был и не знаю, спросите мистера Елкина,— сказал Шиллинг.

Офицеры засмеялись, чувствуя, что дальше разговор не пойдет.

— Надавали табаку полны карманы,— тихо говорил Сизов в кучке матросов, когда всех вместе на катере американцы доставляли на берег.

— У них из-за нас лучшего марсового посадили за решетку.

— Не заикнись капитану, Букреев,— отозвался Иванов.

— Что они вам говорили про Аляску? — спрашивал Колокольцов у Сибирцева.

— Им, как говорят англичане, шепнула маленькая птичка, что мы хотим уступить Аляску.

— Надо смотреть правде в глаза,— сказал Лесовский.— Американцы признают и подтвердят навеки наши исконные права на тихоокеанское побережье, а это для нас в тысячу раз важнее. Вот видите, господа офицеры, лейтенант Коль и лейтенант Пегрэйм пользуются случаем и за дружеским столом затевают, казалось бы, ни к чему не обязывающий разговор. А мы слушаем с недоумением, тогда как должны были бы так же воспользоваться исключительным случаем. Надо объяснять им, господа, наши интересы, не давая авансов при этом и не поминая Аляски.

Колокольцов сказал, что американцы, кажется, опасаются англичан в Китайском море. Но англичане отстают от американцев.

— Не учите, Колокольцов, англичан,— сказал Лесовский.— Они знают, что делают. Вот они назначили Боуринга губернатором Гонконга. Он издатель и проповедник Бентама, почетный член чуть ли не всех европейских академий, с двадцати двух лет знаменит как знаток славянских языков, первый в истории Англии переводчик Жуковско-го, Батюшкова, Державина, наших песен, Мицкевича, поляков, сербов, венгров. В Гонконге не успели отстроить город, а уж создали научное общество, построили типографию, выпускают газеты, научные труды.

— Вы не были, Степан Степанович, в Гонконге, там труппы, люди с семьями на лодках живут.

— Я не был, вы были, а что толку! — ответил капитан Колокольцову.— А Боуринг не стал Пушкина переводить, не понравились его поэмы, и Пушкина в Англии не знают...

— А что вы, Елкин, им сказали о нападении на китобоя? — спросил Шиллинг, желая отвести скользкий разговор.

— Господа, поверьте, что уж тут-то Елкин не глупее вас. Но неужели вы думаете, что они так и поверят?

Американский лейтенант, доставлявший гостей на берег и сидевший подле рулевого, внимательно слушал, силясь понять, о чем говорят русские. Пока его товарищи сидели с гостями, он нес вахту и зяб и сейчас отвозил этих серьезных людей, по виду совершенно не похожих на монархистов.

## Глава 20

### Рыцарь чести

«Японские духи естественней французских»,— полагал Кавадзи. Иностранцы являлись в Японию с требованиями заключать договоры, привозили с собой подарки — книги, картины, аппараты, машины, вино и парфюмерию,— со всем самонадеянно старались ознакомить, уверенные, что все западное лучше японского.

Кавадзи каждое утро подавали надушенное белье и свежие халаты из превосходного шелка, толстого, как английская шерсть и тяжелого, как золотая парча.

Да, это средневековые костюмы! Япония от них не откажется.

Кавадзи чувствовал, что проникается западными интересами, за-



падными идеями, так часто и приятно встречаясь с людьми Запада. Он изучал все западное и прежде. Но он не стыдится своих взглядов, как и своих средневековых одежд. Традиционные дорогие костюмы напоминают в эту пору перелома и сумятицы о великой и единой истории страны. Прошлое сливается теперь, на рубеже двух периодов, с новой, не менее великой будущей историей Японии. Но лишь немногие так ясно, как Кавадзи, угадывают это.

Скуластый и в то же время остролицый, с большой головой на тонкой, но крепкой смуглой шее, тщательно вымытый, как всю жизнь и всюду, причесанный, в белоснежном белье, в крахмальных штанах, в двух халатах — длинном и коротком мундирном, — с белым гербом на груди, с открытым, смелым взглядом больших, чуть выпуклых глаз, японский посол чувствовал себя в этом костюме, при двух саблях рыцарем высшего правительства, исполненным благородства, готовым наказать себя смертью ради долга и чести родины в случае ошибки и всегда готовым выказать рыцарское уважение заморским послам.

Он знал, что мог бы рассуждать гораздо проще и естественней, не так выпендренно, реакционно и самоугрожающе. Гончаров и Гошкевич перевели еще в Нагасаки стихи своих поэтов. Одну замечательную фразу, которая становилась для Кавадзи символом его собственной жизни, он особенно запомнил: «Погиб поэт, невольник чести!»

Вполне можно одеться в западный военный или штатский костюм, со стоячим европейским воротничком рубашки и такой же крахмальной белоснежной грудью, как у японцев. Стек, цилиндр, монокль! С женой-красавицей он мог бы поехать в Париж. В самом деле! Как советовал ему писатель Иван Гончаров. Но Гончаров не знает, что Кавадзи не только высший чиновник, но и поэт. Кавадзи мог бы изучить языки и читать в оригинале западные книги. Он и теперь не скрывает, что учит русский и французский. Ежедневно в разлуке с Сато пишет стихи.

Ученые и поэты принадлежат в это смутное время к разным партиям в Японии. Гораздо легче на душе, когда тяжкий труд исполняется в ритме хотя бы собственных стихов. Западные войска маршируют под музыку духовых оркестров или под походные песни.

Наверно, японцы, надев шляпы и заведя паровые машины, долго еще не откажутся от старого, не расстанутся с рыцарством и рыцарскими костюмами, как бы ни казались они европейцам театральными и даже маскарадными.

Обо всем, что происходит, Кавадзи получает сведения. Доклады дается немедленно. Сила власти основана не только на буддийском гуманизме и добром самосознании покорного народа, на верности тенно<sup>12</sup>, сиогуну и правительству бакуфу, но и на смертной казни. Во всей стране нет человека, который может быть твердо уверен, что завтра его не казнят. Нет вельможи, который не может ежедневно ожидать повеления о самоспарывании.

Посыет прав. И-чин дурак. Так думает и Кавадзи. Абсолютно никакого отношения не имеет Кавадзи к попыткам полиции и переводчиков задержать сегодня Посыета с офицерами и не пустить их на американский корабль. Это очень глупо. Это сделано по приказу губернатора. Да, И-чин дурак! И-чин! Исава Мимосаку но ками. Его подпись стоит на договоре Японии с Перри. Исава теперь губернатор Симода, он действует здесь как сам находит нужным. Он снова, как и в прошлом году, назначен членом делегации по приему американцев и для переговоров. Ученые — сторонники Перри согласны терпеть американцев, чтобы выучиться у них всему.

<sup>12</sup> Тенно — небесный, так называли японцы духовного владыку страны, императора, жившего в Киото.

Кавадзи не случайно назначен в позапрошлом году в делегацию для приема русских и с тех пор третий год ведет переговоры с Путятиним. Как и Путятин, он полагает, что Япония может выучиться без унижений перед американцами. Мимосаку рассуждает, как чувственная кокотка. Он готов унизиться, но выучиться и разбогатеть. Американцы подчеркивают, что богаты, и соблазняют. Они обещают научить, как взять у японского народа побольше энергии и дать ему больше умения и порядка. Но ведь существует закон сохранения энергии, о единстве проигрышей и выигрышей!

Один из покровителей Кавадзи, ныне уже покойный, встречался с русским моряком Лаксманом еще в далекие прошлые времена. Молодому Кавадзи он рассказывал об этих встречах, давал читать книги русских, переведенные с голландского. Об этом горячем стороннике дружбы с Россией потом писали в своих книгах Рикорд и Головин. Поэтому Кавадзи был избран правительством сначала для приемов русского посольства в Нагасаки, а теперь снова — для переговоров с Путятиним в Симода и для заключения договора с Россией.

Даже сторонник американцев ученый Кога Кинидзиро так же, как Кавадзи, полагает, что И-чин дурак!

Путятин оставался тверд и верен слову. Он сказал секретарю Накамура в Хэда: «Америка остается Америкой, а Россия — Россией!» И он не пошел на американский корабль.

Путятин пришел в Симода под утро. Он почти не спал.

Кавадзи и старый князь Тсутсуй отправляются сегодня же к послу Путятину в храм Гекусенди, чтобы выразить в день приезда посла свое искреннее соболезнование и восхищение... тем, что Путятин мужественно, как герой, пережил катастрофу и спас шестьсот своих моряков. Ему будет передано внимание и сочувствие правительства Японии.

Также надо узнать обстоятельства и определить, как лучше твердо встать на позиции, подготовиться к борьбе с Путятиним, к окончательной схватке перед неизбежным заключением договора. Эта неизбежность понятна и необходима. Но все же она неприятна японскому сердцу. Даже приговаривая дворянина к смерти, его не требуют к палачу, а позволяют исполнить приговор над самим собой. Это мучительно, но не оскорбляет, а возвышает. Но это надо умело самому сделать. Для этого тренируются с детства. Воспитывают всюду. Подобной тонкости нет в современном мире. Весь мир спешит, всюду суматоха, гонка, война, все декларируют и убивают друг друга. Японии тоже надо спешить.

Не откладывая, немедленно все послы бакуфу — высшего правительства — отправляются к Путятину с приветами и добрыми словами. И с затаенным человеческим сочувствием, с личным расположением к моряку и адмиралу как к небывалому, невиданному герою и старому человеку, который за семь тысяч двадцать один ри от своей столицы старается исполнить повеление своего государя и не хочет при этом совершать несправедливости. Кавадзи примерно так записал в своем дневнике. Он охотно повидался бы и поговорил с Путятиним один на один. Но это невозможно по тем законам, которые он сам охраняет. Поэтому едет также Тсутсуй Хизен. Как князь и старый чиновник, он еще и назначен высшим государственным мецке и как бы обязан наблюдать за Кавадзи. Но Тсутсуй на самом деле не наблюдает. Он мудрый старичок. Все видит, но не доносчик.

Ехать вдвоем тоже нельзя. Это оскорбило бы других членов делегации. Поэтому приходится брать академика Кога и главного настоящего мецке, который наблюдает и шпионит, — Чуробэ. И еще едет Мурагаки. И секретарь Накамура. Еще два переводчика и много поданных.

— Мы поздравляем вас с подвигом и восхищены вашим мужеством,— сказал Кавадзи, прибыв в храм Гекусенди.

Восьмидесятилетний князь Хизен, ласково улыбаясь, сказал:

— Вот мы наконец и встретились с вами, посол и адмирал Путятин! Мы очень рады, что вы здоровы,— добавил он.

Когда кланялся и поздравлял, как и Чуробэ, Мурагаки и Накамура.

— Путешествую по четырем материкам,— перевел Тацуноске слова посла,— и по всем океанам, но до сих пор никогда не встретился с таким гостеприимством. Правительство очень благодарно, и я всю жизнь не забуду. Когда узнает наш царь, то он обязательно будет рад.

— Мы спешили увидеть вас, зная ваше желание быстрее закончить переговоры,— сияя, ответил Тсутсуй Хизен но ками.

Глаза Кавадзи выкачены, смотрят холодно и бесстрастно. Он всегда готов к бою, ум его остр, как меч самурая. Мой ум — мой меч! Но сегодня день любезностей, первая встреча после длительного перерыва и после цепи ужасных, трагических событий.

— Порт Симода разрушен, все уничтожено здесь,— сказал Кавадзи.— Ваш корабль погиб. Наше правительство глубоко сочувствует вашему.

Кавадзи заметил, что его восхищает также встреча с капитаном Лесовским. Сказано было с таким оттенком, словно эта встреча оказалась неожиданной. «Конечно,— подумал Степан Степанович,— они все прекрасно знают!»

— Мы очень рады, что посол Путятин прибыл в вашем сопровождении! — добавил Тсутсуй.

Лесовский, офицеры и матросы только что с «Поухатана». «Из огня да в полымя!» — полагает Лесовский.

— Благодаря судьбе и богу,— сказал Путятин,— мы сохранили во время страшной катастрофы подарки для сиогуна и японского правительства. И мы счастливы, что теперь наконец можем вам их передать. Я приглашаю вас, господа, в соседнюю комнату, где они разложены.

Пещуров встал и открыл дверь.

Во время осмотра адмирал тихо разговаривал через Эйноске с Кавадзи. Он сказал, что жалеет, если еще нельзя передать подарков самому императору...

Взор Кавадзи чуть заметно дрогнул, но потом что-то насмешливое явилось в его выпученных глазах.

Так же тихо японец ответил, что император обособлен, что, по понятиям японцев, он — живой бог и невозможно иностранцам обратиться к нему. А потом, подумав, вдруг сказал:

— Конечно... может быть... будет передано императору... от сиогуна... Но это совершенно мне неизвестно...

«Хотелось бы сказать, что в горе и несчастье, голодные и все потерявшие, посол и его моряки сохранили как самую главную основу свое уважение к Японии и ее правительству, и вот мы видим очень роскошные вещи, которые, казалось, не переживут землетрясения. Но их спасли. Они сохранились, конечно, не на погибшей «Диане», а остались у Посьета в храме Гекусенди, но это не меняет дела».

— Сила и стойкость, выказанные вами, посол Путятин, обратят на вас внимание всего мира, а особенно Японии. Наша страна видела много зла от иностранцев, и поэтому мы жили закрыто. Но мы согласились с вашими доводами, что нам пора плавать в дальние страны. Поэтому ваш подвиг поддерживает нас, показывая, что новая дипломатия, выражающая мнение высшего правительства Японии, права и что стойкость и дисциплина приобретают еще большее значение.

На кухне тем временем в ход пошла свежая рыба, тут же наловленная матросами, и все искусство поваров.

— Чудесно, ваше превосходительство посол Путятин, что вы поняли то, что мы сказали сейчас с Тацуноске-сан по-японски,— заметил на чистом английском языке переводчик Мориама Эйноске.— Мы рады, что вы знакомитесь с нашим языком.

— «Чин» и «сан» — это русские слова,— ответил адмирал,— да и поклоны ваши нам свойственны. Не на флотской службе, а в гражданской и купечестве...

Кавадзи сказал вдруг, что император недоступен, но что пять высших членов высшего совета бакуфу являются средством выражения его воли... Под управлением и с соболезнования шегуна, или сиогуна, как называют люди Запада.

«О чем бы он? — насторожился Путятин.— Что означает этот разговор о пяти вельможах бакуфу, чье мнение выражает волю императора-бога и согласуется с сиогуном?» Что-то было в этих словах весьма значительное, какое-то предупреждение или остережение, которого пока Путятин еще не понимал. Но он понял, что Кавадзи говорит не зря и это следует запомнить.

— Я прибыл сегодня из Хэда,— заговорил Лесовский,— взяв с собой восемьдесят матросов на двух баркасах, чтобы немедленно договориться с американским послом Адамсом о срочном извещении моего военно-морского начальства в столице России о судьбе экипажа и офицеров моего корабля и о том внимании и человечности, которые проявлены к нам японским правительством.

Что за правительство, что за высший совет (сиогуны, или шегуны, как называли сами японцы), канцлер Абэ, совет князей и при этом император? — Лесовский как бы еще не очень разбирался, хотя знал не меньше других. В общем-то, система какая-то знакомая, когда никто не доверяет никому, полной силы ума никто выразить не смеет, все пляшут, как в хороводе, сцепившись друг с другом накрепко, и вырваться, сохранив голову, никто не смеет... Но Лесовский всем этим тонкостям значения не придавал, не для него эта суть и не его это дело.

— Посол извещает через канцлера Нессельроде императора и самодержца Российского государства, и я, как начальник военного судна, шлю рапорт в адмиралтейство. При этом я взял два баркаса и матросов, чтобы доставить на гребных судах в деревню Хэда продовольствие для моих людей. Как мы и ожидали, согласно понятиям всех цивилизованных наций об обязательной помощи потерпевшим катастрофу на море, нам будет предоставлено то, что мы надеялись у них получить, о чем немедленно отдано приказание послом Америки командором Генри Адамсом.

Вся делегация Японии ценила старания капитана Лесовского. Совершенно не замышлялось им никакого нападения на французский корабль. Только уважение выражал капитан своей речью, обращенной к послам Японии. Он, как и следует, скрывал от них вежливо и благородно нечистую сторону своих замыслов, свое неудавшееся намерение напасть, и это очень достойно и благородно. Капитан очень приличный честный военный моряк, показывающий, что он охраняет и уважает честь Японии. И что он все берет на себя, несет ответственность за все, что совершено на море, не затрагивая Путятина. Это все, все понятно и знакомо японцам, и оценено по достоинству поведение смелого капитана.

Только представитель проамериканской оппозиции в делегации приема Путятина ученый Кога, друг дурака И-чина, что-то, видимо, уже узнавший через него от американцев, довольно смело спросил Лесовского:

— А вы все это объяснили американцам, зачем взяли восемьдесят матросов на двух шлюпках?

— Да, я только что прибыл с «Поухатана»,— ответил Лесовский.

— Я не приму ничего бесплатно. И им царь за все это заплатит,— сказал Путятин.

— Я не смогу всегда так легко, как сегодня, посещать вас, и это мне очень обидно,— заговорил Кавадзи, обращаясь к Путятину,— я человек, и как человек я хотел бы часто встречаться с вами, адмирал Путятин, но это запрещает мне мой высокий чин.

Путятин потому и к американцам не поехал, чтобы и они знали меру, соблюдали должное и полное уважение к высокому чину посла России. Чин чинарем, как говорят матросы. Он знал, что и японцам будет сообщено, что Путятин не поехал первый к американцам, а они сообщат правительству и бакуфу. И оценят. Кроме того, он полагал, что они будут польщены его могуществом, которое русский посол выражает американцам даже в таком униженном и бедственном положении, желая лучше остаться голодным, но не унизиться.

Он ждал, что Кавадзи и Тсутсуй первыми явятся к нему со всем посольством и со свитой. Так и произошло. Путятин давно чувствовал, что все японские церемонии, которые Перри так не любил, не составляют ничего особенного. Все ясно и объяснимо. Путятин в них, как и вообще во всей сложной машине японской государственности, начинал разбираться отлично, находя ее вполне понятной для военного и чиновника российской службы. Что-то общее было, чего, видно, американцы еще не могут понять. Он тут знал и угадывал все гораздо лучше, чем Перри.

Путятин сказал, что очень благодарит за присылку Накамура Тамея, за охрану и заботы во время пути.

Коренастый богатырь Накамура с маленькими глазками под огромным лбом, явившийся вместе с послами, сжимая от волнения кулаки, почтительно и низко кланялся.

Путятин сказал, что чиновник Деничиро тоже очень хорош, работает и служит в Хэда, выполняя указания своего правительства и дайкана. За то же он поблагодарил Мориама Эйноске, Татноске, Тацуноске и остальных переводчиков и сказал, что хочет выразить свои чувства за присылку бочки солений капитану Посьету.

— И я очень сочувствую всем вам. Скоро японский Новый год, и я бы хотел, чтобы вы встретили этот праздник у себя дома.

Все бы, конечно, того же хотели. Это очень понятно! Посол уважает японскую делегацию! Всем желает добра и семейного счастья и советует ехать домой на праздники. Но не значит ли это, что посол хочет под предлогом праздников поторопить японскую сторону и поскорей закончить дела и к Новому году подписать договор? Но и Япония хочет подписать договор скорей, но в договоре не все ясно. В Японии появилось возмущение договором с Америкой, и это распространилось, как эпидемия бешенства, против договоров с державами, которые ломаются не в свои двери. Князя вооружают самураев и размахивают мечами в воздухе, и хотя никогда не смогут перерубить американских пушек, но они этого еще не понимают. Князь Мито все требует: «Договор с американцами позорен! Зачем так уступать иностранцам?!» Он требует: если с американцами все непоправимо, то надо отомстить русским за американцев. Если вам не удастся задержать и переменить договор с Перри, то унижьте русских, обманите их и объявите об этом князьям и народу как о самой большой победе! Вот что советуете правительству! В крайнем случае подпишите договор, но не пускайте русских в страну... Правительство возглавляет очень молодой, но очень умный Абэ, князь Исе, которого ученый Кога, член посольства, как ученый-филолог, зовет Шже... Почему так — никто еще не знает.

Кавадзи от души поблагодарил посла Путятину за хорошее понимание. Еще в Нагасаки он признавался русским, что очень любит свою жену, она вторая в Эдо по красоте. Но никакая страсть, никакие семейные чувства не заставят его уступить в должном. Если надо, он останется в Симода и на Новый год.

Посол Путятин — очень серьезный и опытный человек. Он не зря проехал по морям семь тысяч двадцать один ри, чтобы вступить с нами в переговоры. Посол не хочет уступить нам Карофуто<sup>13</sup> и не хочет отдать Южные Курильские острова. При этом японским торговцам объявлено, что их на Карофуто никто не побеспокоит, их имущество охраняется, храм неприкасаем. Можно нанимать рабочих-айнов на рыбалку, только нельзя их обижать.

Накамура Тameя проверил отчеты Мурагаки о поездке на Карофуто. Он также изучал все исторические документы о Карофуто и Курилах за несколько последних царствований. Накамура не нашел в документах ничего утешительного. Мурагаки и главный цензор Чуробэ — члены делегации — перед поездкой на Карофуто также обращались к архивным бумагам.

По всем документам получается, и это может показаться очень странным и удивительным, что японцы всегда соглашались, что на Курильской гряде и на Сахалине русские появились раньше них, осели там и крестили айнов и раньше написали об этом книги.

Даже теперь японцы пользуются картами Курильских островов, которые еще в эру Бунка и еще раньше составлены при описях русскими кораблями и напечатаны в русских книгах, попавших в Японию через голландцев. А правильной карты Сахалина вообще не имеется у японцев. Мамия Риндзоо только составил карту южной части острова, а северной части на карте нет. Остров изображен на карте Мамия Риндзоо как самурай на двух ногах, но без головы. Правый мыс называется по-айнски Анива. Это слово, как узнал Муратаки, по-айнски означает: ехал — не доехал. Если это правда, то очень трагично и символично звучит для нас. Кроме того, мы утверждаем, что пролив между материком и островом Сахалин Мамия Риндзоо описал прежде капитана Невельского. И мы очень гордимся этим открытием и твердо стоим на своем. Но на самом деле Мамия Риндзоо, переплыв через пролив, не сделал промеров. Как правительственный чиновник, он не искал морских фарватеров для больших кораблей дальнего плавания, которые в Японии строить было запрещено. Поэтому открытие его для европейского мореплавания не имело значения, хотя он доказал, что Сахалин — остров. Виноват не Мамия Риндзоо, а виновата наша политика изоляции. Правительство не приказало ученым узнать, смогут ли пройти проливом глубоко сидящие корабли, потому что у Японии таких кораблей не было и нет до сих пор. А у посла Путятину при этом имеются точные карты Крузенштерна, совершенно исправленные Невельским. Но русские все же очень уважают Крузенштерна. Хотя Крузенштерн составил неверные карты и хотел взять селение Анива войной. Невельской пришел мирно и очень дружелюбно и как друг поставил крепость с пушками для охраны айнов. И просит японцев ловить рыбу. Мы сами довели себя до позора, приказывая народу никуда не плавать, ничему чужому не учиться, а только сидеть около своих князей, любить их и бояться иностранцев.

Япония будет вести переговоры по-своему. Она попытается, может быть, отобрать Сахалин и острова у России, может быть, не разрешит держать в Японии своих консулов и не включит об этом пункт в договоре. Хотя в американском договоре пункт о консулах есть! А еще в Нагасаки Путятину дана бумага за подписями Кавадзи и Тсутсуя о

<sup>13</sup> Сахалин.

том, что с русскими будет договор подписан раньше, чем с любой другой страной. Обещание второе: если по какой-либо причине с другой стороной будет заключен договор раньше, чем с Россией, то все права, предоставляемые договорами любой другой стране, будут предоставлены и России. Все это надо решить к обоюдной пользе, чтобы доволен был Путятин, и его нельзя обидеть, он искренен. Кроме того, Россия — сильная страна. Но главное — это исполнение требований бакуфу. Все это должен помнить Кавадзи и заявить об этом при Тсутсуе и при всей делегации.

Можайский приставал с угощением, говорил, что желает, чтобы все съели, что поставлено к ужину на стол. Но там почти ничего хорошего не было сегодня, кроме вина. Сакэ было, а саканэ<sup>14</sup> не было. У русских нет даже хорошей рыбы. Что же хорошего дал им Адамс?

Когда пил охотно и, проглатывая каждую рюмку, закрывал рот рукавом в знак того, что нечем закусывать и чтобы русские видели, как он хозяев за это все же не упрекает, а, напротив, вежливо скрывает свой голод рукавом.

Когда высокий, с острой головой и маленькими глазками, которые кажутся подслеповатыми, он, как и Кавадзи, считается знатоком вопросов о России, по которым идут переговоры с Путятиным.

Когда — поэт, лирик и философ, знаток китайской истории и литературы. Он диалектик, не догматик. Он автор книги о России, написанной по рассказам и по запискам побывавших там японцев. Но сам он не был в России. А Кавадзи даже книг о России не написал!

Путятин сказал, что пушки «Дианы» надо увезти с берега. Они всем бросаются в глаза. Если в порт войдет вражеская эскадра союзников, то их обязательно заберут.

Можайский долго еще занимал гостей, сравнивая японские сабли с русскими, и размахивал ими в воздухе.

Кавадзи помянул, что отдано распоряжение переводчику Эйноске — пусть обучается искусству съемки дагерротипом.

Посьет сказал, что узнал массу новостей о событиях в Европе и дал Мориама Эйноске английскую газету, где сообщалось о поражении английского флота на Камчатке. Эйноске прочел свободно и открыл глаза как можно шире. Он тут же перевел.

— О-о! — произнес изумленно Кавадзи.

Он, как и Эйноске, знал об этом давно и во всех подробностях, но так ни единым словом и не обмолвился Путятину про русскую победу, чтобы не усиливать и без того крепкую его позицию на переговорах.

— О-о! Действительно! О, ясно! — с артистической живостью притворился потрясенным и восхищенным восьмидесятилетний князь Тсутсуй Хизен.

«Как врут! Как врут! Слово впервые слышат!» — поражался Гошкевич. Он не допускал мысли, что японцы могли не знать. Посьет заговорил про победу как бы невзначай, когда все уже устали, чтобы проверить, знают ли. Но никто из японцев не поддался. Только вдруг все заметили, что при упоминании о победе в Петропавловске доброжелательный Накамура сильно смутился и покраснел. «И всех выдал! — подумал Посьет. — Еще и сам это понял... И смутился еще сильнее. Но смущение неподсудно!»

— Команду я завтра отправляю с грузом продуктов обратно в Хэда, — сказал Путятин. — Американцы дают нам мяса, бочки с ветчиной, муку. Все будут заняты, и о пушках вам надо самим подумать. Уберите их с берега.

— Мы обязательно попросим губернатора прислать в помощь

<sup>14</sup> Саканэ — закуска к сакэ.

вам своих людей, чтобы часть грузов... помочь везти в Хэда,— будто бы поддержал просьбу адмирала Тсутсуй.

— И заодно рапорт о наблюдении составить,— заметил по-русски Гошкевич.

Тут Кавадзи решился сказать, что Мурагаки и Чуробэ потому включены в делегацию для переговоров, что оба они по поручению японского правительства были на Сахалине.

Путятин видел, что в делегации есть новые люди, но не обратил на это внимания. У японцев без причины ничего не делается!

— Мурагаки-сама и Чуробэ-сама изучили положение на острове. Они объездили весь Карофуту,— добавил Кавадзи.

Крепость на Сахалине, поставленная Невельским, бревенчатая, не выдержала бы обстрела с английских винтовых пароходов. Но Невельской уверял, что надо при появлении англичан уходить в тайгу и самим зажечь это укрепление, что англичане тогда нападением и блокадой Южного Сахалина лишь помогли бы нам и доказали наши исконные права. Вот как Геннадий Иванович рассуждает. Молодо — зелено!

— Чем же вы поставили в тупик Америку? — спросил Посьет.— Они почему-то недовольны...

Японцы, казалось, не слышали вопроса.

Разошлись с нетрезвыми головами, со множеством забот, которых в этот вечер необычайно прибавилось у всех.

Путятин много думал о войне в последние дни. Все шло плохо, и сам он уставал. Выиграть современную морскую войну с таким флотом из старых линейных кораблей, как у нас, невозможно. В глубину суши французы, конечно, не сунутся, довольно им. Англичане вообще не пойдут драться на берегу. А у нас молодежь довольна американцами, желала бы видеть в них идеал.

Канцлера мало беспокоят наши посты на Сахалине и на Курилах. Он доказывал, что и Амур нам не нужен. Но Муравьев дошел до самого царя и доказал свое мнение против мнения канцлера.

Посьет привез новость. Капитан Адамс сказал ему, что губернатор Гонконга летом пошлет корабли и английскую морскую пехоту для занятия Сахалина. Вот до чего разоткровенничались американцы с нашими! Открыли им английские секреты! Надо отблагодарить Америку. Путятин знает чем. Есть у него для американцев козырная туз.

Вот и сказать бы сейчас Муравьеву, что англичане будут на Сахалине. Да что толку... Молодой адмирал Невельской опять повторит: «Пусть нападают. Пока хватит силы, будем стрелять. Потом все сожжем и уйдем в тайгу! Англичане своим нападением и блокадой Сахалина лишь подтвердят всему миру, что остров наш. Чего нам и надо».

А японцы жмут на Путятину. А у него нет силы. Да и разве это исход, решение дела? «Нет, и правительство несогласно будет, чтобы нашему победоносному флагу скрываться в тайге, поэтому я как умею решу дело дипломатическим искусством, бескровно, и это понравится государю. Я не дам англичанам никакого права вступить ногой на остров». Знал, знал все эти замыслы врагов Путятин еще прежде, ждал, предвидел, потому и подготовил дело к решению, каким оно представляется нужным с высоты положения посла. Канцлер любезен будет, дипломатическое лавирование оценит! Да кабы можно было поступить по-иному, разве стал бы адмирал Путятин хитрить.

Ну да как бог даст. Все в руке божьей.

Японцы чувствовали себя голодными, но решили не возвращаться домой, а заехать к И-чин, сказать о фунэ для грузов посла и узнать, какие там новые неприятности и заботы у обоих губернаторов.



Переговоры с американцами вела другая делегация. Для американцев еще нет пока настоящей делегации, три князя, говорят, должны явиться из столицы, пока нет особого мецке. Все это затягивает дела и затрудняет.

И-чин и другой губернатор Симода назначены сюда как в почти открытый порт, по должности своей обязаны принимать иностранцев и вести с ними переговоры. Они заведуют портом для приема эбису. Поэтому их нельзя считать настоящей делегацией. И-чин приходится вести с Адамсом переговоры о ратификации американского трактата. Американцы любят И-чин, и он их тоже. Но американский коммодор нервничает. Присылка трактата задерживается. Адамс спросил, чья подпись будет на трактате, и остался очень недоволен объяснениями Исава Мимосаку.

Исава — высокий, еще молодой человек с горбатым носом и с толстыми отвислыми губами. Глаза у него очень хитрые и нахальные, выпученные и яркие, как у горного козла. Он при всех недоразумениях с американцами пополнил за эти дни свои запасы шампанского, виски, сигар, приобрел полезные западные вещи, часы и даже револьвер. Но американцам он не уступает ни на йоту.

Он очень внимательно выслушал, что происходило у Путятину. Когда разговор о делах закончился, И-чин сказал, что хочет поблагодарить двух самых лучших матросов Путятину за спасение матери второго губернатора во время цунами.

— Нет, это сделать уже нельзя, — сказал старик Тсутсуй.

— Завтра матросы уходят обратно в Хэда, — вступил в разговор Кавадзи. — Они приходили только за грузом и продуктами, которые дает американский посол.

— Американцы знают, зачем они приходили на двух баркасах, — сказал И-чин.

— Как же они могут не знать, если с утра начнется погрузка. Капитан Лесовский сказал мне, что твердо объяснил американцам, почему пришел с людьми из Хэда, чтобы они правильно поняли и не сделали упущения. Они приходили за грузом и завтра уйдут. Их дело тут будет закончено.

Исава Мимосаку послал переводчика к Путятину. Эйноске объяснил, что матросы, как он понял, завтра утром уходят. Второй губернатор желал бы отблагодарить матросов за спасение своей матери во время цунами и просит адмирала прислать двух лучших морских солдат самого большого роста.

— Кто у нас самого большого роста? — спросил Путятин, отрываясь от текста договора, за который он опять засел с Гошкевичем и Посьетом.

— Сизов спаситель его матери, он и выше всех у нас. Он и Маслов.

— Пусть идут.

— Вы отпускаете, Евфимий Васильевич? — спросил Посьет. — На ночь глядя...

— А почему же не отпустить? — ответил адмирал. — Конечно, отпустим. Они оба теперь унтер-офицеры. Вы, господа, излишне подозрительны, как все мы, русские! Но не там, где надо!

Сибирцев нахмурился. Он тоже опасался за своих матросов. Они теперь унтеры, но под командой у них нет никого. Скоро все матросы будут у нас унтерами.

— Могут быть неожиданные опасности, — сказал он.

— Какие? — воскликнул адмирал. — Надо рисковать! Надо показать, что мы доверяем своим людям. Вы японцев не знаете! Вот Эйноске уж проговорился, что это не сам губернатор, мол, а его мать...

Она же у нас на корабле рыдала от счастья! Мы ее спасли! Да и зачем японцы станут лгать и оскорблять нас? Они никогда ничего плохого нам не сделают. С ними надо на переговорах держать ухо востро, а не в пустяках их подозревать. Нет, я верю японцам. Это даст нам повод завязать дружеские отношения с Исавой. Пусть идут. Прикажете, Алексей Николаевич, своим людям, Маслову и Сизову. Скажите Эйноске, пусть угостят их, но в меру, может быть, дадут по безделушке. Они хотят поблагодарить, и я не должен уклоняться.

Сибирцев решил, что Евфимий Васильевич заблуждается. Но вызвал обоих матросов и велел им привести себя в порядок, одеться почище сколь возможно.

Через некоторое время оба матроса, свежие, чистые, в старых, но опрятных мундирах, в киверах и начищенных сапогах, явились к адмиралу.

— Какие молодцы! — сказал Путятин. — Смотрите, братцы, не ударьте лицом в грязь. Без офицеров пойдете... С богом!

Сибирцев полагал, что надо бы идти с ними. Какую-то японку они сегодня заметили, когда утром шли. А теперь их вызвали к матери губернатора. Кажется, никто не придавал этому особого значения. У Леши мелькнуло в голове, что матросам может грозить опасность. Полезла всякая чушь в голову, так что ему самому стало стыдно.

...Ноги и руки матросов ныли от работы и гребли. Тело — как сплошные синяки.

В сопровождении мецке и переводчика с фонарями Сизов и Маслов вошли в город. С моря подул ветерок. Вокруг мрачно и пусто. Проходили отстроеными кварталами. Перешли мостик через канал. Из тьмы выступила черная блестящая стена вся в косой белой лепке решеткой. Это украшение богатых домов. Называется трепанг.

Переводчик откатил широкую дверь, и вошли в тусклое, мрачное, но просторное помещение, как в пустой сарай. Около них засуетились какие-то люди. На сапоги матросам надели большие туфли и подвязали шнурками. Все поклонились матросам. Переводчик исчез.

Сизова и Маслова провели длинным узким коридором. Окна выходили в сад, их сотрясали порывы ветра. Ввели в комнату.

Вышла важная японка с высокой прической. Лицо сильно выбелено, похоже на маску, краска наложена, кажется, в несколько слоев. За ней стояла маленькая девушка с крепким смуглым лицом, в сером халате и белых туфельках.

Сизов остолбенел. Его поймали! Важная пожилая японка — та несчастная женщина, которую схватил он с соломенной крыши, пронесившейся мимо корабля, а скуластая девушка-японка... Он узнал ее в мгновение. И она изменилась. Месяца не прошло, а казалось — минули годы. Лицо ее стало округлым, гладким и странно матовым, что-то постное было в нем, как у молодой богемки. Но каким же чудом из деревни, где рыбаки помогли спастись матросам, Фуми попала сюда, в город, в дом губернатора? Сизов растерялся и не знал, как тут быть. Он привык за годы службы, что следует скрывать то, что сейчас выставлено как напоказ.

— Фуми! — невольно вырвалось у Сизова.

Девушка встала на колени, поклонилась. Мать губернатора увела Маслова в дверь. Сизов и Фуми остались.

На столе поставлены кушанья: горячий чай, сакэ в кувшинчиках, красное резное блюдо, изображающее рыбацкий корабль, и в нем рыба тай, вся в украшениях, в хризантемах, в редьке в виде облаков. Тут же соусы, множество ракушек. И круглые хлебцы, видимо выпеченные нарочно для гостей, на большом американском серебряном блюде мясо, нарезанное ломтями, как подается в кают-компани.

Фуми смотрела испытующе. Матрос видел, что она как бы остерегает его. Ее большие черные глаза горели недобрым светом. В них не было ни тени былого огня, ласки и нежности, с каким она смотрела на него, когда встречалась при лунном сиянии в соснах, на берегу моря, при теплом ночном ветре. Она — как пойманный запуганный зверек.

Как могла мать губернатора узнать? Зачем привезли сюда Фуми? Петруха и сам, кажется, струхнул и за нее и за себя.

Вошла служанка, пала на колени, ушла снова и внесла и расстелила постель. Служанка, сияющая, хорошенькая, даже соблазнительная, ободряюще взглянула на Петруху...

Старуха, мать губернатора, вышла с Масловым и важно, опустив руки, полусогнувшись, словно от тяжести прически и пояса, засеменила по длинному коридору.

Матрос шагал следом.

Мать губернатора остановилась около какой-то двери, как бы не решаясь открыть. За дверью тихо. Отворив, она с поклоном пригласила Маслова. В комнате молча сидели старые японки и японцы, горели фонари и свечи, дымились курильницы, стояли чайники, чашки с чаем и печенье. Люди вставали, уходили куда-то в глубь комнаты, кланялись там, как в церкви, и опять садились на свое место. Сакэ совсем не дали, чая давали мало и редко, а время шло медленно...

В ночь, идя с самураями домой в сплошном ограждении фонарей, Сизов спросил у товарища:

— Как у тебя?

— Вроде поминки по кому-то были,— ответил Семен очень недовольно.— А ты как?

— Я тоже... молился,— ответил Сизов.

Сакэ от него не пахло. Если и выпил, лишь малость.

— Адмирала не подвел?

— Чем я его мог подвести?

«На Фуми, видно, был донос. Японцы дознались. Как и на всех, кто знаком был с матросами? Но в те дни,— думал Петр,— когда мы жили в их деревне, ее никто не трогал. Ждали, когда уйдем. Лучше молчать. У них все не как у людей, и пият и гребут наоборот». Кое-что он все же понял сегодня...

Но какое тепло разлилось в воздухе, как парное молоко. Ветер стих.

Евфимий Васильевич вышел из храма. Завидя вернувшихся матросов, он подошел. Оба были трезвы.

— Ну вот, я вам говорил! — обратился он к Сибирцеву.— Все обошлось как нельзя лучше! Волоса с их головы не упало.

Путятин знал, что офицеры во всех флотах мира считают, что матрос при первом недогляде за ним как свинья нажрется вина.

«Как мне научить их о людях заботиться? — думал адмирал про своих офицеров.— Ведь вот новый устав гуманен! Японцы гордятся, что у них женщина осмеливается действовать по-европейски. Эйноске уверял, что Исава-чин старается ввести западные обычаи даже в своей семье. Тем более что мать его уже без всяких слуг и свидетелей жила у нас на корабле...»

Кавадзи сидел этой ночью у жаровни с углями. На дворе было тихо, и рамы окон не стучали.

Когда уверяет, что японский солдат европейского типа должен быть беспощадным, уметь перепилить канатом живого врага, не жа-

лея его. К войне надо готовиться, иметь железное сердце. Рыцари Японии не должны носить мешки с рисом из интендантских складов нищим детям. Воины должны брать пример с Америки.

Когда напоминает, что по-китайски иероглиф «война» означает «подавление восстания», то есть наказание бунтовщиков, отступников. Когда убежден, что в Америке вырастают мужественные, стойкие солдаты. Гуманизм делает народы женственными. В этом противоречие буддизма современным понятиям.

Кавадзи думает о том, что западный человек знает лишь японское коварство. Перри считает японцев лжецами. Но никто пока не знает, на какие жертвы ради благородных идей способны японцы. Столетиями люди этой закрытой страны ловили каждое доносившееся к ним слово ученых, философов и поэтов, старались понять каждую мысль, долетавшую к ним из иного мира. «Фром азе уорлд»<sup>15</sup>, — подумал Кавадзи по-английский.

## Глава 21

### Заботы Адамса

В эту ночь наконец все выпались спокойно в Симода, в храме Гекусенди и на «Поухатане». Хотя пети-офицеры предупреждали команду с вечера, что русским нельзя доверять, они могут ночью прорваться и еще раз сделать попытку захватить корабль, а что все остальное — дипломатия и басни. В такие глупости мало кто верил, однако мордобой и наказания имели свое действие, люди спали крепко, но как бы с будильником, ожидая звонка и помня, что повод для нового «избиения младенцев» уже подготовлен.

Японцы в городе действовали точно так же.

Русские еще с первого дня ухода в плаванье так подготовлены ко всевозможным опасностям, их так застращали офицеры и унтера коварством англичан и азиатов и множеством опасностей, что к этому привыкли, и все спали спокойно, полагаясь на бога, а что будет, то будет.

Утром машина заработала на полный ход. Первыми поднялись японцы. Их чиновники явились с рабочими туда, где черными страшилищами, жерлами в разные стороны лежали артиллерийские орудия с «Дианы». Но как за них браться и перетаскивать, никто не знал. Японцы кричали, но у них пока ничего не получалось.

Ветер переменялся.

На «Поухатане» подняли флаг, там слышался оркестр и видна маршировка на палубе, как бывало и на «Диане». У русских еще по воскресеньям после молитвы и завтрака экипажу читали морские законы.

Путятин с Посьетом и Гошкевичем готовили бумаги и вразной непрерывно совещались, ожидая визита Адамса и собираясь назавтра в храм Черакуди брать быка за рога.

Лесовский на баркасе пошел на «Поухатан», чтобы заканчивать дела и грузиться.

Японцы прислали джонку с рабочими в помощь русским для доставки грузов в Хэда и заодно с несколькими мецке для наблюдения, которым приказано выяснить, что будет грузиться, не заключается ли союз против Японии и не снабжают ли американцы посла России оружием, спрятанным в бочках под видом муки и свинины.

Мак-Клуни ждал Лесовского. «Поухатан» с переменной ветра сле-

<sup>15</sup> Из другого мира.

довало перевести на другую стоянку, прежде чем выгружаться. Пары не подымали, ветер дул бакштаг, решили поставить паруса, и Степан Степанович предложил в помощь своих матросов. У Мак-Клуни своих достаточно, но стоило посмотреть, как управятся русские, разберутся ли, что получится.

По команде Букреев побежал, как на четырех мягких лапах, по вантам. Американские матросы иронически смотрели, как их вчерашние гости распоряжаются.

— Гостеприимство прежде всего! — посасывая трубку, успокаивал дряблый на вид старичок пети-офицер.

— Жену все же не предлагают гостю, — отозвался Стенли. Он тоже покуривает на баке. — Не так-то часто самим приходится ставить паруса на нашей коптилке.

Стенли в ознаменование успехов Америки прощен и выпущен из-за решетки. Он не видал вчера русских гостей и сказал, что не хочет их касаться. Их надо выбрасывать вон отовсюду без церемоний, как это делает сейчас английский полосатый джек в красной куртке. Закрыл им в эту войну все пути. Так нечего им и тут сидеть!

Стенли сказал:

— Тысячу раз прав Старый Медведь, который запретил давать русским чего бы они ни просили.

Многие с этим согласны. Но многие не согласны. Никто не спорит. Каждый говорит что хочет. За это не наказывают. Других ругай сколько хочешь.

Пети-офицер только посмеивался, глядя, как гости изловчатся. Ничего особенного, конечно, обойдя вокруг света, могли научиться!

Американец командовал, а Шиллинг переводил в рупор. Убрали паруса. Стали завозить верп и тянуться. Отдали два якоря и при легкой качке приступили к разгрузке.

Мешки и бочки извлекались из трюма, стрелы с сетками подымались и опускались. Негры и белые потели и кричали. Негр переложил со своей спины два мешка на Маслова, и тот сдвужил. А Сизов, как и все, брал по одному.

— Кишка тонка, Петруха!

Капитаны тем временем пили виски. Мак-Клуни поглаживал бороду и скалил зубы.

Вместе спускались в холодильники со льдом, где все запасы, и опять возвращались, опять пили понемногу. Тут же клерки.

Лесовский написал расписки, американцы исподтишка следили за его пером — уверенно ли пишет и не ошибается ли в английском.

Адамс ушел на вельботе в город, к Исава Мимосаку, чтобы спросить, когда же будет конец всей бестолочи. И предупредил, что придется еще не так говорить!

Исава всей душой хотел бы послужить Америке, но пока еще ничего не мог ясно сказать.

Из городского управления, которое временно находилось в храме, Адамс спустился в сопровождении чиновников к морю и на вельботе отправился вдоль скал и отмели в Гекусенди к Путятину. «Хорошие места», — подумал Адамс, проходя близ берега. Вода чуть заметно дышала, закрывая плоские каменные плиты среди бухты и снова открывая их, и казалось издали, что черные плоские существа ныряют и всплывают.

Адамс не соглашался с Перри! Старый Медведь сам себя запугал. Путятин ему как бельмо! Что он теперь скажет? В газетах написано, что в городах Америки формируются легионы добровольцев в помощь России для отправки в Крым против англичан.

Путятин, Лесовский и Гошкевич говорят по-английски. Все офице-

ры «Дианы» говорят, не свободно, но понимают и могут читать. На «Поухатане», кроме двух матросов, знающих по-славянски, нет ни единого, кто мог бы помочь в русском. Когда экспедиция Перри уходила, голландец Зибольд предлагал свои услуги. Подозревали Зибольда, что он русский шпион, о русских много говорилось, но никто не подумал, что с русскими придется встречаться.

Адамс прибыл в полной форме, держался запросто и, как предупреждали офицеры, производил впечатление уставшего и озабоченного.

Огромный Витул опять подал самовар и чашки. Налил чай.

— Моя беда значительно хуже вашей,— говорил Адамс, сидя напротив Путятин. — Я привез копию ратифицированного трактата.

Адамс помешал ложечкой в чашке. Широкий в кости, с большим обрюзглым лицом на клочковатой светлой бородке, он проворен и быстр в движениях, как молодой человек. Наскоро отпил два больших глотка горячего чая и отставил пустую чашку.

Вчера, когда речь зашла про чай у русских, Мак-Клуни патетически заявил Шиллингу: «I never drink tea»<sup>16</sup>. И тут же пошел и записал в настольный блокнот слово «samovar».

Капитан «Поухатана» пил только кофе. Алкоголь — в небольшом количестве.

— Но я должен поставить вас в известность о некоторых особенностях японских действий, значение которых я не рискую преувеличивать,— продолжал Адамс.

— Слушаю вас, сэр.

— Я говорю с вами как с послом дружественной державы и как со знатоком этой страны. И ее другом. Я хочу поделиться с вами. Я советую вам и, как принято между друзьями, жду вашего совета... Положение сложное и дело запутанное настолько, что последствия могут быть самыми неожиданными и потрясающими. Японцы могут жестоко поплатиться...

Адамс помянул, что он помнит неотложные нужды моряков погибшей «Дианы», что погрузка продовольствия уже идет. А капитан Лесовский уже получает сапоги и рабочие рубашки.

— Хотел бы предварить вас, адмирал. Я привез договор, ратифицированный президентом. Японцы стали тянуть с обменом договорами. Я сразу же спросил, чья подпись будет стоять на их экземпляре. Они заявили мне, что на их договоре не будет подписи светского императора и что они настаивают, чтобы я принял такой договор. Я ответил, что такого договора не приму ни в коем случае и что Америка требует выполнения взятых обязательств так же добросовестно, как это делаем мы сами. Что же это за договор! Как им верить после этого?

«Да, это филькина грамота»,— подумал Путятин. Другой бы позлорадствовал на месте Евфимия Васильевича, но его и самого ждало что-то подобное.

Откровенность Адамса похожа была на предложение действовать сообща. Может быть, на просьбу о некотором посредничестве. Вряд ли захочется ему дело доводить до пальбы, какая была у либерально-го гонконгского губернатора в Кантоне. Смолоду Боуринг переводил Державина и просил государя Александра I о либерализации строя. А что же сам? Бомбардирует Кантон, бьет всех, лупит из пушек по жилым кварталам! Кричит, что китайцы — природные негодяи, их никогда не исправишь, действовать надо только силой.

Теперь ясно, чем японцы досаждают Адамсу.

Было время, еще до прихода в Нагасаки, исполняя повеление государя и совет голландца Зибольда, которого приглашал в Петербург

<sup>16</sup> Я никогда не пью чай.

Нессельроде, и действуя в духе инструкции, обратился Путятин к Перри с предложением сотрудничества, хотя в успех этой затеи не верил. Перри тогда уклонился и предложение действовать вместе отверг. Времена переменились. Из-за кораблекрушения Путятин, кажется, на самом деле невольно стал более сведущ в японских делах, да и для Кавадзи с Тсутсуем и для их правительства он, включенный в список Эдо, стал ближе и понятнее.

Путятин с гордостью сказал, что величайшая река в мире протяженностью в две тысячи миль, протекающая по плодородным, изобильным долинам, ныне возвращена России.

— Амур наш. Наши пароходы, построенные на сибирских заводах, этим летом сплыли из верховьев и доставили грузы и людей на побережье океана. Исполнилась вековая мечта наша...

То, о чем Путятин слушал на мысе Лазарева и в Императорской гавани, при многих встречах с Муравьевым, с его чиновниками и морскими офицерами, и что сам он видел в это лето, входя в Амур и побывав в Николаевске, представлялось ему теперь величественным подвигом его соотечественников.

— Вы были на Амуре, адмирал? — спросил Адамс, поднимая чистый взор, в котором почувствовалось напряжение.

— Да, мы построили новый город в самом устье реки, вблизи океана.

Путятин уже велел офицерам не стесняться и рассказывать американцам про освоение Россией грандиозной реки Амур, текущей к океану, к тому же океану, на берегах которого Америка. Пусть американцы поймут, что мы строим к ним мост через океан.

Адамс так и понял. Россия тянулась к Новому Свету, и американцы тянулись к выходящей на океан России.

Англичане пишут в газетах и журналах, что «Нью-Йорк трибун» куплена русскими и поэтому печатает предательские статьи в пользу царя Николая. Каков, мол, альянс: царь — тиран и душитель Николай — и брат Джонатан. Англичане пишут, что царь сказал американцам в Петербурге: ваш президент стоит во главе просвещенного народа, а мои люди непросвещенные, и поэтому я должен руководить ими для их пользы, но, мол, дело наше едино и мы одинаково верим в бога.

Вся пресса Лондона гневно громит американцев. При этом пишут, что у англичан остается надежда на вечно преданные Великобритании коммерческие круги, заинтересованные в торговле между обоими берегами Атлантики.

А сегодня поразительное известие. Русские по одной из величайших рек Азии выходят на Тихий океан!

Адамсу хотелось сделать что-то приятное для Путятина.

— Едьте ко мне на корабль, и я вам кое-что покажу,— предложил Адамс.

— Не сегодня...— ответил Евфимий Васильевич.

Тут Путятин вспомнил, что вчера говорил ему Кавадзи про решение пятерых членов высшего совета — горочью. Будто их решения означают намерения императора. Они как бы руки и воля государя и сиогуна! Не тут ли собака зарыта?

Путятин сказал, что ратификация американского договора беспокоит и его. Он обещал узнать что будет возможно и поставить в известность commodora Адамса.

— Но кого считать императором? — спросил Путятин.— Подпись сиогуна, которого европейцы ошибочно считают императором, поставлена быть не может, так как он не император.

— Как же быть? Ведь Перри дано обещание, в договоре есть об этом двенадцатая статья. Америка ждет...

Это был последний и самый веский довод Адамса. «Я еще поговорю с Кавадзи», — подумал Путятин и сказал:

— Это касается и меня... Но если сиогун поставит подпись, то это будет для него катастрофой, он этим как бы сам объявит себя императором, заявит о своей многовековой претензии. Японцы этого никогда не допустят. Впрочем, это лишь мои догадки.

— Вы тоже полагаете, что сиогун не император?

— Нет, конечно. Но тут может быть и еще что-то. Я очень благодарен вам. И я, конечно, сделаю все, что в моих силах. Это касается и меня, — повторил он.

— Голландцы пишут в книгах, что сиогун — светский император, а что духовный император мирских дел не касается.

— Голландцы торгуют с правительством Эдо, значит, с сиогуном, и льстят ему или сами не знают толком. Но одно, когда иностранцы величают его императором, и другое, если он ратифицирует и этим сам себя так назовет. Мне кажется, подлинный властелин живет в Киото, и японцы это знают отлично и больных мест своих не касаются и нам неохотно объясняют. В своем государстве объявить себя императором, когда не он император! У сиогунa и так множество соперников, некоторые князья ему враждебны. Своими просьбами поставить подпись мы дадим козыри против сиогунa.

— Как же быть?

Путятин подумал, что русскому на месте Адамса непременно пришло бы в голову, что его хотят сбить с толку. Адамс же верил ему. «Что будет им, то будет и нам! Но чтобы и им и нам одинаково!»

Адамс не ждал ответа и сам сказал, что может взять копию русско-японского договора, если адмирал успеет заключить до отхода «Поухатана». Адамс брался переправить договор в Петербург через русское посольство в Вашингтоне.

— Вас, адмирал, и ваших офицеров и матросов мы могли бы принять охотно на свой корабль и доставить в нейтральный порт.

— Благодарю... Лучше доставьте нас на Амур.

— Это будет принято англичанами как недружественный жест.

«Да, нейтралитет их обязывает!» Путятин знал, что американцы не имеют еще тут порта, зависят от англичан совершенно. От их снабжения, от доков. Поэтому американцы и рвутся в Японию, которая еще никем не занята. Богатая страна, развитая, с прекрасным здоровым климатом. Путятин слышал, что в прошлом году на «Поухатане» умер в эпидемию молодой лейтенант Адамс. Много матросов и офицеров перемерло на кораблях американской эскадры в китайских морях от поносов и лихорадки. В португальском Макао американцы пытались обосноваться, арендовали опустевший дворец португальского гранда и превратили в лазарет. Матросы и там мерли как мухи. Вдобавок известно стало о крайнем раздражении китайцев против португальцев. Хозяева Макао настолько ослабли, что не могли держать в узде китайцев. Недавно убит китайцами португальский губернатор. При всей неприязни к англичанам, Перри и Адамсу пришлось отказаться от Макао, идти на поклон, искать постоянное пристанище в Гонконге, в этом единственном месте, где есть порядок и надежная администрация. Английский губернатор — либерал, знаменитый литератор и ученый.

— Ну куда же предлагаете вы?

— В Шанхай...

Путятин предложил Декастри.

— Декастри? Такой же русский порт, как Петропавловск, адми-



рал. Если мы доставим на Амур шестьсот ваших молодцов, то в здешних условиях это целая армия. Мы усилим одну из воюющих сторон — такое обвинение предъявят нам. Шестьсот человек — это крупная сила... Мое судно военное, и это будет расценено как военное вмешательство.

Путятин насупился. Он не любил, когда начинали считать в его кармане.

Россия была рядом. Американцы — друзья. Корабль паровой, в силах взять, разместить и прокормить. Наши люди дела сидеть не будут. Англичане пока не знают ничего. Одна тень их все приостанавливает. Путятин спросил, возможно ли будет прислать за ним торговое судно.

— Шкипер должен идти на риск.

— Мы хорошо заплатим.

— Трудно сохранить все в секрете, адмирал. Я не могу ручаться за своих людей. То, что было здесь, может стать от них известно англичанам. С приходом в любой порт Китая или в Гонконг они все расскажут... Что будет возможно, я возьму на себя, — сказал Адамс, как бы подчеркивая, что услуга за услугу.

Он имел в виду, что люди его расскажут англичанам о ночной попытке напасть и захватить французский китобой. Конечно, немедленно англичане заявят, что Путятин и его моряки лишаются статуса потерпевших кораблекрушение. Уже сейчас в команде некоторые говорят — это тигры, а не потерпевшие. Английские корабли получают распоряжение ловить их в море, брать в плен как воюющих, а не терпящих бедствие.

Адамс сказал, что всегда будет готов вернуться к разговору о вывозке экипажа погибшей «Дианы».

Путятин видел, что Адамс убежден, что англичане не пропустят в Россию команду «Дианы», проще идти всем на «Поухатане», куда бы он ни брал. Услуга будет обеим воюющим сторонам! Двух пташек одним камнем!

Казалось бы, к законченному разговору вернулись. Адамс все же не хотел отказывать Путятину, а Путятин не хотел преждевременно отказываться, оба по пословице — не плюй в колодец...

— Повторяю, что я всегда готов предложить свои услуги. Нет никакого смысла вам задерживаться в Японии. Капитан Лесовский не хочет идти в Шанхай... — Адамс развел руками, как бы показывая, что обстоятельства сильнее его.

Путятин мрачно моргал. Он не желал совсем отказываться, чтобы не сбиться с хороших отношений и со взятого им тона и чтобы не сбить с толку гостя. Предложение американца не лезло ни в какие ворота. В Шанхай? Лесовский прав. Это означало — быть переданными прямо в руки англичан, отдаться в плен. Американцы сами тут зависят во всем от англичан и боятся их. Какая путаница! А сколько забот! И всегда до последней решительной минуты кажется, что нет выхода, сплошной тупик. Но у Путятина, как всегда и во всем, был еще один — свой собственный надежный выход. Он жил по французской пословице — не класть все яйца в одну корзину.

— На днях я подпишу договор с японскими послами, — сказал Путятин. — Обещание дано мне японским правительством еще в пятьдесят третьем году в Нагасаки, но война призвала мою эскадру к нашим берегам и только туда мы можем идти, закончив дело.

Путятин еще в начале разговора не скрыл, что строит небольшую шхуну, но о подробностях не распространялся. Он мог обойтись без американцев. Но он хотел бы знать, далеко ли могут идти они в друж-

бе. Никогда не надо отказываться от предложенных услуг прежде времени. Как они не хотят нас разочаровать, так и мы их.

Адамс достал платок и вытер вспотевший лоб.

— За все, что мы получили от вас, я расплачусь,— уверил Путятин.— У меня в сохранности золотые монеты. Их достаточно для оплаты.

— Благодарю, адмирал, но зачем вам прежде времени оставаться без средств? Никакой оплаты я не возьму.

— У меня есть векселя на банк Ротшильда в Шанхае.

— И векселя и золото вам еще пригодятся. И я не возьму от вас ни цента. Секретарь флота, надеюсь, утвердит расход, и все пойдет как следует. Сейчас вы не должны беспокоиться...

— Говорят, монеты Ротшильда приносят счастье...— осклабясь, пробормотал пожилой клерк, прибывший с коммодором.

Подали самовар, и Адамсу предложили еще раз чай.

Адамс едва прикоснулся к чашке. С оплывшим лицом, он смотрел невесело, но с доверием и, кажется, не выходил из озабоченного состояния.

Путятин знал этих людей. Настроения бывают и у них. Как знать, может быть, кто-то из наших офицеров напомнил ему лейтенанта Адамса, как японские дети напоминали Путятину своих. Или только здесь он мог посидеть спокойно. А конечно, человек дела.

— Мои молодые офицеры сдружились с вашими молодыми офицерами, адмирал,— сказал Адамс, подвинул чашку к себе и стал пить.— На «Поухатане» они освободили часть кают для ваших офицеров и просили меня обратиться к вам с просьбой пригласить ваших офицеров на все время, которое они пробудут в Симодэ. Сколько они сочтут возможным со всеми правами в нашей кают-компании.

Большие уши Путятина насторожились. Но тут он вспомнил, что сам женат на англичанке и что не стал притчей во языцех лишь благодаря Нессельроде, который выше всяких предрассудков. Как и государь, конечно.

Новые знакомые начали интересовывать Адамса из разных соображений. Вчера на «Поухатане» был десяток их людей. Как опытный военный, он полагал, что узнавать страну, флот, армию надо по рядовому человеку, а не по привилегированному классам. Сегодня на погрузку прибыли сразу восемьдесят русских матросов, и оказалось, что вчерашние не были отобраны.

Адамс, как и все американцы, знал, конечно, что в России абсолютная монархия, нет парламента, народ в правах ограничен. Но оказалось, что матросы все здоровяки. Как и многие американцы, Адамс полагал, что с Россией, несмотря на ее особенности, может быть, станут развиваться самые дружественные отношения. Это большая, кажется, пока небогатая страна, но надо как-то дружбу объяснить себе и оправдать не только выгодами. Монархи России представляются в таком случае подлинными потомками Петра Великого, из столетия в столетие они, как уверяют некоторые в Англии, стараются развить свою страну.

Многие в Америке сочувствовали русским революционерам — врагам царя. Но чтобы дружить, надо знать — так рассуждал Адамс. Правительство никого не заставляло дружить с Россией, скорей настаивало... Лесовский и Посьет достойны их удивительного адмирала. Сам Путятин действительно человек могущества. Он был бы знаменитостью, служба в другой стране.

— На некоторое время хотя бы они почувствовали себя в обстановке привычного комфорта..

Путятин согласен. Он поблагодарил за приглашение кают-компании «Поухатана».

— Мои синие жакеты,— шел гость дальше,— приятно удивлены. В команде есть люди, которых я знаю давно и иногда советуюсь. Говорят, что ваши матросы хорошего вида, рослые, с интересом смотрели машину. Сегодня показали себя отличными гимнастами и легко разобрались в нашем такелаже. Некоторые понимают по-английски. Скромны, внимательны и похожи на офицеров.

— Да, я понимаю.— Путятин хотел бы сказать: «Это мои ученики».

Конечно, Адамс — американец до мозга костей. Он, видно, полагает, что в Европе от офицеров требуют быть светскими, говорить по-французски! А военному флоту, мол, нужны воины, стойкие, очень терпеливые и опытные моряки. Никакое учебное заведение не подготовит таких. «Обучайте матросов — и увидите, что они все поймут». Это он хочет сказать?

«Произвести в офицеры? Да, наш устав разрешает. Я командир экспедиции и могу произвести нижнего чина в офицеры. Но никогда в голову ничего подобного не приходило! Конечно, они могут выучиться, они могут стать офицерами, то есть боевыми командирами».

— У нас в офицеры по уставу могут быть произведены из матросов. Благодарю вас за мнение,— сказал Путятин.— Но... дворянство... всевозможные привилегии, столбовые, морские, аристократические... протекции...

Адамс, стыдясь за Путятину, снисходительно и принужденно усмехнулся. Приверженность идее личной власти страшней личной власти? Показная преданность мундиру, гербам? Слышно и об этом в Америке! Преимущество под любыми предложениями! Ах, адмирал!

Адамс, переводя все в шутку, откинулся и поднял обе руки, как бы сдаваясь в плен, когда на вид ему выставлялись такие условные преимущества.

Лицо Адамса, смотревшего на Евфимия Васильевича, стало совсем обрюзглым и жалким, словно без вины ему угрожали полицейским участком.

А Путятин думал: до чего они дошли народ. Англичанину бы и дела не было. Чиновник правительства, моряк высшего чина, дипломат, дел по горло, у самого заботы, неприятности...

— Кто же из них понравился? — спросил Евфимий Васильевич.

И он вспомнил, что сам совет дал молодых японцев отправлять в Голландию учиться на корабельных инженеров. Но ведь это не своих. А у нас черт знает что...

— Казак Мэй Слоу... И Бук Грейв... Так мне сказали. Может быть имя казака Мэй Слоу?

— Это Букреев и Маслов,— угрюмо сказал Гошкевич, опять занятый иероглифами.

— Маслов? Мэй Слоу? — спросил адмирал.

«Да, американец торопит, гонит нас вперед,— думал Путятин, когда Адамс отправился к себе на корабль.— Да разве мы не торопимся? Матросов произвести! И будет у вас флот! Что он хочет сказать?»

Мэри Путятина узнала, когда стали составлять списки кандидатов в плаванье, что почти все фамилии из баронских немецких и шведских семей. Путятин пояснил, что за них хлопочут, рекомендуют, просят... Румянец медленно заливал большое чистое лицо Мэри. Она гордилась своим мужем. Она охотно ехала к нему в Россию. Но у русского мужа еще должны быть русские. Кто же они? Где эта нация, в которую она влюблена? «Вы будете встречать в плаваньях англичан. Они всегда и всё добросовестно изучают. Они будут знать, что у вас,

мой Евфимий, на корабле нет русских офицеров». «Что там русских,— мог бы он ответить жене, да не хотелось ее обижать,— хотя бы каких-нибудь! О том ли думать, когда столько начальства и силы в Питере и каждому угоди!»

Не пришло ему самому в голову, что сказала добросовестно изучавшая свою новую родину Мэри. Она горячегло права, как и вся нация мореплавателей!

В Нагасаки расхрабрившийся Гончаров заявил вдруг, что неплохо бы занять бухту под стоянку нашего флота. Путятину мысль понравилась. Редко Гончаров говорил так умно. Но боже мой! Дернула нелегкая его сказать про Нагасаки Невельскому! «Вам своего не хватает, господа? Куда вы лезете? Вы не знаете японцев! Съеште с ними пуд соли, господа!» Но вот и съели с ними пуд соли...

Путятин полагает, что не его дело выговаривать у японцев Нагасаки. Пока жив и служит, не станет просить...

Японцы в устье речки весь день кричали так, что в храме слышно. От «Поухатана» пришли баркасы, и матросы рассказали, что японские рабочие неопытны, не могут точно сделать. Возились целый день и не удалось поднять тяжелое орудие.

За это время матросы закончили погрузку шлюпок, затащили брезентом бочки, мешки и ящики. Пообедали у американцев и простились с ними. Японская джонка взяла часть груза и всюду ходила за шлюпками. Японцы-морьяки показывали знаками, что друзья идут вместе. А матросы побывали, видно, где-то еще под предлогом набора пресной родниковой воды.

Груженные баркасы подошли к храму Гекусенди. Колокольцов пришел на вельботе. Адмирал отдал распоряжения:

— А вы пойдете, Алексей Николаевич, на американский корабль. Они вас приглашают пожить без всяких обязанностей и отдохнуть, как на даче.

— Если позволите, Евфимий Васильевич...

— Да, пожалуйста, Сибирцев. Вам будет полезно.

Путятин смолоду сам жил в Англии, плавал на кораблях английского флота. Всякая встреча с иностранцами, и тем более обучение в другом флоте, со своей особой системой, кроме пользы, ничего не дает умному молодому офицеру.

— По утрам они на дежурной шлюпке будут доставлять вас сюда, чтобы сопровождать меня на заседания.

Матросы складывали палатки, выданные японцами в Хэда, и затащивали грузы покрепче.

— Два денька пожили как люди! — толковал Синичкин.

— Вот городок! Самый лучший из всех в мире! Шли вокруг света — нигде лучше не встречали.

— Что же у тебя, Букреев, было тут хорошего?

— Все хорошо!

Путятин давал последние наставления Колокольцову:

— Быстрее стройте шхуну, Александр Александрович. Мы можем вот-вот уйти, если подвернется под руку какое-нибудь судно. Американцы могут прислать за нами большой корабль, и тогда придется идти всем. Нехорошо обмануть японцев. Это дело нашей чести.

— Слушаюсь, Евфимий Васильевич, — со святой покорностью отвечал Колокольцов.

Путятин не зря назначил его заведующим постройкой.

— А вы, когда вернетесь, опять жить будете у японца? — спросил адмирал. Взор у Евфимия Васильевича жалко дрогнул.

— Да, если разрешите.

— Господа, — сказал Путятин, когда офицеры пришли прощаться

с Колокольцовым,— кому-то из вас, может быть, придется идти на «Поухатане» в Америку, с тем чтобы доставить рапорты и документы в Петербург. Если будет заключен договор, то тем более... Так мне кажется. Но я предупреждаю заранее, что вызову добровольцев. Обдумайте заранее, господа, кто бы согласен был...

Но до этого еще так далеко! Так далеко и так необычно. А здесь все, все так реально, и полно жизни, и все осуществимо. Нет и не было еще ничего неосуществимого, невозможного. И в Хэда. И здесь, в Симода. Так казалось тем, кто сейчас с минуты на минуту ждал окончательного позволения адмирала. Да и товарищи все так сжились, сдружились, как бывает только в опасностях. Как же бросать свой экипаж на произвол судьбы, да во время войны, и ехать со всем возможным комфортом! Нет, мы проживем на «Поухатане» — и того довольно.

— Вот если бы заключить договор и всех бы нас через Вашингтон да в Петербург!

— Многого хотите, Елкин! Ступайте, господа, с богом. И помните все, что я говорил.

Хорошо или плохо, но в эти дни кто как мог — все заговорили по-английски. Лесовский учил: говорите, не стесняйтесь!

Американцы уверяют, что с нами проще, чем с другими народами.

Офицеры простились и уехали на «Поухатан».

Огибая рифы, отколовшиеся от каменных столбов, далеко в потемневшем море виднелись две шлюпки, медленно взмахивающие веслами. По воде ясно донесся звонкий и задорный голос:

Ка-аркнул во-орон на березе...  
Свистнул воин на коне,—

подхватил дружный матросский хор:

Погибать тебе, красотка-а,  
В чуждеальной стороне...

Ветер отнес песню, словно она разбилась о рифы и рассыпалась. Становилось все теплей. Адмирал вышел вечером из храма и сел на ступеньки, глядя на тусклые замлевшие звезды.

Редко такие люди, как Адамс, поддаются настроениям, но и тогда не тускнеет практический склад их ума. «Обратил внимание, что мои люди машиной интересовались. А у нас «Паллада» была гнилая. «Диана» погибла. Если бы «Диана» была пароходом, то, может быть, вовремя ушла бы в море, так им представляется? Американец, может, быть, советовал не упускать времени, люди, мол, у вас есть, руки есть, голова на месте, страна богатая. Великий Петр — пример. Что же вы Европу копируете?.. Да, конечно, хорошо бы... Но... Ведь у нас на это ответят просто: мол, не надо было людей пускать на «Поухатан»...»

## Глава 22

### «Мученье служанок»

Три храма стоят у подножья трех гор, отделяющих бухты Оура и Набета от города Симода. Эти три храма смотрятся как в зеркалах в синь заливов бухты Симода, зашедших в горную долину. Все это так невелико, словно в искусно разбитом парке.

Над крышами храмов невысокие конические горы в пышном лесе похожи на букеты или на альпийские клумбы. Там голые красные стволы в узлах и в изгибах, тучная хвоя и редкие, благородные вечно-

зеленые деревья, ушедшие в горы из садов, потомки высаженных у храмов тропических предков. С другой стороны горы выходят к морю отвесными обрывами и похожи на потемневшие от времени терракотовые чаши с зеленью. Ниже, в черных расщелинах,— бухты Оура и Набета. В полный штиль они — как узкие залы в замках, с высокими каменными стенами и синими зеркальными полами.

Во время ветра эти маленькие бухты вдруг зазеленеют и станут похожи на затиненные, заиленные пруды, в которые прибегает океанская волна и наливает их голубой и зеленой чистотой в пене. С терракотовых круч верхнего обрыва видна чернота нижних скал и черные плиты камня в воде. При самой легкой волне их каменные площадки то выскакивают из воды, то скрываются, совершенно как пловцы или дельфины.

Каменные плиты, склоны и отвесы скал, как чешуей, заросли маленькими чудовищами в панцирях, такими же мертвыми на вид и черными, как камни у воды и в воде. Но стоит коснуться этой щербатой чешуи пальцем или ступить на нее босой ногой, как черные наросты оживут и зашевелиятся слабо и бессильно; и ударят острые электрические разряды. Все бухты здесь полны таинственного живого электричества. Слабые электрические удары предупреждают не касаться и не брать лишнего. А спутник-переводчик скажет, показывая на черные наросты: «Вчера мы с вами ели их на обеде...»

К бухтам Оура и Набета подходили и бросали свои огромные якоря черные пароходы американской эскадры Перри. Черные корабли старались подойти и втиснуться в эти маленькие художественные творения горных богов полуострова Идзу. С пароходов на берег и в бухты посылались парусные и гребные шлюпки. Здесь стучал паровой катер. Поблизости дымили огромные трубы, чад западной цивилизации несло в бухты по воздуху тем же ветром, что и чистые волны. Команды американских матросов высаживались, строились под обрывами и маршировали по дороге вверх. Их взоры были очень смелы. Это наиважнейшие янки, готовые разбить все древние каменные драгоценности или увести их к себе как постамент для американских памятников. Даже изобилие электричества не заботило янки.

За горой, на ее другой стороне, в тишине тепла и безветрия, как три красных муравья, среди зелени садов и кладбищ стояли три храма под черепицей. Крайний храм — Черакуди. Пройдя мимо Черакуди, попадешь в город.

В храме Черакуди в прошлом году жил коммодор Перри.

От храмов открывается вид на город. По всему городу, как искусственные миниатюры, разбросаны горы всевозможных форм. Их укарашают легендами и вьющимися цветами и на них любуются.

Две идеально стройные конические горы назвали Женские Груды. Обе оплетены розовыми лозами. Но не жители Симода назвали, ни в коем случае, это не они, про которых известно, что они стеснительные и стыдливые. Жители Симода очень чистые в мыслях, поэтому они так привлекательны. Назвали не они, а насмешливые, грубые моряки. Не японцы. Несколько сот лет назад принесло судно из Китая. Нахальные моряки так и назвали две горки.

Китайцы жили в Симода долго и все время лазали на эти две горки, к стыду и возмущению японок, которые, еще не зная названия, закрывались рукавами, чтобы не видеть нахальных иностранцев и не слышать запаха чеснока...

За небольшим городком из небольшой долины вытекает река с искусно построенным деревянным мостом. Над самым слиянием соленых и горных вод стоит, охраняя вход в Японию, скала Бу-сан, Господин Воин. Бу-сан также оберегает тройственный хребет, протянувший-

ся на другой стороне реки. С любой улицы и со двора любого храма видно, что на плоской вершине хребта лежит на спине гигантская женщина. Ее голова положена на круглый валик, как и полагается, а лицо бесстрастно и холодно. Вся эта гора называется Лежащая Женщина.

Враги города Симода распространяют слухи по всей Японии, что за нечистые песни, непристойные стихи и названия, за торговлю, ростовщичество, за страсть к деньгам, а более всего за прием американских варваров на город Симода ниспослан был потоп, промывший все горные морщины. Земля Японии содрогнулась от ужаса, когда по ней заходили американские сапоги. Теперь среди провисших храмовых крыш, растрескавшейся терракоты и зимних сухих букетов на холмах город начинает строиться вновь на осадках тины и на развалинах. В первую очередь отстраиваются главные чиновники и все важные доходные фирмы.

Про русских также пытались упоминать клеветники Симода. Но теперь, как уверяли все переводчики в один голос, после того как русские строят для Японии корабль, а матросы выказали много трогательной человечности, дно морей и земли Японии успокоились и долго не будет землетрясений и цунами.

— Как вы думаете, все эти названия, о которых вы нам рассказывали, Эйноске, не задевают ли достоинства женщин? — спрашивает Посьет, идя с адмиралом и офицерами через город.

— На японских женщин... совершенно не имеет влияния. Они этих названий не знают, — отвечал переводчик. — Вы полагаете, будет впечатляюще для европейских женщин?

— Европейские дамы не узнают ничего подобного и не обратят внимания.

— О-о! Совершенно как японские дамы!

— А когда, вы полагаете, западные дамы ожидаются в Японии?

— Это, о... еще очень не скоро...

— А Гошкевич слышал на днях, что японки пели непристойную песню.

— Где это произошло? — встрепнулся переводчик.

Посьет расхохотался и взял японца под руку.

— Какой вы шустрый, Мориама-сан. Много будешь знать — скоро состаришься.

— Что значит это выражение?

— Это стихи, посвященные японской тайной полиции.

— Горы красивые, как гейши, — заметил по-голландски Шиллинг.

— Про все достоинства Симоды невозможно рассказать во время дипломатической прогулки на переговоры, — сказал переводчик.

— Например, о чем же еще?

— Например, здесь в бухтах и в заливе во время шторма скопляется очень много японских кораблей в тысячу коку и больше. Симода — главная морская станция на морском торговом пути между двумя величайшими и богатейшими торговыми городами государства — купеческой Осака и сиогунским Эдо с его замком и дворцами. При этом Симода небольшой городок, но своей незабываемой красотой превосходит оба великих города. Морской путь из Осака в Эдо является важнейшим, как железная дорога между двумя столицами, которая проектируется в Петербурге.

...Когда в бухтах Оура и Набета, а особенно в большой бухте Симода накапливается до тысячи кораблей, убежавших от морского ветра, это чудесное зрелище. Много хозяев и шкиперов ожидают счастливой перемены ветра. Тогда можно перейти с берега до острова Бегущая Собака по этим кораблям. И не только до острова. Но и до храма Геку-

сенди в деревне Какисаки можно дойти не замочив ног, пешком через все море по сплошным палубам, по тысяче палуб, как по деревянной мостовой в столице Эдо. Так бывает не только в шторм. Дойдя с попутным ветром до Симода на самой оконечности огибаемого полуострова, шкипер должен переменить курс и ждать другого благоприятного ветра, чтобы идти в противоположном направлении. Иногда дней по десять в гавани стоят сотни кораблей.

...Маленькая Симода становится сама как одурманенная, очень расцветает, украшается и гостеприимно приглашает. В фонарях и маяках, она днем и ночью зовет корабли в гавань, а уставших матросов в семейные дома, рестораны, обжорки, сады и гостиницы.

Симода с неизменным успехом, очень вежливо и умело справлялась, как победитель и герой, с нашествием тысяч этих буйных пьяниц на берегу, с грузом риса и товаров на кораблях, которые именно здесь, в Симода, пережидают терпеливо.

Поэтому около здания береговой охраны, на некотором от нее приличном расстоянии, у входа в город стоял круглый каменный столб с вырезанной наверху слепой головой. Во время землетрясения он обломился. На этом столбе выбиты и до сих пор целы стихи:

Моряк, помни: в Симода  
не смей задерживаться долго,  
тебя одурманит здесь пестрота  
и твой кошелек останется пустым.

Эта песня очень серьезная и благородно остерегает, но производит на некоторых людей по их невоспитанности совершенно обратное действие. Человек, который ее прочтет, зажигается огнем любопытства и заранее пьянеет и обязательно хочет узнать, что же такое скрывается за терракотой с цветами. Но пройдя через горы, он видит только задумчивые храмы. Тогда разъяряется, торопится дальше и смотрит по сторонам — кто бы поскорей осмелился вывернуть у него карманы.

Надпись предназначена для трудящихся японцев, чтобы они помнили об опасностях и по призыву городских властей охраняли свои карманы. Но теперь совершенно ясно, что американские и русские карманы, которые устроены в брюках, оказались под таким же сильным действием слабого электричества Симода, как и японские карманы, устроенные в рукавах халатов. Русские и американские матросы что-то сумели прочесть и поняли и подчинились общим правилам еще охотней, чем сами японцы.

— Да, право, так! — полагал Посьет. — Ничего не возразишь.

Букреев, Сизов и Маслов попросили Гошкевича списать и перевести стихи на столбе. Объяснили при этом, будто бы японцы показывали на памятник, поминая при этом Перри, значит, столб воздвигнут в честь Америки, в знак уважения к ее послу.

Американцы же уверяли, что этот столб стоял и до их прихода, но они желали знать, что за стихи выбиты на камне. Загадка была предметом почти научных дискуссий в смешанных матросских компаниях из экипажа «Поухатана» и погибшей «Дианы». Друг другу на песке и на бумаге рисовали детали столба до и после падения.

Гошкевич, хотя и семинарист и бывший поп, но все разобрал, прочел, объяснил, и матросы успокоились.

Прежде по Симода нельзя было ступить шагу. После цунами русские ходили по городу свободно, если их посылали за чем-нибудь посол Путятин, капитан или служащие им офицеры.

Вот и три больших храма из отесанных в виде брусьев красных бревен дерева хиноки. Храмы стоят в ряд под грядой гор, в парковом, но непроходимом лесу. А за лесом — цепь кудрявых холмов. И все это создано божественными декораторами.



Вдали, там, где горная дорога уводит из города в леса Идзу, панораму венчает вершина Симода-Фудзи с хорошо видимыми большими деревьями.

...Входя в заповедные земли чужих народов, надо проникаться всеми легендами как своими и ощущать то тревожное, таинственное и трогательное, что извечно тяготеет над человечеством. Так полагал Путятин.

А ниже храмов и кладбищ — узкие рисовые поля, маленькие гостиницы с похвальной репутацией среди моряков, с очаровательными, но невидимыми служанками, стариками, берегущими туфли у входа с улицы, и кварталы лачуг рыбаков и ремесленников. И множество рыбацких суденышек, сбившихся ниже скал под изголовьем Лежащей Женщины.

Русское посольство проходит мимо скалы. В ее отвесе выбита ниша. В нише растут красные цветы, и вся скала увита их корнями, как паучьими лапками.

— Что за роскошный куст! Как он цветет! Как называется, Эйноске? — спрашивает Путятин переводчика, входя во двор храма Черакуди.

— Это очень оригинальные и прекрасные цветы. Такой куст ярко цветет, как роза, но не совсем похоже. Называется «мученье служанок». Очень сильно цветет и очень быстро осыпается, но опять цветет, и так беспрерывно. Надо много старания, чтобы содержать в чистоте сад или помещение, где растут такие прекрасные цветы. Поэтому так называется.

Столбы из камня у входа на кладбище, звонница под крышей из дранки, и к языку колокола привязан обрывок американского каната. Деревянные стойки и перекладины с побегими глицинии, которая зацветет, наверное, еще через месяц. И тихий деревянный храм под черепицей, с вытоптаным пространством перед входом, как с плацем для упражнений. Здесь морские пехотинцы, кадеты и славные матросы Перри показывали пушечную пальбу, играл оркестр, и американцы маршировали по пространству среди храмов, лавок и общих бань.

— «Мученье служанок», — повторил Посыет. Он очень скучал по той, которую любил, и все, что он видел, пробуждало в нем воспоминания.

Заседание предстояло не менее чем на десять часов. Путятин умеет взять себя в руки. Посыет тоже умеет. Обо всем, о каждом пункте договора следует теперь говорить, отбросив все побочное, все сентименты...

Главные пункты договора о торговле петербургских и московских купцов в Японии и об открытии японских портов решены. Предстояло разобрать запутанное дело с Южными Курилами. Тсутсуй и Кавадзи оставляли России Курильскую гряду, но удерживали за собой самые южные острова. Путятин тут же объявил, что России принадлежат все острова. У России есть все права. Право первого описания и право владения, так как на этих островах живут крещеные айны.

Японцы засмеялись.

Путятин подождал, когда они утихнут, и упрямо повторил свое. Японцы терпеливо выслушали его до конца.

— У вас право есть, а силы нет! — возразил ему ученый Кога.

Путятин виду не подал, но в душе удивился: ему, послу могущественной державы, осмеливались так говорить!

— У вас нет никаких доказательств, что на южных островах живут крещеные айны, — сказал Кавадзи.

Главный японский посол знал, что крещеные айны там были, но самураи матсомайского князя давно уничтожили их на южных островах. Японцы уничтожали айнов и считали это своим неотъемлемым правом. Так еще в древние времена занимали они свои главные острова, продвигаясь с юга на север. Если же нет крещеных айнов, значит, у России нет никаких прав. Тут же Путятину дали понять, что и о торговле и об открытии портов ему не удастся договориться, если он не уступит. Требовались уступки. Бессилие Путятину вызывало смех.

По инструкции из Петербурга требовалось в первую очередь заключение договора о торговле, об открытии портов.

В устье Амура компанейские приказчики и штурманы, бывавшие на Курилах, уверяли Путятину, что и на южных островах есть старики, до сих пор знающие по-русски, но скрывающие это от японцев. У них хранятся нательные кресты как символ надежды на избавление от японской эксплуатации. Японцы забирают в айнских семьях всех дочерей себе в жены, а мужчин вымучивают на тяжелой работе и спаивают сакэ — так они изменяют население островов.

Кавадзи, опершись на веер как на трость, думал о том, что все инородцы на многочисленных северных территориях лицами похожи на японцев, но они охотно крестятся и, по выражению одного японского историка, «льнут к России, как муравьи на сахар».

Кавадзи сам смотрел документы про Сахалин и Курилы. Острова эти рядом с Японией, а топографические съемки на них и описи берегов русские сделали прежде японцев, и все это тоже вследствие позорной политики изоляции. Япония должна открыться и стать вровень с другими государствами мира, пока не поздно. Есть тайные сведения, что Россия хочет захватить или откупить у Японии порт Нагасаки... Инородцы тянутся к России, а мы, цивилизованные люди, тянемся к Европе и Америке в поисках новых знаний...

Вечером Кавадзи пил сакэ с Посьетом. Константин Николаевич охотно разговаривал про женщин, много и откровенно. После работы это допускалось. Кавадзи лучше понимал западный мир во время таких бесед.

— Как это могло получиться, что Путятин женат на англичанке? И он — лучший моряк России, а русский император воюет в это время с английской королевой?

Сегодня Симода сильно подействовала на воображение Константина Николаевича Посьета и тронула его лучшие чувства. И он хотел бы писать книги, как Гончаров, но не может, его сковывает лживость вечного приличия и преданности. Иное дело — беседа. Для друзей у него находятся и добрые чувства и острые намеки, ирония, сарказм, горькие признания, чего — убей, а рука не подымается описать на бумаге.

Японец очень умело спросил, казалось бы, про пустяк. Надо объяснить дипломатически; приходится застегнуть мундир.

— Путятин не теперь женился. Он женился давно.

— Но у него маленькие дети?

— Да, трое детей. Дети его еще малы. У него очень красивая жена, высокая, белокурая.

— Белокурая? — спросил Кавадзи. Выражение лица у него как у застигнутого врасплох. — Это считается красивой?

— У нас в России почти все мужчины сами белокурые. Ценятся черные, черноглазые женщины. Русским мужчинам они нравятся... Особенно хорошо сложенные, небольшого роста, даже маленькие, с горящими глазами и оливковым отливом кожи...

— Англичанка была с черными глазами? Шотландка?

— Нет, она, как и сами русские, с голубыми глазами... Как Путятин.

Кавадзи полон возвышенного чувства долга, которое на войне заменяет воину любовь. Он женат в третий раз, на бывшей придворной даме. Она освобождалась от службы при дворе, когда выходила замуж за Кавадзи. Что может подумать русский, когда услышит это?

Это тайна. Кавадзи не огорчен, он очень счастлив. Он с благоговением принимает в подарок как величайшую награду парадный халат со знаками власти на груди с плеча сиюгуна. Так же почтительно благоговел он и перед старым сиюгуном, который скончался в те дни, когда Кавадзи начал переговоры в Нагасаки с Путятиним. Разве переговоры оказались смертельной стрелой?

Сато — жена Кавадзи — в тридцать пять лет уже устала от придворной службы. Она так хороша собой, что из-за привязанности старого сиюгуна задержалась на придворной службе гораздо дольше, чем другие дамы. Но для Сазмона Кавадзи она всегда молода, даже юна.

Ее верность, ее безукоризненный вкус, жаркая привязанность к Сазмону, смены настроений...

— Путятин служил в Англии. Русский император был доволен им и разрешил ему жениться на англичанке, которую Путятин любил.

— О-о! С разрешения императора! Это совершенно по-японски! С разрешения родителей! Император — это отец!

— Она, кажется, приняла нашу веру...

Тут Кавадзи сник. Посьет понял, что сел в лужу, и стал скорее вывертываться:

— Она стала русской... Она могла бы не менять веру. Многие лютеране служат императору... И не только лютеране, но мусульмане и даже буддисты.

— И буддисты? — не скрыл Кавадзи неприятного удивления.

— С начала войны она уехала в Россию.

— Как? Она жила не в России? А он служил в России?

— Да, она жила в Париже, в отеле.

— В гостинице? Это у нас... женщине невозможно жить в гостинице...

Посьет пустился в объяснения, каковы отели в Европе, каковы нравы и почтительность к знатной даме. Мэри Путятина поселилась в Париже, когда адмирал ушел в кругосветное путешествие. К его возвращению она должна была приехать и встретить его там, куда он прибудет. Так они любят друг друга.

Кавадзи расстраивался все сильнее. Казалось, он испытывал физическую боль. На дворе душно и жарко. Наступала ночь, пахло цветами из предвесеннего леса.

Посьет, видя, что дело плохо, решил вышибать клин клином.

— Ничего особенного в этом нет, и у цивилизованных народов не запрещается и не преследуется. Любовь очень благородное чувство, о котором у нас не стыдятся писать книги. Гончаров пишет только о любви, хотя он написал и о вас, Кавадзи-сама. Я уже говорил вам, что очень скучаю по женщине, которую люблю.... И я прошу, выпьем, Кавадзи-сама, за ее здоровье.

— Очень охотно! За здоровье вашей жены!

Когда выпили, Посьет зорко посмотрел в сильные глаза Кавадзи.

— Она мне не жена. Я просто люблю ее и живу с ней. Это стоит мне огромных денег, такая жизнь... Она живет в Париже... это дорогой город. Она француженка, блестящая, красивая, молодая, любит меня, но я не стыжусь признаться, что люблю ее гораздо сильнее, чем она меня. Вот теперь я воюю против Франции. Война разделила нас.

Если Путятин-сама мог привезти свою западную супругу, то я не мог этого сделать. Я волосы рвал на себе, это ужасно... Я не могу написать ей, не могу получать от нее письма... Я всю жизнь теперь буду винить себя...

— Она не ваша жена?

— Нет, она ничья не жена. Она моя фактическая жена. Любвица!

— О-о! О! Вам мешает разница религий?

— Нет, Ка-сама, ничего не мешает. Не делайте этого разговора серьезным.

— Вы стали очень прекрасно говорить по-японски.

— Спасибо, Саэмон-сама.

— Француженка? Вы любите? Она маленького роста и с оливковым цветом кожи? С черными глазами?

— Да. («Все запомнил!») Она танцует великолепно.

Француженка!.. Но японки тоже черные, с восхитительными горячими глазами, с горячим... льдом и тоже прекрасно танцуют и гнутся красиво в своих кимоно. Что грозит нам?

На прощанье Посыет как бы между прочим сказал, что Путятин беспокоится за Америку. Адамс пожаловался, что на американском договоре еще нет подписи сиогуна, как было обещано японцами.

Кавадзи слушал молча, делая вид, что это не очень важный разговор. Но смотрел так глубоко, как человек, который не только знает все лучше собеседника, но и сам весьма этим озабочен, и понимает все, и как бы советует пока не касаться...

На другой день в храме Черакуди после всех бесконечных споров и проверок, в присутствии всех японских послов и губернаторов с переводчиками, адмирала с капитанами, Гошкевичем и офицерами был подписан первый в истории двух соседних стран русско-японский договор.

«А мы жаловались, что японское правительство занято не тем, чем надо»,— подумал Путятин за ужином.

Угощение все же было скудным. Пили сакэ, ели рыбу, но деликатесов нет и рыба простая. Нельзя и стыдно претензии предъявлять после ужасной катастрофы.

Когда пил и опять закрывал рот рукавом после каждой рюмки в знак того, что закусывать и у японцев нечем. И смеялся при этом, показывая, что сейчас уж можно смеяться, он не в гостях.

А Путятиним овладевала горькая дума, хотя, как императорский слуга и посол, он достиг всего возможного для чести империи, всего, чего только могут и смеют пожелать высшие чиновники. Но когда он думал обо всем остальном, то на душе становилось нелегко.

Путятин так и ушел погруженный в свои заботы. На пути домой опять пересекли гряды гор, защищающих от ветров три храма. Эти горы — щит и заслон города. Теперь горы черны, а наверху, на какой-то скале, на самой вершине, очень ясно видимый при розовом свете западного заката, стоит разукрашенный во все цвета храм величиной с табуретку и при нем каменный столб для фонаря.

Сегодня, когда договор уже подписали, адмирал сам спросил об американском договоре: почему же при ратификации нет подписи императора?

— Так ли это, Кавадзи-сама?

— Ваше превосходительство посол Путятин, этим занимается другая делегация.— Кавадзи понял, что Адамс просит. Поэтому Адамс ездил к Путятину. Это и прежде всем было ясно.— Они требуют подписи сиогуна. Сиогун не может подписать.

— Почему сиогун не может подписать?

— Сиогун не император. Не может решать за императора.

«Важное признание,— подумал Путятин.— Так я и знал».

— Есть особый пункт вашего договора с Америкой. Они оговорили заранее. Как же не исполнять? Они верили вам. Вы первые нарушаете договор. А это уже нарушение международного права.

Кавадзи понимал, что Путятин говорит теперь и для себя.

— Пять членов высшего совета — это и есть император. Пять их подписей есть подпись императора. Тут нет никакого нарушения договора. Мы не можем отступить от своих обычаев и законов... Но я хотя и не могу, но, возможно, постараюсь поговорить, как вы просите, с делегацией приема Америки.

Кавадзи говорил с мрачной решимостью. Гошкевич с трудом переводил его сложную речь, в которой упоминался шегун, как по-своему называли японцы сиогуну, но смысл улавливал.

— Мы так понимаем договор и ради толкования пункта двенадцатого американцами не можем переменить законы страны.

Кавадзи полагал, что с русскими хуже может быть. Молодой шегун слабый, он не противится, лишь бы была его доля радостей. Но император по наущению князей, враждебных шегуну, может возмутиться договором с Россией.

— Американцы просто не понимают, что пять подписей членов высшего совета — это и есть подпись императора,— снова возвратился к тому же Кавадзи вежливо и почтительно.

Путятин подумал: если при ратификации будет на американском договоре подпись сиогуну, то она же должна быть и на русском.

— Кавадзи-сама, все это надо объяснить. Вам это удастся скорей и лучше, чем кому-либо... Я советую вам взять дело в свои руки.— Адмирал снова вернулся к своему.

— Американцы намерены грозить? — спросил Эйноске.

— Переведите Сазмон но джо. Я сказал еще в Нагасаки: в случае опасности Россия готова будет оказать помощь Японии. Но я надеюсь и уверен, что все обойдется мирно. В Америке большое влияние имеют богатые люди, адвокаты, ораторы и газеты... В Америке сильное общественное мнение. Если слух дойдет, что не выполнены обещания, обусловленные договором, и Адамс не примет договора, от президента могут потребовать войны. Ваши ссылки на обычаи истолкуют по-своему. Америка заговорит о нанесении ей оскорбления. Адамс нами поставлен в затруднительное положение. Подумайте об этом, Сазмон-сама!

Путятину предстояло все объяснить и Адамсу. Но как ему объяснить? Тут нашла Америка на Японию — коса на камень! Они взяли себе в голову одно, а у японцев другое. И тоже крепко. В самом деле, может ли Нессельроде что-то подписать без ведома царя?

— Да пусть губернатор Исава Мимосаку, как сторонник дружбы с Америкой, все объяснит Адамсу и убедит его. Они ему поверят.

Кавадзи недобро усмехнулся и сказал, что соглашается. «Исава-чин!.. Может, ему все удастся?»

— Вам надо все взять в свои руки, не прямо, а косвенно. Без вас, Сазмон-сама, это не обойдется.

Кавадзи польщен. Он, конечно, влиятелен. Но только Путятин не знает, что Кавадзи и так зорко следит за всем, что делают послы из делегации приема Америки. Сам, и не по совету Путятина.

— Его превосходительство коммодор Генри Адамс желал бы пригласить вас на большой прием, который он намерен устроить на корабле «Поухатан» по случаю обмена ратификациями,— сказал Путятин.

— В России есть ли закон, что каждый договор должен при ратификации подписывать царь? — спросил Кавадзи.

— Да,— твердо и строго ответил Путятин.— Так принято.

Таков был разговор про Адамса и ратификацию. Тоже важно. Путятин исполнил, что обещал, и сказал, что сам нашел нужным в пользу Адамса. Но не это так сильно заботит его.

Евфимий Васильевич отпустил своих офицеров на «Поухатан», которые обязаны были ни единого слова не сообщать там никому о содержании переговоров, а сам сидел в темном храме над жаровней с мерцающими углями.

Да, японцы сегодня посмеялись над Путятиным. «Они заселили острова, и сидят там крепко, и их невозможно сбить. Вот они про что мне сегодня заявили! Вот, пожалуй, и прав Невельской, когда говорит, что мало мы думаем про нашу Сибирь. Мы всегда готовы по дешевке уступить где только можно. Англичане говорят про нас: русские продают все на самых дешевых рынках, а все покупают на самых дорогих».

Хотя Путятин и помянул про силу и могущество России, но все-таки ему пришлось уступить. Но каковы японцы! Правительство у них противится открытию страны, а народ лезет куда только возможно. Мы крестили айнов, описали острова, а больше ничего не сделали, не до того, столичные заботы, все украшаем сами себя. Но Гошкевич уверяет, что Курилы населены не простонародьем, что жестоким захватом и уничтожением айнов занимались князья, и все с ведома бакуфу. Народ же, несмотря на политику и изоляцию, добрался нынче и до Гаваев и до Америки. Что там Курилы!

Величие амурского дела не должно заслонять в умах Путятина и его офицеров все значение маленьких и далеких Курил. «Теперь, когда мы увидели, как это известие принято американцами, мы еще больше поняли значение Амура. Если свой что-то сделает, даже такое важное, как Невельской, то все-таки сразу не оценишь. Но вот когда иностранцы восхитятся да признают, что действительно решена великая задача... Американцы даже подпрыгнули сегодня, когда я сказал, что по Амуру мы удобно вышли на берега океана».

А ведь еще мало сделано, корабль надо строить...

Жена священника и служанка приходили с чаем и с углями, подавали или убирали какие-то вещи.

Путятин привыкал к этим жаровням и бумажному халату, поэтому после горячей ванны, к двум теплым халатам сверху. Он понимает прелесть японских привычек. Он любит вот так, в чистоте и тепле, при начинающемся холодном ветре с гор, посидеть, засунув ноги под кутац с жаровней под столом. Он любил хибачи и пустой горячий чай...

На море волны поднимаются и уходят от берега. Слышно, как стучат рамы окон от ветра с гор, погружая еще глубже адмирала в спокойствие и раздумья.

## Глава 23

### Морской король

Алексей Николаевич Сибирцев догадывался, к чему идет дело. А когда взял у Гошкевича копию и прочитал с ним статьи заключенного договора, только удивился: чему же радоваться и как его товарищи на главное не обратили внимания! Разве они не понимают?

Можайский приехал на «Поухатан» очень довольный, а Сибирцев — темнее тучи. На пароходе сразу бросилась в глаза его озабочен-

ность. Живым, свежим лицом, подвижностью, манерой держаться Сибирцев нравился американцам, он подходил под характерный тип морского офицера хорошей выучки. Ему доверяли охотней, чем Можайскому, который огромным ростом и крайней практичностью, страстием к постоянному делу превосходил самих американцев. Этот молодой, но ловкий, старательный офицер-служба, лезший из кожи вон, как-то невольно всех настораживал.

Судя по настроению искреннего Сибирцева, дела на переговорах у адмирала Путятина не двигались. Так и следовало ожидать! Но никто виду не подал и ничего не спросил. За ужином, когда рослый китаец, обернув бутылку крахмальной салфеткой, как когда-то и Витул на «Диане», налил вина, Пегрэйм, смотревший в лицо Алексея, поднял бокал и предложил тост:

— Absent friends! <sup>17</sup>

На «Поухатане», как и всюду на флоте, не поддавались настроениям — некогда, но настроения приятного гостя, который, видимо, нравился леди, объяснимы и вызвали сочувствие. Он красив, но не похож на *Lady's man*<sup>18</sup> или *Lady-killer*<sup>19</sup>. Его разлука трогала больше, чем своя.

Алеша поклонился слегка, поднял бокал и подумал: «За вас, Оюки-сан». Все остальное было так далеко и не сходилось ни по времени, ни по всему остальному. «Не очень хорошо, что она сейчас в окружении юнкеров. Эти повесы далеко не мальчики».

На «Поухатане» отдельные каюты, кроме офицеров, занимают какие-то личности, которые ходят в штатском, может быть, ученые, миссионеры или члены каких-то благотворительных, а скорее коммерческих обществ. В кают-компаниях появляются редко, кажется, у них есть своя кают-компания. Среди них Джексон — заметный молодой гигант с тучным потасканным лицом. Другие штатские, встречая его, почтительно здороваются и называют по имени: «Добрый день, мистер Джексон». Есть приличные и сдержанные джентльмены в черном.

Есть джентльмен, который днем в светлом или клетчатом, а вечером в строгом и темном. У него лицо с квадратным лбом и таким же подбородком, сильный крупный нос. В кают-компаниях всегда с сочувствием приглядывается через стол к Сибирцеву, но молчит. Алексею казалось, что это типичный американский коммерсант. Загадочные личности из отдельных кают очень вежливы, здороваются приветливо, сколько бы раз ни встречались, но в разговоры не вступают. И о них никто не спрашивает. Сегодня коммерсант, переодевшийся к вечеру в черный костюм, в крахмальный воротничок и темный галстук в горошину, поздоровался в кают-компаниях с Лешей так, словно что-то о нем узнал и хотел уверить, что не стоит расстраиваться.

Офицерские каюты расположены в средней части судна по бортовым сторонам длинных коридоров, отделанных кожей и дорогим деревом, день и ночь освещенных голубыми газовыми рожками. Тут как бы плавучая гостиница весьма высокого класса.

Штатские личности занимают почти половину кают по правому борту. Они все время ходят друг к другу, о чем-то горячо говорят и щелкают за дверьми на счетах, словно на «Поухатане» прибыл в Японию банк или торговая корпорация. Некоторые имеют слуг, живущих в общей палубе. У других есть еще и собственные повара. У некоторых слуги, ленивые на вид детины в чалмах, видимо бенгальцы, остаются на ночь в тех же просторных каютах, что и господа, охраняют

<sup>17</sup> За отсутствующих друзей!

<sup>18</sup> Дамский угодник.

<sup>19</sup> Сердцеед (буквально — убийца леди).

их. Один сидит всю ночь в коридоре у каюты своего господина на полу, как около ювелирного магазина.

Иногда в будний день коммерсанты устраивают пиршества, тогда готовятся какие-то особые кушанья, пахнет пряностями, чем-то острым, как в Крыму в чебуречной или в духане.

Сибирцев сходилась все более со своими товарищами по кают-компани. Он быстро вжился тут и, казалось, спокойно мог бы остаться. Уживчивость была его особенностью. Или, может быть, это свойство русского? Он ведь и с японцами сжился, и Оюки стала ему как своя, хотя они мало могли сказать друг другу словами. Японцы совсем не казались Леше лживыми, хитрыми, изворотливыми. Алексей и с ними мог бы жить. Так понятны все их приемы и хитрости. Любой в их современном положении стал бы таким же уклончивым.

Леше иногда хотелось перейти за грань общепринятого и спросить своих новых товарищей, откуда они, где росли, что за дома у них, на плантациях или в городах, где и чему их учили. Нянчили их негритянки? Под кокосовыми пальмами? У них одноэтажные просторные дома среди могучих деревьев, дома с белой, как бы летней мебелью? Книжки? Ученые? Любимые романы? Развлечения: виолончель, скрипка, флейта? Военные учебные заведения вроде Гринвича или что-то свое? Танцы? Далеко ли от их дома индейская граница?

Хотелось бы и самому рассказать о том, чего знать они не могли. О заволжских кержаках, об оренбургских степях, о Кавказе. Но изо дня в день по горло занят делами и заботами. Смотришь на американцев, словно на картинки.

Офицеры показывали дагерротипы невест и жен. Леша бывал на богослужениях. Да, он умел вживаться в чужую, казалось бы, жизнь. Но не потому, что не любил своего или не было в нем верности и преданности.

Не все офицеры «Поухатана» приветливы. Часто он замечал, что на него смотрят с неприязнью. Один из лейтенантов просил Лешу называть предметы на столе по-русски и тут же подымал звуки русской речи на смех. Лишь под неодобрительными взглядами товарищей скалившийся волчонок понемногу стихал.

Американцы очень удивились, услышав, что Шиллинг — потомок рыцарей-крестоносцев.

Леше казалось, что некоторые американцы судят о русских по себе. А мы пьем чай на террасах своих усадеб и еще только спорим целыми днями о будущем нашем развитии, спорим пылко, до слез и до ссор, говорим о высшем назначении искусства, о личности в обществе, о социальной философии, о чем, может быть, американцы даже и не знают, а если и знают, то особого значения не придают. Все это их не ранит, как нас, и они подобных рассуждений почти не ведут. Правда, и они горячатся, как заговорят про свободу для невольников. Что-то похожее есть все же!

А мука кукурузная, как у казаков, буйволиное жесткое мясо, ананасы и кокосы, слуга у Леша — китаец, бреет Лешу и стрижет, говорит на пиджен-инглиш и даже складывает на ломаном английском стихи. Стирает, крахмалит, чистит обувь, убирает вещи, без дела не сидит. Если нет дела, то точит бритвы, моет что-то и не ждет приказаний.

Шиллинг — сам хороший хозяин — каждое утро обращает внимание Леша на что-нибудь: какая щетина на щетках, какие удобные тьюфки.

Матросы вежливы и приветливы, всегда вытянутся, как перед своим офицером, и улыбаются радушно и ободряюще, как желанному гостю.



Жизнь тут грубей и проще, но реальней и без иллюзий и самообмана. Делают то, на что есть силы, что могут себе позволить, что созрело. Приход в Японию — не вывеска, не потемкинская деревня и не поза, как кажется. На это у них свои виды и расчет.

«Наш добрый, милый, старый дом и сад, деревня и поля! Иван Сергеевич Тургенев и Иван Александрович Гончаров с их глубочайшими превосходными сочинениями! В описаниях человека низшего и бесправного они выражают необычайную высоту духа, совершенное развитие цивилизации, на примере, казалось бы, ничтожного создания умея разобрать всю сложность умственной жизни современности.

А Оюки? Что же она воспримет от всего этого? Станет женой японского предпринимателя и политика? Явится на прием на русский крейсер, и я когда-нибудь снова увижу ее... Приедет в Америку и Петербург.

Хэдские плотники станут инженерами-кораблестроителями...

У нас смелые мысли, но вытянем ли мы все то, что задумываем?»

В полдень следующего дня с борта «Поухатана» было видно, как у берега снаряжалась целая экспедиция.

Около Алексея раздался неприятный хриплый смех. Высокий человек в штатском, с веснушками, обнажив сжатые крупные зубы, цедил сквозь них нервный смех, похожий на кудахтанье. Леша узнал его. Это Джексон. «Над чем бы он? Почему злится?»

У борта столпились штатские личности. Смеющийся так некрасив, так неприятно смеется, что вряд ли он счастлив и вряд ли хочет добра другим. Пока судьба давала нам в друзья людей приятных и умных.

Под ивой у храма Гекусенди снаряжался вельбот. Недавно японцы нашли выброшенные в шторм на берег мачту «Дианы», несколько бочат и командирский вельбот. Этот вельбот был потерян в январский шторм, когда Евфимий Васильевич выпал из него в море. В Хэда плотник унтер-офицер Глухарев с мастеровыми исправил вельбот, и со смешанной командой из русских и японцев Мусин-Пушкин препроводил его в Симода для разездов адмиралу. Теперь вельбот снаряжается в плавание. На офицерах сияют пуговицы и эполеты. Русь по всем правилам готовилась к шествию в американцы.

Вельбот отвалил. Матросы гребли дружно. На корме флаг с орлом посла и адмирала.

На палубе «Поухатана» с оттенком подчеркнутой дисциплинированности охотно строились ряды матросов, морской пехоты и морских кадет.

Шиллинг и Сибирцев, в белых перчатках и в русской военной форме, встали в ряду американских офицеров, словно теперь служили здесь.

Пегрэйм, тонкий и элегантный, с золотыми кистями на плечах и с золотом на груди, картинно взмахивает палашом с золотой рукоятью. «Могущественная леди из Колумбии» ухает изо всей силы, приветствуя приближение посла и адмирала. Дрожит огромный «Поухатан». Оркестр гремит.

По ряям и вантам разбегаются матросы в белом.

Солнце ярко сияет. Только где-то вдали белеет снег на горе.

«Жаль, — думает Леша, видя, что на веслах сидят не лучшие наши гребцы, — Берзиня надо было сюда взять».

Сияют трубы оркестра.

Американцы просты-просты, а когда надо, могут оглушить, устроить не хуже царского парада перед Зимним, лицом в грязь не ударят перед нашим адмиралом. Японцы тоже набирались и от нас. А еще больше от американцев. И мы набираемся от тех и от других.

Со страшной силой грохотали, сотрясая Симода, тяжелые морские орудия.

Баркас у борта. Крики команды. Трап в ковровой дорожке. Звяк ружей и карабинов. «Хура! Хура!» Гремит оркестр.

Путятин смиренно-величественный, отец лицом, с отцовским добрым, твердым и тяжким взором вельможи, царедворца, флотоводца, но и русского, выкормленного грудью мужички, крепостной, причувившей его любить сенокос и верить в бога. Вчерашние тяжкие настроения Евфимия Васильевича минули вместе с непогодой, и сегодня он подымался на «Поухатан» в торжественном и праздничном сознании величья исполненного дела. Смотрел ли он на себя глазами американцев? Они ведь еще ничего не знали и жалеют его, а сами... Но как его успех в их глазах?

Адамс в форме, в американских и иностранных орденах. Мак-Клуни при золотом оружии.

— Какие же эти шотландцы добросовестные служаки! — говорит Можайский.

У Леши сжало горло — так горд он был сейчас скромностью и величием адмирала. Он чувствовал, что и каждый американец — от потомков квакеров и крещеных индианок до шотландцев, ирландцев, поляков и немцев — видит, что этот суровый герой моря не зря и не из пустой надутости и тщеславия заставил в эти зимние дни так долго ждать себя. Американцы знают, Евфимий Васильевич сошел последним со своего корабля, право, человек-легенда! И еще в шторм ходил обратно на «Диану», так как недосчитался чего-то. Забыл ложку и бокал из зеленого хрусталя, даренный государем-императором.

И Можайский молчит, волнуется за своего адмирала.

После грома музыки и маршировки на палубе почетного караула, коммодор, капитан и офицеры перешли с гостями в салон.

Генри Адамс, как коллега, запросто спросил адмирала, как дела на переговорах.

Все стихли.

Теперь с важнейшего адмирала сойдет величие. Почести закончились наивным вопросом. Адмирал, как светский человек, конечно, отшутится. Проволочки и хитрости японцев известны, также и цена им... Что же адмирал? Устремленные к Путятину глаза как бы спрашивали: ну, как вам тут, ваше превосходительство, между дьяволом и глубоким морем?

— Вчера я подписал договор с японскими уполномоченными, — смиренно отвечал Путятин.

Все стали менять позы, выходя из напряжения, переключая руки, словно искали новую позицию. Адмирал ударил в ответ из огромной пушки и все разбил, и общее напряженное предположение развалилось, и Путятин все увидел. Почти всеобщее неожиданное смущение было очевидным. «Значит, ждали иных известий и другого тона! Вот каковы вы, господа американцы!»

Дряблая шея Адамса слегка покраснела.

Путятин посмотрел твердо. Все поняли его и приободрились, как бы подчиняясь требованию адмирала. Путятин сразу занял положение, какое обязан признать за ним моряк любого флота в мире. И не потому, что посол и держит за спиной промышленность или оружие сильно вооруженного флота. Грозность адмирала Путятин была в чем-то другом, но не признать ее нельзя.

— The man of ability! <sup>20</sup> — заметил Пегрэйм.

— The sea-king! <sup>21</sup> — заявил Крэйг более решительно.

<sup>20</sup> Человек умелый!

<sup>21</sup> Викинг! (Буквально — морской король.)

Адамс приподнялся и сказал, что поздравляет.

— Благодарю вас.

Все двинулись в кают-компанию на прием и праздник в честь посла и адмирала из России.

За столом впервые Сибирцев видел — штатские коммерсанты быстро рассаживались, как спущенные с цепей породистые собаки, и смотрели на адмирала Путятин и его свиту. Теперь он вызывал у них несомненный интерес.

Алексей понял, что вчерашние одобряющие взгляды симпатизирующего ему штатского корректного американца были, видимо, лишь разведкой, попыткой что-то угадать. Хотя как знать, ведь японцы-переводчики были у нас и у них, а переводчики между собой встречаются, они падки на подарки, а коммерсанты, конечно, явились не с пустыми руками.

Леша знал свой грех, он, несмотря на молодые годы, понимал и знал больше чем следует. Из-за этого трудно служить. Видишь промахи и оплошности, готов помочь, встать на защиту, но если заикнешься — будут недовольны, усмотрят неуважение к старшему. И капитан, и Путятин, и старший офицер, и даже светский Посыет бывают очень подозрительны, словно за поданным им хорошим и верным советом усматривают что-то опасное, будто Сибирцев — подосланный к ним лазутчик от противника или от революционеров. Но он дворянин, его род... К чему же судьба готовит его в будущем?

И высокий американец Джексон с железными цепкими руками, так зло хохотавший при виде сборов Путятин на берегу, сейчас насторожен, лицо его — сплошное внимание и вопросительный знак.

Офицеры «Поухатана» скорее огорчены, чем внимательны. Их можно понять: вот и мы уже не единственные — написано на каждом лице. Чувствуется оттенок недовольства старым коммодором, словно он недосмотрел.

Да, так, видимо, бывает. Считают старого человека героем. Он перенес небывалое в истории мировых флотов кораблекрушение. Ему желают успеха, соболезнуют, его поддерживают как бедствующего и пострадавшего и где-то в глубине души желают, чтобы он таким остался. В этом мире могут преуспевать лишь те, кто действует молниеносно, у кого есть хоть капля змеиной черной крови хищников, побуждающей быть цепким, колючим и беспощадным.

И вдруг моряк с разбитого корабля, русский старик Путятин, адмирал, которого все так охотно жалели и который располагал к себе, знаменитый лишь тем, что все время был мягкотел с азиатами, и еще более тем, что пережил оригинальнейшую катастрофу с экипажем из голодных и оборванных, кого не принимали всерьез как соперника, — и вдруг... Он подписал договор с Японией! Видимо, еще более выгодный, чем американский! Каковы японцы! Уступить без нажима! Какая хитрость, сила, ловкость! Грозный, хитрый зверь! Бывалый викинг? Чему они там учатся, потомки Петра, на Балтийской луже, без океанов? Подписал договор быстро, словно нанес удар. А что за условия? Все хотели бы знать.

Коренастый сухой американец с длинным, оплывшим на самом конце носом, всегда вежливо здоровавшийся, не несущий вахт и часто менявший костюмы, которые, как у очень занятого человека, не всегда свежи, сидел за столом напротив и приветливо смотрел на Сибирцева, часто отвлекаясь от того, что говорил Путятин и что все слушали тая дыхание. Американец слегка улыбался Леше как старому знакомому, будто он был приятней и важней, чем сам величественный адмирал.

У американца широкая плоская грудь. Роста он небольшого, как

бы короче других, волосы неопределенного цвета. Длинное серьезное лицо с большими ушами и выдающимися скулами. В выражении лица есть что-то тяжелое и хищное, но в то же время и плаксивое, какая-то скривленность, деформация, несимметричность.

Алексей впервые мог рассмотреть его так близко и пристально. Улыбаясь и держа внимание на себе, американец как бы сам предлагал этим заняться. Глаза блеклые, видимо, зоркие, но почему-то мутные, как в начинающихся бельмах. Но, судя по улыбке, он приветлив и бывает весел, у него многосторонний и энергичный нрав. Иногда кажется, что характер его тверд, а может быть, и жесток, хотя улыбка сразу меняла лицо. Короткие руки, очень волосатые, голова лысеющая, но есть еще кокетливая волна волос набок. «В ожидании открытия Японии», — сказал как-то про него приятель Пегрэйма лейтенант Крэйг, не склонный к сплетням и комментариям. В свое время Леша пустил мимо ушей, но сейчас вспомнил эту фразу.

У американцев сегодня много новых фигур. Слетались, как чайки за кормой, едва кок выходит с ведром. Сколько же они народу с собой привезли! Многих Леша ни разу не видел. Этот «Поухатан» — как город. Но все же самыми характерными из штатских были долговязый громогласный Джексон с головой лошади английской породы и тот коренастый, что сидел напротив Леша.

Путятин на вопрос Адамса сказал, что договор подписан вчера, все сделано окончательно, спорных вопросов нет, осталось сверить тексты на четырех языках.

Японцы на этот раз не тянули. И адмирал преуспел! Поэтому, кажется, не все американцы благожелательны. Удар для престижа их дипломатии! Их флота! Их исключительности...

Но когда Адамс сказал краткую, но прочувствованную речь и за огромным столом все поднялись и стали громко поздравлять адмирала Путятина и раздались горячие крики приветствий, то все без исключения готовы были, захлестнутые общей волной восторга, принять достижение Путятина как жест дружбы, как новый славный подвиг во имя цивилизации и всего человечества.

Все свершенное Путятиним и «Дианой» такой же праздник для Америки, как и подвиг Перри и его договор, подписанный им в прошлом году. Такой отенок придал всему Адамс.

Адамс умел великолепно держаться, как и подбавляет при торжествах дипломату, но все же мгновениями он тускнел, так как удары судьбы не могут забыться.

В иллюминаторы видно было, что погода переменялась и пошел дождь.

Но когда адмирала и гостей пригласили наверх, то оказалось, что над всей палубой натянута громадный тент. Он так высок, что чувствуешь себя почти как в кафедральном соборе Павла в Лондоне. Гости и хозяева рассаживаются, как в театре. За леерами, по бортам, на пушках и на вантах сотни зрителей.

Старший офицер, обычно похожий на рыбака из Охты, сегодня свеж, наряден, в крахмале и золоте. Он извинился перед адмиралом, что большой дивертисмент нельзя составить, лишь несколько номеров будут исполнены матросами: надеемся, приятно будет посмотреть вашему превосходительству.

Утих духовой оркестр на капитанском мостике.

Из-за громадного орудия вышли с дудками двое мальчиков лет по десять. Оба белокурые, в форме и эполетах, в коротких штанишках и в белоснежных чулках. Они промаршировали, стуча детскими тувельками на каблуках, по палубе и стали. Под звуки их дудок из-за громадного орудия на поворотном круге маршировали ряд за рядом мат-

росы гигантского роста. Они появлялись, видимо, из люка, за пушкой негде было бы разместиться такому множеству людей. Все как на подбор, саженого роста, с кинжалами и карабинами, они производили устрашающее впечатление грозной силы, но нежные и мелодичные звуки детских дудок скрашивали эту свирепость.

Алексей почувствовал, что у американцев есть люди со вкусом и тактом. Он все же мало знал американцев. И он и они заняты. Офицеры «Поухатана» целыми днями чертят карты. Они делают описи берегов Японии, уходят, кажется, далеко и надолго, может быть к каким-то островам, без всяких позволений японцев. Кажется, иногда на несколько дней. Однажды Крэйг вернулся с матросами, мокрыми, в оборванной одежде. Видимо, выбрасывало их где-то на камни. Своим чередом шли парусные и гребные ученья, а на судне матросы шили, чистили, мыли, стирали, драили, смолили, офицеры за всем смотрели, а пети-офицеры кричали и дрались.

Лейтенант Крэйг однажды спросил у Сибирцева, когда матросы танцевали «Сени», а Букреев прошелся на руках колесом: «Казак?»

В солдаты и матросы многие, как не раз слышал Леша, шли служить охотно. Еще охотней на войну. Прочь от крепостной деревни, от помещиков и приказчиков, от скуки и бедности, на хорошие харчи, походишь в сукне и в красивом кивере. Повидаешь мир, покормишься на казенном, обучишься драться. Янка Берзинь рассказывал, что у них девушки не гуляют с теми, кого не взяли из назначенных в рекруты. «Царю не годен — девушкам не годен», — говорят девицы-латышки на Даугаве.

«Казак ездит на коне», — ответил тогда Алексей. Потом объяснил про джигитовку донцов, черкесов и терцев. Пегрэйм сказал, что можно сравнить с ковбоями.

Под детские мелодии матросы проделывали упражнения с оружием, маршировали, потом составили карабины в козлы, пропели несколько песен. Ушли под духовой оркестр.

Под флейты в оркестре появились двадцать шотландцев в юбках, с голыми коленями — дань славному народу севера, множество сынов которого служило на американских кораблях.

Потом три старика негра пели под гитары грустные и шуточные песни на ломаном испанском. Одеты с иголки, в жилетах и галстуках, в белых воротничках, в клетчатых брюках и в длинных лакированных туфлях.

Четыре навитых девицы-англичанки очень высокого роста выскочили из-за пушки под общий вой и хохот зрителей. Экие кобылы! Право, походят на девок-переростков, таких ни замуж, ни в прислуги в хороший дом не отдашь. И вот они с голода и бедности неумело прыгают и неумело радуются, никому не нужные английские могучие громадины, в этом ловком, суетливом мире дельцов. Судя по тому, как бушевала публика, матросы не стеснялись адмирала и commodора, считая их кем-то вроде своих товарищей.

Четверо американцев в белых рубашках, с балалайками — это отличная самодельщина, даренная нашими матросами. Каких только мастеров нет в экипаже!

Хохот, свист за леерами бушует.

Сэни, сэни, о май сэни...—

запели четыре глотки.

Потом балалаечники сложили инструменты на мостике, оркестр заиграл «Сени». Один из плясунов прошелся по палубе колесом на руках...

— Сиогун не может подписать, так как он не император,— уверял Путятин Адамса в салоне.— Надо понять всю сложность положения в Японии. Их уполномоченные не желают обнаруживать противоречия в своей стране, не смеют объяснять все иностранцам, но делают это деликатно. Поэтому надежда, мне кажется, есть...

— Так пусть дай-ри...<sup>22</sup>.

— Но дай-ри не подписывает.

— Где же выход? Кто же вам ратифицирует? Один святой. Другой узурпатор! Надо им посоветовать одного лишнего свергнуть. Пусть выберут, который им по душе. Это им любой иностранец, любой здравый человек скажет, они и себя путают и нас тоже.

«Что же, мы будем тут у него в каюте государственный строй у японцев менять? Этак американцам понравится...» — подумал Путятин. Евфимий Васильевич никаких намерений не имел менять правительство ни у себя, ни у других. Но все же он желал бы оживить японского дай-ри. Экий медведь спит в берлоге! В этих делах британцы мастаки! Вот они появятся и сразу навяжут перемены. Их любимое занятие — менять правительства, подкупать, сталкивать, из дерьма сулить сделать золото...

«Ему еще можно ждать год и больше. А я пришел за ратифицированным договором и привез свой! Я не смею ждать! Путятин должен, как благородный человек, со всей ясностью потребовать от японцев, чтобы обещание, данное Перри, они выполнили. Какое дело до их церемоний? В конце концов, Америка требует. Я не отступлюсь».

— Но если они так говорят про своего сиогуну,—горячился Адамс,—тогда и будем требовать по букве договора! Тогда пусть подписывает император! Как обещано! Или вся Америка подымется как один человек.

«Ну что ему скажешь! Он как бык на красное с этим сиогуну!» — Путятин видел, что опять Адамс в сильном раздражении и с собой не совладевает, и что не надо трогать место, ставшее у него таким большим, и что лучше об этом поговорить позже и поспокойней. Но и Кавадзи надо еще сказать, чтобы они не упрямялись.

— Так как решили? Идете ли с нами в Шанхай? — спросил Мак-Клуни.

— Нет... Только в Декастри...

— Мы зависим от англичан.— Это было равно отказу.— Ваши офицеры могут пойти с нами, и мы переправим их в Россию.

— Я вызову желающих.— Это тоже похоже на «нет» со стороны Путятин.— Копию договора я отправлю с вами... Еще предстоит мне вести переговоры о порядке ратификации.

— Вполне вам сочувствую,— усмехнулся Адамс.

Путятин советовал не упускать из виду Кавадзи:

— Он в некоторой степени независим в своих суждениях, и ему верят, он пользуется влиянием на правительство.

— Сегодня приезжал чиновник и передал мне извещение от губернатора, что якобы из Эдо для переговоров со мной выезжает делегация, составленная из вельмож, которые подписывали договор с коммодором Перри. Ее возглавляет наш старый знакомый князь Тода. Но что толку от разговоров, когда мне нужна ратификация!..

— Неужели Евфимий Васильевич уступил? — спрашивал в это время на палубе мичман Михайлов.

— Проляпал наш Евфимий Васильевич.

<sup>22</sup> Дай-ри — одно из наименований императора; также — тенно, микадо и др.

— Какие же условия?

— Юг Сахалина в совместном владении русских и японцев. Большая уступка против наших целей.

Леша очень разочарован. Он знает: по сути дела, подарили юг Сахалина — самое ценное. Дорогой подарок наш Евфимий Васильевич сделал. Все офицеры «Дианы» побывали летом на Сахалине. Там стояло наше укрепление, поселок, строились причалы. Айны считали себя русскими. Очень жаль Сахалин. Дело запутано очень глупо, и будут предлоги для конфликтов в будущем. Не ждал Леша такой оплошности от адмирала. Все произошло очень неожиданно! Но почему? Разве японцы его в чем-то убедили? Кавадзи воспользовался нашим затруднением? Надо будет спросить у Гошкевича. Да что им, чиновникам... Им бы только доложить царю! Леша очень хорошо помнил дни, проведенные на Сахалине.

Печальные и величественные дали Сахалина. Пески, обрывы, луга, и холмы, и гряды далеких гор. Мольбы айнов: «Не уходите!» А Кавадзи доказывал, что айны — это те же японцы. «Нет, господа, айны совершенно не японцы», — в этом уверял Евфимий Васильевич уполномоченных.

— Евфимий Васильевич очень искусно действовал, — вмешался в разговор Можайский, нагибаясь, чтобы говорить потише. — Он очень тонко повел политику.

— В чем же эта политика?

— Он всегда считается с реальными обстоятельствами. Все обстоятельства были против него: наша слабость здесь, война, катастрофа, голод, интриги американцев, угрозы союзников... Он вынужден был уступить, чтобы не отдать Японию под влияние наших врагов.

Подошли американские офицеры. Они слегка пьяны и опять говорят комплименты, поздравляют с заключением договора. Стали говорить, что в восхищении от Путятина.

Сверкало оружие, и гремела музыка. По команде матросы снова разбежались по реям.

— Величественный человек, — повторил лейтенант Коль про отходившего на вельботе Путятина.

«Конечно, величественный человек, — полагал Адамс, — но не будь их тут, мы могли бы действовать решительней».

## Глава 24

### Начинающие миллиардеры и сенаторы

Вечером за общим разговором вся кают-компания насела на Шиллинга. Из офицеров «Дианы» он свободней всех говорил по-английски. Американцы расспрашивали, как себя чувствуют русские в глубине Японии, пользуются ли хотя бы относительной свободой, следят ли за ними полицейские, видят ли они женщин, бедны ли японские крестьяне, есть ли у них скот, какая вообще там жизнь в деревне, разрешается ли ходить по улицам и в поля, в каких помещениях приходится жить и что русские строят, какого водоизмещения судно.

Заметно, что после визита старца Евфимия на «Поухатан» интерес к делам русских в Японии необычайно возрос.

Шиллинг мельком помянул про тоннаж строящейся шхуны, оговорился, что при закладке не был и точно не знает, но, кажется, будет водоизмещением до двух тысяч тонн. Он стал рассказывать о пустяках, высмеивал средневековые обычаи японцев и сам, как ему казалось, вошел в роль американца. Кают-компанию в этот вечер потрясал

дружный хохот. Смеялись громко, не только тому, что в самом деле смешно, но высказывая полное сочувствие и одобрение смелым действиям русских.

Николай Александрович избегал всего, что американцам не следовало знать. При желании про постройку шхуны, он полагал, мог рассказать Адамсу сам Евфимий Васильевич. Шиллинг помнил наставление адмирала: все, что станет известно американцам, будет известно и англичанам. А на шхуне предстояло идти на Камчатку! Конечно, шила в мешке не утаишь!

Желая удивить американцев, Шиллинг сказал, что в каждой деревне множество храмов, все они превращены в квартиры и что каждому русскому офицеру японцы присылали по три жены.

— Но, конечно, мы не могли принять этой любезности...

Американцы хотели рыть, копать дальше. Николай Александрович чувствовал, чем это пахнет. К тому же среди американцев непременно есть люди Стирлинга и Боуринга. «Да, американцы почувствовали сегодня в нас соперников, — думал барон Шиллинг. — Постараются со временем прихлопнуть все наши добрые начинания в Японии. Припишут себе все, что мы сделали и еще сделаем, наймут людей, чтобы опубликовали об этом по всему свету». На этот счет у всегда хорошо осведомленного Шиллинга сомнений не было. Он сам интересовался коммерческими видами на будущее. Никаких сантиментов к японцам он не испытывал, как не обольщался и благородством коммерческих американских республиканцев. Каждый из них был противником, с которым надобно обойтись полюбезней.

Путятин, Лесовский и все товарищи не предвидят опасностей, не думают, как американцы постараются замарать и замазать все наши добрые дела в Японии, а себя выставить первыми зачинателями и учителями. «Даже не подозреваем, как обчистят и обкрадут ловкие пройдохи янки, которые свое пройдохество открыто возводят в добродетель. Янки расспрашивают и все мотают на ус. Они влезут потом в каждую щель, открытую Путятиным».

Как всегда, ложь произвела самое сильное впечатление, и при известии о трех женах для каждого русского офицера американцы повесили носы, но жадно слушали Николая.

Алеше, видевшему, как барон их огорошил, не хотелось слушать вранья, и он решил поискать Александра Можайского, узнать, как движется изучение новых паровых машин.

Каюта Можайского была пуста. И на палубе его не оказалось. Видимо, опять в машине. Все свободное время проводит внизу. Впервые показывая свои машины и гордясь ими, американцы не думали, что потом так получится. Саша сделал много рисунков. Каждый раз он почтительно просил позволения у старшего офицера и главного инженера разрешить ему рисовать. И неизменно получал разрешение.

— Он опять там, — случайно услышал Леша очень недовольным тоном сказанную фразу одним из двух американцев, встретившихся ему на трапе при свете газового рожка. Отойдя, догадался, что говорят про Сашу.

— Этот высокий офицер — порядочный нахал, — ответил другой голос.

Первый офицер, видимо, подал какой-то знак.

— Он ничего не понимает, — успокоил второй.

Уже нельзя запретить Можайскому спускаться в машинное отделение. Это нарушило бы хорошие отношения с адмиралом Путятиным. И Саша рисовал и рисовал. Он старался набраться опыта и не предпо-



лагал, что его могут принять за шпиона. Полагал, что его воодушевление лишь радует американцев.

Наверху к Сибирцеву подошел блеклый невысокий американец с асимметричным лицом и короткой фигурой, всегда приветливо смотревший на него за столом.

— На каком языке говорите?

— Немного по-английски.

— Немного! — с оттенком сожаления и насмешки воскликнул американец, как бы упрекая Сибирцева.

Он подал визитную карточку: «Сайлес и Берроуз. Экспорт. Импорт. Пароходство. Банкирская контора: Куин Роуд, Гонконг».

— Очень рад сделать знакомство! — подавая сильную руку, широко улыбнулся Сайлес.

Кажется, длительный экзамен, который Алексей держал под взглядами этой личности, заканчивался на сегодня знакомством.

Сибирцев жил на пароходе в отдельной каюте, в удобствах, не зная забот, но, видимо, все время находился под перекрестным наблюдением.

После нескольких фраз о переменчивой погоде Сайлес определил, что собеседник говорит довольно свободно. В таких колониях, как Гонконг, многие плели как попало по-английски, но считались подданными королевы. Сами англичане все более привыкали к своему же ломаному языку, выучиваясь ему как чужому.

Лицо банкира и коммерсанта из Гонконга ожило, светлые глаза немного выкатились, лицо стало исполненным интереса и ласкового раздумья.

Молодой офицер с первого взгляда ему понравился, у Сайлеса, как он сам про себя знал, верный и зоркий глаз опытного, потомственного рабовладельца.

Честность и энергия написаны были на чистом лице Сибирцева. Знание языка обнаруживало воспитание и практицизм, и это особенно приятно.

На лице Сайлеса такая искренняя радость, как будто разговор с Сибирцевым представлялся ему подобным освобождению из душной клетки.

Сказали несколько фраз. Час был поздний, и разошлись, не уговорившись встретиться.

В каюте Леша не успел еще расстегнуть мундир, как в дверь постучали. Вошел Сайлес. Лицо его улыбалось так же приветливо и немного смущенно.

— Идемте ко мне.

Леша не хотел бы сразу обнаруживать симпатию, это не в его натуре. Должно пройти время. Но Сайлес привык, видно, действовать немедленно. Может быть, имел какие-то виды. Он и так долго выжидал, поглядывая на гостей, как мышь на крупу.

Его каюта загромождена мебелью и вещами, разбросанными в беспорядке. Часть отгорожена тяжелым бархатным занавесом красного цвета, за которым кто-то сидел, там что-то скребли.

На столе среди пепельниц и серебряных коробочек горела фитильная лампа, изобретенная в Америке, и кто-то в японском халате, сидя боком к двери, считал расставленные столбиками золотые пятидолларовые монеты. Приподнимая всю стопку пальцами, он быстро опускал одну на другую. К удивлению своему, Сибирцев разглядел, что этим занимается его знакомец, переводчик Татноске. Японец и глазом не повел, когда вошел Сибирцев, лишь коротко кивнул ему, не отрываясь от дела, прищелкивая на маленьких японских счетах, казавшихся

набором нанизанных разноцветных пуговицек, что-то записывал. По каюте разбросаны пиджаки, подтяжки, на столе серебряные тарелки и стаканы. Занавес приоткрылся, и оттуда с любопытством выглянул широколицый лобастый негр. У него в руках нож, а на коленях, на фартуке, большая рыбина, чешую которой он так звонко соскребал, сидя прямо на полу. Встретившись взглядом с Сибирцевым, негр ухмыльнулся и скорей опустил бархат, и снова раздался старательный скреб.

Видимо, Сайлес — банкир начинающий, стремящийся в зенит. «Striver» — старающийся. Существует три вида американских дельцов — striver, driver и thriver, то есть: стремящийся, управляющий и процветающий.

Конечно, в залив Симода страйвер прибыл не для светских разговоров, а с одной из тех целей, о которых стойко умалчивают. Татноске-то каков! Гребет золото не стесняясь. Видимо, японец решил, что если Сибирцев вошел в эту каюту, то и он того же поля ягода, тоже причастен к общезападному великому жульничеству. Впрочем, трудно судить по первому впечатлению. Ведь первые уроки получал Татноске-сан у Николая Александровича Шиллинга, и первым вознаграждением были часы с бриллиантами.

Леша прошел в каюту. Она попросторней, чем у офицеров. Сайлес просил садиться.

— Вина? Виски? — предложил он. — Эль? Джин?

Леша поблагодарил довольно твердо, и лицо американца выдало двойственное чувство — серьезную настороженность и шутовскую похвалу. Офицер не пил вина? Или пил, но вовремя и в меру? Или боялся опьянеть? Характер или воспитание? Недоверчивость?

Человека из неизвестной страны начинаешь узнавать на мелочах. Или это трусливость провинциала, гражданина второстепенного государства, который на каждом шагу видит обманщиков и всего боится, как деревенщина в Лондоне. Но у него знание языка и свободный выбор выражений для определения мыслей. По нескольким фразам уже можно судить о его самостоятельности, которая не могла основываться лишь на чем-то природном.

Разговорились про воспитание детей в России, про школы, а потом про помещиков и крестьянские хозяйства. Вскоре Сайлес довольно ясно, как ему казалось, представил русскую фермерскую среду, земледельцев, их образованных помещиков, которые привозят английские плуги и держат в крепостной зависимости свой народ, как негров на Юге несвободных Штатов. Торговля белыми невольниками — это что-то непонятное. Но это важно, стоит запомнить. Может быть, и нам можно будет со временем скупать в России белых рабов? Сайлес был плохо образован, но он много видел и все представлял по-своему.

Леша чувствовал, что встретил среди американцев пока единственного, кто желал бы познакомиться с сутью русской жизни.

Сайлес сказал, что Америка просторна для безграничной деятельности: предпринимай в ней что хочешь, говори, молись как хочешь.

— В День Благодарения я молился, чтобы открылась Япония. Это всегда была моя мечта, совершенно как у адмирала Путятина.

Леша спросил про Гонконг и с интересом выслушал похвалы новому огромному городу Гонконгу, которые у Сайлеса невольно превращались в похвалы своей фирме «Сайлес и Берроуз».

Было уже поздно, негр еще возился за занавеской, Татноске, оставив записки на столе, давно ушел, когда Сайлес вдруг сказал, что он может гораздо скорей Адамса поставить в известность русское прави-

тельство о бедственном положении моряков «Дианы» в Японии. Но просит пока никому из американцев не говорить об этом...

Перегородки были тонкие, и в соседней каюте жили трое офицеров, они спали на диванах, уступив свои каюты русским.

Сайлес уловил настороженность Сибирцева и понял его мысли.

— А-а! Они спят. А если не спят, ничего не понимают! У них другое в голове... Это пьяницы и бездельники.— И он с отвращением скрипел.— Мы сделаем это быстрее, чем нейтральные дипломаты и коммодоры. Поговорите с адмиралом и дайте мне адрес, кому послать сообщение. С прибытием в Шанхай по пути в Гонконг я немедленно pošлю письмо в Россию... А эти офицеры ничего не понимают! — махнул он рукой, заслышав храп за стеной.— Вы хотите сказать, что война? Да, англичане строго следят за почтой. Но я шлю коммерческую корреспонденцию своими средствами в Гамбург. Там учится моя дочь. Она будет знать, как срочно переслать письмо в Россию о вашей участи и для вашего немедленного спасения... Более того, я могу зафрахтовать любое судно и вывезти вас отсюда. Как вам это нравится?

Он зашел за стол, и тут Леша заметил, что только один столбик на столе из золотых долларов, а другие из монет иной формы и большего размера. Это были стопки золотых японских монет, кажется, называются бу, и золото в них очень дорогое, почему-то ценится гораздо дороже долларового.

Утром Сайлес встретил Сибирцева после завтрака и прогулялся с ним по баку. Шлюпок еще не подавали, оставалось еще полчаса до отъезда в Гекусенди.

Американские офицеры, проходя, приветливо здоровались с коммерсантом. Он фамильярно похлопал по плечу подошедшего на миг Мак-Клуни и потом сказал, что так принято в Южной Америке, где он долго жил. Механик позвал Сайлеса, сказал, что хочет ему показать, как удалось переменить кривошип в большой машине. Сайлес позвал с собой Алексея. По трапу он спускался, схватившись за плечи механика. Он всех хватал за плечи, опирался и сильно тянул руку, здороваясь. Сайлес мало понимал в машинах, но он опять насторожился, заметив, что Сибирцев тут не новичок и кое в чем разбирается.

Сайлес попросил механика показать действие рычагов, которыми сила пара переключалась на работу подъемного шкафа, доставлявшего из артиллерийского погреба заряды и бомбы к большим орудиям на палубу.

— По возвращении в Гонконг и еще до того, в Шанхае, а там ведь тоже выходят у нас газеты, я сам напишу и опубликую в английских газетах статьи о бедствии корабля «Диана».

Сайлес продолжил прерванный разговор, возвратившись на палубу:

— Вас не должно огорчать. Наши болтуны все разнесут во всех портах, во всех домах Шанхая и сделают это неумело, с дурным намерением. Я опишу героев «Дианы» во всем их величье, как вы этого заслуживаете, поставлю все на свое место. Я заставлю англичан призадуматься. Вы ничего не знаете об их поражении на Камчатке? Но я докажу, что вы — пострадавшие от кораблекрушения.

«Но что Камчатка! — полагал Алексей.— Сотни тысяч людей не на жизнь, а на смерть сражаются в Крыму и на Черном море, там горнило битвы. Мы не смеем преувеличивать значения Камчатки в безлюдной, отдаленной и пока никому не нужной бухте этого полуострова. Никто не хотел и знать и не думал никогда о Камчатке, да и о Русской Америке тоже. Но вдруг эти земли в войну пригодились. Но что же,

и это хорошо, означает, что вся огромная Россия в крайнем напряжении».

— Сегодня при встрече с адмиралом я поставлю его в известность,— сказал Сибирцев.— Я полагаю, что он рекомендует адрес, это наше министерство иностранных дел... граф Нессельроде. Он же канцлер России.

— Поговорите с адмиралом... Идемте и выкурим по сигаре.

— Благодарю вас.

— Да, вы не курите. Так в чем же вы тогда? Женщины? Японки, может быть? Как вам они нравятся? Такие все кривоногие, рабочие лошадки... По три японки на русского офицера! Ха-ха-ха!

И тут краска кинулась в лицо Алексею и густо залила щеки. «Неужели японка? — поразился Сайлес.— Какие, однако, смелые казаки с Волги!»

— Так я вам скажу о себе. Нет, не о женщинах. Я смотрю с палубы на Японию и вижу ее будущее. Оно грандиозно. Но надо, чтобы Япония попала в хорошие руки и честным людям. Есть у них такие силы, найдутся ли деятели нового общества?

Алексей не знал, есть ли у японцев сторонники прогресса, которые могли бы быстро перенять, усвоить всю сложность современной экономической и политической организации. Но он не хотел дурно говорить о японцах, как это принято у американцев, и лишь согласился, что безусловно такие люди есть.

— Америка — великая страна и американцы — великая нация без предрассудков. Не судите по их командам, военные наемники всюду одинаковы. У Америки будущее. Америка затмит старый мир... кроме России... Мне кажется, в России я не ошибаюсь. Но ваш путь очень трудный...

Сайлес прибыл посмотреть Японию и определить, чего она стоит. Неожиданно испеклось, кажется, два пирога! Он увидел очень большие горизонты, о которых даже не предполагал, через этого скромного на вид офицера он узнал много нового. Новые возможности надо оценить. А дальнейшие перспективы надо видеть.

— Да, у меня дочь в Гамбурге. А наша фирма? Да и во Фриско и в Род-Айленде...

Шлюпку подали. Русские пошли в Гекусенди. Американцы на трех баркасах свозили часть команды на берег упражняться за городом в стрельбе. Старались все время занимать команду, стрелять и ежедневно маршировать по улицам Симода, чтобы держать японцев в напряжении.

— И у меня такое же впечатление,— говорил Посьет, идя с Сибирцевым по самому берегу, по широчайшему, розовому от солнца пляжу, на который как бы шутя и дразня набегали воздушно-легкие волны, оставляя на песке ярко-зеленую паутину и изломанные причудливые рисунки, которые каждой волной чертились наново. Жаль топтать сапогами! — Адамс не скрывает, что не согласен с Перри, недоволен им, раздражен против него, но при этом исполняет все его планы лучше, чем сам Перри. Пишет ему и получает от него письма, дисциплинирован до мозга костей и при этом терпеть его не может. Его, в свою очередь, не любит Мак-Клуни. Адамс платит ему тем же. Едва терпит его. У всех вместе вид могучего единства, как вообще у хороших военных. И все они, когда познакомишься с ними поближе, оказывается, терпеть не могут друг друга.

Посьет знал Адамса, Мак-Клуни и многих офицеров «Поухатана» не первый год.

— Сайлес мне так и сказал, что они все время грызутся, уверяет, что нет ни единого, кто не был бы алкоголиком. Каждый норовит дать другому подножку.

Сибирцев добавил, что его поразило всеобщее дружеское расположение офицеров к Сайлесу, они даже заискивают перед ним. А Сайлес их разносит на все корки, как и англичан в Гонконге.

— По мнению Сайлеса, Адамс не поможет русским, он будет колебаться, чтобы заслужить похвалу за нейтралитет от англичан, от их Боуринга, от которого в Гонконге и вообще в Китае американцы завистят совершенно. Мол, не ждите от них ничего, кроме похвал и сочувствия за бутылкой виски. Берроуз, как американец, независим, и только он высоко держит честь Америки. Даже Перри и тот стоял перед англичанами на задних лапках.

Посьет поразился, что именно скрытный Сибирцев мог оказаться столь осведомленным.

«Вы далеко пойдете, Алексей Николаевич!» — подумал Посьет, глядя на совершенно юное, свежее лицо Сибирцева. Ясно, что иностранцы давали Сибирцеву высокую оценку. А мы ценим людей по их оценкам.

— Вы сами изложите Евфимию Васильевичу свой взгляд, что вы полагали бы действовать одновременно официально через Вашингтон и частично через фирму «Берроуз». Нам придется платить коммерсантам. Если даже пользы будет мало, придется платить. В противном случае они сделают нам вред, живя среди англичан. А они могут быть полезны. Но в том, что он говорит, есть оттенок шантажа...

В Гекусенди Леша рассказал адмиралу про Сайлеса. Посьет подержал:

— Сайлес обещает, что исполнит это быстрее, чем Адамс, и что он снесется с Нессельроде, несмотря на войну и все строгости... Адамс сам по себе... Дипломатия остается дипломатией, и частная коммерция остается коммерцией.

— Но что мне кажется важнее всего, — сказал Леша, — Сайлес намекнул, что его услуги нам могут понадобиться в будущем.

— Что он имел в виду?

— Снабжение Амурского края и Сибири.

— Куда хватил! Мы и сами-то еще об этом не думали!

— Да, он предвидит снабжение новых наших портов и постройку железной дороги с Амура в Петербург через Сибирь. Но есть более близкие цели. Он уверяет, что наш статус потерпевших кораблекрушение будет отвергнут и в среде американцев уже говорят об этом. Они всё передадут англичанам.

Путятин и это знал.

— А кто этот Сайлес?

— Он нужный им человек. Они там делают вид, что не слышат, когда он их бранит.

«Как же может он не быть с англичанами свой, когда живет среди них!» — Евфимий Васильевич мог бы так сказать, но знал, что подозрительность не сделает ему чести.

— Да, они вполне зависят в китайских водах от англичан. Так что вы полагаете?

Путятин за все плаванье впервые разговорился с Алексеем Николаевичем так серьезно и спросил у него совета.

— Сайлес, видимо, считает, что, как только в газетах появятся сообщения о катастрофе «Дианы» и спасении экипажа, англичане получат все подробности от моряков «Поухатана». Те примут энергичные меры, и тут он сам нам пригодится.

— Сайлес ищет выгод и готов к услугам,— сказал Посьет.

Путятин согласился, что если порядочный человек, то надо ему пообещать заплатить, пусть зафрахтует для дианцев судно.

Путятин предложил Константину Николаевичу поехать на «Похатан» познакомиться поближе с Сайлесом.

Посьет долго был на пароходе. Возвратившись, он сказал, что это не Сайлес, а сам Берроуз сюда пожаловал, поэтому и говорит с таким апломбом. Это Сайлес Берроуз. Он из Германии, отлично говорит по-немецки и по-голландски, давно принял американское подданство и, как американец, торгует в Гонконге и Кантоне, а какое-то сырье закупает в Индии. Намерен прислать за нами американское торговое судно для доставки нас на родину.

— Свое судно?

— Вот об этом он никак не хотел мне сказать. Значит, как я понял, он осторожен и не скрывает от нас опасностей, своим судном рисковать не хочет. Но готов дать обещание прислать судно. Говорит, что сам не будет фрахтовать. Судно пойдет попутно, зафрахтовать должны мы.

— Значит, свое не пришлет.

— Да, он не рискует. Но если разрешите, я с ним договорюсь, и судно будет... Это спекулянт большой руки. Может быть, боится, чтобы гонконгские хозяева не сочли бы его за шпиона.

— Надо, господа, идти в Хэда и ни на кого не надеяться! — вдруг воскликнул Путятин.— Платить ему не будем до тех пор, пока не будет толку!

— Он говорит, что нельзя в английском порту фрахтовать судно, которое пойдет за нами. Это станет известно, напишут в газетах. Говорит, что и звездный флаг тут не поможет.

— В Хэда, господа! В Хэда! За дело! А он знает, что мы строим корабль? От кого он узнал?

— Я не говорил про «Хэда»,— сказал Посьет,— но он, видимо, знает.

— Кто же сказал?

— Могли японцы-переводчики. Те, возможно, шпионят для всех сразу.

— В Хэда, господа! И будем строить себе судно сами! Я знаю этих кассиров и маклеров. Не теряйте Берроуза из виду. Он может быть полезен. Что он говорил про Аляску?

— Они все стремятся на Аляску,— ответил Посьет.

— Там золото открыто,— с горячностью вмешался в разговор обычно молчаливый Пещуров.— А у нас этому не верят. Их офицеры спрашивают про Аляску.

— Сайлес сказал, что его друг банкир Джексон метит в сенат и хочет пропагандировать идею завоевания Аляски. Штаты должны отнять ее у России силой. Но Сайлес уверяет, что он и его единомышленники предпочли бы купить.

— Кому только что в голову не лезет! — сказал Путятин и подумал: «Когда видят, что хозяин больной и в семье народу мало». — Кому только голову в петлю не сунешь, когда посулят спасение. Строить, господа! А откуда у вас мексиканская гитара? — спросил адмирал у Сибирцева.

— Американцы подарили.

«Ох, сынку, не доведут тебя до добра ляхи!» — хотелось бы сказать словами Тараса Бульбы. Но ведь он сам послал офицеров на «Похатан».

...У штатских спутников Адамса отдельная от офицеров, как бы своя кают-компания, или экс-салон, как называл Шиллинг,— помещение из двух разгороженных кают в жилой палубе. Там на столе день и ночь стоят салаты в блюдах, фрукты, холодное мясо и куры, можно зайти в любое время, есть и пить, как только коммерсанта одолеет жажда или голод.

Часть переборки, отделяющей закусную дельцов от соседней каюты, убрана, и получилась как бы дверь, закрытая красными шерстяными портьерами. Из-за них зычно доносился сквозь смех чей-то густой голос. Ему отвечал совершенно хриплый, чуть слышимый собеседник. Не зная как следует языка, Алексей не понимал, что говорят. Когда хрипчатый умолкал, густой бас опять начинал, выталкивая слова со смехом. Этот приглушенный, но назойливый хохот был фоном всего обеда, который Сайлес устроил для нового знакомого. Смех нарочитый, заказной, и Алексею хотелось посмотреть, что там за резонер из Александринки, но он не поддавался искушению, привыкая ко всяким чудачествам людей, с которыми встречался.

Сайлес вопросительно взглянул на Сибирцева, как бы желая знать, действует ли все это ему на нервы, обращает ли он внимание, не твердолоб ли. Алексей не обнаружил чувствительности. Сайлес не выдержал и спросил:

— Знаете, кто там смеется и разговаривает?

— Нет.

— А хотите посмотреть? Это мой друг Джексон.

Сайлес проворно вскочил из-за стола, отдернул занавес и пригласил в соседнюю каюту.

Верхом на стуле в одной жилетке сидел Джексон, подняв свою лошадиную голову, он тихо хрипел, словно изображал припадочного.

— Действительно он сам с собой разговаривает на два голоса! — воскликнул Сайлес.— Ах, мой лучший друг и приятель!

Джексон встал, подал руку, почтительно и глубоко поклонился, становясь безукоризненным джентльменом и выказывая полное уважение к Сибирцеву. Ничего, кроме дружественной симпатии, Джексон к этому офицеру не питал, как к партийному противнику, которому пакостишь лишь в политике и лишь из лучших идейных побуждений, а при встречах действительно всей душой отдыхаешь от своих, которые надоели, опротивели и которых приходится держать в узде.

Джексон достал какой-то напиток, и все выпили.

Сайлес увел Сибирцева из каюты, задернул занавес и приложил палец к губам в знак того, что не надо мешать человеку заниматься серьезным делом. Тут Сайлес комически вскинул обе руки над головой.

— После путешествия в Японию мой друг Джексон выдвигает свою кандидатуру на выборах в сенат. Он уже готовится стать сенатором. Джексон упражняется в ораторском искусстве, он сам говорит речи, а когда хрипит, изображает оппозицию. Он идиот!— махнув рукой, заключил Сайлес.

Сказано было громко, за переборкой нельзя было не услышать.

— Он будет сенатором. Его выберут. Он подкупает голоса, у нас это просто, и вам, как монархисту, я говорю об этом прямо. До вас это тоже докатится. Джексон будет избран обязательно. Это он сейчас готовит речь против русской экспансии на Тихом океане, в защиту демократии, за изоляцию русских и за торговлю. Он возмущен вашим присутствием в глубине Японии и уверяет, что его поддержат все адвокаты и знатоки законов. Все это дает ему повод выдвинуть себя с

речами на тихоокеанскую тему, и за это он лично вам очень благодарен. У нас в Америке ценятся контрасты. Он подкупит разный сброд. Пока он плавает и набирается доводов для своих выступлений, тем временем дело идет, и там за него работают. У него уже есть свои людишки, которые в Америке обо всем позаботятся. Ведь он вернется из Японии как ее политический открыватель и совсем затмит Перри. Уже теперь Перри сидит у него в кармане. Великая страна! У нас все можно! Подкуп — двигатель культуры и цивилизации. Подкуп и шантаж. Тут очень трудно приходится честному коммерсанту и банкиру, среди таких волков... Подкуп! Вы поближе познакомьте меня с капитаном Посьетом. Очень знакомый нам благородный тип европейца. Очень понравился всем. Какое знание Парижа...

Желание знакомиться с Посьетом и упоминание о подкупе? Золотые бу, доставленные Татноске. Разговоры о всеобщей продажности. В Посьете видят знакомый образец обедневшего европейца? Но Алеппа знал Посьета хорошо и только улыбнулся.

Сайлес понял и сделал вид, что испугался, не хотел сказать ничего подобного, неправильно поняли.

Еще прежде Сайлес как-то сказал, что при виде аристократического европейца надо побренчать в кармане, но добавил, что это кажется дам...

Поднялись наверх и прошли по палубе.

Сайлес пренебрежительно махнул рукой и на солнце и на всю Японию.

— Пойдет прахом и развалится! При первом подлинном соприкосновении с большой коммерцией и с банковским делом! Японцы забегают по своим городам в котелках и с тросточками, покатают модные кабриолеты и поезда, заиграет банд, затанцуют женщины в кабаре, откроются христианские церкви, религиозные и социалистические общества, рабочие сбегутся к машинам с рисовых полей, солдаты начнут маршировку, и явятся новые пешки в большой игре. Стоит только появиться тут деньгам и товарам. А все эти халаты, важность, светские церемонии полетят ко всем чертям! Но для этого надо будет очень добросовестно изучить привычки — церемонии, обычаи, взгляды, праздники и нелепости — и всегда тщательно познавать язык, а через язык постигать остальное. Подступать приходится осторожно, с видом почтительности и благоговения. И эффекты будут при орудийных залпах прямо по берегу! А мои клерки и ученые будут гуманно изучать страну при помощи «sleeping dictionary»<sup>23</sup>.

Лейтенант Пегрэйм, подойдя, послушал Сайлеса и, кивнув на него, сказал Леше:

— Большой бизнесмен. Но от его разговоров у осла отнимаются задние ноги.

Сайлес приподнял шляпу, слегка поклонился и обиженно ушел.

Но от Алексея Сайлес не отставал. На другой день пригласил Сибирцева и Джексона в «кают-компанию будущих миллионеров» на какой-то свой семейный праздник.

Американцы уселись прямо на полу, держали хлеб в перевернутых соломенных шляпах и хлебали матросскую солянку, принесенную негром с камбуза из общего котла.

— Вы, наверное, слушая меня, думаете, что вот нахальный болтун,— говорил Сайлес,— но я очень несчастный человек.

<sup>23</sup> «С п я щ и й с л о в а р ь» — так называли в колониях англичане своих сожителей, с которыми они изучали местные языки.



Сегодня по многим причинам оба американца старались быть демократичными и показать свою близость к жилой палубе.

— Я буду торговать с Россией. Я люблю русских. Россия — это моя мечта, — говорил Сайлес. — Дружба и торговля!

— Я не буду торговать с Россией, — говорил Джексон, — Я не люблю монархизма. Я не буду дружить с вами, — говорил он, подымая на Алексея глаза цвета чистого стекла. — Я буду всюду ограничивать вашу торговлю и ставить вам препятствия. Но вас лично глубоко уважаю, как и ваших товарищей. За адмирала Путятина! За вас! — Он выпил. — У нас свобода слова и полная демократия, совсем не как у вас.

— И мы оба пьем за ваше будущее, — сказал Сайлес, как бы показывая Леше, что все сказанное Джексоном чепуха, не стоит обращать внимания.

— Охотно поддержу ваш гост! — сказал Сибирцев. Вино ударило ему в голову. — Дном вверх! — сказал он, ставя кружку на пол.

Общение с японцами оказывалось полезным, он невольно перенял умение слушать, как бы ни были обидны разговоры. Прежде от таких речей вспыхнул бы и наговорил черт знает что со всей помещицкой горячностью. Теперь он все же знал Японию и японцев лучше этих коммерсантов, лишь начинавших изучать страну.

— У него бизнес консервативный, — сказал Сайлес, показывая пальцем на Джексона. — Это отсталый бизнес. А мой бизнес прогрессивный. Это связи, контакты и прибыли в будущем. Бизнес дружбы и наилучших выгод!

— Его бизнес еще более ужасный для вас, чем мой, — сказал Джексон. — Я действую традиционно, а он все соки из вас высосет, если вы с ним подружитесь.

— Прозит! — провозгласил, подымая зелье, Сайлес как бы за полный успех выкачивания всех соков из всех будущих друзей во всех народах.

— Зачем вам так много? — спросил Алексей.

— О-о!

— При всем гостеприимстве, мистер Сайлес... и вашем, мистер Джексон... мне приятно узнавать, что ждет нас в будущем с такими надежными друзьями.

Все захохотали.

Они потому и на полу сидели, как нищие грузчики-мексиканцы, как «смазчики», чтобы показать, что их передовые идеи исходят из глубины низов демократического и трудового американского народа. Лешу сидением на полу не удивишь. Он и палочками ел, когда подали рис по-японски, и на полу сидел по-японски, научился у Ота-сан, да и ноги молодые гнулись. Американцы видели, как он тут освоился.

Алексей Николаевич чувствовал, через что предстояло пройти России и как нужно закалиться. «Наша матушка Россия всему свету голова!» — с горечью вспомнил Сибирцев солдатскую песню.

Джексон хлопнул Лешу по плечу, по самому эполету, едва не сорвав его с петель:

— Добрый парень!

Алексей покраснел от злости, как задетый китайцем англичанин, и посмотрел на свой эполет. «Однако честь мундира!» — подумал он и, протянув руку, дружески похлопал Джексона ладонью по щеке, как по лошадиной морде.

— Хорошая порода? — спросил Сайлес. — Можно узнать по зубам?

Джексон поднял глаза, выражение которых сразу подобрело.

— На лице? — спросил он, показывая на себя пальцем.

— На лице, — ответил Алексей.

— Если не станет благородных дворян, то сохранится ли в вашей стране личное достоинство? — спросил Сайлес.

— Да, — ответил Леша.

— Я вас выручу и надеюсь, что царь и Нессельроде не оставят меня! — пылко воскликнул Сайлес. — Я слышал, что адмирал Путятин — любимец графа Нессельроде? Если ваши люди попадут в плен, я дам дело и заработок. Такие рабочие руки! Любой умный хозяин не оставит их без дела.

— Без дела можно выморить любой народ, — сказал Джексон. Он вынул платок, но не стал вытирать лицо, а сунул его за пазуху.

— Но вы не думайте плохо о Джексоне. Он прекрасный ортодоксальный человек. Его держат для трудового народа, для домовладельцев, лавочников, мастеров, извозчиков, для богомолков и сектантов.

— Как же думать, если он недолюбливает нас?

— Что вы! Он сам к вам относится очень хорошо и даже ко всем русским. Даже сказал: как приятно было познакомиться с первым русским за всю его жизнь. Но ненависть у нас бизнес. Бизнес Джексона — ненавидеть Россию, недоверие, благородная защита Америки и ее демократии. За это ему платим. Он ненавидит — мы завязываем дружбу, но это все одно и то же!..

На другой день опять был Посьет. Дельцы приняли его в большой кают-компаний. Сайлес и Джексон в черных костюмах с иголки, в бриллиантовых запонках, в белоснежном белье. Китайцы и негры подавали все на серебре. Стояли вазы с цветами, свежие салаты, лед, фрукты. Прохлада, горел газ в голубых рожках. Дважды во время обеда менялись скатерти, как у англичан в колониальном клубе.

— Брат моей жены — типичный эльзасец, любит пиво, живет в Шанхае, — рассказывал Сайлес. — Он член Королевского Азиатского научного общества... Читает торговцам лекции по буддийской мифологии.

— Каким торговцам? Британским или китайским?

— Главным образом английским и американским торговцам опиумом. Он изучил буддизм и конфуцианство в совершенстве по системе «спящий словарь». Как вы полагаете, сможет ли он читать о буддизме в японских академиях?

— Я слышал о подобных лекциях, — ответил Посьет.

— А другой ее брат издает газету, но не в своем городе. Я тоже даю субсидии газетам. Иначе будешь жить без интересов.

Посьет, явившись к адмиралу, рассказывал:

— Вошел — чопорная Англия! Все в черных фраках и жилетках, строгие английские джентльмены. Пока не посмотришь на их рожи.

Ему даже пообещали перевести вознаграждение через банк...

— О чем мы еще говорили? Я спросил Джексона, почему, живя на корабле, где все вооружены до зубов и где такие сильные пушки, он сажает на ночь к двери каюты бенгальца в чалме и с ружьем. Неужели он ждет нападения?! И что тут сможет поделать индус с кремневкой? Он ответил, что это трудно объяснить. Это привычка. Психологическая необходимость. И реклама! Джексон не может расклеить на судне объявления своих страховых обществ и сведения о ссудах, о найме уволившихся из военного флота или цены сортов опиума. Коммерсанты придут в Шанхай, Гонконг, и все будет рассказано, выдано и продано! В том числе сколько русских, где, как хотят уйти, куда, когда...

## Глава 25

## Фуми

«Переводчику всегда даются поручения, которые никто другой не может и не согласится выполнять, хотя эти поручения не имеют никакого отношения к познанию западных языков. Все, что захотят эбису, переводчик должен найти. И все козни против эбису он же подстраивает. И ему же еще и отвечать. Как будто Мориама Эйноске специалист по таким делам! А Мориама — любящий отец, семьянин и образцовый супруг!» — так думал переводчик Эйноске, пройдя двор и раздвигая двери дома, в котором жил губернатор И-чин.

Появились слуга и какие-то ухмылявшиеся лоботрясы, кажется племянники губернатора, приехавшие из Эдо погостить. «С чего бы потешаться, глядя на переводчика?» Слуга провел Эйноске во внутренние покои. В комнате его ждала мать губернатора. Вышла Фуми. Эйноске сказал, чтобы она собиралась.

У Фуми готов небольшой узелок, но платок, в который все сложено, простой и некрасивый. Жена старого лорда велела подать шелковое фурасики. В новый платок все переложили, Фуми завязала четыре конца, стягивая вещи потуже.

Мориама пошел вперед, за ним покорно поплелась Фуми. Шел дождь со снегом, и было очень холодно, раскрыли зонтики и поспешили. В потемках подошли к двухэтажному дому в переулке.

Эйноске отодвинул крепкую дверь в решетку, как у тюремной клетки. Вошли в теплое чистое помещение. По ступенькам спустилась пожилая женщина. Одного глаза у нее не было. Эйноске знал почему: грехи молодости. Эйноске шепнул Фуми, что это хозяйка. Фуми пала на колени.

Эйноске с большой важностью объявил, что по распоряжению губернатора он привел в дом на службу эту девушку, и ушел.

Пожилая дама устроила Фуми маленький экзамен. Она удивилась, что Фуми умеет играть на шэмизене<sup>24</sup>.

— Тебя родители продали в город?

— Нет, так велело правительство.

— Ты быстро отвечаешь на вопросы. Стоит ли тебе губить жизнь, ты могла бы стать гейшей. Кто твои родители?

— Бедные рыбаки. Они не могут заплатить за обучение.

Вечером зажгли стоячие фонари у входа. Служанки разостлали новые тонкие циновки поверх татами, развесили на стенах украшения и расставили бумажные цветы. По приказанию хозяйки Фуми нарумянилась, словно старая губернаторша. За лестницей и за ширмами уже слышен хохот, пахнет чем-то вкусным... Вот опять дверь открылась, послышались низкие мужские голоса. Еще пришли западные люди. Новых посетителей провели по лестнице вверх.

Вскоре все моряки собрались внизу в большом зале, где начинался торжественный пир. Вносились богатые кувшины и блюда, курились благовония. Играл шэмизен. Пела полная, важная на вид молодая дама с черепаховыми гребнями и большими шпильками, похожими на кинжалы, скрестившиеся в глубине высокой постройки из ее волос. У нее большое и тяжелое белое лицо без единой морщинки. Может быть, под такой маской белил и украшений она лучше чувствует себя!

Фуми приходилось подавать и выносить. Она все делала умело и неслышно исчезала, как бы ничего не видя, но на все обращала внимание и все запоминала.

<sup>24</sup> Шэмизен — национальный струнный инструмент.

Судьба — как интересная и страшная книга. Но если быть в силах и все перетерпеть, то судьба не страшна, как и книга. Ведь у нее же есть конец. А конец принесет успокоение и воздаяние за терпение, если жил честно и без ропота подчинялся судьбе. Фуми с раннего детства приучена верить в свою судьбу и ее неизбежность. Ее отец — рыбац. Он не боялся моря, хотя и знал, что не следует зря испытывать судьбу.

Увидя Петруху с его отвратительным, но добрым лицом, которое, как она потом поняла, считается у эбису красивым, с его огромным красным телом, когда он переодевался у костра в принесенный ею ватный халат, она почувствовала его огромным ребенком, так слаб был этот несчастный человек, совершенно бессильный, только что потерявший свой корабль и все сокровища, как он нуждается в заботе, так обижен был и какое сильное сочувствие вызывал. Поэтому Фуми совершенно не противилась тому, что было, несомненно, ее судьбой. Он был ее. Она знала, что после этого жизнь ее резко переменится.

Фуми, сжав зубы, шла в этот неприятный дом. У входа она заметила фонарь с иероглифами и на тряпичной вывеске, мокрой от снега, — строчки, как сказал Эйноске, из какой-то символической здешней песенки.

Конечно, этот дом не страшная лачужка и не напоминает палатки на ярмарках. Какой-нибудь нищий предприниматель покупал в деревне на тракте девочку и уводил ее за собой. На базаре он платил государственный налог, разбивал палатку и зазывал посетителей. К такой жертве шли все: пьяный монах, фокусник, загулявший старик носильщик, всю жизнь проходивший нагишом и зашибивший вдруг деньги, карманный вор, крестьянин, выгодно продавший рис... А хозяин сидел у входа, отпускал шуточки, угощал сакэ и иногда брэнчал мешочком, наполнявшимся медными монетами.

Смерть не пугала Фуми. Она знала, как умеют убивать людей те, кто ведает судьбой. Она слыхала рассказы про пытки и казни крестьян, подымавших восстания.

Жизнь всегда требует покорности и терпения. Внутри этого дома все оказалось красивым и уютным, нравился зал с разноцветными стенами в новенькой бумаге, с яркими шелковыми или бумажными кекейдзику, с хорошей фарфоровой и медной посудой, прекрасная ванная, больше похожая на бассейн с горячей водой, чем на почерневшую кадушку крестьянской бани.

Утром вторая служанка мыла Фуми под наблюдением одноглазой хозяйки. Хозяйка, конечно, очень умная, одновременно как академик и хирург. Она лечила все болезни, знала все моды, была осведомлена о всех делах торговых и чиновничьих и могла при случае заменить для умных людей государственную газету или адвоката. У нее можно было узнать, как платят налог рисом...

Она обрядила Фуми в белое белье, показала, как надо в него заворачиваться плотно. Потом надела кимоно, помогла завязать пояс поверх подушечки на спине. Проведя девушку через двор в свой собственный домик, дала ей еще три халата.

— Особенно аккуратно ухаживай за ногами, надо всегда мыть и душить все, что дурно пахнет... Дается тебе в долг. Ты должна будешь стать богатой светской дамой. Так мы называем наших красавиц. Поэтому у тебя должны быть наряды очень красивые. Потом я тебе заведу еще черепаховые шпильки и гребни. Это все очень, очень дорогое... Но я все для тебя сделаю...

Фуми покорно поклонилась. Это судьба, и она опускается в ее пучину. Куда идти? — спрашивал ее черный онемевший взор.

— Пока еще ты не должна надолго выходить,— ответила хозяйка.— Мы еще должны тебя сначала обучить... Очень трудно! Мы не сразу тебя выпустим. Очень дорого все! Тебе, конечно, придется потом за все заплатить, за обучение. Я создаю новые направления, я создам тебя! На тебя я не буду скупиться... Ты у меня как доченька. Ты должна научиться манерам и светскому женскому языку. Не должна переменить никогда, иначе будет штраф...

Хозяйка достала из ящика маленькую подушечку вроде тех, в которые матрос-портной из эбису втыкает свои иголки. Фуми знает, что это японские духи. Это подушечки с душистой травой. Мама и Фуми сами собирали такие травы в лесу и в поле и делали духи-подушечки. В доме всегда приятно пахло. И Фуми носила за пазухой или в рукаве такую подушечку. Или держала в ящике с бедной одежкой.

— Это очень драгоценный и дорогой запах! — отдавая духи, сказала хозяйка со сжавшимся пустым глазом.

«Моя судьба — плакать сегодня ночью», — подумала Фуми.

Хозяйка дала ей одеяльце и велела ложиться сегодня на ночь в своей комнате. Пришел хозяин и сказал, что завтра в полдень придет цуси — это значит переводчик.

...Солнце вышло из-за туч. Мориама пил чай с хозяйкой в ее комнате с цветами на подоконниках.

— Кто мне будет покрывать убытки? — спрашивала хозяйка.

— Не только вы в таком положении,— отвечал важный переводчик.— Все купцы. Ростовщики. Хозяева судов, рыбаки, торговцы. Все население Симода, Хэда и всего полуострова Идзу исполняет повеление. Единый патриотический порыв! Если же вы не в силах исполнить, то придется вам продать свой дом. Мы слышали, что Ота-сан хочет купить... Может быть, вы с мужем хотели бы продать? Довольно выгодно!

Муж занимался торговлей и делал вид, что к публичному дому не имеет никакого касательства. Он почти целый год в разъездах, часто бывает в Эдо.

— Правительство строит здесь порт для приема иностранцев. Поэтому дома должны быть наилучшими.

— Нигде нет таких девиц, как у меня! Нет такой школы! Школа Симода — это не надутое чванство столичных холодных и расчетливых грабителей.

— Пожалуйста, тише,— завертелся Мориама.

— Мне нечего бояться...— Хозяйка разъярилась, в углах ее рта сочилась зелень, такая же, как из глаз. Она поносила фальшь холодных женщин столичного пригорода Йошивара и перевозносила честных трудовых девиц Симода.— Культ Симода — это очищение душ через тело, когда все грязное истекает. Прекрасней и воодушевленней девиц Симода нет ничего. Теперь, с открытием порта, когда ветер загоняет тысячи фунэ в бухту и все гостиницы полны моряков, в помощь девицам Симода шествуют по дорогам ямагуши, горные девушки.

— А-а! Это по-американски!..— воскликнул Мориама, который впервые слышал такую огромную речь про этическую основу жизни в Симода, да еще из уст одноглазой женщины.

Попробуй отбери у такой заведение! Чего доброго, она прознает пути в замок Эдо... Но господин Ота не потерпит и тут поражения. Он почти американский гений! Это пароход и наука, это пушка и виски в одном человеке.

— Массы девиц движутся сюда, в Симоду, за самопожертвенной любовью с иностранными моряками по случаю открытия страны.

Мой дом — это монастырь преданных высшей силе, мы в согласье с храмом Черакуди.

И посыпалось на голову переводчика: древний культ, все это не разврат Йошивара, не грязь, это труд, потом все горные девицы — хорошие жены, матери.

Мориама взопрел и вытирал бритую голову и шею бумажными платками.

Все ради семьи! Вот какова любовь в Симода, где девицы и женщины чтят отцов и мужей, где самая преданная семья в мире. Как и во всей Японии, за измену мужу сразу казнят. Все глубоко преданы самой древней народной вере и религии предков... В любви зарождается семья. Потом растут здоровые дети.

— Когда я привел вчера девицу, я тоже действовал как представитель-переводчик... от губернатора... — попытался остановить хозяйку переводчик.

— Что же мне с ней делать? Одеть ее, обуть, научить? И держать без дела?

— Чем занималась она в деревне? — спросил Эйноске.

— Отец ее рыбак, но он еще работал у соседа на заводе бобового масла. Дочь помогла отцу...

— Это очень драгоценная девица. По сведениям, была близка с очень большим матросом, за которым установлена слежка повсюду. Это значит, что она одна из тех редких, ценных женщин, которая может быть использована для больших государственных задач в связи с открытием страны и отменой закона о запрещении строительства большого корабля. Но вы же лучше меня знаете, что при случайных, перепутанных обстоятельствах можно заболеть.

— У меня болезней не бывает. Я буду следить за ней... Я все поняла, спасибо большое...

...Несмотря на тревожные ожидания, Фуми была счастлива в глубине души. Все наставления хозяйки и знахарки ее не касались. Она уже беременна. Поэтому и при свидании у губернатора так холодно внешне и душевно так строго, спокойно сидела Фуми рядом с Петрухой. Поэтому угас девичий румянец на ее сухих скулах. Исчезла пылкость взора. Поэтому за последнее время лицо ее стало матовым, бледным, чуть округлилось. Взор обращен был внутрь себя, а не на молодого матроса, которого, как она теперь была уверена, обязательно ждет горе. Она пожалела его.

Вечером в зале раздались низкие западные голоса. Ввалилась толпа вежливых веселых американцев. Они видели новый плакат с новым названием заведения над входом: «Знатный салон «Свободная Америка». Очень двусмысленно. Как будто вежливо. И как будто оскорбительно. Если узнает американец, то обязательно зайдет. А каждый японец отлично поймет, что значит отвратительная «свободная Америка».

Играл шэмизен. Опять пел красивый низкий голос толстой дамы. Блюда деревянные и серебряные расставлены на столах. Кувшины с сакэ большие и малые так красиво расписаны, что кажутся сделанными из драгоценных камней.

Фуми по указанию хозяйки сидела в сторонке от пирующих. Она принимала все как должное. Она не виновата. Ни она к Петрухе, ни он к ней не прикоснулись в Симода. Отношения их переменились и стали серьезными, как у мужа с женой, когда ожидают ребенка. В это никто не будет посвящен. Это не дело посторонних. Надо подольше скрывать. Могут в доме губернатора думать что хотят. Пусть делают что хотят, пусть только не убьют. Теперь она знает, что Петруха любит ее очень и все понимает. Он ее даже не коснулся и не

обидел, хотя все было возможно. Поэтому она счастлива и будет думать о нем. Он любил на свободе, в соснах у моря. Но он не стал любить ее в ловушке, не взял на себя греха. Поэтому она очень благодарит его. Он благородный морской воин.

## Глава 26

### Потерянный иероглиф

— Где иероглиф? Как мог в официальном, уже подписанном договоре с Россией пропасть иероглиф? — спрашивал Кавадзи и угрожающе-спокойно смотрел в выпученные глаза академика Кога.

Вот когда Кога посрамлен. Кавадзи, проверяя японскую и китайскую копии, нашел ошибку. Вот и венец в долголетней борьбе Кавадзи и Кога. Ученый всегда подчеркивал тоном и важностью и прямо говорил, что он не простой чиновник, не умеет составлять официальные бумаги, что он существо, способное писать философские трактаты, исторические сочинения, художественную прозу на современную тему, а также стихи о рыцарстве, об основном кодексе чести, о верности и даже любовные, а деловые чиновничьи бумаги не его дело. Он слишком велик. Но ему была не простая бумага поручена, а важнейший государственный договор. И вот он со своим пренебрежением к чиновничеству позорно сел в лужу. Кавадзи проверял и нашел, что в китайском тексте пропущен иероглиф. Так и сидишь всю жизнь как на циновке с шипами.

Кога не сдавался. Глупо, когда правительство обращает внимание на мелочи. Главное сейчас не глупая китайская ученость, не пустячные формальности, а дух прогресса! И наука! Догматик Кавадзи!

— Это очень мелкий иероглиф, который ничего не значит, — говорил Кога, — и договор имеет полную силу и значение и без этого иероглифа. Тем более что главный и самый точный текст — голландский. В крайнем случае можно вписать один иероглиф.

Кавадзи сказал, что это преступление — вписывать иероглиф в подписанный договор. Надо переписать весь текст и подписать заново.

— Это мелочь! Это иероглиф без смысла! — упрямо твердил Кога.

Кавадзи взорвался. Начался такой жаркий спор, что, несмотря на холодную погоду, уже невозможно было сидеть на циновках поджав ноги.

В богатых, блестящих халатах с гербами и парадными поясами, Кавадзи и Кога походили на вступающих в драку индейских петухов с растопыренными крыльями. Тсутсуй, при его небольшом росте, лишь улыбался. Его улыбка, которая за долгие годы жизни умела принимать тринадцать различных оттенков, сейчас была очень испуганной и трагической. Тсутсуй обращался с протянутыми руками то к одному, то к другому, казалось, не разнимая, а стравливая петухов.

Остальные члены делегации, а также советники, инспектора и мецке, охрана — все с ужасом наблюдали за поединком. Все старались сделать вид, что ничего не слышат, и не пропускали ни единого слова.

Теперь уже спорили о сиогунате. Может быть, изоляция Японии была ошибкой? Тут подданные и чиновники совсем струхнули. Известно было до сих пор, что изоляция сплотила Японию. Строгие казни всегда способствуют единодушию. Японцы были как дети, они очень глупые, ничего не знали. Их долго и много казнили. Их закрыли и

сплотили до тех пор, пока не вырастут. Отец рода Токугава даже самого бога запер в Киото как в ящик, чтобы не мешал росту единого духа в японском народе. Но сейчас японский народ становится взрослым... Примерно так высказался Тсутсуй.

Кавадзи вполне владел собой. Он вернулся к делу:

— Но надо помнить: сделано государственное упущение. Должно быть исправлено.

Когда тоже рыцарь, самурай, прошел отеческую школу сиогуната. Нет ничего проще для натренированного японца, как взять себя в руки. Это первое и главное условие воспитания, когда всю жизнь готовишься к подвигу взрезывания себе живота.

Когда поклонился низко и вежливо, чувствуя себя победителем гораздо в большей степени, чем Кавадзи. Он, как ученый, демонстрировал новое, прогрессивное мышление. Он показывает, что важен дух новых договоров, что Япония стоит у начала нового, великого пути, она войдет в мир великих держав не тем, что будет проводить вот такие государственные и правительственные конференции о пропущенной запятой. Это все китайская важность, азиатчина в роскошных паланкинах, то, что вредит Японии, что скрывает от нас мир идей, наук, образования. Да, Кавадзи победил, но его победа величиной в одну запятую. Он себя дураком и консерватором выставил, еще большим дураком, чем сам считает И-чин!

Так ломались старинные традиции. Когда чувствовал, что в споре об иероглифе разгромил сегодня реакцию беспощадно.

«...Что такое? — Кавадзи помнил небывалый гром орудий «Поухатана», салютовавших Путятину, отлично понимая, что это значит. — Не зря звероподобный, отвратительный Адамс несколько раз до того ездил в Гекусенди. Американскому кораблю пора уходить, Адамс не спешит, хочет добиться своего. Так же «Диана» долго стояла осенью, пока не утонула!»

Нет сведений, о чем говорил Адамс в Гекусенди, но точно известно, где он сидел, на чем, в каком углу, что ел и пил, сколько раз курил сигару и закидывал ногу на ногу. Вот какие сведения собирает Исава-чин! Конечно, Посыет прав: Исава-чин дурак! А Когда говорит: разве только И-чин дурак? О ком это он?

Пальба происходила в японском порту! Адамс укрепляет позицию ро-се — русского посла — выстрелами из американской пушки. Значение Путятинна возрастает. Россия одержала победу на Камчатке, где у нее такая же крепость, как Севастополь, и это теперь напечатано в газетах в Гонконге и в Америке. Адамс показывает нам пример, каким почетом пользуется посол царя! Значит, Америка хочет возвысить Путятинна в глазах Японии. Путятин тоже требовал подписи. Кавадзи ответил, что Америке подпись сиогуна не дана и нечего просить... Очень рассердился Путятин и гордо и достойно заявил, что ему нет никакого дела до Америки, Америка остается Америкой, а он — высокий чиновник царя и требует достойного уважения к империи — подписи сиогуна. И если теперь стрельба и они там вместе, то это наша оплошность...

Кавадзи укутан, в тепле и пьет сакэ, а чувствует себя бедняком под травяной накидкой или одиноким монахом, укрывшимся от ветра и снега дырявым зонтиком.

Кавадзи, как и Путятин, любит посидеть вот так, в одиночестве, в храме, прислушиваясь к великой природе, которую видел во всем. Так же, как в Гекусенди, под ветер ранней весны дребезжали двойные ряды рам. Горячая жаровня, халат, сакэ, угли, кутацу, закрыва-



ющая ноги и таящая огонь глубоко под стеганой накидкой. Стихи. Мечты.

Кавадзи все свое знал лучше Путятин. Саэмон умеет извлекать из настроения под весенний ветер больше прелести. Он чувствовал острее и тоньше, чем ро-се. Но это ведь все свое. Это надоело! Для Путятин удивительно, а не для Кавадзи.

Посьет циничен, но он всегда прав. Он обещал познакомить Кавадзи с первой же хорошенькой американкой, которая ступит на японскую землю. Кавадзи, категорически возражавший на переговорах против консулов, против права эбису жить в портах Японий, на ее земле, втайне встревожен и польщен. Неужели он, как женщина, отвергает, отталкивает, но втайне ждет, куда же дальше потянется эта властная западная рука? Но нет!

Кавадзи снова мысленно застегнут, как смертник, и о двух мечах!

Сейчас они там говорят о ратификации и жалуются друг другу, на японцев! Это можно знать, не посылая шпионов. По классической поговорке «мудрец знает все, не выглядывая в окно». Очень часто лживые шпионы сбивают с толку. В шпионы идут люди озлобленные и виноватые сами, ничтожные. А мудрец знает мир не выглядывая...

Но почему ему так горько, зачем он делает себе эту передышку, погружаясь в мир отвлеченных ощущений? Ведь договор подписан и дело закончено. Можно ехать домой, к семье, к прекрасной жене и не заглядываться на симодские горки.

Да, можно бы ехать! Но самые оскорбительные и тяжкие события и дела начались именно теперь, когда договор заключили. На сильные плечи чиновника-дипломата легла новая ноша по поговорке «груз любит привычную спину».

Договор подписан, и вот сегодня приходит письмо от покровителя, от главы правительства канцлера Абэ, где требуется пересмотреть договор и потребовать, чтобы весь Сахалин признан был японским. Это уже оплошность! Это, конечно, не сам Абэ! Это его догматики перепугались. Правительство готово было отдать весь Сахалин, отказаться от претензий. Но когда Путятин уступил сам, они решили требовать все, весь остров! А что потребуют от Путятин его догматики?

Дипломаты такого государства, как Япония, где все служат одной идее, одинаково умны, тверды, готовы к смерти, благородны, но... трусы. Это заметил Путятин в Нагасаки и сказал: «У вас же нет полномочий! Какие же вы уполномоченные правительства, когда вы всего боитесь, сами без спроса ничего решить не смееете?»

Это письмо — главная и ужасная неприятность. Оно всех возмутило. Тсутсуй добрый и то обозлился. И все, конечно, будут протестовать. Ясно. Это влияние Мито Нариаки из семьи Токугава. Это старый, сухой догматик. Как Посьет говорит, вредным старикам бог смерти не дает... Мито все учит преданности старой идее, которая хороша была прежде. Он олицетворяет старую Японию и хочет, чтобы сын его стал сиогуном для проведения реформ, против которых пока сам старый Мито возражает. Почему Абэ, молодой и умный, терпит Мито Нариаки? Все это опасная игра!

Но есть другая, еще более важная причина. Мито имеет тайный ход ко двору дай-ри в Киото.

Адамс и Мак-Клуни сейчас обвиняют японцев во лжи и уверяют ро-се, что мы и его обманем! И тут приходит письмо Абэ. Совсем по американским предположениям. Как же ответить в Эдо? Ведь мы даже и того не ждали получить, что по договору получили. И это все из-за ума Путятин! Как же его обманывать теперь? Да и права нет!

И никогда бы Кавадзи так плохо не посмел думать, если бы его не обидели напрасными подозрениями! Разве его надо винить?

Кавадзи внимательно перечитал классический «Трактат о войне». Не начинай войны, если у тебя нет шпионов в лагере врага. Заплатить шпиону, как бы дорого он ни стоил, отдать ему мешки серебра и золота выгодней, чем проиграть битву.

Американцы твердят Путятину об обмане при ратификации. Но они оказывают ему почести, хотят поссорить Россию с Японией. Они узнали, что Путятин строит корабль. Но не знают, где это происходит. Напрасно адмирал разрешил молодым офицерам, знающим язык американцев, жить на «Поухатане». Это опасно. Неужели Путятин так верит им? Он говорит, что русский дворянин никогда не продаст и не обманет, когда идет война или грозит опасность отечеству. Для этого военные дворяне особо воспитываются.

Американцы не хотят, чтобы без договора Япония получила от России ключи западного судостроения.

По требованию правительства японцы хотели запутать Путятину и заявили, чтобы Эссо принадлежало Японии, как будто говорили только об острове Эссо, а подразумевали, что Эссо — это все земли севернее Японии. Если бы Путятин согласился, то тогда в будущем на основании японской географии и литературы и согласно с обычаями страны можно было бы предъявить права на все Охотское море, на Сахалин, на Камчатку, на охотское побережье, а потом, может быть, и на Канаду. При начале переговоров в Симода японские уполномоченные уверяли, что народ Эссо — это и есть айны. Доказывал Мурагаки как специалист-этнограф, побывавший летом прошлого года на южном побережье Сахалина.

— Шито белыми нитками, — терпеливо выслушав, сказал Путятин по-русски.

Шпионы Японии поняли его слова. Дальше адмирал велел переводить. Эссо по-нашему, по-русски, — это остров Эссо. То есть Матсмай. И все. Все земли дальше имеют у нас свои названия, и нельзя их все называть в договоре «Эссо». К тому же земли наши. Там уже сотни лет наши селения и живут крещеные. Как и все Курилы наши издревле. Разве вы в будущем не хотите жить в мире? Принять эссо для названия айнов тоже ошибочно, так как у вас останется для потомков традиционное толкование, что эссо — это все народы безгранично на безграничных территориях Эссо. Принять не можем. У нас для каждого народа есть свое название. Отвергаем как ненаучные все эти рассуждения. Японская делегация была смущена, Кавадзи согласился, что доводы ее ненаучны. Кога торжествовал. Чиновники теперь видели все ошибки, происшедшие от недооценки науки.

На другой день все послы обсуждали письмо канцлера Абэ. Каждый доказывал свое, но все были согласны. Единогласно решили ответить, что невозможно требовать Сахалин для Японии. На Сахалин нет и не было никаких прав. Мурагаки доказывал русским, что ездил на Сахалин с главным мецке Чуробэ прошлой весной. Но при рассмотрении подробностей Мурагаки и Чуробэ представили такие доказательства, что русские послы, услышав перевод, начали смеяться. Путятин строго сказал, что данные у Мурагаки не научные. И опять начался смех. И сами японцы стали смеяться. Все это, к позору Японии, будет опубликовано в газетах Европы. Это не были сообщения о народах с тремя глазами, нет. Но кое-что вроде этого. Комиссия по исследованию Сахалина лучше бы туда не ездила. Мурагаки и наш главный шпион обнаружили полное отсутствие знаний в географии, геологии, этнографии и мореплавании. Это и оказалось лучшим доказательством, что Сахалин не принадлежит Японии. Все

знали и раньше, что прав на Сахалин нет никаких, хотя японцы ловят там рыбу и скупают, складывают в сараи. И есть там магазины. Но там не зимуют. Построили кумирню, а зимой ее заносит снег. Японцы всегда были очень робки, и даже недавно сам остров Матсмай не считали Японией.

Россия посылала ученых и моряков на Сахалин и в прошлом и в этом веках, написаны книги, составлены карты, у русского посольства с собой как бы целая сахалинская энциклопедия, и само посольство как академия. И тут пришлось уступить и признать Сахалин за русскими, хотя все писатели, пишущие по-английски, это опровергают, и Стирлинг требовал у японцев уступить Сахалин англичанам.

Посольство составило ясный деловой документ. Затея Мито Нариаки очевидна, и она не удалась.

В Эдо сообщено общее единодушное мнение дипломатов. Невозможно доказать, что Сахалин должен принадлежать японцам. Сказано кратко, представлены почтительные, приличные, но веские доказательства. Полученные права на совладение Сахалином — уступка Путятину. На это невозможно было рассчитывать, никто не ждал. Сейчас даже эта уступка — большая победа. Отказать послу Путятину после заключения договора невозможно. Также нельзя отменить пункт заключенного договора о консулах. Обещание предоставить право держать консулов есть в американском договоре. Этот договор скрывали от Путятина до крайней возможности. Но случились плохие обстоятельства, пришел американский корабль, и русским уже невозможно было не предоставить право держать консулов. Мы дали в Нагасаки письменное обещание... Суть его известна...

Договор отправлен в Эдо три дня назад.

Кавадзи пришел к себе пешком, с больной головой. Дома, в одиночестве, он понял, что, побеждая в споре о иероглифе, он жестоко проиграл. На душе тяжело. Действительно уже скоро три года, как он старался для открытия страны. И вот договор заключен, он сделал это. И что же? Он согласился, что китайскую копию не надо переписывать. Он тоже передовой человек, не бюрократ. Иероглиф прямо вписали в подписанный договор. Решили, что китайская копия не главная, а дополнительная. Но хорошее настроение покинуло Саэмона но джо.

Вечером прибыли самураи с почтой из Эдо. Новое распоряжение канцлера Абэ. Кога Кинидзиро награждается и переводится в состав делегации по приему американцев. Это счастье! Так завершились дела с Россией, и делегация расформировалась. Мецке Метсумото Чуробэ также переводится в состав делегации приема американцев. Можно ехать домой?

Но в другом правительственном распоряжении сообщается, что Кавадзи Саэмону но джо поручена тщательная проверка всех копий американско-японского договора, а также наблюдение за ходом переговоров и обменом ратификациями.

Еще одно распоряжение. Все участники переговоров с Россией награждаются очень высокой наградой. Это их обязывает стараться... Награды высшие, как всегда символические — опять просто халаты! Столько наград! Столько халатов! Эбису смеются! Цилиндр, тросточку, галстук, виски хотелось бы получить в подарок от Америки. Золотые часы. Все это можно купить за пустяк. Экипаж с рысаками, виллу, яхту, пароход. Надо что-то новое, а не халаты из Эдо.

Наутро документы читались сообща, в торжественной обстановке, и все награжденные глубоко благодарили правительство. Воцарился мир, согласие, единодушие среди делегатов обоих посольств для приема и переговоров с Россией и с Америкой.

В тот же день копии договоров отданы были Путятину, а Кога и Чуробэ переведены в делегацию приема американцев.

Американскому кораблю пора уходить, а он не уходит. В Америке с нетерпением ожидают ратифицированного договора. Все газеты у них в столице ждут, когда можно будет написать об окончательной победе над отсталой Японией. Но еще нет признаков, что Адамс скоро уйдет. Американцы ждали ратификации договора сиюном и заключения договора с Россией, чтобы взять его с собой. Путятин на «Диане» тоже долго ждал, пока не случилось с ним несчастье. Конечно, Кавадзи должен последовать совету Путятинина и помочь разобраться с ратификацией.

## Глава 27

### Прощание с американцами

Евфимий Васильевич приехал на «Поухатан» проститься и привез копию договора, свиток в круглой коробке, в окованном деревянном ящичке и пакеты для посольства в Вашингтоне и для пересылки в Петербург. Сам договор во всех копиях будет тайно отнесен в сумке с бумагами в деревню Хэда и замкнут в стальной несгораемый ящик, где хранятся все дела посольства и экспедиции, карты, векселя и золото, которого еще довольно много у адмирала, он бы мог расплатиться с американцами за куртки и солонину. Подлинник договора Евфимий Васильевич доставит в Петербург сам вместе со своим собственным докладом на высочайшее имя. Приходится делать все самому. Гончаров писал в Нагасаки все бумаги и целые страницы из них помещал в свои письма из путешествия. Слово в слово документы сойдутся с художественным произведением. Писала одна рука!

Второй раз в Японию Гончаров не поехал, уклонился, не захотел, заявил: «Я не хроникер». Написал очерки свободного созерцателя, наброски карандашом впечатлительной природы, да и был таков! Верно, после нашей экспедиции пишет про Обломова. Совсем не то сделал Хаук, взятый в путешествие коммодором Перри. Адамс читал его отчет. И говорит, что будет издана книга, конгресс примет об этом решение. Вот где внимание правительства и старательность автора! Составил целый том о подвигах Перри в виде отчета конгрессу. Со всей добросовестностью и трудолюбием нанятого за деньги американца! Кто же Обломов после этого?

При всей глубокой погруженности Гончарова в свои замыслы он не скрывал их от Посьета. Не были они секретом и для Евфимия Васильевича.

Путятин сказал Адамсу, что уходит к себе в деревню Хэда, и на коммодора пахнуло давно забытой патриархальностью и добродушием: казалось, в Хэда у русского адмирала свое ранчо или гасиенда и он чувствует там себя как у Христа за пазухой, по русскому выражению, или, по-нашему, как на пуховой постели. Много сказано выражением адмиральского лица! Путятин добавил про встречу с Кавадзи и что с ним надо говорить, он, видимо, единственный, кто может на что-то осмелиться и разобраться.

— Нет гарантии, что они не обманут,— повторил Адамс. Он хотел сказать, что и к этому готов.

Путятин отвечал осторожно. Но не мог же он не понимать, что если выгоды и преимущества, обещанные по договору с Перри, включены и в его договор, то и все обманы также ему будут обязательно гарантированы.

Путятин опять помянул, что если на договоре поставят подпись сиогунa, то в Японии подымется волна протеста. Сиогунa назовут узурпатором... Евфимий Васильевич повторил все, что говорил ему Кавадзи о пяти членах высшего совета и о значении их подписей на документах, и добавил, что, может быть, надо потребовать от японцев соответствующего приложения, где бы они все оговорили про пять подписей и что они означают.

— Их вельможи, с которыми мы ведем переговоры, конечно, являются сторонниками сиогунa, поэтому они, как и все чиновники государства, подчиненные сиогуну, делают вид перед иностранцами, что сиогун — правитель Японии, ее светский император, как они уверили голландцев, то есть фактический властелин, да, может быть, им и желательно, чтобы так было на самом деле. Но если сиогун подпишет, то ложь его сторонников будет очевидна. Япония — страна чести, и тут подымутся князья с саблями и с войском и начнут резать и себя и других, ничего не боясь.

Адамс внимательно слушал. Потом он засмеялся и сказал, что не может согласиться с мнением, что Япония — страна чести. Япония — страна обмана!

— Гражданская война могла бы все спасти, — заявил Адамс. — Вот я потребую, чтобы и сиогун и сам император у меня на договоре оба подписались.

Перешли в салон, где накрыт стол на пять персон и Мак-Клуни с Посьетом и флаг-капитаном ожидали послов. Пятеро рослых матросов-китайцев в белом стояли у пяти тяжелых кресел.

Путятин благодарил за помощь и гостеприимство, сказал, что его офицеры очень довольны, у них навсегда останутся наилучшие впечатления об американских товарищах, они признательны за приглашение идти на «Поухатане» в Америку и в Петербург, но что когда он вызвал добровольцев, то все заявили, что в таком положении не смеют оставить своих товарищей, экипаж и экспедицию на произвол судьбы.

Адамс предоставлял великолепный случай. Офицер на «Поухатане» прошел бы через все английские порты цел и невредим, явился бы в столицу с драгоценными сведениями об англичанах. Какое значение имеют для Путятина один-два офицера там, где с послом остаются тридцать офицеров и юнкеров и шестьсот матросов! Зачем столько офицеров в Японии? Адамс судил как практик. Очень может быть, что адмирал не хотел появления в Петербурге кого-то из своих офицеров прежде себя самого. Такого офицера приласкал бы государь, карьера его была бы обеспечена. Он, а не Путятин рассказал бы все о невероятных приключениях и событиях и о жизни в закрытой Японии, где все они приняты как свои и, видно, по-своему довольны. Такую победу надо объяснять самому! Его люди довольны, и моих матросов — дай им только волю и права — не уберешь из Японии. Неужели у Путятина нет подлинных любимцев, кому бы он желал случая выдвинуться и милостей государя? Не потускнел бы сам Путятин после рассказов молодого офицера своему государю и свету, а лишь возвысился бы. Но чужая душа и чужая жизнь неясны. Ограниченный, опасливый чиновничий практицизм... Такова Европа с ее императорскими и королевскими дворами и с царедворцами. Неужели генерал-адъютант русского государя смеет надеяться, что его самого со временем не замолчат так же, как он замалчивает других?! Каждый должен ждать своего омертвления заживо там, где нет гласности. И в этом будут виноваты не американцы и не Сайлес из Гонконга! И даже не сам царь. Адамс помнил притчу о евангельском рабе, закопавшем свой талант.

Путятин еще пытался извинять японцев и все поминал их изолированность. Доказательств было так же много, как и хороших пожеланий. «Но теперь мне все равно!» — полагал Адамс. Он сказал, что постарается все сделать, как советует адмирал.

Тосты продолжались.

— Но все же на прощанье я должен сказать, что напрасно так беспокоиться! Японцы не обманут вас. У них свои законы. Их обычаи не совсем понятны нам, им трудно отступать от них, но это не обман.

— Не беспокоиться! Сам Перри места себе не находит в ожидании моего письма. А что я могу сделать? И я знать не хочу их обычаев! Нам дано обещание, и оно должно быть неукоснительно исполнено. Америка не простит им обмана Перри.

«Да, не он главное действующее лицо, а Перри!» — полагал в душе Посьет. Иногда Константин Николаевич думал о пошлости жизни, о смертной скуке. Теперь, побывав здесь, он на всю жизнь приобрел новые интересы. Он терпеливо слушал, как послы все толкли воду в ступе...

— Сэр Алекс, — говорил в каюг-компании Пегрэйм, где заканчивался прощальный обед офицеров и где атмосфера потеплела, как еще ни разу за все эти дни. Пещуров играл на рояле романсы Алябьева, Шиллинг пел, и пел недурно, и американцы, уже выучившие эти ясные и легко запоминавшиеся звуки, подпевали иногда с удалью и молодецки, и много опустошенных бутылок было вынесено. Пегрэйм и Сибирцев сидели рядом. — У моих родителей поместье в Колумбии. Я хочу пригласить вас к себе после войны, когда вы сможете. Я буду рад познакомиться с вами с моими сестрами. — Пегрэйм поджал ноги и слегка склонился, подавая конверты. Из одного он достал снимок родного дома и подарил с дружеской надписью на обороте.

Сайлес появился тут же, сказал, что везет в Гонконг письмо от городских властей Симода с выражением благодарности за доставку японского рыбака на родину и что по его совету Эйноске написал в Гонконг письмо губернатору лично от себя. Сайлес опять дал Сибирцеву визитную карточку и сказал, что на ней опечатка, что не должно быть союза «и», Сайлес и Берроуз — одно и то же лицо. И добавил с улыбкой:

— Как вы уже знаете.

На визитной карточке было рукой написано: «Я всегда жду вас, господин Алекс Сибирцев. Ваш сердечно Сайлес Берроуз».

— Прошу вас помнить, что я всегда готов для вас лично сделать все, что в моих силах. Всюду, где я могу — в Америке, в Китае и в Гонконге! И в Гамбурге! Для вас и для ваших товарищей я постараюсь сделать все, что могу...

Молодой офицер из русской семьи был полной противоположностью ему, заматеревшему коммерсанту. Сибирцев молод, стоит на ногах крепко, ясно судит и чисто смотрит вперед. Все это вызывает симпатию старого пройдохи, который тоже крепко стоит на своих кривых ногах... Хотелось втянуть новых людей и новую страну в круг сложных коммерческих мировых отношений и дать этим энергичным молодым людям деловой широкий кругозор, реальный взгляд на жизнь и даже спасти их от гибели.

— Едет ли кто-нибудь с нами курьером? — спросил Мак-Клуни. — Вы, господин Сибирцев? — Это была лишь вежливость.

— Долг требует остаться с товарищами, — любезно ответил Алексей Николаевич.

Все знали, Путятин уступил просьбам американцев и разрешил своим офицерам тянуть жребий и что Сибирцев вытянул. И отказался.

Все стали жать руки и прощаться теперь уже всерьез, и никто больше не предлагал оставаться.

Леша почувствовал — все прошлое отходит. Последние нити обрываются. Он остается в Японии. Петербург... Верочка... Рвались последние связи.

Все офицеры и матросы оставили письма, а некоторые и маленькие посылочки домой. Посыет отдал письмо в Париж, к немалому удивлению поухатанских. Леша написал Вере и отцу с матерью. Страшная неизвестность приблизилась — новые плавания, война. Что ждало?

— Тяжко, господа.

— Американцы сами печальные, — говорили в баркасе.

Путятин велел не задерживаться, и отвалили сразу.

— Я бы на вашем месте не рисковал оставаться в этой стране. — говорил Коль, сидя на банке среди русских офицеров. — Как можно им верить?

— Пока мы не знали о вашей судьбе, они могли на что-то отважиться, — заговорил сидевший напротив Пегрэйм. — Но теперь они не посмеют. Мы всегда будем на страже. Мы не забудем вас. Уходя, мы предупредим, что если хоть один волос упадет с вашей головы, будут отвечать Америке как за несоблюдение договора. И я постараюсь прийти за вами...

«Вам можно только завидовать. Вы живете в Японии как свои. Вы первые добились их дружбы и доверия. Зачем вам консулы? И так живете в самом сердце Японии. Вы строите им корабль. Это начало новой эры в их истории. По сути, вы уже сделали для них больше, чем все другие нации, — так говорил сегодня утром Пегрэйм. — Наш патруль ходит семь ри за город. У нас там стрельбы... Нам семь ри по договору, а вы идете сотни миль... Ваши офицеры рассказывали много интересного. Они успели тут многое изучить и записать».

«Заставлю сжечь все эти записки! Мало ли чего напишут!» — подумал Путятин. Он побаивался всяких записок и даже Гончарова контролировал, тот и не выдержал...

— Сайлес пришлет за нами корабль? — спросил Можайский.

Никто не ответил.

— Монетная нянька! — ухмыльнулся матрос-американец, налегая на весла.

...Путятин смотрел с баркаса на «Поухатан», казавшийся ему праздничным и далеким. Корабль отступал во мглу моря.

Несмотря на свою славу англомана, на дубовый вид, за который так ценил его Нессельроде, знавший, что этот из инструкции не выйдет, Путятин теперь возвращался к состоянию свойственной ему от природы задумчивости, и взор его обретал загадочную глубину, так присообщавшую ему при переговорах с японцами. Видно становилось, что адмирал — добрый и счастливый скуластый человек, еще нестарый, у него есть маленькие дети. Тсутсуй ему очень приятен теперь и симпатичен, и, говоря про рождение дочери у восьмидесятилетнего князя, адмирал, может быть, имел в виду себя и свои сомнения, и ему было о чем подумать. О жене теперь очень скучал и сожалел, что разлука так надолго. Но Путятин готов был ради дела высиживать сиднем хоть тридцать три года, но добиться своего и чтобы все было так, как ему надо, как он задумал. С подписанием договора душа его прояснилась, как у навERNЯКА угодившего чиновника.

Подписал договор! Почувствовал себя в своей сфере, в Петербурге! И еще как подписал! Со всем громом и треском, со включением пунктов, свидетельствующих о его верности идеалам монархии. О консулах, о русской торговле. Какая там продажа земель в Америке! Теперь-то компания в Америке и развернет дела. Теперь Путятин смел вспомнить, как дорог ему министерский Петербург, общество свое и родное. Право, и сам Нессельроде ближе и дороже ему сейчас, чем многие другие. Он чувствовал, что сейчас начинается уже его путь обратно. Государь, двор, правительство ждут его. Ему есть что сказать, рапортовать. Торжественный, молодеющий войдет он в общество свое, о котором и думать не смел, пока договор не был подписан. И пока не о чем было рапортовать.

Теперь — достраивать корабль, да и живо в обратное плавание. Как легко и хорошо стало на душе, и как жалок и прост сам себе минутами казался от счастья, как в телячьей радости. А ведь стал великим человеком! Поди, Перри так не радовался, всегда уверен в себе, почему и слывет тупым и свирепым, как медведь. «А разве я не уверен был? Но ведь я не только уверен, но и суеверен, старался не думать об успехе и почестях заранее, как Перри. А вот он и слег, не выдержал коммодор. А Путятин и жив-здоров и счастлив. И консулы! И торговля!.. Вот и приехали. Вот наша ива. Пора теперь собираться в Хэда...»

— Господа офицеры, — сказал Путятин в храме, где убраны со стола бумаги и стоит начищенный и нагретый медный самовар, — мы с вами наслушались за эти дни любезностей от наших добрых американских друзей. Мы искренне благодарны за доброту и свойство. Однако прошу помнить, что американцы отказались доставить нас на Амур на своем корабле, хотя имели право и к чему обязывал их долг, если бы они оказались порядочными людьми. Прошу всех вас помнить на будущее и теперь. Никто нас не освободил, и никто не подал нам действительной надежды даже при их нежелании, чтобы мы, как русские, сблизались с японцами на дружественной основе. Хотя они и мысли не допускают, что мы, устанавливая дружественные отношения, сможем их закрепить на будущее. Видимо, они, господа, надеются, что будущее останется за ними и за их коммерцией. Но они известят наше правительство дипломатическим путем, копия договора будет переслана в Петербург. И это все! Все их предложения туманны, и у нас с вами единственная надежда: строить корабль самим, на что японцы согласны. О чем вас имею честь уведомить, господа офицеры! Завтра утром отправляемся пешком в Хэда строить шхуну!

Он привстал, поблагодарил и отпустил офицеров, пожелав им хорошенько проститься с Симода, и заявил, что разрешает всем прогуляться вечером по городу. Чаю никому не предложено.

Но ни у кого не было охоты идти в город. Все озабочены и словно расстроены, остались дома, попросили самовар к себе, а потом укладывали вещи, чистились и собирались к завтрашнему пути. «Эта Симода никуда не уйдет от нас», — полагал Сибирцев.

За стенкой не могли решить, брать ли с собой самовар или оставить для будущих переговоров с иностранцами в Гекусенди. Где-то что-то пиликало. Видно, опять японский праздник начинается.

В полуверсте от храма, в деревенском переулке за горным храмом Синичкин играл на балалайке, Стэнли — на дудке, Палкин лежал пьяный, вокруг валялись пустые кувшины из-под сакэ, а еще двое матросов, американец Дик и Степан Шкаев, прыгали как заводные.



— Ай, янки, янки, дудьль ду! — на мотив «Барыни» орал Шкаев и размахивал руками и ногами в воздухе.

Около амбара сидели на бревне двое мальчишек, нанятых за кусок сахара. Они, как взрослые, делали вид, что не обращают никакого внимания на пляшущих. Оба следили за дорогой. Должны сразу сообщить, если пойдет иностранный патруль, чтобы западные матросы могли убежать.

— Хопи, хопи, хопи, хоп! — выкрикнул красный, как рак, Стэнли и тоже стал танцевать.

— Бари-на, бари-на! — кричал Дик. У него широкий тучный подбородок торчит из бороды-жабо, как коленка.

— Янки, янки, дудьль ду! — Синичкин раскидал ногой пустые бутылки.

Эта дружеская пляска не исключала высшего чувства храбрости и дружбы, когда от полноты сил могла вот-вот начаться товарищеская беспощадная драка, не регулируемая ни законами ведения войны, ни капитанами кораблей, и обе стороны успокоятся, только когда и головы, и лица, и кулаки будут окровавлены до неузнаваемости, и тогда каждый сможет себя считать победителем.

Но сейчас надо возвращаться одним в храм, другим на судно... Дыхание одинаково выдаст и тех и других. Тогда старший офицер «Поухатана», тертый калач, с широкой мордой и злыми глазами, старая морская собака, попадавшая в плен к японцам еще пятнадцать лет назад и ненавидящая их, как своих матросов, и все же не выслужившаяся за эти годы, псина, настоящая американская морская швабра... принюхается... И закрутится, и понесется, как черт среди портовых! Сегодня будут одинаково пороть и в Гекусенди и на «Поухатане», поэтому о том, чтобы драться друг с другом, не надо думать.

— Эх, ба-ри-ина, ба-ри-на! — подымая острые коленки, пели и плясали американцы.

Я бы такую бы тетерю  
Не пустил и на постелью...

— Янки, янки, дудьль ду! — шлепая себя по голяшкам сапог, выкрикивает Шкаев.

Маленькие ребятишки старательно и зорко, как японские воины, поглядывают за дорогами и за морем, удивляясь, что западные люди совершенно неосторожны и не видят грозящих опасностей, которые так понятны даже детям.

Американцы простились вдруг и пошли на пристань. По дороге хлопками изо всей силы они задвигали открытые окна крестьянских домов, хватались за балки крыш, так что сотрясались стропила, Стэнли обнял персиковое дерево и стал раскачивать и повалился вместе с ним в грязь.

Японцы вышли из дома и поблагодарили, улыбаясь и кланяясь, но глаза их удлинялись от холодной и тихой ярости.

## Глава 28

### Почему Путятин уступил

Выходили из Симода ранним утром пешком. Матросы и японские рабочие несли тяжести на плечах. Пятеро матросов с унтер-офицером оставлены с разрешения губернатора в храме Гекусенди, чтобы следить за морем и дать знать в Хэда в случае прибытия иностранного судна. На днях в подмогу японцам, чтобы убрать пушки, прислано

будет восемьдесят человек с офицерами из числа тех, что работают сейчас в Хэда. Тогда караул в Гекусенди будет сменен и во главе его останется офицер.

Татноске и Эйноске сопровождали отряд. После заключения договора переводчики и мецке не спускают с адмирала глаз. Делают вид, что Путятин подвел их! Переводчиков-то! Будто бы!

Дошли до речки. По сторбленному бамбуковому мостику перешли на другой городской берег. У них все в поклоне, и люди и мостики!

Впереди по пустырю до моря, как бревна на плотбище, разбросаны тяжелые черные орудия «Дианы». Когда-то эти пушки были главным козырем и гордостью предполагаемой экспедиции и посольства. Теперь они валяются в тине и камнях, как старый хлам. Все сделано без их помощи. Но пушки сильно заботят Путятину и офицеров. Беда, если до этих пушек доберутся враги. «Но куда мне теперь эти орудия?» — полагал Путятин. Однако взято обещание с Исава-чин, что он уберет эти пушки в надежное место. Все это так. Японские рабочие, собравшиеся сюда чуть свет перетащить орудия подальше от берега, чтобы с кораблей не было их видно, кричат, видно не зная, как поступиться к делу, неумело пытаются волочить тяжелые стволы.

Вчера еще пробовали перетаскивать орудия. Артельные старосты кричали, рабочие не могли ничего поделывать, и шестьдесят орудий лежат как лежали, но лишь в еще большем беспорядке. Сегодня снова гомонят без передышки все враз, как и вчера, когда весь день до Гекусенди доносились их голоса. Адмиралу вчера досадили, спокойно не дают жить, бумагу нельзя написать, подумать.

У самого берега несколько японцев увязывали веревкой дуло тяжелого орудия. И все кричали друг на друга.

Адмирал пошел к ним большими шагами. Переводчики побежали следом. Путятин велел собрать десятников и вызвать чиновника, который заведовал работами. Когда все собрались, Путятин накинулся на них:

— Что это за безобразия! Почему такой крик у вас? Вы, Татноске, раньше не замечали?

Татноске обиделся, но кланялся униженно. Путятин перевел дух, достал словарь, писанный Гошкевичем от руки, и пытался объяснить дело рабочим. Татноске уверял, что ни на голландском, ни на английском не может найти слов, нужных адмиралу.

— И знаете, всегда виноваты переводчики, — жаловался он.

— Зарубите себе на носу, — сказал ему Евфимий Васильевич, его слова тут же переводил по-японски Гошкевич, — если вы так кричите, то у вас ничего не получится. Я говорю вам это ради вас самих. У вас до тех пор ничего не будет делаться как следует, пока не научитесь работать молча и слушаться, соблюдать дисциплину и порядок! Силы надрываете! А я несу за вас ответственность перед своим и вашим правительством!

Татноске опять пытался объяснить, что все испугались и он тоже, и не может вспомнить нужных слов, и просит помочь Эйноске, но тот стоял как столб.

Путятин полагал — люди не дураки, и так все поняли, не зря же он сердился.

— Что он так раскричался, как на своих? Ведь он не японский генерал! — сказал Пещуров про дядю.

— Нет, господа, он именно японский адмирал! — ответил Можайский, которому, как и в пейзажах, так и в ситуациях, нравилось все экзотическое или оригинальное до парадокса.

Офицеры знали, что сюда для окончательного укрытия орудий от посторонних глаз будут присланы наши люди, но пока об этом японцам не говорили. Важно, чтобы они оттащили орудия.

Изругав чиновников и рабочих, Путятин утих. Все рабочие поклонились ему низко и поблагодарили.

Вошли в город. Матросы вели двух вьючных лошадей. Мрачный борт «Поухатана» вскоре скрылся за камнями мыса. Казалось, все глубже и глубже погружались теперь с каждым шагом в жизнь Ягони.

Алексей думал, что для японцев работа тяжелая, они в большинстве слабосильные. Мяса и хлеба не едят. А наши, если так пойдет дальше, того и гляди, начнут потчевать японцев кулаками, как своих матросов.

— Сколько орудий будет у нас на шхуне, восемь? — заговорил Путятин, обращаясь к нему.

— Девять можно уместить.

— Я пришлю сюда баркасы с людьми забрать пушки для шхуны, и пусть уберут все остающиеся орудия в надежное место. Только когда уйдут американцы! Все сами перетащим еще раз. А пока пусть они возьмется. Мы увезем пушки вот сюда, к горе Симода-Фудзи. Вам, Алексей Николаевич, придется прийти сюда еще раз за орудиями для «Хэда». Девять возьмете по выбору. Я пошлю с вами Лосева, он отберет артиллерию.

«Опять мне тяжелая работа», — подумал Сибирцев. Не успели выйти из города, как давалось новое поручение, чтобы в этот же город сразу вернуться.

Путятин шел пораньше, не желая обращать на себя внимания и пройти город поскорей. Но несмотря на ранний час, жители выходили на улицу и, стоя у своих домов, кланялись послу, его офицерам и матросам и сопровождающим их японским воинам и чиновникам.

На доме местного врача Асаска Коан висела зеленая вывеска с красной надписью по-английски «Drugs»<sup>25</sup> и ниже на двери по-русски «Доктор».

Шиллинг сказал, что, по словам переводчиков, у здешних врачей и знахарей нет отбоя от американцев и наши верят в японские лекарства больше, чем в свои.

В глубине долины рос густой лес, между обрывов шла речка. А над лесом возвышалась краса и гордость жителей города, самая большая гора Симода-Фудзи. На Симода-Фудзи нет снегов, на ней пышные, уже пробуждающиеся к Новому году леса. Она, когда зацветет сакура, станет как величайший букет из обступивших бухту Симода. Ее коническая вершина в деревьях.

— Нет ли кощунства в таком названье местной горы? — спросил Посьет по-японски у переводчиков.

— Нет, не имеется, — ответил Татноске.

Последний раз взглянул назад, на бухту Симода. Странно, тут так тихо, воздух мягкий и нежный. А на море волны, значит, ветер.

У заставы самураи склонились перед послом.

Все прощались с Эйноске. Путятин обнял его, и старый переводчик прослезился. С мокрыми глазами, он гордо и воинственно пошагал с частью самураев обратно в город.

Путятин и его спутники вошли в дремучий лес. Лишь на немногих деревьях лопнули почки, весь лес еще гол, но что-то свежее слышалось, начиналось едва уловимое пробуждение природы.

<sup>25</sup> Лекарства.

Позавчера на прощанье Путятин намекнул Тсутсуй про оставшиеся пушки:

— Если с ратификацией все будет благополучно и согласно с понятиями дружбы, то я покорнейше попрошу нашего государя решить дальнейшую судьбу этих шестидесяти пушек, самой судьбой оказавшихся на японской земле.

Довольно туманно, а все же ясно. Хотя ничего как бы и не сказано, обязательства не взяты, но, видно, так и будет.

Сибирцев шел подле Евфимия Васильевича, зная, что может быть разговор про китайские моря, ему надлежит выслушать, если адмиралу вздумается продолжать. Но адмирал молчал. Лицо его было и угрюмым и счастливым. Такие контрасты враз бывают только у него на физиономии. Постепенно и Алексей вернулся к своим думам.

Сильное впечатление произвело на него все, что он видел на «Поухатане».

Русские молодые люди говорят о целях и смысле жизни, о бедных и богатых, о равенстве и справедливости, о социальном устройстве и социализме. И увядают, не находя себя, не умея отыскать дела, места в жизни, применения своим мыслям, практическим способностям и силам. Вот о чем, верно, и хочет писать Гончаров — до чего доходят люди... Американцы слушали нас, когда мы в кают-компании давали волю своим мечтаниям, как в родовой усадьбе... Но они предполагают и даже убеждены вполне, что за этими словами мы дома оставили дела. Они меньше нас знают европейскую музыку, театр, литературу. Сайлес говорит: «Не ждите перемены строя, умеете жить в любых условиях, а то вся жизнь пройдет зря». Каково!

Американцы не осуждали нас в непрактицизме, как немецкие наши учителя, всегда недовольные нами, или как лучшие их ученики среди нас самих. Американцы видели нас в деле, как мы работаем, на что мы способны, как судят о нас японцы. Они так и не поверили, что Можайский старается из чистого интереса.

Почему мы, такие практичные в Японии, оказываемся в тупике у себя дома? Не правы ли американцы, которые никакого тупика не видят? Леше хотелось бы в Россию и сравнить теперь, что он видел здесь, с тем, что там.

России нужен Тихий океан... И тем значительней наши промахи с Кавадзи... Японец, кажется, свое взял...

В разговорах с американцами мы, как офицеры царя, не могли сказать им главного, а они наш монархизм и верность престолу принимали как дело нашей формальной службы...

А Путятин опять помрачнел. Как посол императора, он твердо и упорно добивался того, что он считал самым главным: открытия портов, права торговли в Японии с правом жить купцам на берегу, а не на кораблях и — особенно — права иметь консулов в открываемых по тракату портах. И, конечно, проведения справедливых границ, которые до сих пор еще не были установлены.

Есть и другая не менее важная сторона, тем более для империи. Это престиж! Конечно, ничто не должно быть уступлено или опущено по сравнению с полученными от Японии правами других держав. Монархия обязывает. Путятин наистрожайше приказывал себе всю жизнь помнить и неукоснительно исполнять все, к чему обязывала его верность монархии. То, что другим кажется в его требованиях заблуждением, путаницей, он представляет ясно как результат своей обязательной исполнительности на службе престолу. Но ведь не только престолу служишь...

Невельской при всем уважении к подвигам Путятина разносил его дипломатические намерения на все корки: «Он англоман и свой

человек у Нессельроде. Все провалит с Сахалином! Не понимает нужд России!» Видимо, предполагал, что Путятин, чтобы выслужиться перед двором и канцлером, сделает уступки за счет коренных нужд страны, чтобы заполучить себе мнимые общие выгоды, мало значения имеющие для подлинного развития Сибири.

Защитники Путятина доказывали, что адмирал прекрасно знает и любит свой народ, а своих матросов особенно. Все офицеры «Паллады» Невельского терпеть не могут.

Но сам-то Путятин уверен, что издалека легко решать с кондачка, на словах. Как адмирал он постиг современную морскую стратегию и действует так, чтобы в войне меньше было жертв людьми. «Зачем бой принимать на Сахалине, когда я без боя обороню его от англичан, не теряя прав России ни на единую его пядь?»

Но если как дипломат он не добьется включения в договор пунктов о русских коммерсантах в Японии и о консулах, то все будет провалено. Но не только потому, что в Петербурге почтут такой трактат унижительным для России. «Что у них? Что им дают? Дайте и нам! Обязательно!» — вот так банально можно представить себе наши требования. Тогда и все освоение Сибири, и наши мечты о будущем, о портах и городах в Приморье и о незамерзающих гаванях пойдут прахом, будут отменены прочь, и все задержится надолго. А японцы без уступки не подписали бы договора. А если мы оставим весь Сахалин за собой, то англичане высадутся на нем. Что сделает против них Муравьев с двумя тысячами солдат и с одной паровой шхуной, которую он отобрал от моей эскадры? Нет, по одежке протягивай ножки! Пока своих сил нет, приходится заслоняться соседями. Как будто я сам не знаю, что весь Сахалин наш! В будущем докажем! На это у Путятина тоже был и свой взгляд и свой план. Но пока выхода иного нет.

Путятин обещал привозить товары из Иркутска, из Казани, где давно уже вырабатываются превосходные шапки из меха, и бархатные и сафьяновые сапожки, и шали в угоду восточным вкусам. Казанское ханство давно повержено, а казанские вкусы господствуют на громадных территориях Азии. Будут привозиться изделия московских и ярославских мануфактур, товары с Нижегородской ярмарки и с Аляски — компанейские.

Пайщиками компании были государь и Нессельроде, сменивший весь ее штат управления на своих людей. Консерватизм лютеран, управляющих Аляской, освящен монархом, без которого и Путятин был бы как без рук. Только тут, в Японии, он без монарха осмеливается и строит судно. Приятно вспоминать об этом, дело славно идет!

Когда начался разговор о границах и Путятин по просьбе японских послов прервал заседание, офицерам хотелось знать, что же решит адмирал, но они дисциплинированно молчали.

Офицеры толковали по-разному, когда вернулись в Гекусенди, что без Сахалина у России нет будущего, что все морские выходы в океан будут закрыты.

Невельской твердил, что Сахалин уже русский, может быть открыт для рыбной ловли японцев и для торговли, но принадлежит России.

«Сблизить народы Японии и России! Не поддаваться на соблазн американской поддержки! — думал Путятин. — Американские пушки наведены на Симоду, а я добросердечно и милостиво оставляю остров в совместном владении, когда Кавадзи, может быть, готов был бы уступить. Сахалин и материк — единое целое, перешеек, видно, когда-то существовал, без Сахалина на этом океане флоту нашему негде

ходить, все закрыто! Но война идет и давит на меня, японцы хитрят, и давят, и шантажируют, американцы хотят показать, что их пушки за меня, а сами торопят, чтобы я скорей подписывал. Я без средств и без судов. Но ведь я японцам в личную собственность пяди земли не отдал! Совместное владение! А что это такое? «Поухатан» пришел бы в Америку, и меня весь мир поднял бы на смех. Договор-то, мол, Путятин не заключил! А столько было разговоров и статей во всем мире, что Путятин, а не Перри открыл Японию. И после этого, после всех письменных обязательств, данных японцами, договор не подписан — или подписан, а консулов не разрешают иметь. Государю и так тяжело! Почему же не подписан? Да из-за Сахалина! Да кому до этого дело в Петербурге! А консулов разрешено иметь в Японии? Торговля разрешена? Да, ваше величество! Раб божий Евфимий сын Васильев не посрамил Руси в тяжкую годину! Корабль мой погиб, а мы обрели силу и стойкость». С верой в сердце Евфимий Васильевич и заключил договор. «В будущем надо занимать гавань Посьета в Приморье. Я им построю корабль и этим открою вечный мир с Японией... Только бы они не обманывали нас, как меня хотели обмануть! Да не удалось!»

Татноске уже спрашивал капитана, можно ли ему будет поселиться в новом русском городе, который будет построен в Приморье, чтобы там открыть фирму по торговле японскими товарами для всех жителей и приходящих иностранцев, и особенно для женщин.

...Можайский отстал с Сибирцевым от адмирала и доказывал свое:

— Путятин дал права японцам на Сахалин потому, что идет война. Я это не считаю уступкой. Это очень искусная политика дипломата. Сталкивая английские интересы с японскими, он сохраняет Сахалин. Еще Крузенштерн писал: кто владеет гаванью Анива, владеет всем океаном. Он спасает наше будущее, отдает, как Кутузов Москву. Искусная политика! — заключил Можайский.

Спускались с горы. Проводник вел по дороге, но иногда укорачивал расстояние, сворачивал на тропу. Попадались навстречу крестьяне с дровами на спине или с корзинами. Никто не кричал им «на колени!».

Под низкими пальмами с тяжелыми пожелтевшими ветвями и под деревьями с развесистой хвоей было темно, как ночью.

Вышли к морю. Тени от близких гребней волн переплясывали на красной от солнца отмели.

— Евфимий Васильевич,— обратился матрос Шкаев к адмиралу,— разрешите пойти, тут рыбак живет, он мне рыбы обещал дать, когда пойдем обратно...

Матрос ушел в зеленую чащу.

— С кем это ты говоришь? — спросил Сибирцев у Соловьева.

— Да вот приятель плетется с нами. Говорит, ездил к родным в Симоду, обратно скучно одному идти.

— Иосида? Откуда ты взялся? — спросил Сибирцев щуплого смеющегося японца.

— Этот хороший шпион, свой... Правда? — спросил матрос у японца.

Иосида показал вперед, где шли самураи.

Сибирцев вспомнил про хэдского мецке. Киселев, наверно, все ходит за ним.

— Здорово,— сказал японец Шкаеву, когда тот вернулся с рыбой.

— Вот хорошо, что ты с нами. А я уж соскучился по тебе. Я тут привык, ваше благородие. Со шпионом вместе ходить самое разлюбезное дело.

Иосида не обижался. Он даже гордился, что получил такое красивое и почетное западное звание, или чин. Шпион-чин! Шпион-сан!

Это звучит красиво и означает важного и зоркого человека. Не то что «мецке»!

Японца все узнавали, его расспрашивали, угощали табаком. Иосида улыбался ласково и приветливо.

— У кого ты рыбы взял? У которого? — спрашивал Иосида и тут же объяснил, что у него неподалеку отсюда, в деревне, живет мать и он хотел бы погостить.

— Ну иди.. А потом доложишь, а мы не выдадим.

— Нет, нельзя.

— Эх ты, чертова кукла! Все не как у людей! Мать родную ради шпионства забыл!

— Синичкин, вы, говорят, вчера пили и плясали с джеками? — спросил Можайский.

— Мы «Барыню» врасходку.

— А они на флейтах и тоже все танцевали матаню.

— Какую матаню?

— А есть у них. Они любят матаню станцевать под свои дудочки..

*(Окончание следует)*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

М. БАБИКОВ,  
*Герой Советского Союза*

★

## ДВЕ ВСТРЕЧИ

**Т**ридцатилетие победы над фашистской Германией мне довелось встретить в Корейской Народно-Демократической Республике, куда я прибыл в составе делегации Общества советско-корейской дружбы.

По пути из аэропорта всматриваюсь в знакомую и незнакомую Корею. Я видел ее летом сорок пятого года, когда наши войска изгоняли с корейской земли японских колонизаторов. За три десятилетия облик страны неузнаваемо изменился.

Поражает Пхеньян. От старого города не осталось и следа — многоэтажные современные дома с долговечной облицовкой, широкие улицы и проспекты, причудливое сочетание современных архитектурных форм с традиционными национальными зданиями — пагодами, башенками, ярусами кровель. После опустошительной американской интервенции, когда на месте города остались лишь развалины, прошло двадцать два года. Теперь все построено заново: метрополитен, Дворец спорта, Большой театр, Дворец народной культуры, башня телецентра, Дворец пионеров, гранитные набережные, двадцатипятиэтажное здание университета, огромные массивы жилых домов.

Мы побывали на Выставке достижений промышленности и сельского хозяйства, посетили Кымсонский тракторный и Тэанский электромеханический заводы, видели Киянскую оросительную систему. Сегодня предприятия Корейской Народно-Демократической Республики выпускают тепловозы, электровозы, вагоны, тракторы, автомобили, станки, мощные турбины, сельскохозяйственные орудия, электромоторы, товары народного потребления. В этом году земледельцы борются за получение восьми миллионов тонн зерна. Корейские товарищи говорили нам, что разветвленная система орошения, широкое применение удобрений — в КНДР их вносят в шесть раз больше, чем на юге полуострова, — сделали возможными такие успехи сельского хозяйства страны.

Города Нампхо, Кэсон, как и Пхеньян, за годы народной власти стали неузнаваемы. Наш путь проходил через многие деревни. Была самая горячая пора посева риса — тысячи людей старательно готовили землю для этой трудоемкой культуры. Новые основательные дома в деревнях ничем не напоминают прежние ветром подбитые «чиби».

Меня особо удивил Вонсан. В этот город тридцать лет назад наш отряд морских разведчиков высаживался десантом в первом броске 21 августа. По численности мы в четыре раза уступали японскому гарнизону, состоявшему из солдат и офицеров крепости, морской и авиационной баз. По тогдашним понятиям Вонсан был большим городом. В годы освободительной войны корейского народа американские корабли и «летающие крепости» сровняли его с землей. Сегодня это благоустроенный, хорошо спланированный город с многоэтажными домами. Над портом, где были районы бедноты — хибарки, развалюхи и жалкие лачуги, — теперь поднялись здания в десять и двенадцать этажей, у каменной причальной стенки стоят на швартовых суда отечественной постройки водоизмещением в несколько



тысяч тонн. Кран грузит в их объемистые трюмы различные товары, которые повезут за границу.

О том, как далеко шагнула народная Корея, говорили в Пхеньяне участники торжественного собрания по случаю тридцатилетия победы над фашизмом. Благодаря братской помощи Советского Союза, социалистических стран трудолюбивый корейский народ заново отстроил свою страну.

История Кореи полна драматизма. В наш век тридцать пять лет ею правили японцы. Страна была превращена в генерал-губернаторство, лишена всякого, даже низового, самоуправления. Насильственно насаждалась японская культура, детей в школах запрещено было учить на родном языке. Богатейшие природные ресурсы уплывали в метрополию. Корейцев не допускали ни к каким должностям, где требовались образование или квалификация, их уделом была только самая черная работа.

Годами народ ждал часа своего освобождения. В самую тяжкую пору японского владычества в Корее были люди, не склонившие головы перед колонизаторами. Они уходили в горы, там создавали отряды борьбы с поработителями. Легендарная гора Пэктусан и сейчас повсюду изображается как символ народного сопротивления. Бойцы этих отрядов с надеждой смотрели на великого соседа, живущего за рекой Туманган, — на советскую державу. Оттуда, с той стороны, ждали корейцы своего избавления.

И час наступил.

9 августа 1945 года наша страна вступила в войну против Японии на стороне союзных держав. Мы не ждали легкой победы, было известно, что перед нами противник серьезный, упорный, хорошо вооруженный. По соседству с нашими границами и границами Монгольской Народной Республики дислоцировались соединения и части крупной стратегической группировки японских войск — Квантунской армии, войска 5-го фронта (южная часть острова Сахалин и Курильские острова) и 17-го (Корейского) фронта. Командованию Квантунской армии были фактически подчинены армия японской марионетки Маньчжоу-Го, соединения и части князя Внутренней Монголии и Суйюаньская армейская группа.

События на приморском участке фронта, как и на всем фронте против Квантунской армии, развивались стремительно. Уже 11 августа наш отряд особого назначения штаба Тихоокеанского флота под командованием Героя Советского Союза старшего лейтенанта Леонова высадился в ближайшем к советской границе городе Унги. Противник в беспорядке отходил на юг. Войска 25-й армии генерала Чистякова нанесли по приграничному оборонительному району врага сокрушительный удар, прорвали Хуньчуньский укрепленный район, изолировали отдельные несдавшиеся гарнизоны и быстро продвигались к югу.

Мы с моря вышли навстречу сухопутным частям Советской Армии. На следующее утро первые подразделения подошли к городу Унги. Там же высадился флотские десанты. А мы получили приказ двигаться дальше на юг, к приморскому городу Начжину. Морская авиация и торпедные катера нанесли по порту несколько ударов. Оборона с моря оказалась нарушенной. Противник уже не надеялся удержать город и продолжал отводить войска к Чхончжину, намереваясь там создать оборонительный рубеж и дать бой наступающим советским войскам.

После Начжина наши торпедные катера по пути к базе наскочили на плавающие мины. Мы потеряли нескольких товарищей, с которыми вместе четыре года воевали на Северном флоте. Поврежденные суда еле доползли до базы.

А в пять утра отряд был поднят по тревоге. И через два часа мы вышли в море на новую операцию. Теперь наш курс на Чхончжин. Надо было спешить, чтобы не позволить японцам укрепить оборону города, не дать им подтянуть отходящие от границы войска, перебросить сюда флот. Оттяжка удара по Чхончжину обернулась бы потом большой кровью, стоила бы многих жизней. Поэтому адмирал Юмашев приказал бомбить порт с воздуха, ударить по судам и причалам торпедными катерами, а затем, не дожидаясь подхода наших крупных морских и сухопутных сил, забросить в Чхончжин с моря десант. Командование флота рассчиты-

вало, что противник будет ошеломлен этим ударом. А пока он придет в себя, удастся подтянуть бригаду морской пехоты, следом должны были подоспеть по сухопутью и армейские части.

И вот мы идем к Чхончжину. Цель не близка, ходу до нее на катерах от базы примерно шесть часов. Малую минутку хочется вырвать, чтобы доспать недоспанное, освежиться и взбодриться, укрыться от обжигающего солнца, да некогда, дел у каждого перед высадкой еще под завязку. Оружие перед выходом в море получили новое взамен поржавевшего, когда окатило нас морской водой при взрыве мины, матросы очищают автоматы от арсенальной смазки, пристреливают. По рюкзакам и сумкам раскладывают продукты и боеприпасы, заряжают диски — в спешке все пришлось брать со складов в ящиках.

Нам предстоит высадиться прямо в порту. За все четыре года службы в морском десанте мы ни разу не выбрасывались на обустроенный берег с причальными стенками и пирсами. Командование пошло еще на один рискованный шаг, полагая, что дерзость ошеломит противника: нам приказано выбраться и пробиться в город в дневное время. Это тоже для нас в новинку — на Севере мы всегда ходили в десанты и в разведку только под покровом ночной темноты и непогоды.

Перед подходом к Чхончжину начальник разведотдела полковник Денисин и командир отряда Леонов объяснили нам цель похода и поставили задачу перед каждым подразделением. Нам предстояло выяснить силы и намерения японцев и несколько часов до подхода основного десанта держать плацдарм.

Вскоре после полудня десяток юрких торпедных катеров прорвался в бухту. На палубах шести катеров изготовились к прыжку на берег разведчики нашего отряда и рота автоматчиков. Остальные корабли идут в прикрытии.

Японские береговые батареи, и крупнокалиберные и противокатерные, а также зенитные автоматы обрушили на катера россыпь шрапнели. Все закружилось и завертелось в каком-то бешеном вихре.

Катера с десантом круто повернули к причалам рыбного порта, комендоры и наши пулеметчики перебросили огонь на склады, на штабеля грузов, на огрызающиеся пулеметные точки.

Не дожидаясь, пока катера останутся и вынесут швартовы, разведчики на ходу выпрыгивают на причалы и, поливая впереди себя длинными очередями из автоматов, пробиваются от края причальной стенки к складам, к сараям, к портовым сооружениям. Катера, выбросив нас на берег, снова отходят и с моря бьют по огневым точкам из своих крупнокалиберных автоматов. Мы забрасываем пулеметные гнезда противотанковыми гранатами и фугасками, и они умолкают одно за другим.

Десантники растянулись по всему рыбному порту, охватили причальную линию от края до края. За какие-то считанные минуты мы одолели причалы и выскакиваем на припортовые улицы. Японцы отходят от дома к дому, оставляют квартал за кварталом. Они отстреливаются на ходу и бегут по улицам в город. Рота автоматчиков Яроцкого по северной оконечности порта тоже выбралась к жилым кварталам.

Мой взвод, одолев несколько кварталов, вырывается на обширный пустырь между крайними домами города и рекой Сусончхон. Левее уже никого наших нет, только река, вдоль берега высокая дамба, впереди маячат фермы железнодорожного моста.

Укрываясь возле дамбы, за пересечениями насыпей и виадуков, мы почти безостановочно продвигаемся все ближе к мосту. Японцев перед нами взвода два, но они отходят все западнее, отстреливаются из винтовок и карабинов не залегая. Автоматов совсем не слышно, только винтовочные хлопки.

Мы почти по пятам бежим за японцами, торопливо отходящими к шоссе к мосту. До моста осталось всего с полкилометра. Из города выкатилось с десятком автомашин. Едут ли в них солдаты на подкрепление к своим или какая-то часть торопится ускользнуть через мост на юг — мы не знаем. Нам надо успеть раньше их к мосту, захватить его, пока японцев там немного.

Перед мостом противник положил нас на землю, три пулемета бьют с насыпи. Им отвечают два наших «дегтяря» — тоже не дают поднять голову. Под этой перестрелкой разведчики ползком подобрались к насыпи, оказались в мертвом, непростреливаемом секторе. Передохнув короткое мгновение, набравшись духу, я поднял разведчиков в последний рывок. Мы выскочили на насыпь, сбили с нее японцев, гранатами заглушили пулеметы. Мост в наших руках. Успели! Как ни спешили шоферы вражеских автомашин, мы опередили их. По той и по другой стороне насыпи, по канавам я послал вперед два отделения, остальные с пулеметами расположились у моста, чтобы встретить колонну в лоб. Как только машины приблизились, в них полетели гранаты, по кабинам и колесам резанули пулеметные и автоматные очереди. Колонна остановилась. Солдаты выскакивали из кузовов на землю. Тут мы сошлись с японцами вплотную, стреляли почти в упор, дрались в рукопашную. Не прошло и десяти минут, как колонну мы расшерстили почти вчистую, полдюжину грузовиков и три легковые подорвали и сожгли, только две или три хвостовые машины успели развернуться и умчались в город. Возле машин и на насыпи валяются трупы вражеских солдат, лишь немногим удалось скрыться в зарослях кукурузы.

Вой возле машин уже начал стихать, когда из-за бетонного угольника перед въездом на мост раздалось несколько выстрелов. Я приказал матросам бросить туда гранату, а потом кинулся посмотреть, что там такое. Только высунулся за край стенки, как меня хлестнуло по голове, обожгло лицо. Отпрянул, приложил руку к глазам, по ладони потекла кровь. Оказалось, что японский офицер выстрелил в меня из карабина в упор. К счастью, пуля только задела висок, рассекла кожу.

На время бой возле моста утих, лишь из городских кварталов, где задержались часть роты Яроцкого и полвзвода Никандрова, слышится перестрелка.

Перед сумерками, воспользовавшись затишьем, мы расспросили местных жителей о том, что делалось в городе накануне нашей высадки. Несколько сот корейцев к тому времени сбежали к нам в надежде, как они сами говорили, остаться невредимыми. Все, что рассказали жители города о японцах, о гарнизо-не, об укреплениях, почти полностью совпало с показаниями пленных. Сведения эти мы передали по радио в штаб флота, а оттуда получили не очень радостную шифровку: выход основного десанта задерживается более чем на сутки, пока к нам на поддержку подбросят пулеметную роту, а завтра утром батальон морской пехоты. Шифровка эта не скажу чтобы нас утешила. Держаться на плацдарме нам придется не несколько часов, а почти двое суток. Японский гарнизон в городе — около трех с половиной тысяч. Кроме того, к Чхончжину подтягиваются части из укрепленного района Нанама, подходят подразделения, отступающие от границы.

Трудно нам будет.

Японцы как будто угадали наше положение и часов около десяти, когда уже совсем стемнело, навалились на десант. Они несколько раз поднимались в атаку и против нас и против роты Яроцкого. Сдвинуть ни нас, ни автоматчиков им не удалось, плацдарм мы удержали за собой весь до метра, но у Яроцкого погибло и ранено более трети бойцов, ранен и сам командир. Брошенная на поддержку пулеметная рота так и не подоспела.

Утром, часов около пяти, японцы возобновили атаку. Сначала они обстреляли нас из малокалиберных пушек и минометов, а потом, переправив вброд через реку подкрепления и подогнав к берегу машины с пулеметными установками, стали охватывать отряд с флангов, чтобы затем взять его в кольцо и прижать к реке. Удайся им этот маневр, наше положение оказалось бы, мягко говоря, незавидным.

Командир отряда Леонов разгадал план врага — он отвел бойцов от реки, и мы городскими улицами пробились на северную окраину Чхончжина, собрались на горе Пхохондон. Связались со штабом флота, оттуда подтвердили, что ночью пулеметная рота была выброшена в город, а утром возле города высадился и батальон морской пехоты. Отправились на поиски. Сперва наткнулись на часть пуле-

метного взвода. Узнали, что рота ночью попала в окружение, бой был неравным, много солдат погибло.

Командир десантного батальона майор Барабольшко сообщил по радио, что батальон его в шестом часу утра высадился, но не в городе, а на восточном берегу полуострова Комалсандан. Сил противника на его пути оказалось много, поэтому батальон медленно с боем пробивается к городу, одна рота дерется в окружении, да и штаб батальона японцы отрезали от главных сил. На быстрый выход батальона в город рассчитывать нам не приходится. Только часа через два к нам пробилась небольшая группа бойцов с минометами.

Леонов решил снова прорваться к мосту. При поддержке минометов и станковых пулеметов одолели городские кварталы гораздо быстрее, чем утром. Вся сводная группа снова вышла на тот самый плацдарм, который держали вчера вечером. Но японцы опять попытались окружить нас у реки. Пришлось отходить.

К вечеру наша десантная группа оказалась на причалах военного порта. Японцы подошли к отряду с трех сторон, позади чуть-чуть шелестело накатом море.

Весь вечер и ночь дрались за причалы, японцы несколько раз поднимались в атаки. С рассветом положение наше стало отчаянным: отстреливались последними патронами, оставалось у кого по одной, у кого по две гранаты. Но тут в порт прорвались два наших корабля, они хорошо поддержали нас своими пушками. Прошло еще часа два, и в бухту Чхончжина стали втягиваться корабли с десантом. Бригада морской пехоты генерала Трушина высадилась на удержанные нами причалы.

По сухопутью к городу подошла армейская дивизия, морем была перевезена еще одна. Через сутки советские войска очистили Чхончжин от японцев, взяли Нанам с его укрепленным районом. Надежда японского командования остановить наше наступление на рубеже Чхончжина не сбылась.

\* \* \*

В День победы мы возложили венки к памятнику советским воинам на горе Моранбон. На строгом обелиске по-корейски и по-русски выбита надпись: «Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак благодарности воздвигнут этот памятник».

Возложив венки, мы обошли вокруг монумента. Я смотрел на памятник, боль сжимала сердце, боль за погибших в Корее боевых друзей, грусть за так быстро пробежавшие годы — память о прошедшем, о незабываемом.

Мы видели Корею военной поры. Мы посетили Корею — помолодевшую, обновленную Страну утренней свежести.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**А. НОВИКОВ,**  
*Главный маршал авиации,  
дважды Герой Советского Союза*



## «НОРМАНДИЯ» В НЕБЕ РОССИИ\*

### ФОРМИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ПОЛКА «НОРМАНДИЯ»

**А**вгустовское пополнение эскадрильи «Нормандия» в три раза превышало ее штатную численность, и для командования советских ВВС это не было неожиданностью. По дипломатическим каналам Советское правительство уже договорилось с правительством «Сражающейся Франции» о реорганизации эскадрильи «Нормандия» в отдельный авиаполк того же наименования.

Зная об этом решении, я поручил одному из моих заместителей, генералу А. В. Никитину, заняться формированием полка и вооружить его новыми истребителями «ЯК-9». В течение августа 1943 года был сформирован 1-й отдельный истребительный авиаполк «Нормандия». В его состав вошли три боевые и одна тренировочная эскадрильи.

К этому времени французских авиамехаников отозвали в Северную Африку и инженерно-технический и штабной состав был заменен советскими военнослужащими. Командиром авиаполка французское правительство из Лондона назначило майора Пьера Пуйяда. С нашей стороны (командованием ВВС) начальником штаба назначили капитана И. В. Шурахова, а старшим инженером полка — инженер-капитана С. Д. Агавельяна.

На вооружение полка стали поступать истребители «ЯК-9», имевшие лучшие летно-тактические характеристики, чем «ЯК-1». «ЯК-9» имел более мощный двигатель «М-105пф», обладал большей скороподъемностью, лучшей маневренностью, развивая скорость 600 километров в час.

Авиаполк «Нормандия» на период реорганизации освободили от участия в боевых действиях, в полку усиленно занялись тренировочными полетами, вводя в строй вновь прибывших летчиков.

В августе Западный и Калининский фронты проводили Смоленскую наступательную операцию с целью разгрома 3-й танковой и 4-й полевой немецких армий и выхода на рубеж Смоленск—Рославль. С самого начала исключительно упорные бои приняли затяжной характер. Войска Западного фронта продвигались медленно, но все же освободили от гитлеровцев более 500 населенных пунктов, а 13 августа вступили в город Спас-Деменск. Между тем на курском направлении наступление развивалось успешно, и после освобождения Белгорода и Орла войска Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов продолжали продвигаться на запад, отражая контратаки и контрудары яростно сопротивляющегося врага. Противник, будучи не в состоянии сдержать натиск советских войск, в середине сентября начал отход к Днепру, где предполагал остановить наши части.

Мне было приказано перебазироваться на Западный фронт и помочь активизировать здесь наступление с помощью авиации.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

На новом месте пришлось координировать боевые действия авиации Западного и Калининского фронтов, то есть 1-й и 3-й воздушных армий.

Ознакомившись с обстановкой у командующего 1-й воздушной армией генерала М. М. Громова, я поинтересовался: готов ли авиаполк «Нормандия» к боевым действиям?

Генерал Громов ответил, что полк начал принимать участие в боевых действиях. Только сидит он далековато, на аэродроме Знаменка, и на полеты до линии фронта и обратно затрачивается много времени, на ведение воздушного боя его почти не остается. Немцы построили полевой аэродром в Городечне (десять километров юго-восточнее Спас-Деменска) и, отступая, не успели перепахать его. Это хороший аэродром, годен для истребителей. На него-то генерал Громов и намеревался перебазировать полк майора Пуйяда и 18-й гвардейский истребительный полк гвардии подполковника А. Е. Голубова.

— Я бы хотел посмотреть, как французы воюют.

— А вот полк «Нормандия» перебазировается через два дня на аэродром Городечня, и вы посмотрите его,— ответил генерал Громов.

— На аэродроме я многого не увижу, только взлет и посадку, а мне бы хотелось понаблюдать, как ведут себя французы в воздушном бою. Ставка интересуется, как воюют французы. Отвечаю им, что хорошо дерутся, а сам я ни одного их воздушного боя не наблюдал, неловко как-то.

— Хорошо, товарищ маршал, понял вас и учту ваше желание,— ответил Громов.

Генерал Громов рассказал мне при этом, как летчика Николая Пинчука спас его коллега из «Нормандии» Альбер Дюран.

— Незадолго до вашего прилета,— сообщил Громов,— четверка истребителей Восемнадцатого гвардейского полка вела бой с группой бомбардировщиков «Ю-87». Пинчук сбил один «Ю-87» и погнался за другим. Нагнав его, летчик с дистанции около сорока метров нажал на обе гашетки, чтобы сбить второго фашиста. Но пушки и пулеметы молчали. Видно, кончились боеприпасы. И тогда Пинчук решил идти на таран. В момент сближения с самолетом врага его истребитель очутился в зоне обстрела немецкого стрелка «Ю-87». Несколько пуль попало в кабину, Пинчука ранило в грудь и правую руку. Сгоряча он не почувствовал боли и, увлекшись погоней за самолетом противника, продолжал насаждать на него. Догнав «Ю-87», Пинчук правым крылом своего «ЯКа» ударил по кабине бомбардировщика. Тот стал разваливаться на куски и рухнул на землю.

После тарана истребитель Пинчука сделался неуправляем и перешел в беспорядочное падение. Пинчук с трудом открыл фонарь кабины, замок привязных ремней, и тотчас центробежная сила выбросила его из самолета. В воздухе повис белый купол парашюта. Ветер сносил летчика в сторону своих. Он стал осматриваться, где приземлиться, и заметил, что к нему приближаются два вражеских истребителя, которые, по-видимому, хотели расстрелять его.

Как раз в это время четверка «ЯКов» из полка «Нормандия», летчики Бегэн, Альбер, Лефевр и Дюран, рассеяв очередную группу бомбардировщиков врага, вступили в бой с подошедшими истребителями противника. Уклоняясь от атаки пикирующего на него врага, Дюран резким поворотом оторвался от своей группы и оказался по соседству с Пинчуком, когда тот таранил второй «Ю-87» и выбросился на парашюте. Дюран увидел вдруг, как к парашюту, на котором спускался пилот, приблизились два «фоккера». Не раздумывая Дюран устремился им наперерез, не без оснований полагая, что те задумали расстрелять советского парашютиста. Тогда враги набросились на истребитель Дюрана. Но Дюран как раз и хотел отвлечь «фоккеров», чтобы помочь советскому летчику приземлиться. Завязался воздушный бой на виражах. После двух кругов Дюран оказался рядом с ведомым вражеским истребителем, и тот, увидев надвигающуюся опасность, резко отвалил в сторону, выйдя из боя. Второй фашистский истребитель последовал его примеру. Дюран, повиражив еще немного над снижающимся парашютистом, вернулся в свой полк.

А лейтенант Пинчук, благополучно приземлившись в расположении наших

войск, был доставлен на свой аэродром. Вопреки требованиям врача немедленно отправляться в госпиталь он хотел выяснить, кто спас ему жизнь. Узнав, что его спаситель — французский летчик лейтенант Дюран, Пинчук, пошатываясь, подошел к Дюрану и, протянув к нему обе руки, шепотом сказал: «Спасибо, мой дорогой французский друг, я в большом долгу перед вами». Этими взволнованными словами Пинчука и закончил свой рассказ генерал Громов.

— Какой молодец Альбер Дюран! Чем же вы его отблагодарили? — поинтересовался я. — Историю спасения Пинчука нельзя оставлять без внимания.

— Я поручил генералу Захарову и подполковнику Голубову, — ответил Громов, — лично поблагодарить Дюрана за мужество, проявленное при вырубке Пинчука.

— Этого мало, — сказал я. — За спасение жизни советского летчика Альбера Дюрана надо наградить орденом. Следует поощрять столь благородные дела, как взаимная выручка, в особенности когда попавшему в беду угрожает смертельная опасность.

— Хорошо, товарищ маршал, будет сделано, — заверил меня генерал Громов. — У нас сложилась определенная традиция, — добавил он. — Вечером вывешивается список летчиков, сбивших самолеты противника. И работники столовой преподносят маленькие торты каждому из отличившихся летчиков. Наряду с советскими летчиками так чествуют и французов. В день спасения лейтенанта Пинчука торт-награду получил каждый из летчиков «Нормандии», сбивших тогда восемь вражеских машин: Альбер, Бегэн, Бон, Дюран, Ларжо, Лефевр и Матис. Хорошая традиция, — заметил Громов. — Не правда ли?

— Да, традиция великолепная, — ответил я. — Работники столовой и те придумали маленькую награду для отличившихся в бою летчиков. Надо брать с них пример. К тому же у нас с вами куда больше возможностей...

\* \* \*

У 1-й воздушной армии Западного фронта сил явно не хватало. А спрос на авиацию был большой.

Я стал раздумывать, какой авиакорпус просить у Верховного для усиления 1-й воздушной армии из резерва Ставки: истребительный или штурмовой? Штурмовой авиакорпус значительно полезней для взаимодействия с пехотой и танками. Истребительный же только усилит армию, но в вопросе взаимодействия пользы принесет гораздо меньше. И я остановился на штурмовом авиакорпусе.

31 августа рано утром я выехал в район Ельни, куда был перенесен командный пункт командира 8-го истребительного авиакорпуса генерала Ф.Ф. Жеребченко, предварительно справившись у генерала Громова, будет ли там работать полк «Нормандия». Получив положительный ответ, я попросил направить наводчика самолетов, хорошо знающего русский и французский языки, на командный пункт к генералу Жеребченко.

Взяв с собой инспектора ВВС генерала И. Л. Туркеля, заместителя командующего 1-й воздушной армией по политчасти И. Г. Литвиненко, я выехал в район Ельни, западнее которой шли сильные бои.

Прибыв на командный пункт генерала Жеребченко, я прежде всего ознакомился с воздушной обстановкой. Жеребченко доложил, что авиация противника сегодня активничает и уже два раза бомбила наступающие войска, но наши истребители не дали им прицельно отбомбиться. Сбив несколько фашистских самолетов, истребители вернулись без потерь.

...Со стороны Спас-Деменска показались 10 самолетов «ЯК-9». Они шли в боевом порядке: одна четверка впереди примерно на высоте трех тысяч метров, другая четверка слева уступом на высоте, как мне казалось тогда, трех с половиной тысяч метров и замыкающая пара еще выше.

Сменив группу истребителей 8-го авиакорпуса, французы начали патрулирование над Ельней, где образовалось скопление наших войск. Минут через десять под прикрытием истребителей «ФВ-190» появилась группа вражеских бомбардировщиков «ХЕ-111». Они шли на высоте трех с половиной тысяч

метров. Французы тотчас же заметили их, перестроили боевой порядок и атаковали одной группой бомбардировщиков, другая группа связала боем истребители прикрытия противника. От первой очереди из пушек загорелся ведущий «ХЕ-111» и упал в лес западнее Ельни. Это вызвало замешательство среди остальных «хейнкелей». Нарушив боевой порядок, побросав бомбы где попало, они разрозненными группами и в одиночку обратились вспять. Французы, которые связали боем истребители прикрытия, сбили три «ФВ-190», остальные вражеские машины поспешно ушли.

Мы с генералами Туркелем, Жеребченко и Литвиненко внимательно следили за воздушным сражением, стараясь не пропустить ни одной детали. Мы остались довольны тем, как провели бой французские летчики. Вечером узнали, что «хейнкеля» сбил Дюран, а трех «фоккеров» — Фуко, Леон и Риссо. К сожалению, два летчика погибли в бою, это были капитан Поль де Форж и аспирант Жан де Сибур (аспирант во французской армии — кандидат в офицеры).

А 1 сентября не вернулся с боевого вылета лейтенант Альбер Дюран, который недавно спас от смерти летчика Николая Пинчука. Хотя с Дюраном я не был знаком, я слышал много о его смелых боевых действиях. Это был мужественный человек, с твердым характером, о чем свидетельствуют его боевые вылеты. Недаром за пять месяцев своего пребывания на советско-германском фронте лейтенант Альбер Дюран сбил 6 вражеских самолетов.

Он вместе с Марселем Альбером и Марселем Лефевром составлял в эскадрилье ту тройку, которую боевые друзья любовно называли «тремя мушкетерами». Двое последних в будущем стали Героями Советского Союза. И, конечно, было безмерно жаль лейтенанта Альбера Дюрана, который безвременно погиб совсем молодым. Но он пал, защищая свободу Франции на советско-германском фронте.

\* \* \*

В начале сентября Западный фронт готовился ко второму этапу Смоленской операции. К этому времени 1-й истребительный авиаполк «Нормандия» и 18-й гвардейский истребительный авиаполк перебазировались на аэродром Мышково, недалеко от Ельни, где они ожидали начала наступления.

Мой командный пункт, который я делил с генералом Громовым, находился недалеко от города Дорогобужа. Здесь мы оба занимались разработкой плана по использованию авиации в предстоящем наступлении. План действий авиации по поддержке пехоты и танков получался очень напряженным, и командиры некоторых авиадивизий сомневались: выдержат ли летчики? Но я отвечал таким скептикам, что война есть война, а без напряжения войны не бывает.

План действий авиации был готов, и мы с генералом Громовым поехали к командующему Западным фронтом генералу армии В. Д. Соколовскому, чтобы он рассмотрел план и утвердил его. Вместе с Василием Даниловичем мы еще раз посмотрели тщательно план, который и был утвержден.

Рано утром 15 сентября 1943 года войска Западного фронта начали наступательные действия на смоленском направлении. Полк «Нормандия» в первые дни наступления оставался в резерве и приступил к боевым действиям только 19 сентября, то есть после того, как были преодолены сильно укрепленные позиции противника и войска Западного фронта вышли на оперативный простор.

Продолжая наступление, войска двух фронтов, Западного и Калининского, охватили смоленскую группировку гитлеровцев с юга и севера, а 25 сентября армии Западного фронта освободили города Смоленск и Рославль.

Летчики полка «Нормандия» в это время работали с полным напряжением и в день взятия Смоленска сбили 7 самолетов противника. Я был очень доволен действиями французских летчиков и приказал генералу Громову представить к награждению отличившихся французов.

Со Смоленском у меня было связано очень многое. Здесь после окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе я прослужил восемь лет, с 1930 по 1938 годы, здесь родилась дочь Светлана, здесь похоронил жену Милицу и маленького сына Игоря, здесь я перешел на военную службу в авиацию. Поэто-



му мне хотелось взглянуть на Смоленск, увидеть, что сделали фашисты с этим древним русским городом. Утром 26 сентября мы с подполковником М. Н. Кожевниковым и охраной отправились туда, но Смоленска я не узнал. Город был страшно разрушен, только собор на горе остался целым. Все лучшие здания, заводы, мосты через Днепр — все было подорвано и продолжало гореть. Сердце обливалось кровью при виде этой картины.

Осмотрев смоленский аэродром, мы пришли к выводу, что на аэродроме можно посадить авиацию и продолжать работать. Фашисты не успели взорвать взлетные полосы, зато взорвали все служебные здания, авиагородок и ремонтный авиационный завод.

После взятия Смоленска и Рославля наступление Западного фронта развивалось стремительно, и авиация едва успевала за наземными войсками, перелетая с одних аэродромов на другие. Перебазировался и полк «Нормандия», обосновавшись на полевом аэродроме близ белорусской деревеньки Цикуновка, откуда и продолжал свои боевые вылеты.

Неожиданно мне позвонил генерал Левандович и доложил, что в первых числах октября в полк «Нормандия» собирается прибыть генерал Эрнест Пети. Он привезет летчикам письма, посылки, журналы, приказы по ВВС «Сражающейся Франции» о присвоении очередных званий и о наградах. Но прежде всего он хочет посмотреть, как воюют летчики-французы, как организован их фронтовой быт. Согласие нашего правительства на полет генерала Пети имеется.

К сожалению, мне и на этот раз не пришлось встретиться с генералом Пети. 8 октября по указанию Ставки я вылетел на Калининский фронт, в 3-ю воздушную армию, которой командовал генерал Н. Ф. Папавин. А генерал Пети прибыл на аэродром Цикуновка 12 октября.

Уже в Москве генерал Левандович рассказал мне, что Пети остался очень доволен посещением «Нормандии» на фронте. Он ознакомился с фронтовой жизнью полка, наблюдал его боевые вылеты. Особенно же пришлась по душе генералу дружба между французскими летчиками и советскими авиатехниками, обслуживающими их самолеты. После посещения полка генерал Пети прямо заявил об этом на страницах газеты «Известия»: «Я воздаю должное советским механикам, которые обслуживают самолеты «Нормандии». Без преувеличения могу сказать, что эти люди благодаря своей самоотверженности, опыту, любви к делу стали лучшими друзьями французских летчиков. Они им дороги, как братья».

### НА ЗИМНИХ КВАРТИРАХ В ТУЛЕ

Со второй половины октября активность авиации в воздухе стала ослабевать. Начались частые туманы, низкая облачность, нередко выпадали дожди. Но полк «Нормандия» продолжал активно участвовать в боевых действиях, хотя и чувствовалось, что французские летчики устали от войны.

Полк за этот период потерял 16 летчиков, и личному составу требовался отдых. Поэтому французская военная миссия попросила командование ВВС отвести авиаполк на зимние квартиры. Учитывая пожелания генерала Пети, мы отвели «Нормандию» в глубокий тыл, на аэродром в районе Тулы. Перелетев туда, полк временно вошел в состав истребительной авиации ПВО, прикрывавшей Москву. Передислокация была совершена, чтобы создать в полку наиболее благоприятные условия для отдыха, пополнения и перевооружения его самолетами «ЯК-9Т».

«Нормандия» пробыла на Западном фронте семь месяцев и шестнадцать дней: с 22 марта по 6 ноября 1943 года. За это время на боевом счету полка числилось 75 сбитых вражеских бомбардировщиков и истребителей. Из первой группы добровольцев, прибывшей в СССР в ноябре 1942 года, осталось в живых только пятеро: Марсель Альбер, Дидье Бегэн, Роллан де ля Пуап, Марсель Лэфевр и Жозеф Риссо. Эти летчики прошли суровую школу воздушных боев и получили хорошую фронтовую закалку.

«Нормандия» участвовала почти в тех же самых воздушных боях, что и 18-й гвардейский истребительный авиаполк гвардии подполковника А. Е. Голубова. Летчики «Нормандии», проводя групповые воздушные бои, перенимали от советских истребителей все лучшее. Пройдя суровую закалку на фронте, французский авиаполк получил хорошую боевую подготовку и по-настоящему овладел групповым воздушным боем.

К моменту вывода полка «Нормандия» в район Тулы истек год со времени прибытия первой группы французских добровольцев в Советский Союз. Этот год ознаменовался крупнейшими военными событиями на советско-германском фронте, оказавшими прямое влияние на ход и исход второй мировой войны.

Захватив стратегическую инициативу, Советская Армия с ноября 1942 года по декабрь 1943 года прошла с боями на запад от пятисот до тысячи трехсот километров и освободила от гитлеровских оккупантов почти две трети захваченной ими советской территории.

Большой вклад в достижение победы над немецко-фашистскими войсками внесла советская авиация. Определенная доля заслуг в этом принадлежала и нашим боевым друзьям, активно сражавшимся с вражескими самолетами во время Курско-Орловской битвы. Недаром за короткий срок — с 2 июля по 24 августа — Указами Президиума Верховного Совета СССР девять французских летчиков были награждены орденами Отечественной войны I и II степени.

Стремясь еще больше содействовать успеху общей борьбы, французские летчики в декабре 1943 года добровольно внесли в фонд обороны Советского государства 82 тысячи рублей, полученных ими в качестве вознаграждения за сбитые немецкие самолеты.

В письме Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину от 10 декабря 1943 года глава французской военной миссии генерал Э. Пети в связи с этим подчеркивал: «Имею честь сообщить Вам это пожелание пилотов «Нормандии» и прошу Вас дать согласие на их участие в усилиях, которые прилагает советский народ и Советская Армия для производства вооружения. Для них будет большим удовлетворением узнать, что по мере своих возможностей они приняли участие в производстве вооружения, которое в руках героических бойцов Красной Армии обеспечит победу Советскому Союзу, а также демократическим странам и моей Родине».

В декабре 1943 года в авиаполк «Нормандия» прибыло очередное пополнение летчиков и партия истребителей «ЯК-9Т». Началась учеба и тренировочные полеты. Самолет «ЯК-9Т» был вооружен 37-миллиметровой авиационной пушкой конструкции Нудельмана — Суранова. Это мощное оружие восхищало французских летчиков, и они заранее надеялись на успех в схватках с немецкими истребителями и бомбардировщиками.

17 декабря, улетаая на фронт, я поручил генералу Никитину время от времени следить за полетами во французском авиаполку. 10 января 1944 года, после того как войска II Украинского фронта освободили Кировоград, я, выполнив задание Ставки, вернулся в Москву. За время моего пребывания на фронте накопилось много дел, и ночами я просиживал то с начальником штаба ВВС, то со своими заместителями, так как днем время уходило на посещение разных наркоматов и других учреждений.

4 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР группа летчиков-французов была награждена орденами. Я намеревался вручить им награды и заодно использовать эту поездку для знакомства с жизнью и деятельностью авиаполка на зимних квартирах. Но ситуация неожиданно изменилась.

По указанию Верховного Главнокомандующего я срочно вылетел на I Украинский фронт, в район окружения корсунь-шевченковской группировки гитлеровцев, чтобы с помощью штурмовой авиации остановить танковые колонны противника, пытавшиеся деблокировать окруженную группу своих войск.

Так и рухнула моя надежда побывать в авиаполку «Нормандия». 14 февраля утром я вылетел в Андрушовку, на командный пункт 2-й воздушной армии, предварительно договорившись с членом Военного совета ВВС генерал-полковни-

ком авиации Н. С. Шимановым, что он вручит французским летчикам советские ордена. Операция же по уничтожению курсунь-шевченковской группировки прошла успешно и была закончена 17 февраля. Но наступление I и II Украинских фронтов продолжалось, и по распоряжению Верховного я задержался, чтобы координировать действия 2-й и 5-й воздушных армий.

Гитлеровцы, засевшие в северной части города, перекрыли своим огнем шоссе — единственный удобный и кратчайший путь снабжения наших войск, сражавшихся в то время километрах в двадцати западнее Тернополя. Маршал Г. К. Жуков, назначенный командующим I Украинским фронтом вместо тяжело раненого генерала армии Н. Ф. Ватутина, как-то при мне посетовал.

— Этакая заноза в нашем тылу, и никак не выдернешь ее! — сердито бросил Георгий Константинович, выжидающе взглянув на меня.

Я задумался. По дороге на командный пункт командующего 2-й воздушной армией мне пришла в голову мысль: «А что, если остатки вражеского гарнизона разгромить ночными легкими бомбардировщиками «ПО-2»?» Проблема усложнялась тем, что бомбежку следовало вести по малоразмерным целям с большой точностью и «ПО-2» предстояло действовать днем.

Решение было рискованным, хотя, используя хорошую погоду, мы дали «ПО-2» сильное истребительное прикрытие. Ведь прорвись к Тернополю пара-две «мессершмиттов» — и от двух дивизий «ПО-2», которые мы бросили на уничтожение противника, в буквальном смысле слова полетели бы щепки. Но наши легкие бомбардировщики «ПО-2» действовали отлично, и едва отбомбился последний экипаж, как гитлеровцы выбросили белый флаг.

— Мал золотник, да дорог: хоть малы и тихоходны эти самолеты, но дело свое делают, — отреагировал Верховный Главнокомандующий на мой рассказ.

Он молча прошелся по кабинету, думая о чем-то своем, а потом обернулся и неторопливо сказал:

— Скоро вам предстоит новые поездки. Мы заканчиваем разработку большой операции в Белоруссии. Вы полетите к Жукову (который координировал действия I и II Белорусских фронтов). Но прежде вам придется слетать в Ленинград к Говорову, там заканчивается разработка Выборгской операции. Более подробно обо всем вас проинформирует Антонов. Держите с ним связь.

Итак, снова поездки на фронты. Но пока я оставался в Москве, я среди прочих дел не забывал и о «Нормандии», поинтересовавшись, как идут дела в полку. В частности, я хотел знать, насколько успешно осваивают французы новый истребитель «ЯК-9Т». Готов ли полк для отправки на фронт?

Вызванные мной генералы А. В. Никитин и С. Т. Левандович доложили, что в конце марта в «Нормандию» прибыло очередное пополнение французских летчиков-истребителей во главе с капитаном Луи Дельфино. Вновь прибывших предполагалось использовать для формирования второго французского истребительного полка — «Париж». Командиром «Парижа» предполагалось назначить капитана Дельфино. Однако создание нового авиаполка не состоялось из-за нехватки летчиков-истребителей, поэтому генерал Э. Пети назначил капитана Луи Дельфино заместителем командира «Нормандии».

Луи Дельфино оказался очень энергичным офицером и требовал от подчиненных точности, пунктуальности и быстроты при выполнении боевых и небоевых заданий. Он получил отличную подготовку летчика-истребителя, был опытным инструктором-методистом, перспективным командиром.

Освоение машин «ЯК-9Т», по словам Левандовича, продвигалось успешно. К 1 июня эта работа закончится и полк можно отправлять на фронт. Левандович намеревался на днях вместе с генералом Э. Пети вылететь в Тулу для проверки «Нормандии». Он выразил надежду, что французы подготовились хорошо и с успехом станут воевать. Все они рвутся на передовую.

С тренировочными полетами, судя по докладу Левандовича, дело обстояло хуже: произошло несколько поломок и аварий. Инженер полка С. Д. Агавельян указал Пьеру Пуйяду, что надо сделать перерыв в тренировках, так как авиамеханики не успевают ремонтировать машины. А им еще требуется провести необходи-

мые регламентные работы. Пуйяд согласился с Агавельяном, собрал личный состав полка и объявил о временном прекращении полетов из-за большой аварийности. Он потребовал от летчиков максимума внимания. Через неделю Пуйяд возобновил прерванные занятия. Снова начались тренировки. И летные происшествия пошли на убыль.

Я поинтересовался, не собирается ли генерал Никитин добавить к этому еще что-нибудь. Тот ответил, что Левандович достаточно подробно информировал меня обо всем и ему добавить нечего. В заключение беседы я обязал Левандовича перед отлетом в Тулу пригласить ко мне генерала Э. Пети.

\* \* \*

Утром 18 мая меня посетил генерал Э. Пети. После взаимных приветствий и разговоров общего характера я сказал генералу:

— Верховный как-то спросил меня: «А что, думают ли французы развернуть полк «Нормандия» в дивизию? С нашей стороны нет возражений». Я ничего ответить Верховному не мог. И вот решил побеспокоить вас: что вы скажете по этому поводу?

Генерал Пети ответил, что глава правительства Франции генерал Шарль де Голль очень хотел бы развернуть полк «Нормандия» в авиационную дивизию и все в посольстве радовались, узнав об этом. Но, к сожалению, во Франции осталось очень мало летчиков. К тому же несколько лет они совсем не летали, им необходимо переучиваться. Эти люди совершенно не знают современных самолетов, так что даже пополнение авиаполка «Нормандия» происходит с трудом. Поэтому развертывание «Нормандии» в дивизию придется отложить до лучших времен, пока у генерала де Голля не появится достаточно летчиков.

На мой второй вопрос относительно того, куда лучше направить «Нормандию» — на Ленинградский ли фронт, который первым начнет летнюю кампанию, или на прежнее место, в 1-ю воздушную армию, — генерал Э. Пети ответил, что желательнее всего последний вариант. Лучше всего было бы разместить «Нормандию» на аэродроме совместно с 18-м гвардейским истребительным полком, который французы по-настоящему уважают. И это понятно. «Нормандия» проводила совместно с ним групповой воздушный бой, и много ценного французские летчики переняли от этого полка.

— Но ведь на Ленинградском фронте полку «Нормандия» значительно проще вести боевые действия, — возразил я. — Воздушная обстановка там значительно спокойнее, истребителей у противника мало, да и бомбардировщиков тоже, потери полка сократятся, что важно для будущего, когда начнем разворачивать его в авиадивизию.

— И все-таки прошу вас направить «Нормандию» в Триста третью истребительную авиадивизию, там им все знакомы, и летчики будут увереннее чувствовать себя. Я по себе это знаю, да и нормандцы жаждут отправиться на фронт на прежнее место, — ответил генерал Пети.

Его доводы показались мне резонными, и я согласился послать «Нормандию» в Белоруссию, в состав 303-й истребительной дивизии.

В заключение генерал Пети сказал, что 19 мая вместе с генералом Левандовичем улетает в Тулу для проверки полка, которая займет максимум два дня. Мы сердечно простились.

Генерал Левандович по возвращении из Тулы доложил, что проверка «Нормандии» закончена и полк полностью готов к отправке на фронт.

## В БОЯХ ЗА БЕЛОРУССИЮ

Полк «Нормандия» оставался под Тулой до 25 мая 1944 года, затем был перебросен на Западный фронт и произвел посадку на аэродроме Дубровка (шестьдесят километров западнее Смоленска). Полк снова поступил в оперативное подчинение 303-й истребительной авиадивизии генерала Г. Н. Захарова, дей-

ствовавшей в составе 1-й воздушной армии. Только что произошла смена командующего армией: вместо генерала М. М. Громова был назначен генерал Т. Т. Хрюкин.

Как и весной прошлого года, в первые дни после прибытия на фронт французские летчики получили возможность хорошо ознакомиться с районом боевых действий и выполняли задачи по перехвату разведчиков противника, прикрывая сосредоточение наших войск.

На третий день своего пребывания на фронте командир полка «Нормандия» Пьер Пуйяд решил совершить очередной облет района предстоящих боевых действий, в частности города Витебска, еще оккупированного фашистами. Днем 28 мая группа истребителей «ЯК-9Т» во главе с подполковником Пуйядом поднялась в воздух и взяла курс на запад, в сторону Витебска. Командир 3-й эскадрильи Марсель Лефевр, пролетев половину маршрута, заметил, что двигатель начал давать перебои. Лефевр по радио доложил командиру полка о случившемся и вынужден был вернуться на аэродром Дубровка под прикрытием своего ведомого Франсуа де Жоффра.

Лефевру удалось дойти до аэродрома, и хотя он был весь в бензине, он, не выключив зажигания (его первая ошибка), с ходу пошел на посадку и благополучно приземлился. В конце пробега машины летчик решил отрулить ее с посадочной полосы и с работающим мотором прибавил газу (его вторая роковая ошибка), вместо того чтобы, предварительно выключив зажигание, немедленно покинуть неисправный самолет. Как только истребитель развернулся на 90 градусов, в кабине вспыхнули пары бензина, и «ЯК-9Т» моментально загорелся. Охваченный пламенем, Лефевр выскочил из кабины и покатился по земле, пытаясь сбить огонь. Наши техники бросились к нему, накрыли своими куртками и потушили пламя.

Одежда летчика сгорела почти целиком, и он уже не мог подняться на ноги. В этот же день Лефевра транспортным самолетом отправили в Москву в госпиталь ВВС в Сокольниках. Семь дней врачи госпиталя боролись за жизнь одного из лучших французских летчиков, но уже ничего нельзя было сделать.

Я знал летчика Лефевра еще по 1943 году, много был слышан о нем. Храбрый и смелый, всегда равнявшийся в бой, он, как правило, успешно выполнял все боевые задания. Лефевр сбил 11 самолетов противника. Ему искренне нравились советские люди, он дружил со многими нашими летчиками, особенно из 18-го гвардейского полка, с которым ему приходилось много раз совместно вести воздушные бои. Марсель Лефевр был награжден двумя орденами — Отечественной войны II степени и Красного Знамени. Нельзя было не попрощаться с таким летчиком, тем более что родные его были далеко, в другой стране.

Вечером 3 июня я, член Военного совета ВВС генерал Шиманов и начальник медицинской службы ВВС генерал Ратгауз поехали в Сокольники навестить Марселя Лефевра, узнать, в каком он состоянии. Начальник госпиталя доложил, что летчик без сознания. У него в палате дежурят лечащий врач и медицинская сестра. Лечащий врач подтвердил, что сделать уже ничего нельзя...

Когда лично знаешь летчика, совершенные им боевые дела, смерть его тяжелым камнем ложится на сердце. С болью мы мысленно попрощались с Марселем Лефевром и с горькими думами уехали.

Два дня спустя начальник штаба ВВС генерал Ф. Я. Фалалеев доложил мне о смерти Марселя Лефевра, которая наступила этим утром.

6 июня я улетел в Ленинград, там начиналась Выборгская наступательная операция, в которой я отвечал за воздушную обстановку. Поэтому я отдал генералу Фалалееву приказание похоронить Марселя Лефевра в Москве со всеми воинскими почестями. Но необходимо было подумать о том, чтобы по-настоящему увековечить память Лефевра. Дрался он на советском фронте отважно, сбил 11 вражеских самолетов, не раз оказывался в тяжелых переплетах и всегда выходил победителем. Все говорило за то, что Лефевру надо посмертно присвоить звание Героя Советского Союза. Свои соображения на этот счет я высказал генералам Шиманову и Фалалееву. Оба они согласились со мной. Тут же

по телефону был вызван начальник управления кадров ВВС генерал В. И. Орехов, и я приказал ему подготовить необходимые материалы для представления летчика Лефевра к званию Героя Советского Союза.

Во время подготовки летнего наступления в авиаполку «Нормандия» произошло еще одно печальное событие.

Вечером 12 июня мне на Ленинградский фронт позвонил генерал-полковник авиации А. В. Никитин, временно заменявший меня в Москве, и доложил о том, что произошло у французов на фронтовом аэродроме. 6 июня днем там дежурило звено «Нормандии», готовое к вылету по сигналу. В составе звена оказался молодой летчик Морис Шалль, первый раз назначенный в боевой полет. По сигналу звено «Яков» поднялось в воздух, получив по радио задачу: «Перехватить и сбить самолеты противника, появившиеся над станцией Рудня».

Вслед за звеном «Нормандии» на перехват истребителей «ФВ-190», появившихся в этом районе, вылетела четверка «Яков» 18-го гвардейского полка. Ведущим этой четверки был заместитель командира эскадрильи полка старший лейтенант Архипов. Над Рудней оба звена «Яков» появились одновременно, и, увидев их, два вражеских «фоккера» спикировали до бреющего полета и на большой скорости ушли на свою территорию. Догонять их не имело смысла.

Младший лейтенант Морис Шалль был ведомым в звене и, боясь потерять ведущего, не заметил, как скрылись вражеские «фоккеры». Вдруг он увидел самолет, шедший со стороны солнца, и, предположив в нем вражеский истребитель, обстрелял его из пушки на встречных курсах. Это была машина Архипова. Подбитый Шаллем истребитель начал резко снижаться, оставляя за собой след черного дыма...

Генерал Захаров специально обсуждал все происшедшее с командиром полка «Нормандия» Пуйядом. Стало ясно, что летчик совершил трагическую ошибку: он был твердо убежден, что стрелял по противнику, и обещал искупить тяжкий проступок своей кровью.

Рассказ генерала Никитина взволновал меня не только потому, что я знал летчика Архипова, еще когда он воевал под Новгородом. Скорбел я и о его нелепой гибели. Жаль, безмерно жаль Архипова. Это был перспективный летчик!.. Мысли бежали одна за другой... Как поступить с Шаллем? Строго наказать и с позором отправить во Францию? Ну а какой от этого толк? Только глубокая травма для пилота на всю жизнь... Генерал Никитин тем временем ждал у телефона моего решения. Веря клятве Шалля, я решил оставить его в полку «Нормандия», дать ему боевую машину, на которой он мог бы искупить свою вину. Это свое решение я и сообщил генералу Никитину. О нем скоро стало известно в полку «Нормандия». Французские летчики высоко оценили решение советского командования и оправдали оказанное им доверие в новых воздушных сражениях. Морис Шалль снова получил самолет «ЯК-9». Накануне битвы за Белоруссию 21 июня он одержал свою первую победу, сбив в воздушном бою истребитель «Фокке-Вульф-190».

За первой победой последовали новые. С 21 июня 1944 по 25 марта 1945 года Морис Шалль сбил 10 вражеских самолетов, за что был награжден тремя советскими орденами.

В то время, когда я был в Восточной Пруссии, на III Белорусском фронте, там же в составе 303-й Смоленской истребительной дивизии воевал и Морис Шалль. Я справлялся у командующего 1-й воздушной армией генерала Хрюкина, как воюет «мой подопечный». Командующий неизменно отвечал, что воюет отлично, и как-то сообщил, что Шалль сбил уже 10 самолетов противника.

27 марта 1945 года Морис Шалль снова вылетел на боевое задание — требовалось отразить удары в районе Кенигсберга — и погиб в воздушном бою. Никто даже не видел места падения его самолета. Было бесконечно жаль молодого талантливого пилота Мориса Шалля, который погиб за сорок три дня до великого праздника победы над фашистской Германией...

Я прибыл на Ленинградский фронт для участия в Выборгской операции, которая начиналась 10 июня. На меня возложили координацию действий авиации

во время наступления. 20 июня город Выборг был освобожден нашими войсками, а рано утром 21 июня мне пришлось вылететь в Гомель, так как маршал Г. К. Жуков ожидал моего прибытия на I Белорусский фронт.

Для разгрома группы армий «Центр» в Белоруссии были выделены I Прибалтийский, III, II и I Белорусские фронты. На Георгия Константиновича Жукова была возложена координация боевых действий I и II Белорусских фронтов в предстоящей большой операции, а маршала Александра Михайловича Василевского направили для координации действий I Прибалтийского и III Белорусского фронтов. Меня же Верховный обязал координировать деятельность авиации тех фронтов, за которые отвечал Г. К. Жуков.

Георгий Константинович приветливо встретил меня и коротко ознакомил с изменениями плана наступательной операции, носящей условное название «Багратион», которые были внесены в него за последнее время. Ведь с планом предстоящего наступления в Белоруссии я уже был знаком, так как присутствовал при его обсуждении в Ставке. Маршал сообщил мне, что к наступлению все готово, что войска только ждут сигнала, и, не утерпев, спросил меня то ли шуточно, то ли серьезно:

— Надеюсь, наша авиация будет хозяйкой в воздухе, не так ли?

— Какой может быть разговор,— ответил я.— Противник, по данным разведки, может выставить против нас около тысячи трехсот пятидесяти боевых самолетов. Мы же сосредоточили для операции до пяти тысяч боевых самолетов.

— Добро! — сказал Г. К. Жуков, и мы расстались...

После войны стало известно, что генерал Вальтер Модель, возглавлявший тогда группу армий «Северная Украина», считал, что летнее наступление русских должно произойти именно на его фронте, и высшее гитлеровское командование с ним соглашалось. Поэтому все свободные резервы — пехота, танки, авиация — направлялись к Моделю. Однако в отличие от Моделя германский генеральный штаб не исключал возможности сочетания одновременно удара советских войск в Прибалтике. Группе армий «Центр» военное руководство фашистской Германии отводило второстепенное значение. Удар советских войск по группе армий «Центр» оказался для противника полной неожиданностью.

Советская Армия в Белоруссии перешла в решительное наступление. Наступательная операция развивалась весьма успешно. Так, с 23 июня по 29 августа, то есть почти за семьдесят дней, наши войска разгромили вражескую группу армий «Центр» и стремительно продвинулись на запад на пятьсот пятьдесят — шестьсот километров, при этом были освобождены: Орша — 27 июня, Вобруйск — 29 июня, Борисов — 1 июля, столица Белоруссии Минск — 3 июля, Вильнюс — 13 июля, Люблин — 24 июля, Белосток — 27 июля, Брест — 28 июля, Каунас — 1 августа и другие города.

В Белорусской операции, как я уже об этом говорил, господство в воздухе безусловно принадлежало нашей авиации. Боевые самолеты 3-й, 1-й, 4-й и 16-й воздушных армий днем и ночью буквально висели над вражескими войсками, громили живую силу, боевую технику противника, не давая ему передышки. Для этой же цели в конце мая перебазировали на аэроузлы в районах Чернигова, Нежина и Киева 8 корпусов ночной дальней авиации. Отсюда она могла более эффективно поддерживать наши наступающие войска, совершая за ночь по два боевых вылета.

Выполнение ее боевой задачи облегчалось тем, что гитлеровцы отходили только по дорогам, а дороги, особенно шоссе, ночью со средних и низких высот просматриваются летом удовлетворительно. Сворачивать в леса, где хозяйничали партизаны, противник не осмеливался. Все это облегчало задачи ночной авиации.

4 июля завершился первый этап блестящих сражений в Белоруссии, в результате которых немецкая группа армий «Центр» за двенадцать дней потерпела тяжелейшую катастрофу: были разгромлены и пленены ее главные силы (в основном 4-я и 9-я немецкие армии). Таким образом, в центре советско-германского фронта образовалась огромная брешь протяженностью до четырехсот километров. за-

крыть которую в ближайшее время противник не мог из-за недостатка сил. Наши войска устремились в эту брешь и, быстро развив наступление, вышли к прежним западным границам Советского Союза.

Французский авиаполк «Нормандия» тоже принимал активное участие в этой великой битве, сначала он сражался на севере Белоруссии, а потом дрался за освобождение Литвы.

«Нормандия» снова оказалась в поле моего внимания: она действовала на III Белорусском фронте в составе 1-й воздушной армии. В первые три дня наступления полк не вводился в действие. На четвертые сутки, 26 июня, к вечеру полк вылетел из Дубровки, чтобы блокировать крупный неприятельский аэродром в Балбасове (пять-шесть километров южнее Орши). Всего в тот день полк «Нормандия» сбил 8 немецких истребителей, и успех французов меня очень порадовал. С этого дня французские и советские летчики совместно вели интенсивную боевую работу: сопровождали бомбардировщики «ПЕ-2», блокировали вражеские аэродромы и вели «свободную охоту», совершая рейды в глубь занятой противником территории на полный радиус действия своих самолетов. Донесения командования и записи в журнале боевых действий 3-й гвардейской бомбардировочной и 303-й Смоленской истребительной авиадивизий, с которыми тесно взаимодействовал полк «Нормандия», говорят о том, что французские летчики умножили славу своей воинской части на завершающем этапе войны.

Я позволю себе рассказать один случай, происшедший в полку «Нормандия» и характеризующий отношение французских летчиков к советским авиатехникам. Год совместной работы привел к тому, что их взаимоотношения переросли в настоящую дружбу, заботу друг о друге.

Полк «Нормандия» до середины июля продолжал базироваться на аэродроме Дубровка и по-прежнему нес боевую службу. Но наши войска к тому времени продвинулись на запад более чем на двести пятьдесят километров. Из Дубровки летать на боевые задания стало далеко, и для полка определили новый аэродром базирования около литовской деревни Микунтани. С утра 15 июля все было готово к перелету. Обычно в таких случаях пилоты брали с собой и авиамехаников. Так поступил и летчик капитан Морис де Сейн, посадив в машину своего авиамеханика Владимира Белозуба.

Когда полк, взлетев, взял курс на новый аэродром, то после первого контрольного ориентира де Сейн доложил, что мотор работает с переборами, падает давление бензина. Пуйяд тут же приказал летчику возвращаться в Дубровку. Де Сейн развернул самолет на 180 градусов и пошел к аэродрому Дубровка, чтобы произвести посадку с ходу. После выпуска шасси пары бензина стали еще больше проникать в кабину, оседая на стеклах и одежде.

С первого захода посадить машину де Сейну не удалось: из-за бензинового тумана плохо просматривалась взлетно-посадочная полоса. Летчик ушел на второй круг, передав по радио, что он весь в бензине. С каждой секундой положение ухудшалось: концентрация паров бензина возрастала и де Сейн передал, что трудно дышать, самочувствие становится все хуже и хуже. Руководитель полетов на аэродроме Дубровка майор Дельфино по радио приказал де Сейну немедленно прыгать с парашютом. Но де Сейн слабым голосом отозвался: «А как же с механиком Володей? Он у меня за спиной и без парашюта».

Находящийся на командном пункте старший инженер полка С. Д. Агавельян, поняв безысходность положения, взял микрофон и передал по радио: «Де Сейн, прыгайте. Белозуба спасти невозможно, немедленно оставляйте самолет».

Однако летчик Морис де Сейн продолжал героическую борьбу за спасение жизни своего механика Володи Белозуба. На третьем заходе самолет, казалось, сядет более или менее нормально, но силы, видимо, покинули летчика и еле управляемый «ЯК-9» вдруг резко накренился и быстро пошел на снижение. Через несколько секунд последовал удар о землю, и самолет взорвался. Летчик Морис де Сейн и авиамеханик Владимир Белозуб погибли.

Когда командующий 1-й воздушной армией генерал Т. Т. Хрюкин доложил мне по телефону о гибели де Сейна и Белозуба, страшное известие меня словно



громом поразило. Сознание подсказывало мне, что эта трагедия — результат сознательного риска. Французский летчик подвергал собственную жизнь смертельной опасности, чтобы спасти своего советского друга. И его поединок со смертью кончился трагически. Поединок во имя торжества фронтовой дружбы...

Весть о благородном подвиге и гибели летчика де Сейна быстро разнеслась по нашим ВВС. О благородстве Мориса де Сейна говорили много и с уважением, сожалея о его и Белозуба гибели...

В Белорусской операции советские войска при активной поддержке авиации нанесли крупное поражение группе армий «Центр», освободили Белоруссию, большую часть Литвы, часть Латвии, восточную часть Польши и вышли к границам Восточной Пруссии.

В ходе этого наступления советская авиация совершила 153 тысячи боевых вылетов. Такого размаха ее боевых действий не было ни в одной из предшествовавших операций. Гитлеровские генералы сами вынуждены были это признать. В частности, в сборнике статей «Мировая война 1939—1945 годов» отмечается, что «зимой 1941 года немецкой бомбардировочной авиации был нанесен первый сокрушительный удар, а в 1944 году ее окончательно загубили в России». При этом указывается, что в период с 1 июня по 31 августа 1944 года авиация Германии потеряла 11 074 самолета, в том числе 1874 бомбардировщика, 1345 штурмовиков и 7855 истребителей.

Крупных боевых успехов добились и наши боевые друзья — французские летчики.

Советские войска продолжали стремительное наступление на запад, с ходу форсировали Неман на широком фронте и захватили несколько плацдармов на левом берегу реки.

Летчики 303-й Смоленской истребительной авиадивизии совместно с полком «Нормандия» надежно прикрывали наступающие войска III Белорусского фронта от налетов вражеских бомбардировщиков. За успешное выполнение заданий командования в эти дни в приказе Верховного Главнокомандующего от 31 июля 1944 года среди других соединений был отмечен и авиаполк «Нормандия», а всему личному составу полка объявлялась благодарность.

18 сентября французский авиаполк перебазировался на аэродром Антоньово (юго-западнее Каунаса) и получил новые и самые лучшие по тому времени боевые самолеты «ЯК-3». Французские летчики были очень довольны. Они восторгались изяществом машин, высоким качеством их отделки. В воздушном бою с любыми немецкими истребителями «ЯК-3» имел бесспорное превосходство.

Я знал о радостном настроении французских летчиков, получивших «ЯК-3». Но радость радостью, а как-то будет драться авиаполк на этих машинах? Некоторые наши авиачасти к тому времени были уже перевооружены. И советские летчики сражались в воздушных боях на новых самолетах «ЯК-3» превосходно. Только за шесть дней октября одержали на этих истребителях целую серию блестящих воздушных побед, уничтожив 88 самолетов врага и сверх того подбив еще 6 вражеских машин.

27 октября 1944 года командир полка «Нормандия» подполковник Пуйяд телеграфировал нашему командованию в Москву: «Полк одержал 200-ю официальную победу. Альбер сбил 23 самолета». Сражение, начатое «Нормандией» на полях Белоруссии, закончилось в Восточной Пруссии, и французские добровольцы заслуженно гордились своими успехами и победами. Они отлично понимали, что только благодаря героическим усилиям Советской Армии и всего советского народа удалось приблизить гитлеровскую Германию к позорному поражению. Им было ясно, что освобождение их собственной страны от фашистской оккупации в конечном итоге зависит от успехов советских войск, именно потому французские добровольцы были полны решимости сражаться до полной победы над германским фашизмом.

Отмечая новые боевые заслуги французских летчиков, Советское правительство наградило многих из них советскими орденами. В Указе Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 26 октября 1944 года в списке награжденных числилось 25 офицеров «Нормандии» во главе с командиром полка Пьером Пуйядом.

27 ноября 1944 года два отважных французских аса старший лейтенант Марсель Альбер и старший лейтенант Роллан де ля Пуап были удостоены звания Героев Советского Союза.

Учитывая активное участие полка «Нормандия» в боях за освобождение Литовской ССР, приказом Верховного Главнокомандующего от 28 ноября 1944 года полку «Нормандия» присвоили почетное наименование Неманский.

Высокие награды французским летчикам, присвоение «Нормандии» нового почетного наименования — все это вызвало у летного состава радостное возбуждение. В торжественной обстановке состоялся митинг, который открыл новый командир авиаполка майор Луи Дельфино, назначенный на эту должность вместо отошедшего во Францию Пьера Пуйяда. Он проникновенно и тепло сказал:

— Командование высоко оценило работу полка, присвоив ему наименование Неманский. Мы прибыли в СССР как в свою семью и работаем рука об руку с замечательными советскими летчиками. Мы очень довольны работой советских механиков, которые обеспечили безотказную работу самолетов. Получив высокие награды Советского правительства, мы еще с большей силой будем бить нашего общего врага — гитлеровскую Германию.

Речь Луи Дельфино была напечатана в газете «Правда» 30 ноября 1944 года, там же публиковался и текст выступления Героя Советского Союза старшего лейтенанта Марселя Альбера.

Французские летчики взволнованно переживали радостное событие, настроение у всех было приподнятое. Все обещали еще активнее биться с врагом. И авиаполк «Нормандия—Неман», как теперь его стали называть, свое обещание блестяще выполнил.

## В БОЯХ НАД ВОСТОЧНОЙ ПРУССИЕЙ

В конце ноября 1944 года в Москве ожидался визит председателя временно-го правительства Французской республики генерала Шарля де Голля. Первые дни пребывания де Голля в Москве были заняты деловыми переговорами с Советским правительством. Потом глава временного французского правительства выразил желание посмотреть офицерский состав полка «Нормандия—Неман» и вручить офицерам французские награды.

Я в то время только что прибыл в Москву с I Белорусского фронта. С генералом де Голлем меня познакомил И. В. Сталин, заметив при этом, что товарищ Новиков является командующим ВВС Красной Армии и у него находится в подчинении полк «Нормандия—Неман». Новиков говорит, что французские летчики хорошо воюют. Это я слышал и от других военных.

Офицерский состав полка «Нормандия—Неман», вызванный с фронта генералом де Голлем для представления ему, прибыл в Москву специальным поездом утром 9 декабря и разместился в гостинице Центрального Дома Красной Армии.

Накануне из Секретариата Верховного Совета СССР мне сообщили по телефону, что вручать награды французским летчикам и советским механикам буду я и что это надо сделать завтра днем, так как вечером офицеры полка будут представляться Шарлю де Голлю, который и вручит им французские ордена.

9 декабря днем в Краснознаменном зале ЦДКА (ныне ЦДСА) в торжественной обстановке я вручил советские награды французским летчикам и советским авиамеханикам полка «Нормандия—Неман». Вечером торжественная церемония представления летчиков полка «Нормандия—Неман» де Голлю и награждение их продолжалось во французском посольстве. Ордена вручал каждому сам генерал де Голль. Потом состоялся банкет, на котором было сказано много теплых речей о дружбе французов с советскими авиаторами, произносились тосты за освобождение многострадальной Франции...

В конце декабря советское командование поставило перед личным составом полка «Нормандия—Неман» задачу по прикрытию наземных войск Советской

Армии, перешедших границу Восточной Пруссии. И вновь его летчики вели борьбу против общего врага, вели ее с полным напряжением сил. Только в январе 1945 года над Восточной Пруссией — цитаделью германского фашизма — они совершили около 500 боевых вылетов, уничтожив в воздушных боях 49 и повредив 15 вражеских машин. За эти бои полк «Нормандия—Неман» дважды был отмечен в приказах Верховного Главнокомандующего.

В феврале—марте 1945 года войска III Белорусского фронта при активной поддержке 1-й и 3-й воздушных армий разгромили окруженную группировку противника юго-западнее Кенигсберга, занимавшую Хейльсбергский укрепленный район. Опираясь на долговременные оборонительные сооружения, здесь упорно сопротивлялось до 20 вражеских дивизий. Свою авиационную группировку противник усилил лучшими в германском воздушном флоте истребительными эскадрами «Мельдерс» и «Удет». Сопротивление в воздухе заметно усилилось.

Войскам III Белорусского фронта предстояло разгромить хейльсбергскую группировку к 25 февраля. До срока, определенного Ставкой, оставалось двое суток, а конца боев в этом районе не предвиделось.

Утром 24 февраля я вылетел на III Белорусский фронт и приземлился на аэродроме в Растенбурге, где меня встретил командующий 1-й воздушной армией генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин. Он познакомил с состоянием дел в своей армии. Затем я направился к маршалу А. М. Василевскому.

Александр Михайлович коротко изложил мне план операции: вначале наши войска громят хейльсбергскую группировку, потом штурмом овладевают Кенигсбергом и заканчивают боевые действия ликвидацией вражеских соединений на Земландском полуострове. Такая последовательность несколько затягивала операцию, но иного выхода не было. В заключение маршал Василевский сказал, что решением Ставки I Прибалтийский фронт переименовывается в Земландскую группу войск, которая вливается в состав III Белорусского фронта. Войска сейчас готовятся к ликвидации хейльсбергской группировки.

От маршала Василевского я вернулся в Грос-Колен, в штаб генерала Хрюкина, и вместе с ним мы начали разработку плана по использованию авиации в предстоящем наступлении.

Авиаполк «Нормандия—Неман» уже два месяца сражался в Восточной Пруссии. Сражался, как всегда, самоотверженно и стойко. Как раз в самый канун моего вылета на фронт 44 его летчика были снова награждены, а сам полк получил орден Красного Знамени.

Итак, войска III Белорусского фронта 13 марта перешли в наступление. и участь хейльсбергской группы вражеских войск была решена: 29 марта она перестала существовать. Наша авиация в этом ожесточенном сражении явилась той силой, которая во многом способствовала успеху операции. Летчики 303-й Смоленской истребительной дивизии и полка «Нормандия—Неман» за это время провели вместе 202 воздушных боя, в которых сбили 132 вражеских самолета. Кроме того, при блокировке аэродромов они уничтожили еще 44 боевые машины противника.

Свою последнюю боевую страницу в летопись славных ратных дел летчики-истребители авиационного соединения генерала Г. Н. Захарова и авиаполка «Нормандия—Неман» вписали в период ликвидации вражеского гарнизона в Кенигсберге.

Гитлеровцы отводили Кенигсбергу исключительно важную и не только чисто военную, стратегическую, но и политическую роль. Нетрудно поэтому было предположить, какой резонанс весть о его падении вызовет среди немцев, особенно в гитлеровской армии.

Советское командование отдавало себе ясный отчет в том, насколько трудно будет овладеть Кенигсбергом с его многочисленным, прекрасно вооруженным, надежно защищенным от ударов с земли и воздуха гарнизоном. Достаточно сказать, что для обороны Кенигсберга противник привлек более 130 тысяч человек, до 4 тысяч орудий и минометов, более 100 танков и штурмовых орудий. На аэродромах Земландского полуострова — в Грос-Диршкайме, Грос-Хубникене и Ной-

тифе — базировалось 170 боевых самолетов. От нападения с воздуха Кенигсберг защищало 56 зенитных батарей. В городе имелись подземные заводы и склады с достаточным количеством продовольствия и боеприпасов.

Замысел операции сводился к следующему: мощными ударами с севера и юга по сходящимся направлениям рассеять гарнизон Кенигсберга на изолированные группы и штурмом овладеть городом. Для пресечения попыток врага помешать штурму со стороны Земландского полуострова из района Кенигсберга намечался вспомогательный удар в западном направлении.

Для быстрейшего разгрома окруженного противника советское командование сосредоточило здесь сильную артиллерийскую группировку — до 5 тысяч орудий и минометов — и значительные авиационные силы в составе трех воздушных армий, ВВС Краснознаменного Балтийского флота и двух бомбардировочных авиакорпусов резерва Верховного Главнокомандования.

Общее руководство и координацию боевых действий всей авиации III Белорусского фронта Ставка возложила на меня. Мы понимали, что хотя авиации и артиллерии в овладении городом отводилась исключительно большая роль, но последнее слово всегда принадлежало пехоте и задача летчиков — всемерно помогать ей. Не являлось, однако, секретом и то, что действия пехоты в таком приспособленном к обороне городе, как Кенигсберг, наиболее успешными окажутся лишь в том случае, если летчики сумеют непрерывно сопровождать ее на поле боя, и так, чтобы удары с земли дополнялись ударами с воздуха, чтобы лавина наземного и воздушного огня прочно загоняла фашистов в укрытия. Поэтому мы старались создать не только мощную бомбардировочную, но и сильную штурмовую группы.

3 апреля 1945 года подготовка операции была закончена. Маршал А. М. Василевский позвонил в Москву и доложил о готовности фронта к штурму Кенигсберга. Выслушав короткий доклад Василевского, Верховный Главнокомандующий санкционировал начало операции, сказав, что надо быстрее кончать с противником в Восточной Пруссии.

С утра 6 апреля начался штурм Кенигсберга. Более двух часов шла огневая обработка вражеской обороны из артиллерийских орудий и минометов. Залпы орудий особой мощности буквально сотрясали землю.

Ровно в 12 часов в атаку пошли штурмовые отряды пехоты и танки прорыва. Их сопровождали штурмовики и истребители. Низкая облачность помешала широко использовать бомбардировочную группу, да и истребительная авиация в этот день работала без напряжения. Отсутствие мощного авиационного воздействия на противника в первый день наступления сказалось на результативности боевых действий наших сухопутных войск. К исходу дня они продвинулись вперед на два — четыре километра.

На 7 апреля метеорологи дали благоприятный прогноз, и я распорядился всю бомбардировочную авиацию перенацелить для действий по основным узлам сопротивления противника, непосредственно перед фронтом наступающих войск.

С утра штурмовики непрерывными волнами повисли над вражескими позициями, уничтожая очаги сопротивления, препятствующие нашей пехоте и танкам. Истребители 11-го авиакорпуса, как только рассеялся утренний туман, нанесли несколько штурмовых ударов по аэродромам в Грос-Диршкайме и Грос-Хубнике-не, а затем блокировали их с воздуха.

В 10 часов утра начали боевые действия бомбардировщики 1-й и 3-й воздушных армий, нанеся три последовательных удара по артиллерийским позициям и по районам наибольшего сопротивления противника в самом Кенигсберге.

В 13 часов 10 минут появились тяжелые бомбардировщики 18-й воздушной армии... Массированный удар 516 тяжелых самолетов возымел свое действие. Многие опорные пункты и форты были разрушены, движение по городу прекратилось, командование гарнизона, как впоследствии показал опрос пленных, потеряло управление частями и не смогло маневрировать резервами. Наши войска начали продвигаться к центру Кенигсберга.

7 апреля немцы попытались помешать нашей авиации в воздухе, но безре-

зультатно. Советские истребители провели 22 воздушных боя и сбили в них 16 вражеских машин; кроме того, 36 самолетов было уничтожено нами на аэродромах.

На 8 апреля мы запланировали для своей авиации свыше 6 тысяч боевых вылетов. С рассветом поднялись в воздух штурмовики и дневные бомбардировщики; часть их громила врага в самом Кенигсберге, другая непрерывно штурмовала и бомбила танки и пехоту западнее города, то есть земландскую группировку. Петля вокруг остатков кенигсбергского гарнизона стала неумолимо затягиваться. К вечеру земландская группировка была разгромлена и начала отходить на Пиллау.

Утром 9 апреля началась заключительная стадия штурма — несколько тысяч орудий и минометов открыли ураганный огонь по цитадели и последним опорным узлам обороны фашистов. Авиации, по существу, уже нечего было делать в самом городе, и она небольшими группами наносила удары по ипподрому и аэропорту, не позволяя приземляться транспортным самолетам, на которых гитлеровское командование пыталось вывезти из города руководящий состав гарнизона.

К исходу дня враг сложил оружие. Главный город Восточной Пруссии Кенигсберг пал. Сильнейшая крепость с многочисленным, хорошо вооруженным гарнизоном, надежно укрытым за толстыми стенами старинных фортов и дотов, была разгромлена за четверо суток. То была поистине блистательная победа нашей армии!

Успех штурма этой твердыни в значительной мере обеспечили действия советской авиации, в составе которой сражался в те дни и французский полк «Нормандия—Неман». И снова советские и французские авиаторы, принимавшие участие в штурме Кенигсберга, были удостоены благодарности Верховного Главнокомандующего.

Отдав распоряжение о перебазировании трех авиакорпусов, я к вечеру 10 апреля улетел на I Белорусский фронт; 16 апреля начиналась завершающая Берлинская операция и время подгоняло меня.

Мне хотелось побывать у французских летчиков — боевых друзей, поздравить их с новыми боевыми успехами, поблагодарить за Кенигсберг, да и просто так побеседовать. К сожалению, и на этот раз ничего не вышло. Снова нашлись неотложные дела и пришлось отложить встречу с полком «Нормандия—Неман» до окончания войны.

## КОНЕЦ ВОЙНЫ

Конец войны застал французских летчиков на аэродроме Эльбинг. Боевая эпопея полка «Нормандия—Неман», сражавшегося плечом к плечу с советскими авиаторами, закончилась. Свой боевой путь они прошли с честью. За время пребывания на советско-германском фронте с 22 марта 1943 года по 2 мая 1945 года французские летчики совершили свыше 5 тысяч боевых вылетов, участвовали в 869 воздушных боях, уничтожили 268 и подбили свыше 70 немецких самолетов.

За храбрость и героизм, проявленные в борьбе с немецким агрессором, 117 французских летчиков были награждены орденами СССР, а четверо из них удостоены высшей военной награды — звания Героя Советского Союза. Марсель Альбер уничтожил 23 самолета врага, Роллан де ля Пуап — 16, Жак Андре — 15 и Марсель Лефевр — 11, а общее число сбитых ими немецких самолетов достигло внушительной цифры — 65. Сам авиаполк «Нормандия—Неман» был награжден за боевые отличия и отвагу личного состава орденами Красного Знамени и Александра Невского. Кроме того, за время пребывания на советско-германском фронте полк семь раз отмечался в приказах Верховного Главнокомандующего и четыре раза в приказах по Военно-Воздушным Силам Франции за смелость и боевое мастерство личного состава, проявленные в воздушных схватках с врагом.

В свою очередь, многие советские авиаторы были награждены французскими орденами, в том числе и немалое количество наших авиационных специалистов, обслуживавших боевую технику, на которой летали французские летчики. Среди награжденных были: генерал Г. Н. Захаров — командир 303-й Смоленской истребительной авиадивизии, в составе которой нес боевую службу полк «Нормандия—Неман»; генерал С. Т. Леванович — постоянный представитель коман-

дования советских ВВС, на обязанности которого лежала поверка готовности полка к боевым действиям и его боевая жизнь; старший инженер полка С. Д. Ага-кельян, от которого во многом зависела исправность материальной части самолетов и их боеготовность; и многие другие...

За особые заслуги и помощь в обеспечении боевых действий полка «Нормандия—Неман» звание кавалера Почетного легиона Большого офицерского креста получили я и советский авиационный конструктор А. С. Яковлев, а маршал авиации Ф. Я. Фалалеев — звание командора Почетного легиона.

Я вернулся с фронта в Москву 12 мая и через день был у И. В. Сталина на приеме. От него я узнал, что летчики полка «Нормандия—Неман» должны выехать в Москву, а потом отправиться во Францию. Памятуя о встрече и проводах французских летчиков, я сказал, что командованию ВВС желательно было бы достойно встретить их и заодно проситься с ними в торжественной обстановке.

И. В. Сталин охотно с этим согласился и добавил:

— Вы будете награждать французов, можно совместить и прощание с ними. Они воевали хорошо.

Приехал в штаб ВВС, я вызвал начальника управления кадров генерала В. И. Орехова и генерала С. Т. Левандовича. Им было поручено подготовить наградные листы на двух французских летчиков, которых мы представляли к высокой правительственной награде. Просмотрев бумаги, я подписал их, ходатайствуя о присвоении звания Героя Советского Союза Жаку Андре и Марселю Лефевру (посмертно).

— Когда будет готов проект Указа Верховного Совета СССР, — приказала генералу Орехову, — доложите мне.

В конце мая я снова прибыл в Кремль для доклада и предложил подготовленный нами проект Указа Сталину. Он молча завизировал Указ.

Кончив официальный доклад, я рассказал присутствовавшим здесь членам Государственного Комитета Оборона о том, как трогательно прощались французские летчики с самолетами «ЯК-3», на которых они дрались с октября 1944 года.

— Хочу просить вас, товарищ Сталин, — обратился я к Верховному, заканчивая рассказ, — подарить французам эти боевые самолеты. Они были бы счастливы и полетели бы на подаренных машинах во Францию.

Я замолчал, ожидая ответа.

Сталин, попыхивая трубкой, прошелся несколько раз по кабинету, обдумывая что-то, и наконец сказал:

— Хорошо, товарищ Новиков, разберемся...

Французские летчики спешили домой, где их ждала вся Франция. 1 июня они вылетели на транспортных самолетах с аэродрома Эльбинг в Москву и прибыли в советскую столицу в тот же день. По первоначальному плану, французы предполагали несколько дней провести в Москве, закончить свои дела, а потом через Каир и Африку направиться во Францию. Пока же они отдыхали в Москве: посещали театры, кино, музеи, совершали прогулки по городу...

Время быстро летело, прошло уже три дня, как они прилетели, а Указ Президиума Верховного Совета СССР об их награждении все еще не был подписан. Я позвонил секретарю Президиума Верховного Совета Горкину и попросил оформить Указ о награждении французских летчиков, так как они скоро отбывают во Францию. Горкин обещал сделать все необходимое. И действительно, Указ Президиума Верховного Совета был подписан 4 июня 1945 года, а на следующий день появился во всех центральных газетах.

Я не знал, что 2 июня 1945 года И. В. Сталин получил послание от председателя временного правительства Французской республики Шарля де Голля, в котором тот просил передать полк «Нормандия—Неман» в распоряжение французской авиации, поскольку боевые действия в Европе закончены. И только 5 июня при очередном докладе И. В. Сталину я услышал от него об этой просьбе де Голля. Верховный добавил, что с советской стороны не было и нет повода задерживать отправку полка во Францию и что он известил об этом Шарля де Голля в ответном послании.

После окончания своего доклада я ознакомился с текстом этого послания.

«Послание  
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР  
председателю временного правительства Французской республики  
Шарлю де Голлю

5 июня 1945 года.

Ваше послание от 2 июня получил. Французский авиационный полк «Нормандия—Неман» находится в Москве и готов к отъезду во Францию. С советской стороны не было и нет какого-либо повода к задержке его отбытия во Францию. Полк пойдет на Родину в полном вооружении, то есть при самолетах и авиационном вооружении, маршрутом через реку Эльбу и далее на запад. Я считаю естественным сохранить за полком его материальную часть, которой он пользовался на восточном фронте мужественно и с полным успехом. Пусть это будет скромным даром Советского Союза авиации Франции и символом дружбы наших народов.

Прошу принять мою благодарность за хорошую боевую работу полка на фронте борьбы с немецкими войсками».

Днем 8 июня в Центральном Доме Красной Армии должно было состояться вручение правительственных наград французским летчикам, отъезжавшим на родину. По поручению Президиума Верховного Совета мне предстояло вручить эти награды французам. На церемонию прибыли французский посол в СССР Ж. Катру, глава французской военной миссии в Москве генерал Э. Пети с супругой и дочерью, заместитель наркома иностранных дел С. А. Лозовский, маршал авиации Ф. Я. Фалалеев, маршал авиации Г. А. Ворожейкин, член Военного совета ВВС генерал-полковник авиации Н. С. Шиманов, генералы В. И. Орехов, Т. Т. Хрюкин, С. Т. Левандович и другие.

Французы встретили гостей и меня в Краснознаменном зале в торжественном строю. Я поприветствовал их и начал церемонию вручения наград. Прежде всего я довел до их сведения, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1945 года авиационный истребительный полк «Нормандия—Неман» за образцовое выполнение боевых заданий при овладении городом и крепостью Пиллау награжден орденом Александра Невского. Это вызвало бурю аплодисментов у летчиков-французов и у присутствующих в зале. Первым получил орден Красного Знамени и медаль «За победу над Германией» генерал Эрнест Пети, что также вызвало бурные аплодисменты. Затем медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и Грамота Героя Советского Союза были вручены французскому летчику Жаку Андре, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Марселя Лефевра, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза, были переданы дивизионному генералу Э. Пети.

Вручив французам ордена и медали «За победу над Германией», я поздравил награжденных от имени Советского правительства, поблагодарил их за активное участие в борьбе с гитлеровцами, приведшей нас к блестящей и вместе с тем трудной победе над фашистской Германией.

— Желаю вам, боевые друзья, счастья, новых успехов на мирном поприще, а также желаю долететь на подаренных вам боевых самолетах «ЯК-3» в любимую Францию без всяких происшествий.

В эти дни Государственный Комитет Обороны СССР принял решение о передаче 41 боевого самолета и авиационного вооружения в качестве дара Советского Союза французской авиации. Одновременно этим же решением летному составу и семьям погибших французских летчиков было выдано денежное пособие за время пребывания на советско-германском фронте.

С чувством глубочайшей благодарности эти дружественные акты Советского правительства были восприняты летчиками полка «Нормандия—Неман». Весть об этом распространилась и по Франции. Выражая чувства французского народа, глава временного правительства Франции Шарль де Голль в письме на имя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР писал:

«Мы с гордостью встретим возвращение наших летчиков из полка «Норман-

дия—Неман» на тех самолетах, на которых они сражались бок о бок со славными советскими армиями. Вы можете быть уверены в том, что французское правительство и народ высоко ценят дар, сделанный Франции Советской Россией. Они видят в нем яркое свидетельство глубокой дружбы наших обоих союзных народов».

А вот что говорилось по этому поводу в послании министра авиации временного правительства Франции Шарля Тийона Советскому правительству:

«Французский воздушный флот счастлив и горд хранить и держать в строю советские самолеты, которые позволили французским летчикам сражаться вместе с Красной Армией против нашего общего врага.

Я вижу в этом знак тесного союза, который, родившись на полях сражений, должен быть сохранен между советской авиацией и французским воздушным флотом.

От имени французского воздушного флота я прошу вас принять нашу самую горячую и восторженную благодарность».

Итак, французские летчики 11 июня прибыли на аэродром Эльбинг, где их ждали самолеты «ЯК-3», на которых им предстояло отправиться во Францию. Началась подготовка к перелету. Маршрут был проложен на аэродромы Эльбинг, Познань, Прага, Штутгарт, Сан-Дизье и Париж (Бурже). 14 июня с утра все было готово к старту. Полк «Нормандия—Неман» в составе 41 самолета «ЯК-3» поднялся в воздух и взял курс на аэродром Познань в сопровождении советских механиков, во главе со старшим инженером полка Сергеем Давыдовичем Агавельяном.

20 июня 1945 года на парижском аэродроме Бурже Франция торжественно встречала своих достойных сынов.

\* \* \*

Заканчивая воспоминания, было бы непростительно не напомнить о летчиках-добровольцах из Франции, павших смертью храбрых на советско-германском фронте.

Остались лежать в русской земле 42 французских добровольца из 1-го отдельного истребительного авиационного дважды орденосного полка «Нормандия—Неман». Все они дрались насмерть с ненавистным врагом — германским агрессором, защищая свободу и независимость Советского Союза и одновременно честь и свободу поверженной Франции.

У большинства на боевом счету были сбитые вражеские самолеты. Так, например, Альбер Литтольф сбил 14 машин, Марсель Лефевр — 11, Морис Шалль — 10, Альбер Дюран — 6, Жорж Анри — 5, Альбер Прециози — 5, Ноэль Кастелэн — 4, Жан Луи Тюлян — 4, Жорж Леон — 3...

И недаром имена погибших в воздушных боях французских летчиков золотыми буквами написаны на мемориальной доске, установленной на доме № 29 по Кропоткинской набережной в Москве, где во время Великой Отечественной войны находилась французская военная миссия.

В тяжелых воздушных боях на советско-германском фронте погибли в 1943 году 20 летчиков, в 1944 году — 13 и в 1945 году — 9.

Советский и французский народы никогда не забудут о французских летчиках-добровольцах, отдавших свои жизни в боях за освобождение человечества от фашизма.

Прошло тридцать лет с тех пор, как отгремели последние залпы второй мировой войны. Но время не властно стереть в нашей памяти светлые образы французских летчиков, сражавшихся на советско-германском фронте. Их славные дела и героические подвиги живут и будут жить, являясь ярким олицетворением традиционной дружбы и сотрудничества между двумя великими свободолюбивыми народами.





---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## ЭТА ОБМАНЧИВАЯ, ОБМАНЧИВАЯ ПУСТЫНЯ

Англия

J. Valzey, *Knee-deep*, „New Statesman“, 22 February 1974.



«В эту пору пустыня была полна отшельников.

Анатолий Франс, «Тавис».

Если правду говорят, что от невзгод обостряется интерес к проблемам «духа», то, вероятно, нечто подобное происходит сейчас на Западе. Показательна в этом отношении статья Джона Вэйзи в лондонском еженедельнике «Нью стейтсмен», сопоставившая две американские книжные новинки: «Наступление послеиндустриального общества» Д. Белла и «Где кончается пустыня» Т. Розака<sup>1</sup>. Дэниэл Белл — влиятельнейший неолиберальный социолог, автор в свое время нашумевшей книги «Конец идеологии», за которой, как пишет Вэйзи, «воспоследовала и в Европе и в Америке едва ли не большая идеологическая завербованность, чем когда-либо раньше». Появление новой книги Белла сопровождается «фактическим упадком индустриального (капиталистического, разумеется.— Ю. К.) общества в результате инфляции и энергетического кризиса».

Лейбористский «Нью стейтсмен» отнюдь не настроен острокритически в отношении концепций «технократического общества», одним из апологетов которого является Белл. Тем примечательней оценка его последней книги как «неудавшейся». Хотя Белл, пишет Вэйзи, несколько отступил от чисто сциентистской позиции, признав, что современное буржуазное общество страдает «культурным авитаминозом», ему, Беллу, все-таки недостает «чувства светлого и темного». Книга Розака, трактующая именно субтильные вопросы «духа», «производит более радостное впечатление», хотя она и «пострадала от убеждения американских издателей, что «важные» книги обязательно должны быть очень большими». Сам рецензент ограничился немногими словами комментария, подчеркнув лишь, что Розак зря, по его мнению, строит свое мировоззрение по У. Блейку (поэту), потому что Блейк слишком уж «апокалипсичен».

Так все-таки: радостно или апокалипсично становится от чтения книги Розака? Последняя заслуживает более пространного комментария. Публицист и историк, преподаватель Калифорнийского университета Теодор Розак поставил себя в положение главного антагониста буржуазной Америки в ее же собственном стане. Такую репутацию ему создала уже его первая книга, появившаяся пять лет назад, «Становление контркультуры». «Если американская технократия — это тезис,— писал тогда социолог Кеннет Кенистон,— Розак прекрасно формулирует антитезис». В новой книге Розака «Где кончается пустыня. Политика и трансцендентность в послеиндустриальном обществе» смысл и содержание этих «контр» и «анти» раскрываются особенно полно.

---

<sup>1</sup> Theodore Roszak. Where the wasteland ends. Politics and Transcendence in Postindustrial Society, N.-Y., 1973.

В ней, собственно, речь идет о становлении уже не только «контркультуры», но и некоего «контробщества», пробирающегося в расщелинах буржуазного общества. Это «множество мужчин и женщин», по видимости отпавших от буржуазности и в поисках альтернативного «образа жизни» устремившихся... Куда устремившихся? Роззак всматривается в омраченный горизонт, пытаюсь разглядеть исторические пути-дороги, взбодрить двинувшихся «куда глаза глядят» путников худо ли, бедно ли сформулированным символом веры. Чтобы их протестующий «исход» имел бы, по его словам, характер не столько «бегства от», сколько «бегства к».

Итак, «после долгого странствия мы, кажется, достигли исторического перевала, откуда наконец видно, где кончается пустыня». Умолчим пока об этой открывшейся Роззаку перспективе. «Пустыня» — это есть та самая духовная пустыня, которую из века оглашал стенаниями пророк. В данном случае имеется в виду современное буржуазное общество, которое Роззак предпочитает именовать «технократическим обществом», в США принимающим облик «пленительной технократии» (это словосочетание употребляется им примерно с тем же чувством, с каким Щедрин писал о «кротком градоначальствовании»).

«Пленительная технократия» тем «пленительна», что никогда не делает дурной мины, всегда щедра на обещания, всем сулит «сладкую и пританцовывающую жизнь» (на деле, подчеркивает Роззак, доступную немногим). Герман Кан, один из идеологов «потребительского рая», бодро утверждает, например, что рано или поздно все «окажут вовлеченными в общую релаксацию». «Что за дивная концепция эта «общая релаксация»! — иронически восклицает Роззак. — Несомненно, она наступает как раз перед *rigor mortis*, т. е. смертным оцепенением. Но в том-то и дело, — пишет он, — что приплясывающее общество подпало под власть «эроса» и не внемлет голосу его фрейдистского напарника — «танатоса» (инстинкта смерти); американец не может выбросить из головы эротическое (что, вероятно, нелегко: «масс медиа» не дают), а ему бы одуматься, прислушаться, что ему нашептывает «танатос»...

Роззак сам плоть от плоти «приплясывающего общества», и ему, должно быть, ведомы его инстинкты. И «эрос» и «танатос» обретают голос, когда утрачивается смысл жизни, слабеют общественные, семейные связи, распадается преемство времен. Тогда-то на пустом месте и эротизм расцветает (эротизм современного буржуазного общества — это не «чрезмерная чувственность», по определению «Словаря иностранных слов», но лихорадочный поиск чрезмерной чувственности, подменившей здоровую чувственность) и возникает гиперболическая устрашенность конечностью индивидуального существования. И вовсе не чужды друг другу два искusstителя. Римские патриции периода упадка, согласно легенде, «помнили о смерти» — «*memento mori*» — было начертано на их пиршественных кубках. «Приплясывающее общество» тоже, вероятно, не глухо к коварному напоминанию, Роззак же просто произносит вслух всем известные «неприличные вещи».

Хотя бог, как известно, умер, продолжает Роззак, «приплясывающее общество» не торопится его похоронить. Он «застрял» в нем подобно хорошо забальзамированному родственнику, и к нему продолжают относиться с внешним почтением, соблюдая поверхностную религиозность. Но кому с настоящим интересом, прямо-таки заворожено внимают — так это «духу зла». «Интеллектуальная элита» кокетничает с дьяволом, литература и искусство изощряются, как бы размалевать зло пострашнее да поотвратительнее, представить его неискоренимым, тем самым посевая «всеобъемлющий цинизм». Все это так, но у Роззака получается, что в какой-то мере в этом повинен сам современный образ мышления (не мысли, подчеркиваем, а мышления) с его трезво-рационалистической — и в этом смысле научной — основой.

Роззак отнюдь не сожалеет о «смерти бога», напротив — он, наверное, охотно поприступовал бы при его погребении. Немало злых слов находит он в адрес «гротесковых идиотизмов христианской истории, от которых столько умных людей зажимало носы». Но Роззак объявляет контры не только христианскому богу, но и науке. Совершая продолжительный экскурс в историю, он пытается доказать недоказуемое, а именно: что современную науку будто бы породило христианство, от которого она унаследовала некую «одномерность видения». И жонглирует тем фактом, что иные из зачинавших науку необыкновенных голов украшала тонзура. Едва ли заслуживают

отповеди такие пассажи: слишком известна непримиримая враждебность религии и науки, углубленная мученичеством молодой науки, поплатившейся многими головами, в том числе с тонзурой. Все дело, однако, в том, что для Роззак и христианский бог и наука — «идолы», которым по традиции поклоняется буржуазное общество, а значит, должно поставить эти «идолы» рядом и подпалить их (правда, Роззак не «отрицает» науку ни в ее теоретическом, ни в прикладном значении, но он всячески умаляет ее пользу для человека).

Ополчаясь на эти «буржуазные капища», Роззак поднимает знамя мистики. Мистика, говорит он, «неблагозвучное слово... всякий открытый интерес к оккультному, или мистическому, вызывает подозрения, которые я сам прежде разделял». Верно, что «благомыслящему» американцу с его традиционным практицизмом мистика всегда претит, но времена меняются — теперь в буржуазной же среде слишком многим претит «благомыслие», слово «мистика» едва ли вызовет у них подозрения, скорее всего в нем будет услышана желанная бравада. Да и «благомыслящих» стыдливый интерес к оккультному ныне все более одолевает.

Сражаясь фактически на две стороны — против науки и против христианства, — Роззак из-под слуда истории извлекает себе в помощь «старый гносис<sup>2</sup>». Но если с наукой мистика действительно непримирима, то с христианством у нее всегда были весьма сложные отношения — общая им вера в «потустороннее» делала их то союзниками, то соперниками. И «старый гносис» в понимании Роззак — это «религия в ее извечном смысле». Христианский бог, гневается Роззак, поставлен над миром, в нем, как в «концентрате бульона», сосредоточена вся «святость», а эта «святость» должна быть разлита в природе. То есть Роззак то ли какой-то пантеизм предлагает, то ли даже анимизм. Как говорится, тех же щей, только без концентрата.

К. Маркс отметил, что деятели буржуазии «боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории»<sup>3</sup>. В эпоху, когда буржуазия была революционным классом, она не уставала взывать к теням республиканского Рима, с пафосом цитировала Цицерона и Катона, принимая классические позы трибунов-тираноборцев. Теперь она ищет «своих» в разлагающейся Римской империи. Отшельнический хитон представляется теперь наиболее соответствующим духу исторического момента костюмом. Момента поворота от неудавшегося земного строительства к богостроительству и, соответственно, от рационализма к мистике.

Роззак не пытается по нотам разыгрывать классического мистика. Хотя он порой и «оживляет» свою речь приличествующим доподлинному мистика визионерством — «дух охвачен огнем», «драконы таят под нашими городами» и т. п., — в целом его книга имеет характер умозрительно рассчитанных выкладок. Роззак как будто нащупывает внутренним оком незримые пустоты окружающей жизни: нет, говорит он, в ней настоящей радости, нет вдохновения, энтузиазма, не пахнет в ней ни любовью, ни братством. Наблюдения сами по себе трезвые, с мистикой ни с какой стороны не соприкасающиеся. Но так как внутреннему оку Роззак, достаточно чуткому, свойственна в то же время поразительная — хотя и вполне объяснимая — близорукость, то эти пустоты он предлагает заполнить чем-то умозрительно выкоренным из так называемой традиционной мудрости, первая, и основная, заповедь которой гласит, что всякое благо приходит из недр индивидуального «я».

Так учил «старый гносис», традицию которого, согласно Роззаку, в новое время продолжили романтики (и позднее Л. Толстой), начавшие реакцию против рационализма. Роззак подробно рассматривает творчество «трех романтических поэтов» — Блейка, Вордсворта и Гёте (которого он почему-то относит к романтикам), находя у Блейка «трансцендентный символизм», у Вордсворта — «сакраментальное видение природы» и у Гёте — «лучшее, что есть у Блейка и Вордсворта», и плюс к этому «органическую

<sup>2</sup> Гносис — знание (*древнегр.*). В мистическом смысле «ведения», «постижения» этот термин употреблялся гностицизмом — эклектическим религиозно-философским течением (пессимистическим по настроению), возникшим во II в. н. э. в восточных провинциях Римской империи и впоследствии проникшим в самый Рим.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, т. 8, стр. 119.

диалектику». Разумеется, богатейшее наследство европейского романтизма позволяет выкроить из него самые разные взгляды. Роззак берет у романтиков и преподает другим «урок» чувствительности, но он обращается к «пассивному», по горьковскому определению, романтизму, не нашедшему выходов в реальность. В дальнейшем, у символистов, это именно направление романтизма привело, по словам самого же Роззакса, к «полному расстройству чувств».

Твердо полагая, что «спасение» явится «изнутри», если сумеет духовно перестроиться, Роззак сам чувствует наиболее уязвимое место провозглашаемого им контркультурничества, а именно: что оно воздвигается в известном смысле «на песце». Повторить традиционный ход отшельника — из пустыни в пустыню в буквальном смысле — сегодня не так-то просто: слишком мало, говорит Роззак, осталось пустынь, слишком много отшельников (да и несладко, наверное, в пустыне современному горожанину!). «Чистый эскепизм и труден и не стоит того, чтобы ради него городить богостроительский огород. Приходится, заключает Роззак, нарушить древнюю «мистическую традицию» — оставаться жить в рамках общества, но не предаваться «лунатизму», а стремиться это общество переделать.

«Никакая общность людей, — пишет Роззак, — сегодня не может изъять себя из промышленно-городской структуры на продолжительное время; ей не избежать борьбы — за уединение, свободу и умиротворенность духа, за свежий воздух, чистую воду, самоопределение; самая отдаленная пустыня самого аполитичного отщепенца сможет укрыть лишь ненадолго». Констатация здравая, подталкивающая внимательней приглядеться к названной структуре, но Роззакса она лишь озабочивает вопросом, как бы совладать с политикой, не выходя из очерченного им магического круга «трансцендентности» (оба эти термина — политика и трансцендентность — вынесены в подзаголовок его книги).

Родственную замысловатость задач Роззак находит в анархизме толстовско-кропоткинского толка. Обращение к анархизму ему самому кажется чрезвычайно радикальным шагом. Толстой, Кропоткин и Ганди представляются ему чуть ли не последним словом политической мудрости. Роззакса привлекает у этих мыслителей их видимый антиисторизм, отталкивающийся от «вечных» понятий нравственного и религиозного сознания, их настойчивые попытки найти политическую квадратуру означенного магического круга. Анархизмом довершается выстраиваемое Роззаксом мировоззрение, которое, таким образом, оказывается составленным из трех компонентов: «старый гносис», плюс «романтическая чувствительность», плюс «анархический социализм».

Удивительна эта уже не раз подмеченная черта американской жизни: сочетание научно-технического прогрессизма, всяческого бытового новаторства, из-за которых американское общество торопливо награждает броскими эпитетами «послеиндустриальное», «сверхкультурное» и даже «послеисторическое», и то и дело прорывающегося в сфере идеологии и культуры старообразия, воскрешающего вчерашние и даже позавчерашние интересы Старого Света. Толстовство, например, В. И. Ленин без скидок на гениальную художественную проницательность его автора назвал «идеологией восточного строя, азиатского строя»<sup>4</sup>, то есть идеологией, анахроничной даже для России конца XIX века. Здесь можно вспомнить о параллельных, так сказать, комментируемой книге попытках оживить на американской почве азиатчину — в том смысле, в каком это слово употреблялось, когда Восток еще было принято считать «неподвижным». О распространении буддизма, например.

Роззак не очень упирает на «измы», чтобы, упаси бог, не впасть в «доктринерство» и тем не покоробить «скромных молчаликов», ради которых предпринимает свои теоретические изыски. Последние в конечном счете обнаруживают вполне традиционный американский прагматизм, только на этот раз пробивающийся в сферу «трансцендентности». Чтобы прийти к анархизму, убеждает Роззак «молчаликов», совсем не обязательно прочесть Кропоткина. Анархизм — «естественный бунт индивида против уродств промышленно-городской жизни и технократии, столь же спонтанный, как порыв из душного плена навстречу свежему воздуху».

В определенном смысле анархизм и вправду «естествен» не в значении вооб-

<sup>4</sup> В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений. т. 20. стр. 102.

ще-человеческой натуральности, но в значении его соответствия социальному «естеству» взбунтовавшихся. «Анархизм,— писал Ленин,— вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм... порождение отчаяния. Психология выбитого из колеи интеллигента или босняка...»<sup>5</sup>. Как ни своеобразно — под сегодняшний день — контркультурническое бунтарство, его социальный смысл исчерпывается этой ленинской, более семидесяти лет назад данной характеристикой.

У Роззак указано, откуда являются бунтари: это «учителя, дантисты, social workers, младшие служащие, недоучившиеся студенты» — «молодежь и уже не только молодежь». Где-то на задворках существующего общества рождается «тысяча хрупких экспериментов: коммуны сельские и городские; добровольный примитивизм; органические поселения; расширенные семьи; свободные школы; свободные клиники; ремесленные кооперативы; общины-«курятники»; гандианские ашрамы; трудообмен... целая серия социальных импровизаций». «Новое общество,— торжествует Роззак,— изобретательно лепится в расщелинах старого... Новые племена и коммуны возникают на самом пупе у (техно)ратического монстра».

«На пупе у монстра» — в это вложен вызов, но это отдает диснеевской кукольностью.

Американская пресса уделяет неослабное внимание перечисленным Роззаком «пробам». Публикуемые фотографии вызывают в памяти порой библейские сюжеты старых фламандских мастеров, порой старинные ночлежки (опять же по фотографиям знакомые) какого-нибудь Хитрова рынка. Хрупкость, недолговечность — пожалуй, наиболее общее и основное свойство этих «проб». Американцы как будто спешат наверстать свое «отставание» от европейцев в части утопических увлечений, возрождая нестойкий дух фурийеристских и кабетистских «фаланстеров» и «колоний», завезенных на их же землю из Европы более сотни лет назад и оказавшихся тогда эфемерными островками в собственническом море.

Характерная черта «естественного» бунтарства — неприятие создаваемой промышленным городом «искусственной окружающей среды» (хотя такое неприятие, подчеркивает Роззак, необязательно влечет физический уход из города). Понятие это представляет весьма специфический сплав дискредитированных общественных отношений с материальной, предметной структурой. Реалии города сами по себе могут быть предметом человеческой гордости, но вредный психологический антураж преобразует их в нечто обесмысленное и враждебное. Вероятно, ощутить это можно только «кожей», но умозрительно это можно представить как некий негатив того чувства слитности с окружающим рукотворным миром, которое однажды точно выражено поэтом: «Улица — моя, дома — мои» — и которому незнакомо противопоставление города и сада. В антиурбанистических выпадах, в частности Роззак, имеются в виду и подлинные трудности современной вообще городской жизни — загрязнение атмосферы, психические перегрузки и т. п., — но они не главная причина этих выпадов и не объясняют остроты враждебности к городу у «естественных» бунтарей.

Роззак признает, что «оплакивать экспансию промышленного города — одно из самых старых и, по видимости, наиболее бесполезных занятий социального критика. Начиная с Руссо и с романтиков враждебность к искусственной окружающей среде пронизывает нашу культуру как нежно-лирическая контртема, сопровождающая растущую какофонию машины». И все ж призывает продолжить в том же миноре. Видится, что контркультурническая цевница вдруг исполнителем могуществом иерихонских труб, и тогда падут... скажем так, структуры? Кажется немислимым, говорит Роззак, но: «...столь же немислимым казалось четыре поколения назад создать нынешнего (индустриального) монстра». Мы, мол, создали, в наших силах и разрушить. Почему бы тогда уж не вернуться на четырежды четыре поколения назад и не закрыть Америку!

Роззак, однако, спохватывается, что ударился в «лунатизм», и спешно поправляется: он не против города и даже не против крупной промышленности, он только против мегалополиса. И пытается развернуться к реальности, набрасывая картину переделки общества, при которой крушить заводы и фабрики как будто необязательно.

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 377—378.

Но так как сколько-нибудь отдаленные очертания у Роззак сильно расплываются, то получается, что эта картина у него двоится.

На первом плане оказываются «племена и коммуны», для которых Роззак формулирует ряд практических рекомендаций: ручной труд и кооперация, взаимопомощь и взаимное страхование, «экономически диверсифицированные органические поселения», самоуправление и местный контроль над коммуникационными средствами и т. д. Все те же «панацеи из однобоких, вырванных из связи средств»<sup>6</sup>, иные из которых можно найти еще у Прудона.

На заднем плане — смутные очертания «контролируемой рабочими промышленностью», ее «координация в масштабе общества» с «кооперативами производителей». В целом: «...экономика, освоенная на братстве и сотрудничестве». Каким именно образом рабочие должны установить контроль над промышленностью? Как может сосуществовать крупная промышленность с кустарной? Ответов на эти вопросы у Роззак не найти.

Он и не пытается на них ответить: его задача, говорит он, формировать «новое сознание», а не формулировать «социальные и экономические альтернативы». Да и мудрено действительно формулировать альтернативы, с самого начала разоружившись научно и если и не выбросив совсем инструмент аналитического познания, то сохранив его лишь для выполнения ближних задач и малых дел. Но тогда не стоит и думать о преобразовании общества. Только и остается что уповать на его чудесное «преображение».

Роззак в конечном счете так и делает. В древних книгах (или у комментаторов древних книг) он вычитывает еще одно древнегреческое, ароматами Востока дышащее «спасительное» Слово — «апокатастазис». Что значит «превращение демонических сил в небесные». Чтобы чудо свершилось, необходим «сугубо личный стиль» политической жизни. Роззак сам демонстрирует образец такого стиля: он не поворачивается к обществу спиной, но, застыв на отшибе, простирает к нему руки, услаивая, заклинающая. Заблудившиеся да услышат!

Не удалось Роззаку сочетать несочетаемое: политика осталась политикой, а «трансцендентность» «трансцендентностью». Но так как «уволиться» от политики сегодня действительно нельзя, то «трансцендентность» оказывается в конечном счете просто плохой политикой.

<sup>6</sup> Там же, стр. 378.

Ю. КАГРАМАНОВ.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ ЖУКОВ

★

## СЕРГЕЙ ЮТКЕВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО КИНО

**Э**то мысли о нашем деле, о проблемах современного художественного творчества, навеянные одной книгой. Написана она Сергеем Юткевичем.

Кажется, будто автор с присущим ему ироничным лукавством загадывает загадку читателю, берущему книгу в руки. На переплете надпись: «Кино — это правда 24 кадра в секунду». Знаки препинания отсутствуют. Читатель может расставить их по своему усмотрению.

Скажем, так: «Кино — это правда — 24 кадра в секунду». То есть кино — это движущееся изображение на белом полотне — в за правду, в самом деле рождается тогда, когда сделанные последовательно моментальные фотоснимки сменяют друг друга в проекторе со скоростью 24 кадра в секунду. Стало быть, речь пойдет о технике киноискусства, о его, если хотите, технологиях, о кинопроизводстве, не так ли?

А можно расставить знаки препинания и так: «Кино — это правда; 24 кадра в секунду». И тогда можно будет подумать, что речь пойдет о самой сути искусства кино, о том, что это правдивое искусство, что речь пойдет о его духовной силе, о том, что проектор, образно говоря, несет в массы правду со скоростью 24 кадра в секунду.

Думается, что отсутствие спасительных знаков препинания, способных ориентировать читателя, в названии книги не случайно: новая работа Юткевича многопланова и он предлагает читателю самому выбрать тот план, который его заинтересует.

Но и это не все. Возникает еще один аспект книги, навеянный интригующим заголовком, который заставляет читателя немедленно раскрыть ее и углубиться в чтение. Подчеркнув, что эту книгу «можно в

известной мере назвать монтажной» (а метод монтажа в кино дает часто неожиданный результат, когда режиссер сталкивает или соединяет между собой куски снятой пленки и они приобретают новый смысл и другую ценность), автор предупреждает:

«Действительно, пленка в съемочном и проекционном аппаратах движется со скоростью 24 кадра в секунду; казалось, верно также и то, что кинематограф считается самым реалистическим, а значит, и наиболее правдивым из искусств. Однако разве не являемся мы иногда свидетелями того, что с той же стандартной быстротой проецируется на экран не правда, а лишь ее видимость или вполне откровенная ложь? Значит, формула не однозначна, она нуждается в раскрытии и уточнении — этой задаче и служит моя книга. Она выросла из творческой практики советских кинематографистов (в том числе и из лично моей) и в полемике с нашими идейными противниками, как раз именно с теми, кто пробует правдивое искусство кино использовать в ложных целях».

Книга эта, как бы подводящая итог многолетним раздумьям известнейшего советского мастера кино, поистине калейдоскопична. Ее надо читать и перечитывать, и каждый раз она будет оборачиваться к вам новой, неожиданной гранью. Методом кинематографического монтажа соединены и противопоставлены здесь глубокие творческие, а подчас и сугубо производственные проблемы кинематографа — эти страницы имеют неоценимое значение для специалистов (огромный интерес представляют, например, беседы о кинорежиссуре); и прекрасно написанные воспоминания о крупнейших мастерах кинематографа, театра, лите-

ратуры и изобразительного искусства, с которыми сводила за полвека Юткевича его щедрая судьба; и раздумья о нашей эпохе в целом; и анализ пути, пройденного советским кинематографом; и, конечно же, жаркий, беспощадный и бескомпромиссный бой с идейными врагами.

Об этой книге говорить и писать легко и вместе с тем трудно. Легко потому, что ты как бы запросто ведешь тихий, неторопливый, но необыкновенно увлекательный разговор с интереснейшим и ярким собеседником. Трудно потому, что поистине необъятен размах затрагиваемых им проблем.

Попробуем все же выделить некоторые основные и, как мне кажется, наиболее злободневные идеи, проходящие красной нитью через все творчество этого мастера советского кинематографа.

#### **Творческий долг и ответственность художника**

Сергея Юткевича не упрекнешь в упрощенчестве, в стремлении к агитке, в пренебрежении к канонам искусства. Весь мир знает его как тонкого и необычайно требовательного к себе художника, как человека, который всегда ищет новые методы самовыражения и с величайшим интересом и доброжелательностью относится ко всему новому в искусстве.

Успех никогда не кружил ему голову. Напротив, он всегда снова и снова с пристрастием допрашивает себя: «А не допустил ли ты таких просчетов, которые снизили требовательность к мастерству? Не дал ли ты сам себе поблажки? Не пошел ли на компромисс со своей совестью художника? Не отказался ли ты от чего-то глубоко личного, от своих творческих пристрастий? Не разоружил ли ты сам себя, прикрываясь значительностью темы?»

Эти вопросы неизменно волнуют каждого художника. Что касается Юткевича, то он своеобразно отвечает на них в статьях «Раздумья о политическом фильме» и «Кибернетика эмоций, или Об искусстве „чистом“ и „завербованном“».

Что греха таить, в наше время даже в некоторых кругах прогрессивных кинематографистов Запада становится модным иронически отзывать о так называемом завербованном искусстве, об искусстве, выполненном «де по заказу свыше». В этой связи Юткевич метко подмечает: «Любопытно, что на Западе определение «завербован-

ность» чаще всего употреблялось с полупрезрительной интонацией и главным образом по адресу авторов романов, фильмов или спектаклей либо открыто признающих свою принадлежность к Коммунистической партии, либо сочувствующих ее идеям. Большое количество антикоммунистической писанины этим термином не обозначается, тем самым как бы амнистируя авторов, открыто занимающихся прославлением капиталистического образа жизни и пропагандой самых реакционных воззрений». Юткевич дает бой фальшивомонетчикам от идеологии, которые, извращая понятие социального заказа, изображают дело так, будто бы творческие работники социалистических стран «не свободны» в выборе тематики и в ее интерпретации, а вот деятели искусства Запада вольны, как ветер. Он убедительно показывает, что в действительности дело обстоит как раз наоборот. Именно в капиталистическом мире творческий работник лишен свободы; он вынужден, как правило, выполнять волю невежественных и беспардонных продюсеров и прокатчиков.

Иначе дело обстоит в мире социализма, где работа по «заказу» — это отнюдь не равнодушное исполнение «чьей-то чужой воли». В условиях строя, свободного от власти чистогана и эксплуатации человека человеком, «заказ (и теперь без кавычек) — это веление гражданской и художественной совести самого художника, всем своим существом связанного с жизнью народа, его судьбами, художника, осознающего свою личную ответственность перед историей, художника, открыто и свободно, по своей воле выбирающего место по ту или иную сторону идеологических баррикад».

Такие крупнейшие произведения, как «Броненосец «Потемкин», «Октябрь», «Щорс», знаменитые фильмы о Ленине, «Александр Невский», «Иван Грозный» и другие, вошедшие в сокровищницу классики кинематографа, действительно были поставлены советскими мастерами по заказу. Но этот заказ совпадал с велением их творческой совести, он отвечал их собственным идейным убеждениям, и вот блистательный творческий успех явился.

Бесспорно, и в противоположном нам идейном лагере есть и писатели, и кинематографисты, и художники, которые, выполняя по воле закореневших в слепом антикоммунизме продюсеров заказы на клеветнические, чернящие революцию фильмы, действуют сознательно, разделяя антиком-



мунистические воззрения. Ну что ж, тем хуже для этих деятелей — антикоммунизм делает стерильным их творчество, и не случайно в свое время провалились все попытки фашистских заправил типа Геббельса создать во славу национал-социализма свой «Броненосец «Потемкин», а в послевоенные годы ни в одной капиталистической стране так и не удалось поставить ни одного сколько-нибудь значимого (не говоря уж о художественном уровне!) антикоммунистического фильма, хотя на эти цели были выброшены многие миллионы.

Думаю, что в этой связи справедлив упрек Юткевича в адрес нашей кинокритики, оставляющей без широкого анализа «настойчивые и систематические опыты Голливуда в области антикоммунистической агитации и не только прославления американского образа жизни, но и открытого оправдания экспансионистской политики Соединенных Штатов».

Попутно автор сам восполняет этот пробел, обстоятельно рассмотрев продукцию Самуэля Фуллера, имя которого вошло наряду с прославленными фигурами мирового «авангарда», такими, как Годар, Антониони или Бергман, во все киноэнциклопедии, а французский левацкий ежемесячник «Кайе дю синема» безоговорочно объявил его «гением». Между тем фильмы Фуллера, например о войнах в Корее и во Вьетнаме, представляют собой всего лишь грязную стряпню с откровенным неонацистским душком. Неспроста Жорж Садуль в своем «Словаре кинематографистов» характеризует его фильмы как «антикоммунистическую пропаганду, перемешанную с фашистской идеологией». Почему же Фуллера волокут в кинематографический пантеон? Немалую роль здесь сыграла политическая позиция тех буржуазных кинокритиков, которые вообще открыто симпатизируют антикоммунизму...

Все это не могло не насторожить творческих работников за рубежом, находящихся в лагере борцов за мир и прогресс. В последние годы они, преодолевая огромные трудности, в том числе и материальные, поставили ряд острых и мужественных фильмов, противостоящих мутной волне антикоммунистической и антисоветской пропаганды. Это радостное явление, свидетельствующее еще и еще раз, что правое дело всегда находит своих защитников! Но тем с большим справедливым гневом Юткевич пишет о том, что в некоторых случа-

ях творческие работники, чей долг властно диктует необходимость занять четкие идейные позиции, предпочитают «уйти в кусты».

Его до глубины души возмутило заявление югославского кинорежиссера Душана Макавеева, сделанное 6 февраля 1967 года в беседе с сотрудником французской газеты «Леттр франсэз». Вот что он тогда сказал: «В наши дни множество (?) людей равнодушно к социальным проблемам, и значительное число наших фильмов показывает жизнь такой, как она есть, отвергая (!) всякую идеологию... Я глубоко убежден, что политика и искусство — две различные области, одно не должно вторгаться на территорию другого». Ознакомившись с творческой продукцией этого — назовем вещи своими именами — капитулянта, Юткевич убедился, что в действительности его творчество отнюдь не является «нейтральным», а представляет собой «смещение идей очень смутного толка». И не случайно антикоммунистические критики немедленно подняли Макавеева на щит как героя.

В дальнейшем, как известно, этот кинодеятель окончательно скатился на враждебные социализму позиции. Так еще раз было доказано, что в огне брода нет. Можно быть либо по одну, либо по другую сторону баррикады. Третьего творческому работнику не дано.

И Сергей Юткевич, человек по натуре чрезвычайно мягкий, деликатный и добрый, вдруг становится беспощадным судьей, больше того — прокурором, когда видит, что иные способные и даровитые, подававшие большие надежды кинематографисты вдруг, что называется, сходят с круга, прельщенные иллюзией голливудской «сладкой жизни», и предают дело, которому они призваны служить. Почитайте-ка, как он разделал кинорежиссера Полянского, покинувшего родную Польшу и уехавшего за океан, чтобы там «забавляться байками о вампирах и колдунах!» И потом с волнением добавил: «Знаю, что никто не дал мне права обсуждать или, еще хуже, осуждать чужие судьбы. Но горькие эти строки родились из откровенных размышлений о том, что может поджидать каждого из нас, кто, перепрыгнув через мнимые и действительные барьеры, устремится к финишу «дольче вита», убоявшись искуса ответственности перед временем. А время требует, чтобы волшебный рог кинематографа продолжал звучать как призыв, насыщенный той музыкой Революции, чья партитура может и

должна быть исполнена лишь коллективом нашего социалистического искусства».

Чисто и звучно трубит волшебный рог кинематографа в руках советских мастеров, и его музыка Революции радует Юткевича, который в этом блистательном содружестве вот уже полвека пишет и исполняет вместе со своими братьями по киноискусству ее партитуру.

### Раздумья о политическом фильме

Творчество этого мастера революционно-го кинематографа необычайно многогранно, и потребовались бы целые книги, чтобы его проанализировать. Он никогда не повторяется, он всегда в поиске, его повороты и внезапно возникающие пристрастия подчас могут быть неожиданны и ошеломляющи, ему случалось и терпеть неудачи (не задался же ему, как он сам об этом пишет, «Черный парус», фильм о рыбаках Керченского пролива, когда он увлекся поиском формы в ущерб содержанию), но всегда и везде, при любых обстоятельствах он оставался искренним и правдивым в своем творчестве. «Нельзя прийти в искусстве к подлинно искреннему мировоззрению, к своему почерку и своей позиции,— пишет он,— если хитрить с самим собой и только подражать благопристойным, установившимся образцам».

Это свое искренне творческое мировоззрение, свой почерк, свою позицию кинорежиссер Юткевич вырабатывал на протяжении десятилетий, и два решающих условия обеспечили его успех: во-первых, у него был надежный идейный компас, которым вооружила его коммунистическая партия — в ее рядах он состоит уже много лет; во-вторых, у него были могучие учителя и соратники — Мейерхольд, Эйзенштейн — и то изумительное созвездие талантов, каким была в 30-х годах студия Ленфильм, ставшая школой революционного киноэксперимента,— к этой теме мы еще вернемся.

Исследователей творчества Юткевича привлекает необыкновенная многогранность его творческих интересов: от фильмов о рабочем классе («Кружева», «Златые горы», «Встречный», поставленный совместно с Эрмлером, «Шахтеры», «Здравствуй, Москва!») до экранизации классики («Отелло»); от грандиозных постановочных исторических фильмов («Скандерберг») до документальных кинолент («Анкара — сердце Турции», «Молодость нашей страны», «Осво-

божденная Франция»); от углубленной и требовательной работы с киноактерами («Сюжет для небольшого рассказа») до увлекающей его до самозабвения возни с куклами, «играющими» в мультипликационных фильмах («Баня» по Маяковскому).

Но вот что особенно важно: в каком бы направлении ни устремлялась в данное мгновение его творческая мысль, он всегда и всюду прежде всего и главным образом следит за тем, чтобы его произведение было глубоко правдивым и идейно стойким. И не случайно сейчас в своей книге он так много, страстно и убедительно говорит о политическом фильме.

В его понимании политический фильм — это не голая агитка, не переложение на кинематографический язык прописей из учебника, нет; для него политический фильм — это оружие в борьбе, и потому, в сущности, все его творчество может быть отнесено к категории политического кинематографа.

Думается, многое в этом отношении определяется воздействием могучего творчества Маяковского и влиянием его сильной личности. Сергей Юткевич был весьма близок к Маяковскому и до сих пор сохраняет преданную верность его наследию в театре и в кино. Эта тема, впрочем, заслуживает специального исследования.

Интересна деталь, о которой мы узнали из включенной в книгу стенограммы беседы Юткевича с аспирантами ВГИКа в 1967 году. В этой беседе автор подчеркивает, что с первых шагов своей кинематографической деятельности, которые он совершал в начале 20-х годов под руководством Абрама Матвеевича Роома, и до наших дней он придавал большое значение сплетению художественного и документального кино, поверяя повседневной реальностью свободный полет творческой фантазии. «Подлинная природа кинематографической игры,— замечает он в этой связи,— должна опираться на правду, понятую широко, глубоко, а не натуралистически. Это относится и к работе с внешней средой. Кинематограф не выносит никакой бутафории, никакой картонажности, никакой имитации подлинной фактуры».

Какой бы сюжет ни избрал Юткевич, он сурово и требовательно следит за тем, чтобы в работе над ним не искажалась правда жизни, и именно поэтому все или почти все его творчество можно отнести к категории политического кинематографа.

И в этом, добавим мимоходом, секрет их необычайно долгой творческой жизни — фильмы Юткевича не стареют именно потому, что они правдивы.

Но подлинной вершиной политического кинотворчества этого мастера современного кино, конечно же, являются его фильмы на историко-революционные темы, и прежде всего фильмы о Ленине, созданные в содружестве с выдающимся писателем Габриловичем и поистине великим исполнителем ленинской роли Максимом Штраухом. Этой теме Юткевич отдает свои силы вот уже без малого сорок лет — его «Человек с ружьем», где Штраух впервые выступил в роли Ленина, вышел на экраны еще в 1938 году. К ней он возвратился в фильмах «Яков Свердлов», «Свет над Россией», «Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше». Над ней он вместе с Габриловичем работает и сейчас, готовясь к съемкам фильма «Ленин в Париже».

Ленинская тема по природе своей глубоко патетична. Юткевич это отлично понимает, и его фильмам о Владимире Ильиче присущ глубокий внутренний пафос. Но он строго следит за тем, чтобы пафос этот был именно внутренним, а не внешним, чтобы от него ни в коем случае не отдавало той «картонажностью», которую он органически не выносит. Ленин в его фильмах действительно «живее всех живых», и в то же время это не рядовой человек, каким его иной раз изображают в погоне за занимательностью, а вождь мирового масштаба — это в подтексте фильмов Юткевича.

Критически относясь к самому себе, Юткевич пишет, возвращаясь к своему первому фильму, посвященному Ленину («Человек с ружьем»): «Мое неумение мыслить образно в «космических» масштабах, инстинктивное недоверие ко всему слишком громкому, оглушающему, внешне патетичному — словом, все мои слабости и особенности полностью выявились, как мне кажется, и в этой работе».

Но не менее важно отметить, что, преодолевая эти свои «слабости и особенности», Юткевич не впал в противоположную крайность. Он и сейчас совершенно справедливо провозглашает: «Я — убежденный противник внешнего пафоса и ратую за внутреннюю патетику». Именно в этой внутренней патетике и заключена великая сила его политических фильмов, и прежде всего фильмов о Ленине.

Одной из самых увлекательных глав кни-

ги Юткевича является рассказ о его беседе, которую он вел в 1964 году с членом редколлегии издающегося в ГДР теоретического журнала «Фильм» Германом Херлингаузом. В то время Юткевич был только что избран членом-корреспондентом Немецкой академии искусств, и его собеседник вел с ним широкий творческий разговор.

Случилось так, что именно в ту пору Юткевич был увлечен подготовкой к постановке фильма «Ленин в Польше»; ему явно хотелось, что называется, выговориться, быть может, проверить на собеседнике правильность возникших у него смелых творческих задумок, и вот перед нами — открытое окно в его творческую лабораторию, где идет напряженный поиск нового и самого необходимого творческого слова о Ленине. Мы явственно, буквально физически ощущаем, как бьется пульс творческой мысли художника, как он ищет и находит единственно правильный, по его мнению, путь раскрытия ленинского образа, и более того, раскрытия величайшего таинства — работы ленинской мысли.

Работу над этим фильмом Юткевич считал самым ответственным экзаменом для себя. «Пребывание Ленина в Польше», — говорил он, — приобретает особое значение в силу того, что оно совпало с началом первой мировой войны. К этому периоду относятся очень важные мысли Ленина, касавшиеся судьбы и задач международных рабочих партий, и в первую очередь партии большевиков, и определявшие отношение марксистов к вопросам войны и мира. В это время Ленин продолжал разрабатывать проблемы тактики и стратегии пролетариата; именно тогда возник его знаменитый тезис о перерастании войны империалистической в войну гражданскую».

Как же показать и рассказать все это средствами кинематографа? Юткевич не приемлет и отвергает с порога натурализм, копирование, зазубривание актером цитат из общеизвестных произведений. Он давно уже выступает против «фотографического уподобления» действительности. В памяти у него печальный урок снятого еще до войны одним из видных кинорежиссеров той поры Чаурули фильма «Великое зарево», где роль Ленина исполнял актер Мюффке — в первых кадрах зрителя поражало его диковинное сходство с Владимиром Ильичем, намного опережавшее, по оценке Юткевича, сходство крупнейших исполнителей ленинской роли Щукина и Штрауха, но потом

доверие к образу пропадало и возникало «неприятное ощущение, как в музее восковых фигур».

И вот Юткевич и Габрилович принимают ответственное и трудное решение: фильм «Ленин в Польше» от начала и до конца будет построен как в н у т р е н н и й м о н о л о г Ильича. «Момент, создающий напряжение, переносится из плоскости зрелищной в плоскость мышления». Трудно? Неслыханно трудно! Ответственно? Еще как! Но Юткевич, полемизируя с теми, кто из осторожности твердит, что «столь серьезная тема не терпит никаких экспериментов», упрямо и смело утверждает: «Мы с Габриловичем убеждены, что именно содержание фильма вполне оправдывает творческий эксперимент».

На свой страх и риск эти смелые, глубоко убежденные в своей правоте и искренние художники советского кинематографа пошли, не слушая предостережений, своим, избранным ими путем. Пошли и одержали с помощью Максима Штрауха великопечную, хотя и необыкновенно трудную победу — теперь фильм «Ленин в Польше», блистательно раскрывающий творческую лабораторию мышления нашего вождя, принадлежит к классике кинолениннианы.

Юткевич глубоко убежден в том, что политический кинематограф должен развиваться по глубоко ему присущим собственным творческим законам, ни в коем случае не должен превращаться в сборник киноиллюстраций к литературе.

Да, в своей творческой работе Юткевич никогда не выбирал дороги, «чтобы протоптанной и легче». Он всегда шел своим творческим путем, руководствуясь, по его выражению, «выстраданной» мыслью о том, как надо строить политический фильм. «Нет! — страстно восклицает он. — Нельзя поспокойней. Не надо — попривычней! Искусство не простит тебе этого никогда!»

Конечно, не всегда и не все приемлют такие сложности, как построение фильма по методу внутреннего монолога. Юткевич вспоминает, как один прокатчик с Дальнего Востока после выхода фильма «Ленин в Польше» на экран написал ему гневное послание о том, что у него в городе фильм «коммерчески провалился у зрителей», и это произошло, по его мнению, именно потому, что Юткевич избрал слишком сложную форму: что это, дескать, за картина, «в которой актеры губами шлепают, а слов не слышно, и потому все непонятно?»

Этому скептику Юткевич ответил словами Брехта: «Опираясь на собственный опыт, я говорю: никогда не бойтесь выступать перед пролетариатом со смелыми, непривычными вещами, но только если они базируются на действительности... Доступность литературного произведения достигается не только тем, что оно написано так же, как другие, которые были понятны. Эти другие понятные произведения не всегда писались так, как написанные до них. Для их понимания кое-что делалось. Также и мы обязаны что-то сделать, чтобы новые произведения были понятны».

### Значение эксперимента

Юткевич принадлежит к славной когорте лучших мастеров кинематографа, неутомимо идущих вперед, постоянно стремящихся к обновлению своего искусства, ко все более выразительным средствам самовыражения. Он много раз подчеркивает в своей книге значение творческого эксперимента, строго осуждая в то же время пустые выкрутасы и манерничанье, которыми иной раз пытаются прикрыть духовную нищету.

Этому мастеру, как я уже сказал, неслыханно повезло в жизни. С ранней юности он оказался в кругу таких же ищущих людей, страстно увлеченных своим делом и готовых пойти на любой творческий риск, не боясь неизбежных в таком деле неудач. Подумать только — уже осенью 1921 года он, юнец, приехавший из Севастополя, где мастерил агитплакаты РОСТА, сидел за одной партией с Эйзенштейном в Государственных высших режиссерских мастерских, которыми руководил Мейерхольд. А в актерской группе, созданной при этих Мастерских, вместе с ним познавали революционное искусство совсем юные Бабанова, Локшина, Ильинский, Гарин, Зайчиков, Охлопков и другие.

Буйная, зеленая молодежь рвалась разрушить все старое и построить нечто совсем новое (что именно — она представляла себе довольно смутно), а Мейерхольд наставительно говорил им, что надо ставить «Гамлета», поскольку задача состоит в том, чтобы «доказать всему человечеству, что мы являемся единственными достойными наследниками мировой культуры». Надо было не перечеркивать все прошлое, а находить его новое прочтение, идя на революционное экспериментирование.

Конечно же, при этом, как и во всяком большом новом деле, было и немало ошибок и юношеских благоглупостей. Но революционное искусство прокладывало свой путь, и об этой незабываемой поре мы вспоминаем теперь с понятным благоговением. А потом, уже в 30-х годах, возникла новая школа революционных экспериментов в искусстве, на этот раз в кинематографе,— школа Ленфильма, которой посвящена взволнованная глава книги Юткевича «Чему я научился на улице Красных Зорь».

«Сила ленинградской школы,— напоминает Юткевич,— которая подготовила расцвет советской кинематографии 30-х годов, заключалась в том, что это был не случайный конгломерат людей, а творческий коллектив молодых художников, очень разнообразных, неуспокоенных, требовательных, спорящих между собой, то есть живущих по законам искусства». Он не идеализирует их, нет. Он показывает себя и своих ровесников такими, какими они были,— шумливыми, подчас драчливыми, ревнивыми друг к другу, но при всем том безмерно преданными советскому искусству и тому великому делу, которому они служили.

В книге ярко и убедительно показана кипучая творческая деятельность, какой была охвачена студия Ленфильм, в стенах которой сосуществовало — и далеко не всегда мирно! — великое множество творческих школ и групп, причем каждая из них гордо именовала себя экспериментальной. Гремела слава ФЭКС — «фабрики эксцентрического актера», где тон задавали Козинцев и Трауберг, к которым примыкал и Юткевич. Но у него самого был собственный ЭККЮ — «экспериментальный киноколлектив Юткевича», который он привез с собой из Москвы. Хейфиц и Зархи создали КРАМ, что означало «кино рабочей молодежи», по аналогии с ТРАМ — «театром рабочей молодежи». С той же идеей приехали из Ростова Большинцов, Блейман и Грисенко (свой КРАМ пытался создать в Харькове и молодой экспериментатор Луков). Бывший чекист из Белоруссии Эрмлер организовал КЭМ — «киноэкспериментальную мастерскую», и т. д. и т. п.

В бурном кипении творческих споров, которые были то удачными, то неудачными, выкристаллизовывалось новое искусство. Иной раз от неудач люди приходили в отчаяние, клялись, что они забросят кинематограф ко всем чертям, и уходили со студии, хлопнув дверью. Но коллектив их

возвращал, убеждал, что надо хотя бы еще один раз попробовать что-то новое, и вдруг рождался настоящий шедевр.

«В любом интересном фильме всегда есть какая-то доза эксперимента, иногда удачного, иногда нет,— читаем мы сегодня.— Но там, где нет этой дозы, там произведение искусства рискует остаться мертвым. Эксперимент — это бродило, которое обязательно вызывает жизненную реакцию. И не надо бояться, что эксперимент сегодня не всегда и не сразу будет оценен. Фильм продолжает существовать, и через некоторое время эксперимент становится убедительным. Та же «Земля» Довженко в свое время была встречена в штыки частью критики и публики, а между тем она оказалась нашей гордостью, живет до сих пор и изучается во всем мире».

А я, прочтя эти строки, вспомнил другой фильм, который можно отнести к числу экспериментальных,— уже нынешний, сегодняшней «Романс о влюбленных» Михалкова-Кончаловского, вокруг которого было сломано столько копий на многих дискуссиях, в том числе и по телевидению в программе «Кинопанорама». У него есть и страстные защитники и столь же страстные противники. В кинозалах публика раскаляется — одни с протестами уходят, недоглядев картину, другие ей бурно аплодируют. Ну что ж, в этом я вижу доброе знамение времени — творческий эксперимент не оставляет людей равнодушными!

Конечно же, эксперимент требует смелости, он никому не сулит спокойной жизни и скорого успеха. «Если вы захотите завоевать успех сразу, то откровенно идите по дороге штампов, потому что эксперименты могут обречь вас частично и на какие-то неудачи,— саркастически говорил Юткевич, обращаясь еще в 1957 году к слушателям режиссерских курсов на Мосфильме.— Что касается путей к успеху, то по этому поводу стоит не забывать мудрое изречение Шарля Сент-Бёва: «Не рекомендуется слишком быстро, одним махом оказываться в классиках перед современниками; тогда, того и гляди, не останешься классиком для потомства». А ведь есть, к сожалению, и художники, заявляющие так: если я непонятен сегодня, значит, я гениален». Мудрое и своевременное предостережение и любителям быстрого успеха любой ценой, и псевдоноваторам, скрывающим свою творческую немощь под нагромождением пугающих, непонятных новаций (я, в частности,

имею в виду модного нынче в определенных кинокругах Роб-Грийе). И спекулянтам от искусства, которые, укрываясь за правом на эксперимент, мастерят, словно холодные сапожники, свои заумные поделки в духе вновь вошедшего нынче в моду на Западе сюрреализма, к тому же густо замешанного на порнографии...

Особую тревогу вызывает обнаружившееся в последние годы «просачивание» таких тенденций в творчество мастеров кино некоторых социалистических стран, не устоявших перед модой. Сергей Юткевич твердо и решительно выступает против чуждых нам явлений в кино, отрицая за «модниками» право называться новаторами и экспериментаторами. «Подлинное новаторство, — заявляет он, — несовместимо с тенденциями воинствующего натурализма... К этим физиологическим раздражите-

лям прибегают не от силы, а от бессилия... Обращение к эстетике натурализма под предлогом возвращения к достоверности, документальности, правдивости не достигает цели».

Закрывая эту умную книгу, я думаю о том, что долг нашей критики — как можно шире показать истоки этих опасных веяний в современном мировом кинематографе, веяний, идущих с Запада, и прежде всего от некоторых специфических течений в американском кино. Хорошо бы раскрыть социальную природу этих веяний, их выражение в творчестве довольно значительной группы киномастеров современного Запада, вольно или невольно вставших на службу тем властям имущим, которые заинтересованы в огрублении нравов, в притуплении интеллекта кинозрителя, в распространении цинического отношения к действительности.



---

М. МЕНДЕЛЬСОН

✱

## АМЕРИКАНСКИЙ РОМАН ПОСЛЕ ХЕМИНГУЭЯ, ФОЛКНЕРА, СТЕЙНБЕКА

**В** прошлом десятилетии над литературной жизнью Соединенных Штатов Америки нависла мрачная тень, «шершавая туча», если позаимствовать образное выражение у поэта Уитмена. Один за другим уходили из жизни крупнейшие американские прозаики XX века. Покончил с собою Эрнест Хемингуэй. Перестало биться сердце Уильяма Фолкнера. Скончался Джон Стейнбек.

Страна потеряла в ту пору не только этих первоклассных писателей, титанов американской художественной прозы. Умер Ларс Лоренс, чье творчество было проникнуто социалистическими идеями. Безвременно погиб Ричард Райт. Смерть настигла и таких талантливых представителей так называемой южной школы в американской литературе, как Карсон Маккалерс и Флэннери О'Коннор. Не стало также Джона Дос Пассоса (впрочем, в последние годы он далеко отошел от той творческой позиции, которая определяла художественную ценность его более ранних произведений; даже газета «Нью-Йорк таймс» назвала позднего Дос Пассоса человеком, «превратившимся в неписателя, переставшим существовать»).

Если вспомнить, что в самый канун второй мировой войны или вскоре после ее окончания завершилась жизнь и таких прозаиков США, как Теодор Драйзер, Скотт Фицджеральд, Шервуд Андерсон, Томас Вулф, Синклер Льюис, то придется подвести горестный итог: примерно десятилетие назад уже не осталось на свете почти никого из тех блестящих романистов, которым новейшая американская литература была обязана в такой большой степени.

Эта серия утрат вызвала в литературной критике страны нескончаемый поток ламен-

таций. Между строк такого рода выступлений угадывалась мысль, что американский роман внезапно себя исчерпал. Вместе с тем стали популярными, даже модными, рассуждения о том, кому же все-таки суждено стать наследниками этих колоссов — Хемингуэя, Фолкнера и Стейнбека. Литературовед Малькольм Каули предположил, что пройдет десяток-другой лет, прежде чем появятся писатели масштаба Фолкнера и Хемингуэя. Зато в статьях других литераторов не было недостатка в кандидатурах на занятие, так сказать, «поста» великого американского романиста. Упоминались имена Джонса, Беллоу, Стайрона, Чивера, Мейлера, Болдуина, Рота, Апдайка, Уоррена и многих других.

Я попытаюсь коснуться проблемы судеб постхемингуэевского, постфолкнеровского, постстейнбековского романа не для того, чтобы принять участие в своего рода игре «поиски наследников». Моя задача — рассказать, какие романы, опубликованные в США в самое последнее время, заслуженно привлекают читательское внимание и как складывается творческая судьба наиболее интересных романистов.

Годы, о которых пойдет речь, не были «рядовыми» в жизни страны. Это был период массовых движений — молодежного, антивоенного, негритянского и иных, втянувших в свою орбиту миллионы людей. Это была пора, когда привычные как будто постулаты общественного бытия в США все чаще ставились под сомнение, когда чувство протеста, гнев и ярость, желание действовать сплошь и рядом переплетались у американцев с беспредельным отчаянием.

Нельзя, конечно, ставить знак равенства

между условиями жизни, сложившимися в Америке сегодня, и обстоятельствами бытия в этой стране, характерными для столь важных в истории всего человечества десятилетий, которые отделяли первую мировую войну от второй. А ведь — напомним — это было время, когда американский роман сделал поистине гигантский скачок в своем развитии.

Что и говорить, 20-е, а особенно 30-е годы были временем уникальным как в истории американского народа, так и в истории литературы США. И характерно, что один молодой американский писатель, когда зашел разговор о 30-х годах, этом «бурном» десятилетии, воскликнул с тоскою: «Ах, почему я не жил в ту пору, когда мир казался куда более интересным!»

Весьма консервативный журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» встретил 1974 год многозначительным подведением итогов десятилетия, минувшего со дня убийства Джона Кеннеди. Ссылаясь на мнения ряда буржуазных наблюдателей, этот орган американской печати прямо сказал миллионам своих читателей, что 60-е годы были самым ужасным десятилетием за всю историю страны. Важнейшей особенностью близкого прошлого было участие Соединенных Штатов в том, что сегодня почти все американцы называют самой бесславной войной за два столетия существования республики.

Политическая коррупция достигла уровня, какого ни Вашингтон, ни локальные центры власти еще никогда не знали. Спираль существования так называемого простого американца стала пугающе сложной, даже трагической. Монополисты внушают рядовым соотечественникам чувство социальной ущемленности, нередко находящее выход в неконтролируемых эксцессах.

Тот, кто хочет разобраться в сегодняшнем состоянии американского романа, не может пройти мимо вопроса: какое же напоследок оставили такие художники, как Хемингуэй, Фолкнер и Стейнбек, писателям более позднего времени? Здесь не место, конечно, исследовать творчество названных мастеров во всей его полноте. Остановлюсь лишь на некоторых произведениях, созданных этими прозаиками в самые последние годы их жизни.

Когда в начале 60-х годов Стейнбек в последний раз посетил Москву, он, помнится,

с такою теплотой выразил свои симпатии к Советской стране, что хотелось верить: художник утвердился на позиции активного сторонника мира. Тем более тягостным было чувство, с которым советские друзья писателя восприняли его позднейшие высказывания в поддержку варварской войны Пентагона против свободолюбивого вьетнамского народа. И все же нельзя не оценить по достоинству опубликованный в начале прошлого десятилетия роман «Зима тревоги нашей». Это не только одно из самых значительных произведений, когда-либо созданных Стейнбеком, но и своего рода его духовное завещание.

Еще в «Гроздьях гнева» были воплощены представления романиста о душевной нравственной атмосфере, в которой вынуждены существовать очень многие американцы. И все же роман о Джоудах — это главным образом повествование о беспросветной судьбе честных и трудолюбивых американцев, обреченных в условиях кризиса на нищенское существование, а вместе с тем и о растущей готовности рядовых людей объединиться в борьбе за свои человеческие права. В «Зиме тревоги нашей» (1961) убедительно показано, насколько ухудшился моральный климат в США после второй мировой войны.

Многие американские критики склонны принижать обобщающий смысл романа «Зима тревоги нашей». Но, по утверждению самого Стейнбека, в его книге «рассказано о том, что происходит сегодня почти во всей Америке». Логика развития действия и характеров подтверждает, что автор был прав. Все светлое, весеннее, о чем повествуется в первых главах, вскоре погружается в атмосферу «тревожной зимы».

Своеобразна сатирическая манера романиста. Он хотя и прибегает к гротеску, но все же чаще верен своему пристрастию к сценам, к мотивам лирического характера. Постепенно раскрывающаяся двойственность основного персонажа «Зимы тревоги нашей» не уводит повествование (как это часто бывает в модернистской литературе) в мир «душевных потемок», не снижает критического пафоса при изображении автором собственнического общества. И не правы были американские критики, объявившие главного героя «нетипичным».

Романом «Особняк» завершил Фолкнер свою знаменитую трилогию, некогда открытую «Деревушкой». И если вторая часть трилогии (роман «Город»), пожалуй, усту-



пала в художественном отношении первой, то «Особняк» — это принципиально новое слово художника об Америке и свидетельство его творческой силы. Между тем большинство американских критиков высказали неудовлетворенность этим романом. Известный орган академического литературоведения США журнал «Америкэн литерачур» докторальным тоном заметил, что книга «Особняк» хуже двух первых частей трилогии и вообще говорит о творческом упадке писателя. И кто только в американской буржуазной критике не вступал в полемику с самим Фолкнером, заметившим как-то, что образ коммунистки Линды из последней части трилогии — один из самых интересных в ряду когда-либо созданных им образов!

Нет сомнений: работая над книгой, и в частности над воплощением характера этой героини, автор испытывал много колебаний, не раз спорил с самим собой. В письме, опубликованном в 50-х годах в одной американской газете, романист осудил культуру США, «которая ставит любое механическое изделие выше любого человека», и тут же добавил, что, принадлежа к роду людей, человек «обречен на поражение». Но ведь в Линде мы не чувствуем никакой обреченности!

Да, в романе часто звучит скепсис по отношению к результатам политической деятельности героини, иногда даже слышится насмешка над коммунистами. Но коммунистка Линда вызывает у автора уважение уже потому, что мужественно борется за свои идеалы: воюет в Испании, беззаветно трудится, чтобы разгромить нацистов. И ей же удается в конце концов уничтожить Сноупса — этот символ «финансового капитализма», как выразился один американский литератор. Правда, методы Линды в изображении писателя нередко чужды коммунистам. (Попутно заметим, что едва ли был прав прогрессивный американский критик Джон Говард Лоусон, когда он писал, что в основе ненависти Линды к Флему лежали «фрейдистские мотивы», — на самом деле социальная обусловленность этой ненависти вполне очевидна.) Героиня «Особняка» вовсе не идеальный образ, и все же в коммунистке Линде Фолкнер обнаружил немало привлекательного, возбуждающего читательскую симпатию.

Заключительная часть трилогии о Флеме Сноупсе была и остается поныне свидетельством мужества честного художника, кото-

рый всецело верен правде, даже если эта правда ему не совсем близка.

Можно назвать немало исследователей, в один голос говоривших, что избалованные герои Фолкнера внутренне как бы заморожены, неспособны прогрессировать. Это вряд ли верно. В речи, произнесенной при получении им Нобелевской премии, американский прозаик восславил борение человеческого духа и заявил, что он не приемлет концепцию обреченности человека. Но подобные декларации приобретают истинную ценность, находя воплощение в создаваемых художником образах. И есть основания утверждать: наиболее значительный у Фолкнера образ, в котором воплощена мысль, что подлинное призвание человека — борьба за лучшее будущее, это именно образ Линды.

В «Особняке» перед нами — исполненное глубочайшего смысла столкновение идей. Ставя под вопрос оправданность вступления Линды в ряды коммунистов, один из персонажей книги исходит из того, что люди, дескать, вообще ничтожны и не заслуживают ни заботы, ни тем более жертв. В этом месте повествование приобретает особенную напряженность. Ведь то обстоятельство, что Линда все-таки остается коммунисткой, не может не восприниматься вдумчивым читателем как решительное отрицание только что выраженных циничных соображений, как признание идеи, что человек вовсе не ничтожен, что в конечном счете люди достойны лучшей жизни, за которую следует бороться, во имя которой стоит приносить жертвы.

Эта прекрасная мысль является существеннейшей частью того идейного наследия, которое Фолкнер оставил литераторам, идущим ему на смену.

Впрочем, и это не все, к чему сводится своего рода духовное завещание, содержащееся в «Особняке». Немалый вес в творческом наследии Фолкнера принадлежит образам-символам, как бы экспонирующим глубинные свойства людских характеров. В завершающих главах «Особняка» писатель не случайно изобразил физическое и моральное оцепенение Флема Сноупса, символизирующее бесплодие стяжательства. И раньше Флем был показан существом духовно мертвым, но, во всяком случае, там, где дело шло о защите эгоистических интересов, в активности ему отказать было невозможно. Однако на тех страницах романа, где Фолкнер стремится показать полную

обреченность сноупсов, внутренней заторможенности этого персонажа он придает почти фантастический характер. Когда убийца направляет пистолет прямо в Сноупса, тот следит «неподвижно и даже безучастно... как грязные, дрожащие, худые руки Минка... поднимают курок...».

Зато сам Минк, просидевший в тюрьме несколько десятков лет, открывается нам теперь новыми гранями своей личности. Фолкнер широко пользуется излюбленным им приемом раскрытия потенциальных возможностей самых на первый взгляд «малоперспективных» персонажей, вводя в текст поэтические пассажи, идущие непосредственно от автора. Ведь именно о Минке, этом полудиком как будто человеке, говорит автор, что он ровня «самым добрым, самым храбрым», что он «неотделимый от них, безымянный, как они: как те, прекрасные, блистательные, гордые и смелые, те, что там, на самой вершине, среди сияющих видений и снов, стали вехами в долгой летописи человечества...».

«Особняком» Фолкнер завещал своим литературным преемникам дальнейшее развитие традиций остросоциального психологизма. Не случайно романист говорил, что Шервуд Андерсон был отцом его поколения американских писателей...

Рассматривать какую-либо из книг Хемингуэя как своего рода литературное завещание — дело сложное. Известно, что самые значительные произведения, такие, как великопленные романы «Прощай, оружие!» и «По ком звонит колокол», он написал отнюдь не в последние годы своей творческой деятельности, а посмертно изданный роман «Острова в океане» писатель так и не успел полностью завершить. Не случайно, говоря об «Островах...» с советскими литераторами через несколько лет после самоубийства Хемингуэя, вдова писателя выразила сомнение в том, что эта книга когда-нибудь увидит свет. Роман был опубликован впервые только в 1970 году.

Знакомясь с «Островами...» в том виде, который книга приобрела после проведенной над рукописью длительной редакторской работы (редакторами выступили Мэри Хемингуэй и издатель Чарльз Скрибнер — младший), чувствуешь здесь немало огрехов. Композиция книги не вполне продуманна. Сцепления между элементами повествования нередко ослаблены.

И все же читаешь роман с чувством приобщения к подлинному искусству. Он содер-

жит немало великолепных страниц о второй мировой войне.

Читателя не может не взволновать хотя бы то, что в посмертно изданной книге появляется чисто «хемингуэевский» образ человека, противопоставляющего силам зла свое несокрушимое достоинство. В наиболее удачных главах романа дает о себе знать характерный для Хемингуэя тончайший психологизм, мастерское владение искусством подтекста.

К числу посмертно изданных произведений Хемингуэя относится чудесная книга воспоминаний, озаглавленная «Праздник, который всегда с тобой». Едва ли не лучшие страницы этой книги посвящены первой и нежно любимой жене автора. Как и в «Островах в океане», здесь звучит мотив непоправимо утраченной первой любви. Собственно, и в незавершенном романе этот мотив один из ведущих. Основной герой «Островов в океане» художник Томас Хадсон не в силах погасить в себе тоску об оставленной жене. Какая боль звучит в словах Хадсона: «А зачем вообще я расстался с матерью Тома? Лучше не задумывайся об этом, сказал он себе».

Об обстоятельствах смерти сыновей Хадсона в романе упоминается как бы мимоходом. Главное для Хемингуэя — желание запечатлеть само чувство трагической утраты, а одновременно и свойственную герою (как и многим другим персонажам писателя) способность стойчески нести тяжесть обрушившегося на него горя, проявлять то, что Тютчев назвал «божественной сдержанностью страдания». «Острова в океане», при всех особенностях своей литературной судьбы, — важное напоминание читателю, в том числе и сегодняшнему молодому американскому прозаику, о мощи человеческого духа, об умении людей, заслуживающих уважение и любовь, сохранять достоинство, нравственную стойкость в самых суровых обстоятельствах. Неверно было бы, впрочем, видеть в героях Хемингуэя стойких страстотерпцев, а в самом художнике — певца пассивно-оборонительного отношения к жизненным невзгодам.

Хемингуэй в романе «Острова в океане» с большой силой сумел сказать о высоком гуманистическом значении борьбы против немецких фашистов во время второй мировой войны. И это очень важно. Охватившее миллионы американцев в 50-е и 60-е годы отвращение к милитаризму вызвало во многих писателях США такой живой отклик,

что в ряде созданных ими художественных произведений пафос протеста против деятельности американской военщины стал отеснять на задний план тему справедливой борьбы против гитлеровских полчищ. Подобные тенденции сказались, например, в романе Дж. Хеллера «Уловка-22» — напоминая, он заканчивается тем, что с явного благословения автора основной герой, американский летчик, дезертирует из армии в разгар сражений против нацистских сил...

Итак, в «Островах в океане» страстно звучит тема ненависти не только к омерзительным (выражение самого Хемингуэя) американским стяжателям, но и к немецким фашистам. И в сердцах читателей находит живейший отклик рассказ о том, как расисты-гитлеровцы уничтожили всех до единого жителей поселка, куда им удалось проникнуть («Что... с ними считаться — негры!»).

Разумеется, не все произведения трех американских романистов, чьи имена упомянуты в заглавии этой статьи, одинаково значительны по мысли и удачны в художественном отношении. Но «прощальные» книги, о которых только что шла речь, вобрали в себя многие из самых замечательных сторон их творчества. Романы «Зима тревоги нашей», «Особняк» и «Острова в океане» воплощают на современном этапе истории заокеанской республики наиболее ценные традиции передовой литературы США. Это традиции верности жизненной правде, идеям гуманизма, служения интересам демократических масс, критического отношения к собственническому миру.

Кое-кому, возможно, покажется, что рост в США недовольства властью «истэблшмента», а также высокие начала, идущие от Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека, сами по себе служат залогом расцвета американского романа в наши дни. Но нельзя забывать о силе «контртрадиции», о значении тех факторов, которые оказывали в прошлом (и оказывают также ныне) пагубное влияние на развитие художественной литературы страны. Ведь речь идет о государстве, где монополии всеильны и обладают возможностью воздействовать не только на экономику и политику, но и на духовную жизнь.

Огромную часть беллетристики, публикуемой за океаном, всегда составляли книги, бесстыдно приукрашивавшие американское буржуазное общество. Создание подобной литературной продукции стало ныне еще более доходным делом, одним из самых

привлекательных видов бизнеса. Нет нужды уделять значительное место деятельности поставщиков «массовой», как правило, конформистской литературы. Коснемся только карьеры Германа Вука — наиболее даровитого, пожалуй, из них.

Вук очень не прост. Творчество других современных создателей подобных коммерческих романов, таких, например, литераторов, как А. Друри, откровенно выступающего с пропагандой реакционных взглядов, может вызвать у Вука только насмешку. Ведь хотя Герман Вук не менее, чем Друри, верен «идеалам» капитализма, но он распределяет свет и тени в своих романах таким образом, чтобы неискушенный читатель поверил, будто перед ним правдивое воспроизведение действительности.

Рецензируя новейшее произведение Вука, тысячестраничный роман «Ветры войны» (1973), многие американские критики поставили его в один ряд с книгой того же автора «Восстание на «Кейне», которой писатель впервые завоевал известность (это было вскоре после второй мировой войны), продемонстрировав немалую способность водить читателей за нос.

«Кейн» — военный корабль. Сначала автор создает впечатление, будто он собирается раскрыть уязвимые стороны порядков, существующих в военном флоте США. Видные персонажи книги настроены критически в отношении всей американской военной машины. Один из офицеров даже сочинил антимилитаристский роман. Перед главными героями сложная проблема. У командира «Кейна» (действие происходит в годы войны) появляются признаки психической болезни. Но в его руках судьба корабля, и офицеры вынуждены что-то предпринять. Однако их «восстание» приводит только к тому, что они оказываются в руках судебных органов. И тут следует неожиданный поворот. Главным виновником всего происшедшего автор объявляет офицера, который выразил в своей книге недовольство военной.

В прошлом десятилетии, когда угарная атмосфера маккартизма в США отчасти развеялась, конформист Вук был вынужден в какой-то мере «перестроиться». Чаще, чем прежде, он стал придавать своим романам облик чуть ли не документальных повествований о повседневной жизни американцев. «Счастливые концовки» стали выступать в его книгах в более завуалированном виде. Романист, однако, по-прежнему ориентиру-

ется больше всего на вкусы зажиточного мещанина.

В середине 60-х годов вышел в свет роман Вука «Пусть карнавал продолжается». Мир бизнеса был тогда вполне доволен собой, хотя убийство Кеннеди уже вызывало тревогу даже у тех американцев, которые проявляют очень мало интереса к политике. Не без умысла, пожалуй, действие книги было перенесено из США, где происходят события первых произведений Вука, на некий экзотический остров в южных морях, куда богатые ньюйоркцы или чикагцы приезжают развлекаться.

Впрочем, основной герой книги Пейпермен не из развлекающихся. И он, подсказывает читателю Вук, хорош прежде всего тем, что порвал все связи с искусством (Пейпермен ведал рекламой у одного антрепренера) и приехал на этот остров заняться бизнесом. Стремясь придать образу Пейпермена чуть ли не героические масштабы, автор заставляет его испытать множество бед, когда он решает взять на себя управление приобретенной им местной гостиницей. Вуку теперь не по душе трафаретный идиллический финал. Пейпермен оказывается способным на «большую любовь». Однако в конце концов женщина, которую он полюбил, гибнет от несчастного случая. И герой решает вернуться в Нью-Йорк под крылышко верной супруги. В уста этой женщины и вложена основная идея романа. Жена говорит Пейпермену, что он «превратил гостиницу в чертовски хорошее предприятие». Упорство американского бизнесмена, так не похожего на туземцев, которые якобы почти все на свете воспринимают как «бесконечный карнавал», принесло свои плоды...

Роман «Ветры войны», возможно, не понравился бы поклонникам Маккарти в такой степени, как «Восстание на «Кейне». В книге есть страницы, где не без известной доли объективности автор говорит о борьбе советских людей против фашистских агрессоров в начале второй мировой войны.

И все же в основе своей произведение остается «вуковским». В центре нового романа семья военных моряков. Это Виктор Генри и два его сына. В книгу также введен излюбленный авторский мотив: профессия военного моряка — это куда более достойное дело, нежели занятие искусством. Специфически «вуковское» здесь отчетливее всего сказывается в последних главах. Все как будто выглядит крайне мрачно.

Генри — потрясенный очевидец гибели американского военного флота при Пирл-Харборе. Неутешительны и семейные его дела: жена решила уйти к другому. Однако романист не оставляет героя в беде. Виктор получает прекрасное новое назначение — он командир большого корабля. Жена же, узнав о событиях в Пирл-Харборе, аннулирует декларацию о разрыве с непорочным мужем. Неизменный наигранный «оптимизм» Вука служит не только целям «утешительства». Он позволяет ему также утверждать политические взгляды, дорогие «истэблшменту». В тексте романа, кстати, рассыпано немало сентенций, прямо навешанных Пентагоном...

Привлекательность «жанра» конформистской литературы для писателей, готовых торговать своим дарованием, вполне очевидна. Еще в 50-х годах известный романист Сол Беллоу отметил, что авторы, гонящиеся за гигантскими доходами, которые приносит им коммерческая «популярность», немало сделали в США для того, чтобы разрыв между популярным романом и романом серьезным постоянно увеличивался. Сегодня представители академических кругов порою прямо говорят, что численность американских читателей, интересующихся серьезной литературой, сократилась.

Но подъему реалистического романа за океаном мешает не только это. Роль шлагбаума, закрывающего доступ к путям, на которых может происходить дальнейшее развитие большой американской литературы, играют в наши дни также философские концепции, в основе которых лежит нигилистический взгляд на человека. Недаром во многих литературоведческих исследованиях упорно выдвигается мысль, что самое видное место в современном романе США принадлежит произведениям — и это, мол, вполне оправдано, — написанным в духе «абсурдизма» или «черного юмора». Речь идет, как правило, о книгах, проповедующих мысль, что люди — это существа, отягощенные вечным эгоцентризмом и другими неискоренимыми пороками, неспособные к общению, а значит, обреченные.

Американский литературовед Джеймс Миллер — младший начинает свою книгу «В поисках иррационального и абсурдного», посвященную новейшей литературе США, с рассказа об испытанном им, казалось бы, ничтожном переживании: вернувшись самолетом домой, в Чикаго, он не смог обна-

ружить в своих карманах жетона, удостоверяющего, что автомашина предъявителя принята на хранение. В результате автора охватили «паника и ужас, с одной стороны, истерическое желание смеяться — с другой». А дальше критик декларирует, что вселенная, изображаемая в американском романе последних лет, вызывает сходные ощущения. Ведь его родина, дает понять исследователь, эта страна машин, ракетных самолетов и комфорта, «превращается в мир кошмаров...».

Миллер называет десятки писателей США, получивших известность после второй мировой войны, которые рисуют действительность как «перевернутый или заброшенный мир», а своих героев — людьми, страдающими тяжелой душевной болезнью. Для характеристики многого в современной литературе США, говорит критик, понадобились бы такие слова, как «мучение, абсурдность и тошнота...».

Между тем американская критика нашего времени упорно толкает писателей на путь создания книг откровенно упаднического характера. Стоит заметить мимоходом, что среди подобных деятелей в сфере литературы есть и такие, которые претендуют на роль духовных опекунов по отношению к... советским писателям. Речь идет о так называемых советологах. В своей статье, опубликованной в журнале «Знамя» (1975, №№ 1, 2, 3), А. Беляев имел реальные основания обвинить американского «советолога» Деминга Брауна (автора книги, посвященной советской американистике) в стремлении увести литературу в целом «в затхлый мирок одинокой и беспомощной личности, духовно разоружить человека, согнуть его и заставить бояться самого себя».

Влиять на духовную жизнь нашей родины таким критиком, конечно, не под силу, но их способность воздействовать на романистов США недооценивать не приходится.

О широком распространении в США литературы, пронизанной «абсурдистскими» настроениями, упоминается, например, в эссе американского литературоведа Каули под многосложным названием «Потускневший облик повествователя». Автор начинает со следующих слов (звучащих, на мой взгляд, слишком категорически): «Нет никаких сомнений в том, что повествовательное искусство потеряло привилегированное положение, которое оно всегда занимало в издательском мире...» Проза, ко-

торую вполне обоснованно не приемлет Каули, представляет собою, по его словам, то «простые собрания эпизодов или объектов, похожие на складские инвентари», то «нечто, не выходящее за пределы мычания, визга и дурных каламбуров». Какие произведения вызывают особенное возмущение критика, видно из его ссылки на некий роман, где рассказывается о мире, в котором «прошлое не имеет значения», а «будущее слишком мрачно, чтобы даже думать о нем».

Нет, не так-то просто реалистическому роману утверждать себя в Америке нашего времени. Чтобы литература восприняла сегодня все лучшее из того, что можно назвать наследием Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека, американский писатель не только должен твердо противостоять материальным соблазнам, связанным с книгоиздательской практикой. Он обязан также глубоко уяснить истину, сформулированную в годы второй мировой войны Франсуа Мориаком. Этот художник писал тогда о необходимости «преодолеть соблазн презирать человека. Врагу будет только выгодно, если мы поддадимся этому соблазну: ведь презрение к человеку лежит в основе нацистской доктрины».

Обратимся к творчеству ряда писателей США, которые создавали и создают реалистические романы после того, как у Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека (воспользуемся несколько старомодным выражением) выпало перо из рук.

Романистке Джойс Кэрол Оутс еще далеко до сорока, но она уже успела опубликовать полдюжины объемистых романов, несколько томов рассказов, стихов и литературно-критических статей.

Проза Оутс противостоит тому направлению в литературе США, которое представляет Герман Вук. Утешительство, желание приукрасить реальность современной Америки не просто чужды Оутс — она упорно внушает читателю острокритическое отношение к американской действительности.

В своих литературоведческих эссе Оутс нередко демонстрирует готовность следовать канонам экзистенциалистской философии, на которой в годы учебы будущей писательницы в высших учебных заведениях США воспитывалось чуть ли не все ее поколение. Вместе с тем было бы несправедливо полагать, что недавно опубликованная ею книга «На грани невозможного, трагические формы в литературе» родилась

лишь вследствие стремления автора продемонстрировать свою верность принципам экзистенциализма. Исследование это прежде всего говорит о постоянной озабоченности Оутс проблемой трагического.

Для мировоззренческой позиции Джойс Кэрол Оутс очень характерно ее эссе, посвященное творчеству Набокова, которое появилось в американском журнале «Сатердей ревью оф артс» в 1973 году. Автор не скупится на комплименты нашумевшему роману Набокова «Лолита», она хвалит также некоторые другие его книги. Но дальше следуют замечания, которые показывают, сколь органически чужды писательнице взгляды на жизнь, на человека этого влиятельного ныне в литературных кругах США русского белоэмигранта, сделавшегося американским прозаиком, этого романиста, воплощающего в своем творчестве худшие особенности «абсурдистской» литературы.

При всей спорности отдельных положений эссе писательницы дает уничтожающую характеристику истинной сущности отношения к людям этого модернистского романиста. «Мне он (то есть Набоков.— М. М.) представляется трагической фигурой, может быть, даже героической в своей изоляции от людей,— говорит Оутс как будто бы тоном глубокого уважения, но тут же переходит к едва завуалированному сарказму,— а возможно, просто стерильной, мономаниакальной... Набоков изгоняет из вселенной все решительно, за исключением одного только Набокова... Набокову присуща удивительная способность ненавидеть — ничего равного ей в серьезной литературе не найти. Он обладает гениальной способностью дегуманизировать... презрение к демократическому идеалу так глубоко проникло в Набокова, столь же естественно для него, как и умение находить нужные слова, играть в шахматы или ловить бабочек».

Ядовитые высказывания Оутс о «гениальной способности» Набокова дегуманизировать — это не образец злоязычия, а зеркало преданной любви самого автора статьи к людям, готовности романистки защищать демократические массы от тех, кто видит в них враждебную силу (хотя, добавим, писательница далека от желания закрывать глаза на то темное, что можно обнаружить в повседневной жизни низов в США). Не скрою, эссе Оутс о Набокове заинтересовало меня главным образом тем, что она попутно раскрывает собственное мировоззрение. Но

отдадим должное пронизательности Оутс, очень точно охарактеризовавшей ущербность восприятия мира автором «Лолиты».

Гуманизм — в самой природе дарования Джойс Кэрол Оутс. Отсюда тягостное ощущение трагизма существования в Америке людей из самых низов общества. Отсюда неприязнь писательницы к «абсурдистскому» мироощущению. Отсюда тяготение Оутс к реализму.

Роман «Те», написанный в конце 60-х годов, пожалуй, лучшее из крупных произведений писательницы, открывается историей убийства. Брат застаёт юную сестру в постели с мужчиной и убивает его. Этот поступок, которому затем уделено в книге мало внимания,— дверь, ведущая ко многим другим удручающим и даже страшным событиям.

«Страна чудес» Оутс снова заставляет нас ощутить атмосферу насилия, царящего в Америке. Роман повествует о том, как отец героя убивает почти всех членов своей семьи, а затем себя самого; мальчик, поставленный в центр сюжета, лишь по воле случая избежал смерти.

В романе «Сад радостей земных» тоже много убийств, но эта книга выделяется тем, что в ней выявлена неразрывная связь между образом жизни американцев в годы «великого кризиса» и как будто безбедными для многих соотечественников писательницы послевоенными годами. Историческая соотнесенность дня нынешнего и дня вчерашнего раскрыта в произведении с подкупающей естественностью и глубиной.

Обратимся прежде всего именно к этой книге. Когда мы впервые встречаемся с Карлтоном Уолполом, этим бродяжничающим и нищим сельскохозяйственным рабочим, он живет почти так же, как и герои «Гроздьев гнева» Стейнбека. В его глазах тоже затаились мучительное напряжение и глухой гнев (впрочем, в романе Оутс отсутствует то, чем так пленяли «Гроздьев гнева», — показ зарождения в сердцах самых обездоленных американцев влечения к товариществу, к объединению усилий для совместной защиты своих прав). Но основное в книге не рассказы о судьбах бедняков, таких, как Карлтон, а история жизни дочери Уолпола Клары. Этой женщине как будто повезло. Через ее руки проходит немало долларов. Однако это не принесло героине счастья.

Мы не вправе ставить Оутс в один ряд с крупнейшими романистами США XX ве-

ка. В ее произведениях легко отметить ряд слабых сторон. Оутс пока не способна органически соединять лирическое начало и сатиру (что отлично удалось, например, Стейнбеку). У нее не найти великолепной хемингуэвской способности сплавать воедино текст и «подтекст». Романы Оутс, пожалуй, неоправданно многословны. Но ей хорошо удается передать динамику людских поступков, их психологическую и нравственную сущность.

На мой взгляд, Оутс принадлежит к драйзеровскому направлению в современной литературе США, являясь одним из самых крупных его представителей. Напряженность ее повествовательной манеры, стремление откликнуться на явления американской действительности самого последнего времени — все это заставляет видеть в авторе «Тех» своеобразного художника, обладающего собственным голосом.

Кларе из «Сада радостей земных» шестнадцать лет. Пройдет несколько месяцев, и она родит ребенка от человека, который ее не любит. А другой, куда более состоятельный и верный, способен избавить ее от материальных забот. Мир изменился с тех пор, как минули годы кризиса, но у героини не сделалось теплее на сердце — она смотрит на все происходящее холодным взглядом. Клара учится хитрить и прикидываться. Ей кажется, что она поступает так ради сына Кречета, которого поучает: «Когда-нибудь ты все у них (у родственников ее покровителя, потом мужа.— М. М.) отбери и выставишь их из этого дома...»

Но Кречет не принимает жертвы матери, ему не по душе ее уроки. Мрачна судьба Кречета, убившего, не желая того, одного из своих невольных соперников, затем застрелившего мужа матери и наконец самого себя... Ряд критиков в США сетует на то, что Оутс слишком часто рисует акты жестокости. Но им возражают, и не без оснований, что эти стороны произведений романистки порождены самой жизнью, невиданной эскалацией преступности в США. (Стои сослаться на слова Р. П. Уоррена, автора «Всей королевской рати», — они появились в печати в прошлом году — о том, что герой этого романа был символом характерной для США «атмосферы насилия» и что эта атмосфера «все еще нам присуща».)

Роман Оутс о том, какую внутреннюю опустошенность принесла немалому числу американцев «зажиточность» послевоенных лет, основан на правде действительности.

Все же писательница очень хорошо помнит, что «тех» — бедняков, лишенных какой-либо уверенности в завтрашнем дне, — в Америке гораздо больше, нежели зажиточных людей, подобных Кларе, ставшей явной стяжательницей, когда она достигла «зрелости».

В центре романа «Те» облик вполне конкретного города — Детройта, автомобильной столицы США. Промышленные достижения детройтцев велики. Но оказывается, что жизнь в Детройте безрадостна. Подавляющая часть его населения обречена на обездоленность, несмотря на изменение уровня заработной платы. «Те» ютятся на улицах, в домах, где не избавиться от крыс и тараканов, а уборные вечно протекают. И все стоит так дорого, что у многих отсутствует самое необходимое. Постоянная безработица, заводской конвейер, который становится для рабочих кошмаром, постоянная нехватка денег — все это вызывает в людях злобу.

Роман начинается с того, как Лоретта, проснувшись поутру, обнаруживает рядом с собой труп, а случайно оказавшийся поблизости полисмен Говард Уэндэлл выволакивает убитого на улицу. Героиня вынуждена выйти замуж за спасителя. Все это попадает мелодрамой, но в основе своей роман совершенно правдив. Ведь в Детройте установлен своего рода всеамериканский рекорд по количеству преступлений со смертельным исходом. Уровень безработицы там исключительно высок. Богатые детройтцы только работают в этом городе, а проживают чаще всего (под охраной специальных отрядов полиции) в загородных районах, куда рядовым жителям (особенно неграм) доступа нет. И самое важное — «те» Детройта, по сути дела, существуют так, как и все другие рядовые американцы по всей стране.

Дальнейшая жизнь Лоретты вполне обычна. Рождаются дети. Говард пьянствует, его выгоняют из полиции. Вскоре после того, как ему удалось устроиться на завод, он гибнет от несчастного случая на производстве. С годами бескультуры Лоретты и ее мешанская сущность проступают яснее и яснее. Несмотря на невзыскательность этой женщины, ей приносит все меньше радости жизнь с очередным мужем или «покровителем». Лоретту начинают тяготить ее дети, которые рано стали взрослыми...

В центре книги именно дети Лоретты. Сама она, несмотря на возникшую тягу к

зажиточности и «респектабельности», целиком привязана к трущобам. Все, что она знает, почерпнуто именно у «тех». Она религиозна, ибо религиозны окружающие, ненавидит негров, ибо подобной ненавистью насыщен воздух, которым она дышит. Воспитывать детей Лоретта предоставляет улице.

Джулз и Морин куда острее, чем их мать, переживают выпадающие на их долю невзгоды. Впрочем, сходства между ними не так-то много. В Джулзе порою ощущаются романтические склонности, во всяком случае он способен испытывать любовь к своей семье и мечтает о всеохватывающем чувстве к какой-либо молодой женщине. Морин суше и целеустремленней. Но почти все, что происходит и с Джулзом и с Морин, так или иначе связано с влечением к деньгам. Только доллары могут вызволить их из круга «тех».

В одной из заключительных глав романа рассказано, как добряк Джулз разыскал наконец-то свою сестру. Морин не хочет иметь ничего общего с ним, с матерью, с другими родственниками. Она не станет больше встречаться с «теми». «Но послушай, дорогая, разве ты сама не принадлежишь к числу тех?» — спрашивает Джулз. Ответа нет.

Как ни сложно складываются обстоятельства бегства Джулза, нас больше всего волнует простая, даже примитивная, но полная внутреннего драматизма история жизни Морин. Ей довелось провести несколько лет в монастыре, и все-таки ее жизнь связана с трущобами. Оттуда она вышла, туда и вернется... Если только не откроет способ пережить судьбу, раздобыв много денег. Жизнь в трущобах и подсказывает Морин, как это сделать. Девушка начинает торговать своим телом.

В «Преступлении и наказании» Ф. Достоевский поведал о том, как Сонечка в первый раз пошла на панель. Она продала себя потому, что ребятишки Катерины Ивановны плакали от голода. И после возвращения Сонечки домой Катерина Ивановна, «ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала...». История падения Морин кажется как будто сходной. И если она все же столь многим отличается от повествования о Сонечке, то не только потому, что неодинаковы масштабы дарования молодой американской романистки и великого русского писателя. Оутс

повествует о мире разорванных нравственных связей, о той реальности, где женщина может рассматривать свое достоинство как более или менее ходовой товар.

Безусловной удачей Оутс я считаю те главы романа, в которых запечатлена перемена, происшедшая с Морин, когда она начинает вести, казалось бы, вполне «приличный» образ жизни. Вот тогда эта тихая как будто женщина превращается в опасную хищницу. Без тени колебаний Морин осуществляет план, цель которого — оторвать преподавателя вечерней школы, где она начинает учиться, от семьи, от троих детей и женить на себе. Есть в образе Морин что-то близкое образу Клары. Но в образе героини «Тех» запечатлен, пожалуй, даже более зловещий социальный тип.

Не все романы Оутс воспринимаются с таким чувством удовлетворения, как «Те» или «Сад радостей земных». О подстерегающих писательницу творческих опасностях говорит, в частности, книга «Страна чудес». Нельзя не почувствовать, конечно, неподдельного драматизма сцены, в которой показано, как отец героя — разорившийся мелкий предприниматель, — поддавшись чувству отчаяния, решает уничтожить всю свою семью. Но дальнейшая судьба мальчика, ставшего знаменитым хирургом и все же обреченного на бесконечные внутренние муки, порою создает ощущение нарочитости. Нагнетаемое Оутс чувство трагичности жизни, без должной попытки раскрыть общественный смысл происходящего, лишает роман реалистической убедительности.

Острый интерес писательницы к социальной жизни сегодняшней Америки, конечно, сказывается и в этом произведении. Читая роман, особо задерживаешь внимание, например, на весьма характерной картине антивоенной демонстрации молодежи. Выразителен и емко рассказ об обстановке, в которой оказалась героиня, поселившись у хиппи. Оутс в очередной раз показала готовность сказать самую горькую правду об Америке. Но эта правда, повторяю, далеко не всегда получает глубокое истолкование.

Самый последний роман Оутс «Делай со мной что хочешь» (1973) — свидетельство некоторых сдвигов в творчестве писательницы. Далеко не все в этом объемистом произведении может порадовать взыскательного читателя. В новой книге психологическим мотивировкам порой не хватает глубины и точности.



В названии романа отражена важная черта его героини Елены, красавицы, жены преуспевающего адвоката Хоуи,— крайняя пассивность, готовность подчиняться воле других людей. Оутс поставила перед собой задачу поведать, как в конце концов эта женщина находит в себе силы сойти с ровной и гладкой колеи «респектабельного» существования. Правда, Елена не очень хорошо разбирается в том, чем порочен склад жизни ее весьма удачливого супруга, этого ловкого дельца на ниве юриспруденции, миллионера, пользующегося уважением у детройтских богачей. Она лишь проникается состраданием к тем обездоленным, против которых обращен механизм американского «правосудия». Этой женщиной владеет прежде всего страсть к любимому человеку — юристу Джеку Моррисси. Вместе с тем автор позволяет если не Елене, то читателю достаточно глубоко понять, как велика нравственная дистанция между Хоуи и Моррисси, выступающим защитником бедняков.

Впрочем, не следует преувеличивать внутреннюю значительность Джека Моррисси — человека не очень-то зоркого духовно. Он, например, явно уступает своей жене Рейчел в социальной проициальности. Характер Рейчел — безусловное достижение Оутс. В прошлом романистке не удавалось создавать столь запоминающиеся портреты американцев, исполненных веры в способность народа «изменить страну».

Различие позиций двух юристов — мужа Елены и ее возлюбленного — выражено особенно контрастно в том эпизоде, где некий фермер, от которого убежала дочь, приобрел ружье и отправился на поиски непослушной. Обнаружив беглянку, он убил ее на месте, а заодно лишил жизни трех людей, случайно оказавшихся рядом. Моррисси возмущен этой варварской расправой, а Хоуи взял на себя защиту фермера и убедил присяжных вынести убийце оправдательный приговор.

Позволю себе высказать предположение, что, работая над романом, Оутс часто вспоминала толстовскую «Анну Каренину». Реминисценции из Толстого здесь весьма отчетливы, исключая, однако, финальную часть романа, который завершается на мажорной ноте. Героиня наконец решается покинуть мужа ради любимого, ради осмысленного, хотя и куда менее «комфортабельного» существования.

Так, в новом романе Оутс возникает довольно очевидная оптимистическая тональ-

ность (не имеющая ничего общего, конечно, с пресловутыми «счастливыми концами»). Эта особенность книги вполне способна спутать карты известному американскому «советологу» Уолтеру Виккери. Ярый противник метода нашей литературы, ее жизнеутверждающего пафоса, он в своей книге «Культ оптимизма» заявил, что оптимизм вообще «чужд большинству писателей большинства общественных укладов». Приятно отметить, что вздорным обобщением Виккери противостоит творческий опыт его талантливой соотечественницы Оутс. Впрочем, как читатель увидит дальше, приведенное утверждение Виккери опровергается художественной практикой и других писателей США, например Джеймса Болдуина и Ларса Лоренса.

Что же до нового произведения Оутс, то оно укрепляет нас в мысли, что завтрашний день американского романа будет в немалой мере определяться дальнейшим созреванием незаурядного дара этой писательницы.

Если творчество Оутс лишь недавно обратило на себя внимание критиков, то к Солу Беллоу взоры литературоведов США были прикованы еще со времен второй мировой войны. А после того как замолкли голоса Фолкнера и Хемингуэя, заокеанская критика довольно часто стала выражать мысль, что Беллоу сделался американским романистом номер один.

Как идеолог (он всегда претендовал на роль писателя подчеркнута интеллектуального склада) Беллоу много петлял и противоречил самому себе. В свое время его даже коснулись маккартистские веяния. Да и сегодня отношение Беллоу к важным проблемам действительности отнюдь не отличается устойчивостью.

В прошлом десятилетии прозаик создал два романа — «Герзаг» и «Планета мистера Саммера», где он, обнаружив привычную склонность к экзистенциалистским настроениям, все же отдал дань обличительным тенденциям, нараставшим тогда в американской литературе. Названные романы Беллоу, несомненно, интересны и симптоматичны, но полагаю, что американские критики все же преувеличивают значение творчества этого писателя в целом.

Норман Мейлер, принадлежащий к тому же поколению, что и Беллоу, пользуется, пожалуй, не меньшей известностью. Но ес-

ли Беллоу уже в самом раннем своем романе «Человек, который бьтался в воздухе» (1944) четко отмежевался от лучших традиций литературы 30-х годов, то Мейлер, напротив, сразу же продемонстрировал близость ему мировоззренческих позиций прогрессивных художников этого десятилетия. Роман, с которым он выступил в 1948 году («Нагие и мертвые»), подобрал в себя очень многое из того, что Мейлер узнал в юности и что он выстрадал во время второй мировой войны. Эту книгу есть основания считать по сей день самым значительным из всех произведений, посвященных американскими романистами войне США против Японии. В «Нагих и мертвых» запечатлены растерянность американцев в военной форме, не понимавших смысла войны, участниками которой они стали, отсутствие у многих из них стойкого иммунитета против фашистской идеологии.

Значение «Нагих и мертвых» нельзя, однако, сводить к тому (как это порой делают критики в США), что в книге показан духовный вакуум, существование в котором стало уделом столь многих американцев. Велика заслуга Мейлера, сумевшего почувствовать еще в ту пору, когда маккартистская лихорадка не успела охватить всю страну, сколь близки к гитлеровским взгляды, которые стали выражать (хотя первоначально в сравнительно узком кругу) милитаристы США. Образы генерала Кэммингса, этого явного фашиста, а также исполнителей его воли до сих пор не утратили своей актуальности.

Однако идейный климат в США 50-х годов отрицательно сказался на воззрениях и дальнейшем творчестве писателя. Его романы, опубликованные через несколько лет после «Нагих и мертвых» (Мейлер очень плодovit), говорили о явной деградации прозаика. Несопоставимы с «Нагими и мертвыми» также и поздние романы «Американская мечта» (1965) и «Почему мы во Вьетнаме?» (1967), хотя в этих произведениях мир собственников изображен весьма непривлекательно.

Особенностью мейлеровского творческого пути на рубеже 60-х и 70-х годов стала растущая тяга писателя к прозе публицистического, документального характера, где в максимально обнаженной форме выражено отношение автора к важнейшим проблемам современности. В этой связи нужно упомянуть прежде всего страстные политические репортажи Мейлера «Майами и оса-

да Чикаго» и «Армии ночи». В этих книгах художник поведал о некоторых наиболее острых моментах борьбы народных масс США (молодежи прежде всего) против власти «истэблишмента», против тех, кто хотел бы силою оружия уничтожить все остатки буржуазно-демократических свобод в стране. Репортажи Мейлера по яркости жизненных красок хочется даже сопоставить с лучшими страницами романа «Нагие и мертвые».

Жизненные дороги Мейлера и еще одного американского художника примерно того же поколения, Курта Воннегута — младшего, при всем их несходстве имеют и нечто общее. Для Воннегута, как и для автора «Нагих и мертвых», очень важным оказался опыт военных лет. Но если Мейлер — напомним — вступил в 40-е годы в какой-то мере наследником идейных традиций предшествовавшего «гневного десятилетия», то о Воннегута такого не скажешь.

Вообще Воннегут — писатель не только весьма противоречивый, идейно нестойкий, но даже склонный этим бравировать. Его авторская позиция просматривается обычно не без труда — ведь в основе большинства воннегутовских произведений лежит гротеск, ирония, а то и издевка над здравым смыслом.

Иные литературоведы, анализируя творчество Курта Воннегута, обнаруживают в его книгах взгляд на современный мир как на царство безумия, а еще недовольство господством технократических тенденций. И только. Например, американский критик Джон Сомер, опираясь на ироническое замечание самого Воннегута, что книга «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» написана в «слегка телеграфически-шизофреническом стиле», предложил так и определить творческую манеру автора. Она-де... шизофреническая. И в этом романе, и в «Кольбели для кошки», и в более ранних произведениях писателя некоторые исследователи также видят лишь иллюстрацию к философским построениям, носящим достаточно абстрактный характер.

Между тем есть основания утверждать, что, несмотря на ограниченность понимания Воннегутом социальной действительности, в лучших своих книгах он довольно трезво оценивает конкретные пороки капиталистического общества и подвергает многие явления собственнического мира безжалостному сатирическому осмеянию.

Уже в первом своем романе «Механическое пианино» (или «Утопия 14»), опубликованном два десятилетия тому назад, Воннегут исходил из вполне определенных представлений о социальных отношениях в США. Реальность, запечатленная в «Утопии 14», несет на себе печать власти монополистов, не признающих нравственных ограничений в своей погоне за сверхприбылями.

Не так давно стали доступны новые биографические сведения о Воннегутае. Выяснилось, что будущий писатель не только был призван в армию во время второй мировой войны (это мы знали и раньше), не только долгое время зарабатывал на хлеб как поставщик развлекательного чтения, но также служил в отделе крупнейшего промышленного концерна. Пережитое за все эти нелегкие годы и внушило начинающему литератору острокритический взгляд на устройство буржуазного мира. «Механическое пианино», роман об американских монополистах, с большим правом, нежели, пожалуй, какое-либо другое сочинение прозаика, можно причислить к жанру социальной фантастики. Но два десятка лет назад уже сама форма первого крупного сочинения Воннегута, «научно-фантастического романа», не давала ему оснований надеяться на внимание серьезной критики.

После «Механического пианино» он несколько лет не выпускал новых книг. Когда же в 1959 году появились наконец «Сирены Титана», то профессиональные ценители литературы решительно отнесли это сочинение именно к разряду невысоко котирующейся «научной фантастики»: действие в новой книге происходит главным образом на фоне внеземных цивилизаций, а с обложки романа глядят на нас соблазнительные молодые женщины в прозрачных платьях. Лишь немногие американцы поняли тогда, что фантастика «Сирен Титана» пародийна, что в ней заключена изрядная доля издевки.

Общественный диапазон сатиры Воннегута имеет тенденцию к расширению (хотя некоторые из его произведений свидетельствовали о серьезных идейных колебаниях писателя). В «Колыбели для кошки» (1965) прослушивается одна генеральная тема: сатирик бичует ученых мужей, с готовностью создающих средства массового уничтожения. Дальше фронт сатирического наступления становится еще более значительным — Воннегут рисует портрет одного из типич-

ных латиноамериканских диктаторов, пользующихся поддержкой реакционных сил в Вашингтоне, зло высмеивает кисло-сладкий обман религии, беспощадно обличает американских дельцов.

До сих пор не издан на русском языке саркастический роман Воннегута «Да благословит вас господь, мистер Роузуотер, или О метании бисера перед свиньями» (1965). Читателю не очень внимательному эта книга, возможно, покажется дифирамбом во славу «честного» американского богача. Но если главному герою и присущи черты искреннего гуманизма, то она лишь оттеняет жестокость общественного уклада, который его окружает.

Острота и беспощадность сарказма в ряде последних вещей Воннегута (особенно в «Бойне номер пять...», где рассказано об уничтожении Дрездена английской и американской авиацией в самом конце второй мировой войны, когда советские войска уже приближались к этому городу) сочетается с лукавством, тонкой насмешкой. В «Завтраке для чемпионов» (1973) внешне «невинные» краски даже могут показаться читателю знаком авторского благодушия. Такое впечатление, однако, обманчиво. Пожалуй, ни одну свою книгу Воннегут не начинал столь обильным зарядом сарказма, как эту, — сатирический пафос автора здесь направлен, в частности, против нигилистического подхода к самой природе человека, неверия в его творческие возможности. Художественный опыт Швифта, а также Твена, не раз прибегавших к острому гротеску, многие приемы мастеров сатиры XX века — все это переплавилось в творческом горне создателя «Завтрака для чемпионов». Именно в этой книге социальная сущность воннегутовской сатиры дает себя знать в особенно ясной форме.

В одном месте «Завтрака для чемпионов» автор характеризует свою книгу как «рассказ о встрече двух сухопарых, уже молодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели». Один из этих «одиноких белых мужчин» — писатель-фантаст Траут, устами которого Воннегут то и дело высказывает свои собственные идеи. Но нельзя верно понять «Завтрак для чемпионов», если упустить из виду, что на Траута здесь возлагается также иная функция — быть живой антитезой истинного мировоззрения автора романа. Этот герой не раз высказывает и заведомо ложные, вредные мысли. В частности, Тра-

ут настаивает на машинообразии человека. И вот под влиянием единственного романа Трауга, который прочитал другой «белый мужчина» — Двейн Гувер (в этом романе и утверждалось, что все люди «на свете роботы, все до единого, за исключением Двейна Гувера»), этот богач превращается в «кровожадного маньяка». Таким необычным и, может быть, трудным для расшифровки способом Воннегут стремится опровергнуть ложную идею «роботизации».

Снова и снова Воннегут обращает огонь своей сатиры против американских стяжателей. Этим пиратам, говорит он, «удавалось отбирать все, что им было угодно и у кого угодно», ибо они были «свирепее всех», ибо они на редкость «бессердечные и жадные». Есть авторские замечания и такого, например, свойства: многие «земляне» «были коммунистами» и полагали, что все «надо разделить более или менее поровну между всеми людьми...»; однако в Соединенных Штатах не хотели согласиться с тем, что богачи «должны делиться с другими». Из «Завтрака для чемпионов» следует, что Америка — это страна, где бедные люди много работают и мало зарабатывают. Труд же, которым занято большинство американцев, часто носит (как говорит один явно симпатичный писателю персонаж романа) самоубийственный характер: «...какую бы работу ни делал американец, все ведет к самоубийству».

Определенное место в «Завтраке для чемпионов» занимают антимилитаристские мотивы: о войне во Вьетнаме упоминается в язвительном тоне, самая известная в США военная академия Вест-Пойнт охарактеризована как организация, которая превращает «молодых людей в маниакальных убийц для использования на войне», другая военная школа названа заведением, где людей превращают в безмозглых, бессердечных, бесчувственных солдафонов, где их учат «спорту, разврату и фашизму».

Творчество Воннегута достаточно ясно свидетельствует, что этого автора, как и других серьезных американских писателей, волнуют прежде всего социальные проблемы капиталистического мира, коренные изъяны собственного общества. Сколь бы путаный характер ни приобретали порою воззрения этого писателя, лучшие его книги бьют не только по американским технократам — в них обличается прежде всего власть доллара, порождающая многие пороки современного буржуазного мира.

Что и говорить, многое в произведениях Воннегута может смутить критиков. Не только Джон Сомер отмахивается от изучения подлинной сложности творчества этого писателя, объявляя его книги просто «шизофреническими». Рецензируя «Завтрак для чемпионов», американский литературовед Майкл Вуд, например, на страницах журнала «Нью-Йорк ревю ов букс» тоже заявляет: «специфической особенностью» творчества Воннегута является то, что его герои «вступают в зону скромного... сумасшествия». По мысли Вуда, писатель и критикует действительность и создает мифы, сводящиеся к тому, что «все хорошо», а читателю, мол, предоставляется возможность «выбрать то, что он хочет».

Нет, ценна в произведениях Воннегута именно сатира. То, что он охотно вводит в повествование элементы фантастики и гротеска, не противоречит этому утверждению — ведь подлинные творческие достижения писателя связаны прежде всего с тем, что он способен умело пользоваться оружием сатирической фантастики.

Среди современных американских сатириков реалистического направления, людей примерно того же возраста, что Мейлер, Воннегут, заметное место принадлежит Джозефу Хеллеру, совсем недавно опубликовавшему свой второй роман «Что-то случилось», в ряде отношений произведение примечательное. Надо сказать и о Джоне Чивере, авторе романа «Буллет Парк», появившегося на рубеже 60-х и 70-х годов. Создатель немало числа поистине блестящих рассказов, Чивер, пожалуй, уступает Воннегуду как романист. Достоинства его ранних романов следует признать весьма скромными. И вспоминается, с каким волнением Чивер спрашивал беседовавших с ним советских критиков, действительно ли его книга «Буллет Парк» вызвала одобрение москвичей.

Во многих своих аспектах этот роман примечателен, хотя и здесь чувствуется недостаточное владение писателем крупной эпической формой. Больше всего Чивер-романист, пожалуй, выигрывает там, где он щедро пользуется красками гротеска.

Особенность этой книги Чивера в том, что, рисуя пошлость, ничтожество мира собственников, автор глядит на него глазами представителей молодого поколения, полных скепсиса в отношении идеалов «по-

требительского общества», а нередко и отращения к нему.

В течение последних лет видное место среди американских писателей стали занимать прозаики негритянского происхождения. На мой взгляд, наиболее плодотворно среди них работают Джон Оливер Килленс и Джеймс Болдуин.

Начав свой путь в литературе два десятка лет назад романом «Молодая кровь», Килленс остается верен избранному им жанру по сей день. Книга «Молодая кровь» принесла известность писателю своим антирасистским пафосом (Поль Робсон справедливо назвал роман потрясающим душу документом).

Среди романов, опубликованных этим художником в последние годы, есть такие значительные произведения, как «И тогда мы услышали гром», «Сиппи» и «Котильон, или Один хороший бык — это полстада». В этих книгах нашел отражение невиданный прежде размах борьбы «цветных» американцев за свои права. Килленс создает здесь образы людей разного психологического склада, живущих в неординарных условиях. Но его героев объединяет сознание невозможности примириться с попранием их человеческого достоинства.

Конечно, можно пожалеть, что в последних романах Килленса не найти персонажей, сопоставимых с такой героической женщиной, как Лори Ли Янгблад из романа «Молодая кровь». Вспомним, Лори Ли даже в самые мрачные минуты жизни не отказывается от идеи единства американских трудящихся вне зависимости от цвета их кожи. Увы, этот пафос единства белых и черных в последних вещах Килленса как бы приглушен. И все же сильные стороны и самых новых романов писателя, сумевшего ощутить, как крепнет в негритянском народе желание дать бой американским расистам, должны быть оценены по достоинству.

Остановлюсь несколько более подробно только на самом последнем романе Килленса «Котильон...» (1971), где дают себя знать некоторые новые для автора тенденции. Если первые романы писателя были насквозь пронизаны трагизмом, то «Котильон...» выдержан в комико-сатирических тонах.

Центральный персонаж «Котильона...» — Дафна, дочь шотландца-плантатора с острова Барбадос, прижившего сие дитя (в числе многих других) с одной из своих черных

любовниц. По характеристике автора, Дафна — одна из «так называемых гордых красавиц островов Карибского моря, которые высокомерно гордятся своим британским происхождением». Свою дочь Йорубу, рожденную от черного мужа, она пытается воспитывать в духе презрения ко всем «черномазым». По ее настоянию Йорубу пригласили участвовать в «большом котильоне» — роскошном бале, который богатые негры устраивали для своих дочерей, чтобы вывести их «в свет».

В романе описан и другой, «параллельный» бал для белых девиц, который превращается в отвратительную пьяную оргию. Это дает основание жениху Йорубы саркастически сказать Дафне (на «белом» балу «цветные» герои присутствуют в качестве обслуживающего персонала): «Вот каков он — этот замечательный высший класс белых, вот каковы эти сливки общества».

Но и «котильон» для черных не обходится без весьма характерных «гримас». Автор, в частности, показывает, какая паника охватила богатых черных дам, когда выяснилось, что приглашенные ими для участия в «котильоне» девушки (включая Йорубу) — из неимущих семей. Интеграция с белыми, саркастически комментирует писатель, — это приемлемо, «но интеграция с черными ничтожествами — это заведет слишком далеко». С «немытыми представителями масс» черная буржуазия дела иметь не хочет..

Весьма суровыми красками изображены в романе так называемые верхи негритянского народа, «черная буржуазия». Резко осуждаются здесь также негры, которые, следуя моде, лишь делают вид, будто участвуют в освободительном движении черных.

Болдуина мы знаем и как создателя художественных произведений и как блестящего публициста. Пожалуй, именно его документальные книги больше всего привлекали в 60-е годы наше внимание — в них писатель определеннее, резче, нежели в романах, откликался на самые важные, неотложные проблемы наших дней. Между тем нашумевший роман Болдуина «Чужая сторона» хотя и воспринимается как страстная исповедь обездоленных «цветных» жителей США, но порою отталкивает пронизывающими эту книгу упадническими настроениями.

Опубликованная в 1974 году повесть Болдуина «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» — новая ступень в художественном творчестве писателя. Примерно половина

произведения — лирический, задушевный рассказ о нежной любви двух юных существ, Фонни и Тиш. И хотя повесть начинается с достаточно мрачных по колориту тюремных эпизодов, общая ее тональность определяется прежде всего описанием роста, крепнущей силы любви этих людей.

Фонни и Тиш решили пожениться и снять жилье. Симпатичный белый агент домохозяйки Леви говорит понравившимся ему наемателем, что соседи у них будут хорошие. «Но,— предупреждает он,— берегитесь полицейских. Они — убийцы». Молодая парочка не убереглась. Офицер полиции Белл, убийца негритянского мальчика, арестовывает Фонни по ложному обвинению. И вот Фонни за решеткой. Между тем Тиш ждет ребенка. Родители этих молодых людей вынуждены воровать, чтобы раздобыть денег для спасения Фонни.

У иных американских критиков создалось впечатление, будто новая повесть Болдуина с царящей в ней атмосферой сердечного тепла и надежды свидетельствует о смягчении присущего писателю воинствующего протеста против преследований черных. Но мне представляется, что автор, заставивший ощутить внутреннее достоинство своих персонажей, уже одним этим выявил бесчеловечность враждебной им социальной системы.

Параллельно с историей основного героя развивается история друга Фонни — Дэниела. Этот негр тоже без всякой вины был посажен в тюрьму, и ему там пришлось хуже, нежели его товарищу. Вконец измученный Дэниел так суммирует свой жизненный опыт: власть имущие в США «могут сделать с тобой все, что им захочется». И впрямь, полиция посадила Дэниела за решетку, стремясь помешать этому человеку дать показания, реабилитирующие Фонни.

Повесть «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» проникнута тем же негодованием, которое звучало в лучших документальных книгах Болдуина. Белый американец, осмелившийся выступить защитником главного героя, с едкой иронией характеризует состояние правосудия у него на родине: «На чьей стороне правда, не имеет ни малейшего значения. Важно одно — кто выиграет». Белые хозяева США «довольно... наших детей поубивали», срывается с уст отца Тиш. А ее мать в минуту отчаяния восклицает: «Того, кто открыл Америку, надо бы

заковать в цепи и приволочь домой, пусть там бы и помер».

В рецензии на новую книгу Болдуина, написанной Оутс, есть такая мысль: «По мере того как общество теряет свои качества коллектива, небольшие человеческие конгломераты начинают играть все более важную роль». Так писательница откликнулась на неуклонный рост индивидуализма в США. И здесь с нею можно согласиться. Но едва ли справедлива мысль рецензентки, что своей повестью Болдуин как бы хотел внушить американцам ощущение, будто они могут полагаться ныне только на помощь близкой родни, а отнюдь не на товарищескую помощь по воззрениям, не на народ.

В книге «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» есть и свои слабые стороны. Автор порою впадает в сентиментальность. Переход Фонни, находящегося в тюрьме, от отчаяния к намерению драться за свою жизнь в недостаточной степени подготовлен. Важно, однако, что, как ни зыбки подчас идейные позиции Болдуина, в его последней книге ощущается надежда на единение угнетенных граждан страны независимо от цвета их кожи. В целом новую повесть Болдуина следует признать одним из самых значительных реалистических произведений, созданных этим художником.

Грустно, что сегодня, почти через два десятка лет после выхода в свет «Особняка», почти невозможно назвать новые произведения подобного же характера и масштаба. И в этом месте есть необходимость напомнить советскому читателю об очень важном вкладе писателя Ларса Лоренса в американскую литературу о рабочем классе.

В цикле романов Лоренса «Семена» рассказывается о событиях, которые произошли в США много лет назад, еще до второй мировой войны. Тем не менее все яснее, сколь близки американцам и нашим дней чувства, переживания, дела героев художника. Ларс Лоренс поведал о том, что случилось в небольшом шахтерском городке на юге США, где попытки рабочих разных национальностей (урожденных американцев, выходцев из славянских стран и из Мексики, индейцев и т. д.) отстаивать свои человеческие права дали хозяевам предприятий и их прислужникам повод организовать кровавую провокацию. Рассказ о длительной схватке с хозяевами, полицейскими и судебными властями является сюжетной основой всей эпопеи.

Лоренс долгие годы работал сценаристом в Голливуде и проявил умение создавать произведения компактные, лаконичные, немногословные. Но в цикле романов «Семена», где почти две тысячи страниц, сказано желание автора выявить решительно все стороны описываемого социального конфликта. При известных потерях в динамике повествования задачу свою он осуществил. Перед читателем возникает множество скрупулезно выписанных характеров, прочно связанных между собой логикой социального конфликта. В результате романы Лоренса отнюдь не становятся странным репортажем о делах давно минувших дней. Это реалистические произведения немалой художественной ценности.

Американский писатель Альва Бесси, которому близки пронизывающие книги Лоренса демократические и социалистические идеи, имел право написать после смерти автора «Семян», что его герои полнокровны, что не только рабочие, но и хозяева шахт показаны во всей сложности, присущей «каждому живому человеку».

В заключительных сценах романа «Обман», входящего в состав эпопеи, рассказывается о том, как рабочие, выдержав очередную атаку реакционных сил, собрались на митинг солидарности. Среди них юрист Фрэнк Хогарт, посвятивший всю свою жизнь делу защиты простых тружеников от буржуазного «правосудия», от провокаторов и наемных убийц. Стоя на трибуне, Хогарт чувствует: рабочие поняли, что он говорит им правду.

Юрист хочет продолжать свою речь, но, поднеся ко рту платок, он видит на нем кровь. Значит, выступать сегодня (и, вероятно, вообще когда-либо) Хогарту больше не придется. Но за него скажет собравшимся все необходимое руководитель коммунистической ячейки городка. Как ни тяжело сложилась судьба верного народу юриста, он сейчас думает не о себе. Если даже его подзащитным не удастся выпирать дело в суде, чувство единения, солидарности, которое царит в этом зале, никогда не исчезнет. «Оно останется в сердцах всех, кто сюда пришел, до конца их дней...»

Как художник Лоренс, конечно, значительно уступает романистам масштаба Фолкнера или Стейнбека. Но не в этом приходится искать объяснения того факта, что известное американское издательство «Сыновья Путнема», опубликовавшее два первых тома эпопеи Лоренса, отказалось иметь

дело с дальнейшими ее частями. Видимо, буржуазные издатели сумели почувствовать, какую взрывную силу скрывают в себе эти романы о росте сознания американского пролетариата.

Годы после кончины Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека были урожайными по количеству опубликованных в США новых романов. Время это вызвало к жизни невиданный после 30-х годов поток произведений, посвященных острейшим проблемам социальной действительности США. То, о чем говорят иногда как о «политизации» литературы, сказалось в американском романе последних лет намного острее, чем в первые послевоенные десятилетия.

И все-таки нельзя сказать безоговорочно, что американский роман в наше время переживает пору своего расцвета.

Правда, такой крупный, хотя, увы, еще почти незнакомый русскому читателю прозаик, как Кэтрин Портер (она родилась значительно раньше Фолкнера и Хемингуэя), лишь в начале прошлого десятилетия выступила со своим первым и поистине выдающимся романом «Корабль дураков», в котором с незаурядной силой выражены антифашистские воззрения писательницы. Правда, еще творчески активны другие романисты старшего поколения — назову хотя бы Эрскина Колдуэлла и Роберта Пенна Уоррена... Правда, писатели, принадлежащие к поколению Воннегута, Мейлера, Хеллера или Чивера, находятся в расцвете сил. В США появились такие молодые романисты, заслуживающие самого пристального внимания, как Джойс Кэрол Оутс, о которой уже шла речь, или Джон Апдайк, Шерли Энн Грау, Джон Гарднер, Филип Рот...

Однако современная американская действительность, исполненная сложнейших противоречий, требует от романиста той глубины художественной трактовки жизненных процессов, которую демонстрировали крупнейшие мастера, уже завершившие свой путь. Не будем повторять, как разнообразны те факторы, которые в буржуазном обществе сковывают развитие таланта. Стоит лишь раз привести многозначительные слова Хемингуэя: «...мы делаем из наших писателей невесть что... Мы губим их всеми способами».

Скажем сейчас хотя бы несколько слов о творческой судьбе одаренного романиста Джона Апдайка. Всем памятен успех его та-

лантливых произведений «Кентавр» и «Ферма», несущих на себе печать зрелого остро критического взгляда художника на буржуазную действительность. Но, создав эти вещи, Апдайк стал заметно отходить от завоеванных им творческих позиций. В таких произведениях, как «Супружеские пары», «Исцеленный кролик», нелегко узнать прежнего Апдайка. Как потускнел его язык, сколь сбивчивы в его романах идейные акценты, как дурно сказалась на прозаике готовность идти по дороге, укатанной жрецами «массовой культуры», предлагающими читателю откровенную порнографию! Нет, я отнюдь не потерял веры в Апдайка и здоровую силу его таланта. Мне хорошо помнится, как после немалого числа слабых произведений, которые вышли из-под пера Стейнбека в 50-х годах, появилась «Зима тревоги нашей» — лучший ро-

ман этого писателя после «Гроздьев гнева». Незаурядное дарование Апдайка позволяет выразить надежду, что кризисная полоса в его творчестве останется позади и ему все же удастся создать в дальнейшем новые книги, которые можно будет назвать творческими удачами писателя.

Подытоживая все сказанное, повторяю: возможности дальнейшего плодотворного развития романа в США сегодня достаточно велики.

Но тут же считаю нужным подчеркнуть, что ныне, как, может быть, никогда в прошлом, американский романист должен помнить об опасности уступок идеологии бизнеса, опасности потакания вкусам буржуазной публики, должен чувствовать себя ответственным за сохранение тех гуманистических традиций, которыми так богата литература его страны.





# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Вадим Соколов.** Книга подвига и подвиг книги.— **Лев Разгон.** Что происходит на перекрестке?

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Лаптев.** Реальность наших дней и идеологическая борьба.— **Р. Кашин.** Книга о героях-антифашистах.

## Литература и искусство

### КНИГА ПОДВИГА И ПОДВИГ КНИГИ

**С. С. Смирнов.** *Собрание сочинений в трех томах.* М. «Молодая гвардия». 1973.

Трехтомник сочинений Сергея Сергеевича Смирнова открывает «Брестская крепость» — самое знаменитое его произведение. Десять лет (1954—1964) факт за фактом, имя за именем складывал писатель эту документальную повесть. Если бы сегодня свести воедино все отклики на нее — статьи, рецензии, дополняющие ее воспоминания и письма от самых разных людей, — образовалась бы целая библиотека. Нет нужды напоминать содержание и подробности этой героической повести — они не забыты.

Мы знаем: были первые стихи, рассказы и даже пьесы, романы, писавшиеся тут же, на не остывшей от боя земле, в дни войны. Были уже, хоть и не очень подробные, отклики в искусстве и на события Брестской обороны. С. С. Смирнов напоминает о них в самом начале своей книги: картина П. Кривоногова «Защитники Брестской крепости», пьеса К. Губаревича, очерк в «Огоньке» М. Златогорова... Так что предпринятые писателем в середине 50-х годов в творческих командировках, а затем и в выступлениях по радио поиски героев Бреста хронологически никак не отнесешь к «началу темы». И все-таки... Что же сегодня и по какому достоинству ставит его «Бре-

стскую крепость» в начало современной военной прозы?

Первый и естественный ответ — интереснейшая правда фактов. Всякое искусство начинается с факта, с события, с реальной истории. Тем более когда речь идет о первых часах и минутах, о первых героях и тружениках тяжелейшей из войн в нашей истории. Автору «Брестской крепости» удалось сделать достоянием всех такие поразительные факты и судьбы этого «начала начал», что теперь уже без них не обойтись никому, кто берется описывать, исследовать, переносить на сцену или на экран эти бессмертные страницы истории.

О заслуге С. С. Смирнова вспоминают всегда, когда обращаются к его письменным или устным рассказам об известных и неизвестных героях войны (об этом, в частности, писал и Иракий Андроников в своем предисловии к трехтомнику), реже уделяют внимание другой стороне его книг, мне кажется, ничуть не менее важной. Приглядитесь повнимательнее, как строится документальное повествование в этих рассказах. Сначала корреспонденция с места действия, написанная по свежим следам событий: «Это началось от самой границы... Столкнувшиеся с необычайно сильным, численно

превосходящим противником, советские войска тем не менее сопротивлялись с удивительным упорством...» Затем строгая историческая справка: «Город-крепость — постоянный объект борьбы между тремя сильными государствами — русским, польским и литовским, на стыке которых он находился,— такова историческая судьба Бреста на протяжении столетий... В самом конце XVIII века эти земли снова вошли в состав России». Первый документ, с которого начнется авторский поиск,— упомянутое в «Красной звезде» и сохранившееся в архивах немецкое «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска», захваченное в марте 1942 года при разгроме 45-й пехотной дивизии противника. Пока что все — по обычным законам очерковой прозы: автор как бы подтягивает «на главное направление» все средства избранного жанра.

И вдруг нечто неожиданное. Совсем не обязательные в документальной литературе, сугубо личные признания: «Изучив весьма немногочисленные печатные источники, я обратился к источникам музейным... Я пришел туда, посмотрел экспонаты, выставленные в залах музея, а затем познакомился со всеми документами, которые хранятся в его фондах... я нашел два или три интересных письма бывшего участника обороны Александра Филя, который до войны служил в крепости писарем в штабе полка, а теперь находился в Якутии и работал там на Алданских золотых приисках... Однако, к моему огорчению, в музее мне сказали, что Филь прислал свое последнее письмо в 1952 году и с тех пор перестал отвечать на все запросы. Казалось, эта первая ниточка безнадежно оборвалась. Я попробовал ее восстановить и написал Филю два письма, но не получил ответа ни на первое, ни на второе».

Так ли уж важны нам на фоне описания развернувшихся в Бресте сражений огорчения автора по поводу молчания некоего Филя? Молчит Филь, зато нашелся в Минске еще один участник обороны, Александр Махнач, есть возможность отправиться вместе с ним в Брест, добрать там необходимый материал — и любопытный очерк, уже сложившийся в основных своих контурах, готов. Правда, Махнач вышел из строя уже на второй день событий, а Филь, судя по его письмам, сражался несколько дней где-то в самом центре обороны, рядом с комиссаром Фоминым и капитаном Зуба-

чевым, у него могли найтись полезные дополнения. Но так ли уж это важно, когда ясно обозначился основной сюжет повествования? Для обычного очерка, может быть, обязательно обращаться за тридевять земель, в Якутзолото за дополнительной подробностью. И для художественного обобщения в романе или в пьесе лишний участник подлинных событий особого значения не имеет — писателю достаточно получить первый необходимый толчок от факта, остальное он представит и домыслит сам. Ведь написал же С. С. Смирнов до появления книги пьесу на уже имевшемся документальном материале — «Крепость над Бугом», ее и сегодня можно встретить на театральной сцене вместе с другими спектаклями о войне. В ней примерно те же герои и ситуации, нет только авторских признаний «о себе и своих поисках», и, пожалуй, именно этот факт и оставляет ее в тени главной книги писателя — «Брестской крепости».

С. С. Смирнов, создавая произведение художественно-документальное, ставил своей задачей донести правду о бессмертном гарнизоне, о беспримерном подвиге советских людей во всей величественной ее полноте. Оборона Брестской крепости — золотая страница летописи воинского мужества нашего солдата, подвига всего советского народа в Великой Отечественной войне. Вот почему писателю дорог и важен каждый участник событий, каждый факт. Важно и другое: в рассказе об упорных розысках Александра Филя, майора Гаврилова, Петра Клыпы проявилось активное, нравственное отношение нашей литературы к своей роли летописца бессмертного подвига советского народа. Она, сегодняшняя документальная проза, не только фиксирует, обобщает и объясняет уже обнаруженные документы. Мы с полным основанием именуем ее художественной, ибо и она, как всякое полноценное искусство, имеет свою концепцию человека и свою концепцию истории. Газетная корреспонденция, свидетельство очевидца могут оставаться на уровне тех фактов, которые автору «подсказала» сама жизнь,— от писателя мы ждем большего: он обязан не обойти, объяснить и те белые пятна, которые возникли для него в процессе художественно-психологического исследования человеческой истории. И вот тут «Брестская крепость», исходя из вполне определенной авторской концепции и вырастая постепенно в исследование именно та-

кого характера, дала поучительный пример всей сегодняшней мемуаристике и документалистике самого высокого и ответственного служения большой литературе. Писатель обращался к десяткам, сотням людей, чтобы с их помощью и с их решающим участием восстановить жизненное событие во всей его исторической сложности, грандиозности и многозначности.

У С. С. Смирнова была опасность показаться нескромным, когда он вплетал авторское «я» в изложение деталей исторического подвига. Но он счастливо избежал мелочных ссылок на свою биографию, свою «творческую лабораторию». Высота замысла — заполнить белые пятна на страницах военной летописи народа-победителя — подсказала автору «Брестской крепости» тот единственно верный тон отступлений к личному, когда за личным безошибочно угадывается обделительный интерес и поиск. Когда С. С. Смирнов пишет «я огорчился» или «я обрадовался», когда рассказывает о неудачной поездке или счастливой находке, о встрече с Генеральным прокурором или о сочувственной помощи работников военного архива — мы все отлично понимаем: это не просто писатель, но и полпред литературы, народа, Разными путями (в том числе и таким, документальным поиском) ищет он ответы на самые трудные вопросы времени, собирает по крупицам то, из чего складывается художественная летопись героизма советских людей. И для нас уже интересны и значительны — каждый по-своему — оба сюжета, на которых строится книга: и тот, который написала война на стенах Брестской крепости, и тот, который родили поиски ее героев.

Читатель живо откликнулся на этот поиск. На автора уже первых изданий «Брестской крепости» («Краткого очерка героической обороны 1941 года») обрушился поток писем. Была среди этих писем определенная доля личных просьб и частных пожеланий, но все чаще и чаще обращались не столько по конкретному поводу, сколько по адресу всей советской литературы, ради пользы той литературы о войне, в которой, быть может, «и моя история чем-то пригодится».

Замечу, что второй том сочинений С. С. Смирнова значительной частью своих документальных повестей и рассказов обязан этим письмам. Писатель верен себе. «Быть может, иные из литераторов и читателей упрекнул меня в некоторой сухости

изложения,— пишет он в предисловии к тому,— в отсутствии ярких метафор или сравнений, пейзажа, диалога. Но мне кажется, что температура повествования должна быть обратно пропорциональна температуре материала, а то, о чем я здесь пишу,— добела раскаленный материал удивительных, героических подвигов наших людей, и о нем, по моему мнению, следует рассказывать максимально сдержанно и строго, даже, быть может, с оттенком лаконичности военных донесений».

И опять рассказ о реальной и без того переполненной событиями биографии подвига обязательно включает в себя и рассказ о писательском поиске — о непосредственном участии сегодняшней литературы в делах своего героя. Собственно, иных историй С. С. Смирнов для себя и не выбирает — ему явно неинтересен готовый «голый факт», сколь бы сенсационен и увлекателен он ни был. Интересно ему только там, где нужно двинуться дальше, и чаще всего в сторону от уже накопившейся информации: что-то прояснить в событии, отбросить предубеждение — одним словом, докопаться до истины.

Так, с немалым «сопротивлением материала» писалась глава за главой документальная повесть «Семья» — о врачах Сосниных, вдохновителях и руководителях малинского подполья. Собрав первые факты об отце и дочери Сосниных, сгоревших заживо в окруженном фашистами доме, писатель оказался в самом эпицентре возникших уже после войны споров: чем объяснить и как понять далеко не сразу понятное и объяснимое поведение старого врача и его юной дочери в оккупации? И снова писатель входит в сумятицу этих споров (и вводит нас за собой) с установкой на дотошность, психологический анализ, которые позволили ему оперировать такими тонкими категориями, как семейные традиции, врачебная этика, интеллигентность, передаваемая из поколения в поколение...

В рассказе о национальном герое Италии Федоре Поетане — колхозном кузнеце с Рязанщины Федоре Андриановиче Полетаеве — писатель наглядно и, я бы сказал, с артистическим изяществом демонстрирует это особое литературное мастерство в найденной манере заглянуть за факт, поверить не житейской логике, а сложившейся легенде, расшифровать ее и добраться до вполне реальной жизненной первоосновы, ничуть не менее увлекательной и поучи-

тельной, нежели сама «итальянская сказка о русском богатыре». А разве с меньшей благодарностью автору — его объективности, аналитичности и гражданскому мужеству — читаешь адресованное молодому современнику письмо «Смерть комсомолки», которым завершается второй том сочинений?

В нынешней документальной прозе трудно ощутить пристрастия и устремления всей сегодняшней литературы. Казалось бы, объективность факта, обнаженность и строгость жизненного сюжета жестко ограничивают в этом жанре любой «авторский произвол» и выбор. Но стоит внимательно перечитать все то, что писалось С. С. Смирновым после «Брестской крепости», и характер его дальнейших поисков складывается вполне отчетливо: в бесчисленных вариантах героизма на войне полнее ощутить всю глубину внутренней, нравственной энергии исключительного поступка или судьбы. Какими нравственными «буднями», в какой неприметной обыденности закладываются основы того, что в минуты смертельного испытания обернется поразительным взлетом души Катюши Михайловой, или Марии Лагуновой, или той же семьи Сосниных из тихого уездного городка Малина... Устремленные к этому «нравственному корню» завтрашних, последовательно выигранных боев и побед, труднообъяснимых с позиций чисто военной статистики, скромные сюжеты второго и третьего томов сочинений С. С. Смирнова как бы начинают ту новую главу нынешней военной прозы, которую мы по заслугам чтим и отмечаем сегодня, будь то повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие...» или терзающее сердце свидетельство Адамовича, Брыля и Колесника «Я из огненной деревни», будь то сельский учитель Мороз из быковского «Обелиска» или глубоко штатский по своим довоенным привязанностям капитан Алевин из недавнего романа В. Богомолова. С разных сторон, усилиями разных талантов сегодняшняя литература докапывается до самых тонких (и, наверное, самых важных), духовно-нравственных пружин и «секретов» нашей победы. Было у врага — кто ж об этом теперь не знает? — изначальное превосходство в самолетах, танках, технической оснащенной, была дотошно продуманная стратегия внезапного удара и проверенное коварство «танковых князьев», но никогда ни на одну минуту не смог солдат фашизма добиться нравственного превос-

ходства над советским солдатом. И для нынешнего мира этот урок победы оказался в числе самых поучительных и запоминающихся.

Есть и еще одна несомненная польза от опыта «бурения вглубь», накопленного в нашей документальной военной прозе последних лет, — опыта, особенно плодотворного для освоения литературой новых пластов истории. Все мы, к примеру, с нетерпением ожидаем нового качества от произведений на рабочую тему. Исследование различных аспектов научно-технической революции прежде всего происходит, естественно, на уровне жизненных документов. Этих документов — точно зафиксированных фактов, ситуаций, специфических характеров — скопилось уже немало. Успех каждого следующего шага и в этой теме будет зависеть от движения не столько «в ширь», сколько в **глубь** обнаруженного факта. То же даже — за факт, к тем белым пятнам, заполнение которых позволяет обнаружить всю реальную концепцию зового героя. Беллетристика подсказывает привычный ход: связать найденные факты и ситуации рамками «производственного» или «семейного» сюжета. Но, кажется, все меньше и меньше остается сторонников такого проторенного пуги — явственно ощущается стремление не раскладывать по полочкам новый труд, старый быт и вечную любовь, а пронизать все существование героя сложностью философско-нравственных конфликтов, поставленных измененной действительностью. Ведь никакая электроника, кибернетика и даже теория относительности не меняет и не разменивает для искусства основную единицу измерения — человеческую личность. Перед ней возникли принципиально новые, неожиданные, часто противоречивые проблемы, на которые история не дала еще окончательного ответа? Несомненно. Так, может быть, попытаться **не** просто назвать, но и исследовать эти проблемы и конфликты, в том числе и с их нравственной стороны, исследовать прежде всего средствами документальной прозы? Во всяком случае, опыт нашей большой литературы о войне подсказывает такую возможность, и лучшие документальные рассказы С. С. Смирнова — наглядный пример тому.

Возвращаясь к страницам его трехтомника, хочу сказать: С. С. Смирнов, разумеется, не всегда и не во всем остается верным этой наиболее плодотворной и современ-

ной, на мой взгляд, манере документально-исследования. Третий том собрания сочинений составили вполне традиционные материалы — исторический очерк «Сталинград на Днестре», военные заметки «На полях Венгрии» и героическая драма «Люди, которых я видел». Все эти вещи, каждая в своем жанре, убедительно показывают, что накопленного писателем умения вполне хватает для того, чтобы уверенно осуществ-

лять любой замысел в жанре прозы или драматургии.

Но главной его книгой была и остается «Брестская крепость» (и примыкающие к ней «Рассказы о неизвестных героях»), главной не только по смыслу высказанного, но и по тому особому месту, которое по праву занимает эта книга в современной литературе о войне.

Вадим СОКОЛОВ.



## ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ?

Д. Данин. Перекресток. М. «Советский писатель». 1974. 304 стр.

Очевидно, чтобы не допускать разных толкований того, что должно встречаться на перекрестке, Д. Данин дал своей книге критических статей и литературных размышлений еще и подзаголовок: «Писатель и наука». Теперь все стало на место. Речь идет о перекрестке, где встречаются наука и искусство. Продолжается разговор, начатый не сегодня. Каковы черты литературы, связанной с научно-технической революцией? Что такое научно-художественная литература? Где проходит граница между научно-художественной и научно-популярной литературой? Как найти разумное соотношение между «художественностью» и «научностью» в книге о современной науке? Научно-художественная — это род литературы или жанр? Такие и множество других вопросов самого современного звучания служат предметом размышлений Даниила Данина.

Имя автора книги хорошо известно. «Добрый атом», «Неизбежность странного мира», «Резерфорд», опубликованные главы работы о Нильсе Боре давно уже выдвинули Д. Данина в ряды мастеров советской научно-художественной литературы. Легче всего предположить, что «Перекресток» принадлежит к жанру размышлений писателя о своей работе, который сейчас приобрел такой ходовой характер. И нельзя переоценить стремление писателя взглянуть в то, что он делает, подвести некие «предварительные итоги» своему творчеству, рассказать широкому читателю о его истоках... Целая серия подобных книг выпускается под названием «О времени и о себе». Это могут быть очень интересные книги, но их только условно можно отнести к разряду книг критических.

«Перекресток» в такую серию войти ни-

как не смог бы. И не только потому, что его автор, рассказывая «о времени», ни одним словом не обмолвился «о себе». Перед нами сборник критических статей, отмеченных глубиной оценок и литературной отточённостью стиля. Стиля, который ни с каким другим не спутаешь. И тут сразу вспоминаешь, что еще до того, как мы узнали Данина — мастера научно-художественной литературы, мы знали еще и Данина-критика, автора многих статей о современной поэзии.

Так что же все-таки происходит на перекрестке? Произошли ли и происходят ли на нем те благие изменения, какие нам диктует время? Эти вопросы сразу приходят в голову, когда мы начинаем читать первую статью сборника «Жажда ясности». Напомню, что несколько лет назад ее журнальная публикация вызвала большую дискуссию, в которой приняли участие писатели, критики и ученые. Наиболее значительные статьи из этой литературной дискуссии были собраны в книгу «Формулы и образы», вышедшую в издательстве «Советский писатель».

Автор справедливо включил эту статью в книгу (более того — открыл ею книгу!). «Жажда ясности» и сейчас звучит так же тревожно и страстно, вызывает те же вопросы, как и несколько лет назад...

Как и тогда, не существует серьезной критики научно-художественной литературы. И не существует в литературоведении раздела, который занимался бы этим родом литературы. Как бы иллюстрируя абсолютную незаконность подобных претензий, в «Словаре литературоведческих терминов», составленном такими авторитетами, как Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев, и вышедшем в прошлом, 1974 году, слово «научно» относится лишь к «научной поэзии» и «на-

учно-фантастическому жанру». По мнению составителей «Словаря», литературоведение не знает такого понятия — «научно-художественная литература».

Рубрику «научно-художественная» мы не встретим и в таком издании, как газета «Книжное обозрение». В ней рассказы Акимовича о природе стоят в разделе «Биологические науки», рядом с книгой Шатилова «Палеонтологическое обоснование геохронологии верхнего плиоцена и плейстоцена Западной Грузии». А книги Данина о Резерфорде и Карцева о Максвелле мы найдем в разделе «Физика». Книгу Я. Голованова о Королеве — в «Космонавтике»... А дальше в «Книжном обозрении» идет раздел «Русская художественная литература». Но туда книги о науке (если это не романы и не повести) никогда не включаются.

И если некоторые толстые литературно-художественные журналы не чураются рецензировать научно-художественные книги, то такой специальный журнал, как «Литературное обозрение», за три года существования, по моим наблюдениям, не напечатал ни одной рецензии и статьи о научно-художественной литературе. И не только о книгах, посвященных естественным наукам, но и наукам гуманитарным.

Не существует и библиографии научно-художественной литературы. Ни описательной, ни рекомендательной. Художественная литература имеет известные, регулярно выходящие справочники Мацуева. Детская литература отражена в справочниках, начатых Старцевым и продолженных Шиперовичем. Описательная библиография научно-художественной литературы растворена в океане «Книжной летописи», где она, по сути дела, доступна лишь немногим специалистам, и в текущей информации «Книжного обозрения». Не существует и рекомендательной библиографии. А совершенно очевидно, что ни один род литературы не нуждается в рекомендательной библиографии так, как литература о науке. Вот уж где художественный образ, определяющий библиографию как «лоцмана в безбрежном море», работает в полную силу!

Но остановимся. Переведем дух. И еще раз подумаем: неужели так-таки ничего не изменилось в последние годы? И вглядываясь в четкие приметы времени, в весь ход нашей литературной жизни, убеждаемся: есть изменения. И вовсе не маленькие.

Самое главное — книги. Куда бы их ни заносили классификаторы в издательствах,

библиотеках, магазинах, книг научно-художественного характера становится все больше и больше. И становится все больше литераторов, посвятивших свою работу науке: ее поискам, свершениям, влиянию на человеческое общество. И наш читатель, очень квалифицированный и даже дотошный, все-таки эти книги находит, на каком бы месте магазинного прилавка или библиотечной полки они бы ни стояли. И читая большую статью «Научно-художественная литература» в Краткой литературной энциклопедии, мы вспоминаем, что в предыдущем издании Литературной энциклопедии отсутствовал самый термин «научно-художественная» литература... И большая статья «Научно-художественная литература» в семнадцатом томе третьего издания БСЭ напоминает нам, что такой статьи не было ни в первом, ни во втором издании БСЭ... И поставлен на полку одиннадцатый сборник «Путей в неизвестное», выходящий уже почти пятнадцать лет и целиком посвященный работам писателей в области научно-художественной литературы... И все чаще проблемы научно-художественной литературы обсуждаются на страницах «Вопросов литературы» и других литературных журналов.

Читая в «Перекрестке» статью «Жажда ясности», мы отчетливо видим, как своевременно поставил эти проблемы Даниил Данин много лет назад. Автор «Перекрестка» в свое время определил главного героя научно-художественной литературы — научный поиск. Он писал: «Научные искания — удивительная область: в ней железная бесстрастность объективного знания сплавлена с живою страстностью ищущего человека. Оттого эта область, подвластная, казалось бы, только анализу историка науки, подвластна еще и художническому прозрению писателя».

В дискуссии, вызванной «Жаждой ясности», раздавались упреки Д. Данину в том, что он сторонник «безлюдности» в научно-художественной литературе и что в основу теоретических суждений статьи он положил собственную писательскую практику — книгу «Неизбежность странного мира», где главным героем была сама «драма идей» современной физики. Время внесло поправки и в этот спор. И перепечатавая сейчас статью, Д. Данин характеризует свои размышления в ней как, «может быть, порою излишне запальчивые и категорические». После «Неизбежности странного мира» ав-

тор написал и «Резерфорда» и «Нильса Бора». Странно было бы теперь упрекать в пристрастии к «безлюдности» писателя, создавшего эти яркие портреты.

Серьезное внимание уделяет Д. Данин вопросу о соотношении «художественности» и «научности». В статье, продолжающей «Жажду ясности», эту проблему он сформулировал предельно четко уже заголовком: «Сколько искусства науке надо?». По сути своей статья отвечает и на вопрос о том, существует ли граница между научно-художественной и научно-популярной литературой и где эта граница проходит.

Но ответить на такой вопрос почти то же самое, что разобраться, в чем наука и искусство сближаются и в чем расходятся...

Данин-критик размышляет об этом, исходя не только из опыта литературы, но и кинематографа. Просмотрев однажды «залпом» около пятидесяти научно-художественных фильмов разного содержания, он задумывается над тем, что он, зритель, приобрел. Неужели только (как сказали бы кибернетики) получил энное количество информации?

Книга книге рознь. Связь между книгой научной и читателем совсем другая, нежели между читателем и книгой художественной. Данин пишет: «Тут проявляется сама природа искусства — оно адресуется ко всей нашей сути: к нашему разуму и сердцу, к нашему воспитанию и воспоминаниям, к нашему возрасту и пристрастиям, к нашей воле и настроению... А эта мудреная заковка — разная у всех. И оно, искусство, вмещается во все: оно образовывает нас и растит, настраивает и устремляет. И даже прибавляет нам воспоминаний, делая соучастниками чужих жизней. Оно побеждает нашу естественную одинокость и раздвигает границы нашей вынужденной ограниченности. Поэтому-то слишком тесна для таких приобретений чисто познавательная формула — «прежде не знал, а теперь знаю»...»

Когда-то, отвечая на утверждение, что «безлюдность» научно-художественной литературы противоречит самому понятию литературы как человековедению, Даниил Данин справедливо указывал, что в самой что ни на есть «безлюдной» книге — такой, например, как «Великие полимеры» Бориса Агапова, — всегда есть человек, представляющий для читателя первостепенный интерес. Этот человек — автор книги. Только личность самого писателя, ход его мысли,

его внутренний спор с собой, его воспоминания, догадки, увлечения — только это способно повести за собой читателя, заставить его почувствовать себя соучастником великого открытия, заставить его соперничать тому, что получило столь широко распространенное название «драмы идей». Когда в 1912 году знаменитая «Жизнь растения» К. А. Тимирязева была переведена и издана в Англии, в одной из рецензий на нее в английском журнале писалось, что книга эта «поддерживает в читателе приятное заблуждение, будто он сам создает науку физиологии растений». «Сопротивление материала» в книге о науке огромно. Настолько огромно, что часто вызывает у писателя желание избежать изложения, казалось бы, самой сути жизни его героя — науки. Отсюда идет упорное отрицание того, что (пренебрежительно или уважительно, это не имеет значения) именуется популяризацией. Писатель не обязан быть популяризатором науки, больше того, ему противопоказана такая популяризация — так четко была сформулирована подобная точка зрения рядом оппонентов Д. Данина в сборнике «Формулы и образы».

Позиция писателя с тех пор не только не изменилась, но и укрепилась его собственной практикой, практикой научно-художественной литературы и научно-художественного кинематографа. Он убежден, что «источник эстетических достоинств может скрываться и в способе освоения самого научного материала. Мерила такой художественности надо искать». И дальше: «Черты художественности можно открыть и в познавательном материале, если он освоен писателем».

В свое время Даниил Данин выдвинул утверждение, что научно-художественная литература представляет собой некоего кентавра, объединяющего искусство и науку. Это утверждение он отстаивает и сейчас, упорно и настойчиво проводя образ мифологического существа через свои критические статьи.

Но обязательным условием научно-художественной литературы Данин считает необходимость для писателя быть популяризатором. И не признает в этом важнейшем вопросе никакой уклончивости. «В научно-художественной вещи писатель обязан быть популяризатором науки. Читатель будет обманут, если он найдет в такой вещи лишь беспредметную романтику поисков истины вообще, нерасшифрованный героизм

ученых и незаземленную поэзию познания. Он жаждет черного хлеба проблем, заранее радуясь их живительному вкусу, земному духу и неземной высоте».

Данин пишет, что ученый, как правило, даже в популярных книгах умеет излагать материал только языком науки. Другого языка он не знает (если, конечно, не наделен еще и писательским даром). Писатель же обязан найти собственный язык, чтобы писать о науке. И вот здесь, на стыке художественности и научности, рождается данинский кентавр — научно-художественная литература. Популяризатору следует добиваться, чтобы книга была доступной для читателя. Писатель обязательно выражает в книге свою личность. Данин пишет, что эту мысль прекрасно сформулировал режиссер Семен Райтбург: «В науке — мера, а в искусстве — чувство меры. Мера обща для всех; чувство меры индивидуально».

Определяя границы между научно-популярной и научно-художественной литературой, Данин вводит понятия «искусность» и «искусство». «При чисто популяризаторской задаче и впрямь торжествует только искусство: выявление возможностей материала. Чем с большей изобретательностью это делается, тем лучше. Чем остроумней приемы, тем лучше. Для кентавра научности и художественности это все то же — «тем лучше». И сработать хорошую популяризацию несколько не проще, чем хорошую научно-художественную вещь. Но для появления на свет кентавра нужна еще сверхзадача».

Эта «сверхзадача» и состоит в том, что через писателя, через его восприятие не только науки, но и всей окружающей жизни наука оживает как человеческое дело, творимое людьми для людей. Научные истины неприкосновенны. Но в рассказе о науке писатель делится с читателем еще и своим собственным опытом, своим миропониманием. На пародийно-толстовский вопрос «сколько науки искусству надо?», конечно, могут быть и ответы иные, чем те, какие дает в «Перекрестке» Даниил Данин. Размышления же писателя и критика на этот раз лишены категорических интонаций. Чувство меры, без которого и нет искусства, глубоко индивидуально, оно определяется личностью писателя и тем, насколько глубоко писатель освоил научный материал и нашел в нем «черты художественности».

Наибольшему испытанию чувство меры подвергается тогда, когда писатель обраща-

ется к истории науки, к личности ученого. «Поклонение безукоризненной документальности обрекало бы биографа на бесплодие», — пишет Д. Данин. Впрочем, необходимость воображения является почти столь же обязательной для ученого, как и для художника. Словно бы в ответ на слова Ньютона: «Я не желаю смешивать домыслы с достоверностями», автор «Перекрестка» резонно пишет, что соблюдение ньютоновского правила сделало бы невозможным для Кювье и всех его последователей создание палеонтологической реставрации. Впрочем, и самому Ньютону и всем без исключения физикам невозможно было бы работать без гипотез.

Когда писатель имеет дело с биографическим материалом, он должен произвести психологическую реконструкцию облика ученого. При этом различия в образе ученого, нарисованного разными писателями при одном прототипе, зависят не от степени осведомленности автора, а от индивидуальности писателя. «Многозначность психологических реконструкций принципиальна и потому непреодолима... Право на свой вариант в воссоздании духовного облика ученого, как и на свое истолкование психологических фактов, дается историку и писателю природой задачи», — пишет Д. Данин. Недаром критик ставит рядом историка и писателя. Право художника на домысливание, которое признано и естественно для писателя, работающего на историческом материале, Д. Данин распространяет и на писателя, обратившегося к изображению ученого. А следовательно, и к его делу.

Создавая психологический образ исторического деятеля, писатель не должен посягать на конкретные исторические факты. Он может их по-своему истолковывать, но он не имеет права ни менять хронологию, ни заменять один исторический персонаж другим. Он не имеет права упрощенно передавать события, необыкновенно сложные по своим истокам, развитию и последствиям. Ну а как быть писателю, который пишет об ученом и его деле? Здесь необходимость популяризации очевидна. Данин пишет: «Нужда в упрощениях всегда тем острее, чем шире аудитория, для которой ведется рассказ о трудах и днях замечательного исследователя. И еще: чем мудреней то, что он совершил. Жертвы во имя популяризации неизбежны».

А сколько и чем можно жертвовать? Вероятно, не один читатель будет перелисты-



вать книгу Д. Данина в поисках ответа на этот вопрос. Найдут ли они его на страницах «Перекрестка»? Писатель не пытается дать однозначный ответ, в равной степени всех устраивающий. Но он на этот вопрос отвечает. Он считает, что нужна не простота, нужна ясность, «жажда ясности одолевает читателя, когда он слышит о новаторских идеях в современной науке». А как добиться этой ясности, уже дело автора. Его знаний, его таланта, его терпения и упорства. В этом и состоит самая большая сложность творчества писателя, пишущего о науке. Хотя и не надо трудность преодоления материала науки противопоставлять тем «мукам слова», которые считаются обычными, само собою разумеющимися для художника. «Необходимость обьяснений не надо истолковывать как тягостную вынужденность. Это радостная задача для писателя. На мой взгляд, дважды радостная: с простой человеческой точки зрения — всегда увлекательно свое открытие мира, а с точки зрения чисто профессиональной — всегда доставляют наслаждение поиски собственного языка вещей».

Сложные вопросы взаимоотношений искусства и науки исследует критик в статье «Возможные решения». Я назвал эту работу Д. Данина статьей. Сам автор обозначил ее жанр по-другому, менее категорично: «Из дневника литератора». Это размышления писателя над тем, чем он, собственно, занимается почти всю свою писательскую жизнь. Речь идет здесь не о том, в чем наука и искусство сближаются, а в чем расходятся. Данила Данина занимает вопрос: может ли одно каким-то образом влиять на другое и в чем это влияние проявляется? Что оно существует — в этом сейчас никто не сомневается. В десятках книг написаны сотни страниц, пробующих объяснить знаменитые слова Эйнштейна, сказанные им А. Мошковскому: «Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!»

Д. Данин осторожно и внимательно, со скрупулезностью исследователя перебирает «возможные решения» необыкновенно глубокой и сложной проблемы взаимовлияния науки и искусства. Не станем пересказывать размышления критика — они доступны всякому, кто возьмет в руки эту интересную книгу. Хочу лишь сказать, что вдумчивому читателю доставит истинное наслаждение сам ход мысли писателя, его остроумные и неожиданные догадки.

Первый раздел книги Д. Данин назвал «Проблемы», второй — «Человек науки (Люди и книги)». Деление это весьма условное. В разделе «Проблемы» мы встречаемся с драматическими судьбами людей, а раздел «Человек науки» насыщен проблемами в такой же мере, как и первый. Жажда ясности одолевает ученого так же, как и писателя, пытающегося передать читателю новые взгляды науки на устройство мира. Д. Данин приводит один из самых драматических эпизодов в истории современной физики. Великий физик Лоренц, непосредственный предшественник Эйнштейна по теории относительности, человек, создавший электронную теорию, не понял и не принял революционные идеи квантовой механики. В середине 20-х годов он в отчаянье сказал: «...я не знаю, зачем я жил; жалею только, что не умер пять лет назад, когда мне все еще представлялось ясным...»

Когда-то Д. Данин в своей публицистической книге «Добрый атом» прекрасно ответил тем, кто пессимистически оценивал значение открытия ядерной энергии. В том, чтобы общество укрепило свое духовное здоровье перед тем новым и еще неизведанным, что приносит современная наука, Д. Данин видит одну из задач литературы. Он пишет: «Сама наука великими делами разрушает этот скепсис и этот пессимизм. Но литература делает слишком мало для того, чтобы людям всего мира было легче с успехом выдерживать историческое испытание их оптимизма. Она забывает о человеческих душах, в которые забрасываются семена «атомной безнадежности» и вражды к блистательной науке наших дней». А литература, и прежде всего литература научно-художественная, может сделать для этого очень много. Д. Данин доказывает это не только личным примером — собственными книгами, но и точным, содержательным анализом книг своих товарищей по литературе.

Да, нечасто бывает, что критик может в своих размышлениях о литературе опираться не только на книги других писателей, но и на свои собственные. Даниил Данин имеет такое право и такую возможность. И это придает «Перекрестку», размышлениям его автора над трудностями, стоящими перед писателем, обратившимся к образу великого ученого, особую убедительность, особую наглядность.

«Перекресток» заканчивается работой, названной автором «Накануне книги». Каза-

лось бы, она не имеет прямого отношения ко всей теме книги. В этих «Копенгагенских записях» Д. Данин рассказывает, как он, работая над книгой о Нильсе Боре, приехал в Копенгаген и разговаривал со вдовой великого физика. Фру Маргарет была не только женой Бора и ближайшим его другом, но и многолетним секретарем, постоянным собеседником и слушателем Бора, который свои идеи, свои размышления должен был обязательно «выговаривать» перед собеседником... Надо ли объяснять ценность свидания с таким человеком, как фру Маргарет, для писателя, которому необходимо воссоздать психологический образ гения... Понятно, что это свидание должно было в огромной степени облегчить его задачу! И Данин пишет о нем: «...полтора-часовой разговор с фру Маргарет не принес мне, в сущности, никаких новых сведений — ничего сюжетного, чего я не знал бы прежде и что так легко пересказывается, — а меж тем, не будь этого разговора, я остался бы обездоленным, сам того не подозревая». Да, казалось бы, писатель знал о своем герое все! Все, что он сделал, все, что о нем было написано, сказано, все, кроме одного и самого важного: в чем заключались истоки той редкостной человеческой гармонии, которая отличала Бора — человека и ученого? А иначе невозможно

выполнить ту сверхзадачу, которую себе поставил писатель, — не только создать образ великого ученого, но и найти ключ к пониманию этой гармонии.

...В разговоре с автором будущей книги фру Маргарет сказала о своем покойном муже: «Он чувствовал, как понимал». Данин пишет: «Это тот сверхредчайший случай гармонии в человеке, когда философия природы и философия жизни становятся в его внутреннем мире самим его естеством... Как рассказывать такого человека?»

Когда будет полностью опубликована книга Даниила Данина о Боре, мы узнаем, справился ли писатель с этой трудной задачей.

А теперь мы получаем некое весомое основание ответить на вопрос, поставленный в заголовок нашей рецензии. На том перекрестке науки и искусства, где возникает и развивается научно-художественная литература, нет пустоты и тишины заброшенной, никуда не ведущей дороги. Этот перекресток полон движения и гула нашего времени, времени революционных перемен в науке, в человеческом сознании, а значит, и в литературе. О необходимости понять все сложности и трудности, возникающие на этом перекрестке, и пишет в своей книге Даниил Данин.

Лев РАЗГОН.



### Политика и наука

## РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

В. В. Кортунов. Идеология и политика. Битва идей и эволюция идеологических концепций антикоммунизма в 1950—1970 годы. М. Политиздат. 1974. 287 стр.

Расширение, активизация борьбы идеологий двух противоположных социально-экономических систем, социализма и капитализма, — характерная особенность наших дней. Научно-техническая революция, вооружив пропаганду мощными техническими средствами, ввела эту борьбу практически в каждый дом, вовлекла в нее почти всех людей планеты.

Противоборство идеологий ныне поистине всеохватывающе и всепроникающе. Фронт этот не ограничен ни расстояниями, ни национальными границами. Он проходит по территориям капиталистических государств, где против попыток буржуазной идеологии привить трудящимся вирус анти-

коммунизма неустанную борьбу ведет идеология коммунистическая. В странах «третьего мира» определенные круги стремятся реанимировать колониальную психологию, клеветать на социализм, опорочить социалистический путь развития. Буржуазная пропаганда несет представления о якобы привлекательном образе жизни на Западе, паразитирует на имеющихся еще у нас недостатках и трудностях.

Иначе говоря, выполняя социальный заказ своего класса, враждебная нам идеология использует любые возможности противостоять растущему во всем мире интересу масс к научному коммунизму, к достижениям реального социализма, противодей-

ствовать распространению коммунистической идеологии.

Естественно, что гигантский, невиланный размах, который приобрела ныне борьба идей, приковывает пристальное внимание марксистской общественной мысли. Анализ истоков, форм, методов, направлений идеологической борьбы в современных условиях имеет не только теоретическое, но и чрезвычайно важное практическое значение. И в этом отношении следует с удовлетворением отметить монографию В. Кортунова «Идеология и политика».

Поставив своей целью «проследить повышение роли идеологического фактора в жизни современного мира, во внутренней и внешней политике государств в зависимости от изменения соотношения сил между социализмом и капитализмом, между рабочим классом и буржуазией», автор дал комплексную картину эволюции буржуазных и ревизионистских идеологических доктрин за последние десятилетия.

Эволюция эта, конечно, совершалась «не по доброй воле». Рост силы и международного авторитета социализма, приумножение политического опыта рабочего класса, расширение национально-освободительного движения — все эти факторы явились важнейшими причинами определенных видоизменений в формах деятельности и теоретических основах враждебной идеологии и пропаганды. Немало этому способствовала и научно-техническая революция.

Бессильный прибегнуть к военным средствам в борьбе против социализма, многократно обманувшийся в ожиданиях экономического краха нового строя, капитализм переносит основную тяжесть своего противодействия победоносному наступлению социализма в сферу духовной жизни. «Перед лицом грозного вызова революционного учения рабочего класса буржуазия бросила на чашу весов весь свой многовековой опыт духовного порабощения трудящихся, всю силу экономической и политической власти, все рычаги влияния на внутренний мир человека». Именно борьба за человека, за его миропонимание и составляет сущность современной идеологической борьбы.

Связь такой борьбы с политическими целями классов всегда была достаточно явной. Однако буржуазная общественная мысль до поры до времени предпочитала облекать ее в отвлеченно-умозрительную оболочку. Лишь марксизм открыто соотнес идеологию с политическими задачами рабочего класса

и его конечной целью — построением коммунизма, придал ей значение важнейшего фактора классовой борьбы, то есть ее истинное политическое значение.

Выявление политического значения мировоззрения заставило и буржуазную идеологию сбросить профессорскую мантию. Идеологический фактор стал открыто применяться капитализмом как фактор политического сдерживания социализма, противодействия наступлению коммунизма, торможения социального прогресса. Антикommунизм отнюдь не случайно выступил основным содержанием стратегии и тактики наиболее реакционных империалистических сил, сосредоточивающих в его русле всю свою политику, как внешнюю, так и внутреннюю.

Фундаментальный анализ антикоммунизма — основное содержание работы В. Кортунова. Одна за другой разворачиваются перед нами антикоммунистические концепции в их взаимосвязи, четко проступает их грозное влияние на выработку политических решений, ошибочность которых уже давно доказана историей. Так, например, молодая Советская республика не могла представлять какой-либо внешней политической, военной, экономической опасности для международных интересов империалистических держав. Но ее внутренние дела, принципиально новое содержание ее внутренней и внешней политики несли в себе огромную идеологическую опасность миру эксплуатации и угнетения. Несомненно, что именно осознание этой опасности во многом продиктовало политические и военные акции, которые пытались осуществить в те годы ведущие империалистические державы.

Идеологическую опасность такого рода антагонистическое общество ощущает на всем протяжении истории социализма. Это обстоятельство помогает понять, в чем причина и поразительного сходства идеологических доктрин, находившихся и находящихся на вооружении буржуазии в разные периоды, и заметной активизации антикоммунизма в современных условиях, когда новый мир достиг особенно крупных экономических, политических и социальных успехов.

Конечно, по форме буржуазные идеологические концепции выглядят совсем несхожими. Однако цель их практически одина. Доктрины «сдерживания», «отбрасывания» социализма, «освобождения» народов социалистических стран (атрибуты печальной памяти «холодной войны»), «гибкий антиком-

мунизм», равно как и «лобовой», «примитивный»,— все это лишь различные идеологические отражения и выражения одной и той же политической цели: «преодоления» социализма.

Способность буржуазной идеологии приспособляться к изменяющейся обстановке особенно ярко проявилась в так называемых техницистских теориях. Глубокие социальные изменения, происходящие как следствие перемен в науке и технике, потребовали от буржуазной идеологии выработки новых прогнозов и объяснений. Доктрины «конвергенции», «единого индустриального общества», «постиндустриального общества», «нового индустриального общества» и другие, собственно, и были попытками идеологического объяснения социальных последствий научно-технической революции.

На первых порах НТР породила у буржуазных идеологов чувство «технологического оптимизма», но словно затем, чтобы вскоре привести их к глубоким разочарованиям. Вызвав к жизни техницистские доктрины, переворот в науке и технике обусловил и крушение этих доктрин.

Считая, что миром завладела непреодолимая сила индустриализма, подчинившая себе общественное развитие, исходя из количественных, машинных характеристик этой силы, представляя будущее в метрах тканей, тоннах металла, сотнях автомобилей, буржуазная идеология отвела человеку покорную, служебную роль. Его счастье она представляла только лишь как потребительское, обывательское счастье и провозгласила неизбежность наступления поры, когда развитие науки и техники одарит таким счастьем всех. Тем самым разрешатся все социальные проблемы, будут уничтожены классовые различия и различия между двумя системами.

Характерно, что в таком подходе проявилась старая ошибка буржуазных идеологов и политологов. В свое время буржуазные политики потерпели немало банкротств именно из-за подобных методологических просчетов. Они довольно точно определяли экономические ресурсы и возможности Советской страны, уровень технической оснащенности ее производства, трудность ее проблем. Однако, строя свою политику, они упускали из виду, а точнее игнорировали, субъективные факторы, качества советского человека.

«Технологический оптимизм», послужив

основой для создания целого ряда идеологических мифов последнего времени, не выдержал испытания действительностью. Технократические прогнозы и доктрины, их идеологическая направленность быстро обнаружили свою несостоятельность. Оказалось, что человеческое счастье не исчерпывается количеством вещей и услуг. Ставка на раздувание потребительства была бита. Экономический спад, охвативший сегодня западный мир, явился еще одним свидетельством того, что сама по себе научно-техническая революция не несет счастья людям, не избавляет капитализм от имманентных ему пороков. Наоборот, она делает амплитуду его колебаний еще более угрожающей.

Примечательны разделы работы, в которых показана организация идеологической деятельности буржуазии. Ее идеологи любят порассуждать о «свободе» своих действий, но за такими рассуждениями ныне лишь тень содержания. Система воздействия на общественное и индивидуальное сознание. Система буржуазной пропаганды — это жестко организованные институты, контролируемые капиталистическим государством во всех звеньях их функционирования. Именно это позволяет «правлящей верхушке империалистических держав придавать пропагандистской деятельности невиданный доселе размах, привлечь к ней, наряду с негосударственными пропагандистскими организациями, государственные органы, армию и разведку с их зарубежным аппаратом».

Буржуазное государство неустанно работает о совершенствовании и перевооружении своей пропагандистской машины. История этого совершенствования, данная в книге, по сути дела, представляет собой историю «психологической войны», вовлечения в нее все новых и новых сил. Буржуазное государство все больше становилось «главным заказчиком» идеологических учреждений и наконец решительно взяло руководство ими в свои руки.

Особо следует отметить четкость и спокойную доказательность данного В. Кортюновым анализа возведения «психологической войны» против социализма в ранг «четвертой сферы» внешней политики империалистических держав, приравненной к дипломатической, военной и экономической сферам. Координация «психологической войны» превратилась из межведомственной в надведомственную задачу, возвысилась до уровня государственной политики.

Взяв развитие средств массовой информации под свой непосредственный контроль, империалистические государства создали новую многоотраслевую индустрию — службу массовой информации. Потребность современного человека в информации небывало велика, и капитализм удовлетворяет ее, поставляя информацию как своеобразный товар, который, подобно капиталу, приносит потом определенные дивиденды. И хотя наряду с государственными средствами информации и пропаганды в буржуазных странах действуют порой не менее мощные частные средства — принадлежащие монополиям газеты, телеграфные агентства, кинокомпании, радиосистемы и т. п., — необходимо подчеркнуть, что вся буржуазная пропаганда по основным направлениям своей деятельности выступает единым фронтом. «Свободная печать» четко ориентируется в политическом и идеологическом отношении непосредственно государственными органами либо близкими к правящим кругам источниками информации. Традиционная же вывеска «независимой» частной печати служит своего рода ширмой для передачи ей функции дезинформации, распространения наиболее злобных антикоммунистических, антисоветских измышлений.

Автору книги «Идеология и политика» удалось убедительно показать, что деятельность буржуазных идеологов не имеет ничего общего с идеологической дискуссией в поисках истины. За, казалось бы, «чисто идеологическими» доктринами и концепциями почти всегда кроются завуалированные попытки вмешаться во внутренние дела других стран, посеять ядовитые семена антисоветизма, антикоммунизма. Сложнейшие современные средства информации и пропаганды, которые позволяют добиться беспрецедентных успехов в повышении культуры, просвещении и гуманистическом воспитании масс, используются буржуазией для решения все той же старой задачи — увести трудящихся от классовой борьбы, подорвать мировое демократическое и революционное движение, создать иллюзию трансформации капитализма в какое-то новое общество. Рассмотрение механики буржуазной пропаганды, ее игры на «полуправде», оперативности ради оперативности, умения использовать в качестве аргумента даже... слабость западной общественной мысли, думается, привлечет внимание многих читателей.

Чем меньше у буржуазных идеологов дей-

ствительных аргументов, тем изощреннее их тактика и пропагандистское мастерство. Привлекательность материала, его форма, форма и еще раз форма — таков, пожалуй, девиз западной пропаганды. Ради привлекательности, ради читательского, зрительского интереса изобретаются тысячи уловок. Приспособленчество буржуазной идеологии, ее стремление паразитировать на объективных явлениях действительности, присваивать себе чужие лозунги, выдавать цели буржуазии за общенародные и т. д. никогда не проявлялись столь четко, как ныне. В этом свидетельством новых банкротств наших идейных противников, но в этом же и новая опасность, ибо идеологические маски, применяемые буржуазной пропагандой, распознать не так легко и просто.

В лихорадочных поисках идей, которые могли бы противостоять великим идеям марксизма-ленинизма, буржуазная идеология предлагает общественному мнению одну доктрину за другой. Нередко эти доктрины противоречивы, взаимоисключающи. Разумеется, в них находит отражение определенное несходство целей и интересов различных групп буржуазии, но прежде всего нищета буржуазной общественной мысли. Сегодня уже нередки случаи, когда наш идейный противник пытается выйти на поле битвы, вооруженный идеологическим старьем. Эта калейдоскопичность буржуазных идеологических теорий, их различия, многократное возвращение западной пропаганды к уже «отработанным» концепциям нашли точное и четкое отображение в рецензируемой работе.

При всех внешних различиях буржуазные идеологические теории, как уже отмечалось, оказываются на удивление одинаковы в своей антикоммунистической направленности, в своем отношении к реальному социализму, его будущему. Анализ данного сходства и составляет концептуальный стержень книги В. Кортунова, делает ее цельным, логичным трудом, охватывающим и генезис антикоммунизма, и его основные направления, пропагандистские методы, приемы мимикрии, и его связь с основными политическими целями империализма.

В книге дан также оригинальный развернутый анализ новейших доктрин, вызванных к жизни научно-технической революцией, недолгого расцвета и бесславного увядания уже многих из них. Читатель найдет здесь солидное исследование воздействия идеологии марксизма-ленинизма на общеде-

мократические движения, истинных целей политики «наведения мостов», причин, вынуждающих буржуазную идеологию делать ставку на национализм, разбор эволюции маоизма, отбросившего сегодня псевдореволюционную фразу и открыто смыкающегося с наиболее реакционными силами. Убедительные страницы посвящены обоснованию отхода буржуазной идеологии на оборонительные позиции как результата огромных успехов социализма, высокой активности, наступательности марксизма-ленинизма, роста во всем мире интереса к научному коммунизму.

Пожалуй, эта книга является своего рода обобщающим трудом, посвященным проблемам идеологической борьбы, анализу и критике антикоммунизма. Написанная хорошим языком, содержащая богатейший фактический материал и важные принципиальные выводы теоретического плана, работа В. Кортунова, думается, полезна и интересна не только идеологическим кадрам и пропагандистам, но и самому широкому кругу читателей.

**И. ЛАПТЕВ,**

*кандидат философских наук.*



## КНИГА О ГЕРОЯХ-АНТИФАШИСТАХ

**А. С. Бланк. В сердце «третьего рейха». Из истории антифашистского Народного фронта в подполье. М. «Мысль», 1974. 237 стр.**

В мае 1972 года, когда в связи с предстоящей ратификацией бундестагом договоров с Советским Союзом и Польшей обстановка в ФРГ была накалена до предела, мюнхенская телестудия «Бавария» выпустила на экран семисерийный фильм о «Красной капелле», изобиловавший антикоммунистическими измышлениями. В его создании участвовали кинематографисты нескольких западноевропейских стран. Фильм был передан по каналам «Евровидения».

История «Красной капеллы» — так именовалась в следственных документах нацистской юстиции крупнейшая подпольная организация немецких антифашистов, возглавлявшаяся Шульце-Бойзеном и Гарнаком, — вызывает огромный интерес у широких слоев населения как в Европе, так и во всем мире. Об этой организации на Западе написаны десятки книг. Большинство из них проникнуто духом антикоммунизма и антисоветизма, клеветой на отважных борцов-антифашистов.

Реакционному направлению в буржуазной историографии «Красной капеллы» противостоят правдивые исследования, воздающие должное мужеству и героизму участников «Красной капеллы». Много ценных фактов о героической, патриотической деятельности организации Шульце-Бойзена — Гарнака привел в своем хорошо документированном труде «Безмолвное восстание» один из немногих оставшихся в живых участников этой организации, писатель Гюнтер Вайзенборн. Его мемуарный роман «Мемориал», вышедший в свет на русском языке

в 1973 году в Москве, представляет собой человеческий документ потрясающей силы — талантливое произведение «исповедальной» прозы.

Однако в этом труде борьба подпольщиков-антифашистов освещена односторонне, акцент сделан лишь на личном героизме участников организации, а роль компартии как руководителя и вдохновителя этой борьбы остается в тени.

В последние годы во Франции и ФРГ появились новые, обширно документированные труды, посвященные группе Шульце-Бойзена — Гарнака. В книгах Жилья Перро «Красная капелла» и Гейнца Хёне «Пароль — „Директор!“» приведено множество фактов о бесстрашной борьбе немецких антифашистов Зига, Гуддорфа, Кукгофа и их многочисленных боевых друзей против мощного государственного аппарата гитлеровского рейха. Обе книги стали на Западе бестселлерами. Их авторы, в особенности Ж. Перро, вовлекли в научный оборот множество новых документов, позволяющих уточнить факты, выявить новые детали и осветить неизвестные ранее эпизоды борьбы. В работах названных авторов разведывательная деятельность этой группы в пользу Советского Союза признается, правда, с некоторыми оговорками, как существенная составная часть антифашистской борьбы.

Однако и книги Перро и Хёне, как справедливо сказано в предисловии к рецензируемой монографии, не воссоздают подлинной истории антифашистской организации Шульце-Бойзена — Гарнака, несвободны от

отдельных ошибочных высказываний, а порой от выпадов антикоммунистического характера, некритически воспроизводят некоторые сомнительные источники.

Историки и публицисты социалистических стран — Советского Союза и Германской Демократической Республики опубликовали несколько статей и очерков, посвященных героям «Красной капеллы». В повестях С. Милина и Г. Фетисова «Коро» вызывает Москву» и Ю. Королькова «Где-то в Германии» использованы сюжеты из истории этой подпольной организации. Однако, как справедливо отметил недавно вице-президент АН ГДР Генрих Шеель, в прошлом активный участник «Красной капеллы», ни в ГДР, ни в Советском Союзе не было работы, которая в научном плане освещала бы историю организации Шульце-Бойзена — Гарнака. Рецензируемая монография является первой попыткой исследования этой темы не только в советской, но и в международной марксистской историографии.

Антифашистская организация Шульце-Бойзена — Гарнака «Красная капелла» занимает особое место в истории антифашистского немецкого Сопротивления. Она сплотила в своих рядах представителей самых различных слоев немецкого народа. Коммунисты и офицеры вермахта, потомственные аристократы и рабочие, писатели и министерские чиновники, врачи и инженеры военных заводов, кадровые работники компартии и артисты — все они объединились в священной борьбе за избавление своей родины от коричневой чумы. На протяжении нескольких лет организация вела антифашистскую пропаганду, издавала и распространяла листовки и брошюры, осуществляла акты саботажа на важнейших военных предприятиях рейха. Многие отважные подпольщики установили связь с советской разведкой и, движимые чувствами патриотизма и пролетарского интернационализма, передавали в распоряжение Советского Союза военно-стратегическую, политическую и экономическую информацию. В октябре 1969 года многие члены организации были посмертно награждены советскими боевыми орденами.

Немецкие патриоты и пламенные интернационалисты действовали в самом сердце гитлеровского рейха — в военном министерстве, ставке верховного главнокомандования, в ведомстве адмирала Канариса, в секретных лабораториях, на заводах, изготавливающих ракеты «Фау-2», и других важней-

ших объектах. Шульце-Бойзен, Гарнак и их боевые друзья внесли существенный вклад в дело победы над фашизмом.

Отважные антифашисты перед казнью перенесли страшные пытки в гестапо, но остались несломленными. Их последние письма представляют собой глубоко волнующие документы бесстрашия, мужества, непоколебимой верности идеалам социализма.

Труд советского историка профессора А. Бланка «В сердце «третьего рейха», посвященный истории берлинской группы «Красной капеллы», написан на основе глубокого и всестороннего изучения достоверных фактов. Автором использовано большое количество разнообразных материалов: документы архивов, воспоминания участников организации, многочисленные публикации, записи бесед с оставшимися в живых членами организации, издания подпольной организации и т. п. Многие документы публикуются впервые.

Несомненным достоинством рецензируемой книги является то, что она удачно сочетает глубокую научность, четкие методологические основы с поистине художественным изображением событий, тонким проникновением в психологию героев. Автор постоянно обращается к немецкой литературе — Гёте, Рильке, Брехту, Вайнерту, он воссоздает духовный мир людей «Красной капеллы», воспитанных на лучших идеалах передовой культуры своего народа, деятельность подпольщиков рисуется на широком историческом фоне.

Автор предпосылает книге обстоятельное введение, содержащее подробный историографический обзор и аргументированную критику многочисленных «концепций» реакционных историков. Справедливо подчеркивая, что судьбы войны решались, конечно, не в подполье рейха и других стран, а на полях сражений, в героических битвах, которые вели Советская Армия, весь советский народ в союзе с другими свободолюбивыми народами мира, А. Бланк отдает должное героям, внесшим свой вклад в дело победы над фашизмом. Более того, как ярко и убедительно показано в книге, помощь немецких антифашистов советским друзьям осуществлялась задолго до разбойничьего нападения гитлеровцев на Советский Союз.

Восемьдесят второй год пошел Эмилио Гюбнеру, когда фашистские палачи казнили его. Социал-демократ с 1903 года и коммунист с 1919-го, Гюбнер стал хозяином одной из первых подпольных квартир — базы, нсфб-

ходимой в случае перехода в подполье. Ему помогли и советские друзья. Старый рабочий хранил у себя деньги, бланки удостоверений личности и паспорта, оружие, в годы войны укрывал советских товарищей, выполнявших особые задания. Очень разнообразны были формы братского антифашистского сотрудничества немецких и советских друзей, но их всегда объединяло единство целей.

Работая в самом сердце фашистского рейха, члены антифашистской организации наряду с другими формами борьбы против фашизма поставили своей задачей систематически информировать советское командование относительно военных приготовлений и стратегических планов гитлеровского рейха. Такая позиция целиком и полностью отвечала глубоким интернациональным убеждениям подпольщиков, сочетавшимся с подлинным патриотизмом и любовью к своей родине и своему народу.

В 1971 году киностудия ДЕФА выпустила фильм об организации Шульце-Бойзена — Гарнака, получивший высокую государственную премию ГДР. Его постановщики — известные кинематографисты ГДР Вера и Клаус Кюхенмайстеры. Последний — сын казненного героя-антифашиста Вальтера Кюхенмайстера, отважного патриота, пламенного интернационалиста, верного друга Советского Союза. Это он зимой 1941/42 года, движимый чувством братской дружбы к советскому народу, написал «Кантату о Ленинграде», в которой прозвучали такие наполненные страстью слова: «Как шакалы, сквозь ночь рвутся черные силы войны и разбоя к городу Ленина. Но ты, славный город, стоишь непоколебимо. И мы клянемся тебе, что посвятим тебе наши жизни! Мы навсегда связаны с тобой, красный город; ведь те же силы, которые атакуют тебя, наносят удары и нам. Но мы готовы к борьбе. Держись, Ленинград, мы верим, ты выступишь. Мы живем надеждой на твою победу. Ведь ты — наше будущее!..»

Пламенные интернационалисты и патриоты, герои берлинского подполья были, как показано в рецензируемой книге, непоколебимыми оптимистами. Ни на одну минуту не сомневались они в освобождении своей Родины от коричневой чумы. Они твердо верили в демократическое возрождение своего народа.

Когда гитлеровцы напали на след подпольщиков и начались аресты, среди антифашистов не было «раскаившихся», слабых духом, предателей. С презрением к своим палачам шли они на казнь и погибли непобежденными. «Я ни в чем не раскаиваюсь и умираю как убежденный коммунист!» — воскликнул Арвид Гарнак в последнюю минуту жизни, когда палач уже накинул ему петлю на шею.

«Все, что я делал, я делал, повинуюсь своему сердцу и своим убеждениям», — писал перед казнью Шульце-Бойзен своим родителям.

Правду не заглушат переверка и топор,  
Еще не произнесен последний приговор,  
Судьи наши от кары не уйдут,  
Ведь этот суд — еще не страшный суд, —

написал он в своем предсмертном стихотворном послании.

«Лучшие сыны немецкого народа — коммунисты, антифашисты, — говорил Л. И. Брежнев, — пронесли через всю вторую мировую войну, через террор и преследования, через пытки фашистских тюрем и концлагерей верность пролетарскому интернационализму, любовь к Советскому Союзу — родине социализма. В этом они видели свой высший патриотический долг, высшее проявление любви к своему собственному народу».

Как убедительно показано в книге А. Бланка, эти слова полностью относятся к героям-антифашистам, членам организации Шульце-Бойзена — Гарнака. В тяжелейшую полосу истории своего народа эти отважные патриоты стояли в одном строю с нами в борьбе против злейшего порождения германского разбойничьего империализма — гитлеровского фашизма.

Книга А. Бланка посвящена деятельности берлинской группы «Красной капеллы». Известно, однако, что последняя была тесно связана с антифашистскими группами в других странах Западной Европы. Автор лишь мимоходом упоминает об этом. Между тем подробное освещение этих связей и боевых дел антифашистов-подпольщиков, действовавших во Франции, Бельгии, Швейцарии, безусловно обогатило бы эту ценную работу.

**Р. КАШИН,**

*кандидат исторических наук*

Ярославль.



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**НИКОЛАЙ НАВОЛОЧКИН.** *Амурские версты. Роман. Хабаровское книжное издательство. 1974. 352 стр.*

Генеральная линия романа Н. Наволочкина — становление русской жизни на Амуре во второй половине 50-х годов XIX столетия в результате открытий и исследований Амурской экспедиции, которую возглавлял выдающийся ученый и моряк Г. И. Невельской. Усилия моряков, казаков, крестьян, офицеров этой экспедиции закрепил Айгунский договор 16 (28) мая 1858 года, по которому России возвращались незаконно отторгнутые по Нерчинскому трактату 1689 года приморские земли. И теперь снова заселялся Амур.

В романе много исторических лиц, много и вымышленных персонажей. Они, впрочем, воспринимаются как реально существовавшие. Энергичный, умный, дальновидный, но крутой нравом генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев; просветитель Амурского края и великий труженик декабрист М. А. Бестужев; хитрый и коварный карьерист генерал-губернатор только что образованной Амурской области Н. В. Буссе; командир знаменитого 13-го Сибирского линейного батальона Я. В. Дьяченко со своими сподвижниками; беглый солдат Михайло Лапоть-Леший; унтер-офицер Ряба-Кобыла; молодой мечтательный казак Игнат Тюменцев; рядовые казаки, матросы — об их трудовых и славных буднях повествуется в романе. «И не думали, — вставляет автор, — что они первопроходцы и творят они великое дело: застраивают и обживают для России и для своих потомков край немеренных расстояний, землю зверей и птиц, тайги да гор, степей и рек».

Прямое «сюжетное» действие ограничено у Н. Наволочкина рамками двух лет, но кажется, что перед тобой панорама столетий: умело вкрапленные исторические отступления позволяют со всей полнотой почувствовать широкое движение времени. Автор весьма искусно влетает в повествование реальные исторические документы, в частности письма М. А. Бестужева с Амурского края своим родным. Там же, где у автора нет твердой документальной опоры, он широко пользуется дошедшими до нас свидетельствами современников своих героев.

Роман «Амурские версты», на мой взгляд, удался автору. И когда закрываешь послед-

нюю страницу, то вместе с автором уверенно заявляешь: «Россия прочно встала на своих восточных рубежах».

**А. Алексеев,**  
*доктор исторических наук,  
кандидат географических наук.*



**Г. СОЛОВЬЕВ.** *Эстетические воззрения Чернышевского и Добролюбова. М. «Художественная литература». 1974. 400 стр.*

Как и в предыдущей своей работе («Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова», 1963), Г. Соловьев в новой книге ведет вдумчивое и обстоятельное исследование эстетических взглядов русских критиков-демократов, выясняя их место и роль в развитии художественной мысли. Не секрет, что еще в недавние времена авторы многочисленных работ о Чернышевском нередко ограничивались изложением или пересказом его эстетических суждений, не слишком углубляясь в их существо, не изучая их философскую основу и диалектическую взаимосвязь с идеологическими тенденциями той эпохи. Невнимание к реальному содержанию известной диссертации Чернышевского и других его эстетических работ доходило до того, отмечает автор рецензируемой книги, что изложение идеалистической системы взглядов на искусство (в диссертации) порой принимали за подлинный ход мысли самого Чернышевского; таким образом ему не раз приписывали некоторые частные положения его идейных противников.

Главное достоинство книги в том и состоит, что автор взял на себя нелегкий труд — заново в тончайших подробностях и внутренних связях исследовать эстетику Чернышевского (и лишь частично Добролюбова, поскольку прежде ему была посвящена автором отдельная работа), его взгляды на предмет, содержание и назначение искусства, его понимание некоторых важнейших эстетических категорий, например категорий прекрасного и трагического. Все эти проблемы трактуются Г. Соловьевым в полном согласии с их реальной сложностью.

Автор книги предлагает свое толкование известной формулы «прекрасное есть жизнь», противостоящей гегелевскому пониманию прекрасного. Он стремится выяс-

нить подлинный смысл многих других пространственных формул, к которым нередко сводилось все богатство эстетических идей Чернышевского. Например, привычный тезис «действительность выше искусства», по его мнению, «не может означать чего-либо иного, кроме утверждения первичности материи и вторичности духа». Решительное возражение со стороны автора встречают попытки исследователей объявить чуть ли не основой эстетической теории Чернышевского его весьма неточное «рабочее» определение искусства как суррогата действительности. Чернышевский, по мысли Г. Соловьева, понимал этот термин «не как обозначение вещественного заменителя или подделки под действительность в смысле идеальной копии реального предмета... Он разумел под «суррогатом» такую идеальную копию реального предмета, которая как раз не претендует на обмен и замену, а лишь напоминает нам этот предмет, знакомит нас с ним, если его нет перед нами. Это ничуть не означает того, чтобы такое напоминание или ознакомление исчерпывало задачу искусства,— как раз наоборот; это свойство всякого отражения служит элементарнейшей и необходимейшей основой бытия существенных сторон искусства...»

Точно так же отвергается в книге и ошибочное понимание мысли Чернышевского о том, что искусство воспроизводит жизнь — в отличие от науки — «в формах самой жизни»; напрасно было бы, считает автор, искать в этом положении признаки примитивного или узкого представления о реализме: мысль Чернышевского имеет в виду конкретно-чувственное воспроизведение жизни такой, как она есть, способность искусства оперировать не отвлеченными понятиями, а художественными образами.

На протяжении всей работы Г. Соловьев стремится проследить формирование материалистических принципов эстетики Чернышевского, для которого главным критерием прекрасного был демократический и социалистический идеал. Анализируя сильные и слабые стороны его эстетических воззрений, вскрывая присущие им противоречия, автор рассматривает взгляды Чернышевского в их развитии, в связи с развитием русской и западноевропейской эстетической мысли (Фейербах, Гегель). Сопоставления идей Чернышевского с уже бытовавшими взглядами у Г. Соловьева содержательны и конкретны. Это относится и к подробному разбору взглядов Белинского, усвоенных и развитых Чернышевским; особенно важны страницы, посвященные толкованию Белинским роли Пушкина, который, по словам великого критика, «дал нам поэзию как искусство, как искусство». Автор книги добавляет, что Белинский «понимал художественность как диалектик, прошедший гегелевскую школу».

Подробные «отступления» о Белинском, Голе, Герцене вполне закономерны в книге. Менее оправданными представляются обширные главы, в которых автор, увлеченный полемикой, подробно воспроизводит

споры современных эстетиков, углубляется в проблемы гносеологии творчества, вопросы психологии и т. д. Интересные сами по себе, эти страницы имеют лишь косвенное отношение к главному предмету исследования.

В целом же работа Г. Соловьева — новый и крупный шаг в изучении избранной темы. Она поможет читателю лучше понять подлинную сущность эстетических воззрений русских революционных демократов, их историческое место в ряду других теорий искусства, уяснить их значение для современности.

В. Жданов.



**ВИКТОР ДМИТРИЕВ. Реализм и художественная условность. М. «Советский писатель». 1974. 280 стр.**

Книга В. Дмитриева начинается словами о том, что горячее обсуждение проблемы условности прошло свой зенит, страсти «как будто поулеглись». Это не только констатация факта, но также интонационный ключ ко всей работе. Написана она спокойно, и даже полемика здесь свободна от следов горячности. Автор ведет неторопливый, обстоятельный разговор с читателем, открывая ему различные аспекты проблемы и «горячие точки» в современном ее обсуждении.

Нередко споры о том, что условно, а что нет, попросту малопродуктивны. Вот «Пиковая дама». Сколько было в свое время положено труда, чтобы доказать, что ничего условного и фантастического эта повесть не содержит, что все странное и недосказанное, все удивительное и пугающее в ней — «не более как высокохудожественное обрамление, столь характерное для подобных сюжетов в ту эпоху»<sup>1</sup>. Значит, не прав был Достоевский, видевший в повести «верх искусства фантастического»?

В. Дмитриев убедительно показывает, что прав Достоевский — в мире Германна злобная старуха реальна в своей условности, но сам мир бесчеловечен с царящим здесь культом богатства. Именно из-за власти золота все так страшно, обманно в мире Германна.

Обращаясь к опыту зарубежной литературы, В. Дмитриев высказывает ряд интересных соображений. На мой взгляд, особого внимания заслуживают его суждения о Кафке. Никто, разумеется, не отрицает, что автор «Процесса» и «Замка» с болезненной зоркостью различил в окружающей его действительности черты, которым суждено было полностью развиться в обстановке фашистского режима. Но Кафка совершенно не видел и не угадывал тех сил, которые обрекли фашизм на поражение, он видел только мир, где все переплетено в один фантазмагорический клубок. Была

<sup>1</sup> Именно так сказано у Л. Ххандзе. Ом. «Пушкин. Исследования и материалы». М.—Л. Издательство АН СССР. 1960, т. III. стр. 460.

ли заложена в самом методе Кафки возможность как-то отразить объективные тенденции эпохи, разгадать социальные явления в их совокупности и перспективе? На этот вопрос В. Дмитриев дает вполне аргументированный ответ. Разумеется, отрицательный.

Лейтмотивом книги стала идея внутренней совместимости понятий «условность» и «реализм». Реализм, по В. Дмитриеву, не только допускает, но активно использует условность, внутренне оправданную реалистическим контекстом. Чем же именно определяются границы и формы условности в рамках реалистического метода? Вот один из важных вопросов, поставленный в книге, вопрос, который непосредственно выводит к гносеологическим аспектам искусства. Реалистическое искусство — это отражение реального мира, но методы отражения специфичны. Искусство не просто описывает мир, но воссоздает его поэтически. Условность, которая способна создавать поэтический мир, представляющий собой особую «модель» реальности, не противостоит, а служит реализму в искусстве. Вот, в сущности, простая, но отнюдь не поверхностная мораль, которая содержится в интересной и нужной книге В. Дмитриева.

**А. Брудный,**  
доктор философских наук.



**В. ПРОХОРОВА.** Константин Сергеев. Л. «Искусство». 1974. 248 стр.

Не так давно у нас, в Институте театрального искусства имени Луначарского, защищалась диссертация. Тема — творчество выдающегося артиста балета и хореографа, народного артиста СССР лауреата четырех Государственных премий СССР Константина Сергеева. Диссертант — молодой ученый Валентина Прохорова. Сейчас вышла ее книга, построенная на обширном материале, изложенном в исследовании, которое принесло автору степень кандидата искусствоведческих наук.

Книга открывается главой «Начало пути». Здесь рассказывается о приобщении маленького мальчика «к волшебному миру сцены», о его решении посвятить себя очень трудному искусству классического танца. Мы узнаем о его нелегкой юности. Факты приведены поучительные, но, увы, несколько схематично изложены, и это жаль: внешним детям, «ношоше, обдумывающему житье» в искусстве, было бы полезно узнать, на какие лишения и трудности шли люди поколения Сергеева и сам Сергеев, чтобы добиться тех великолепных результатов, которые определили его место в советском балете.

И не только в балете. Вряд ли я ошибусь, утверждая, что творчество Константина Михайловича значительно и симпатично для всего советского театра. Тот, кто видел, например, Сергеева и Уланову в знаменитом балете Прокофьева, может под-

твердить, что шекспировское название «Ромео и Джульетта» только в этом актерском сочетании казалось точным. Дуэт говорил о гармонии, об идеальном художническом равенстве. Столь редкое в балете равенство партнеров было очевидно и когда Сергеев выступал с Улановой в «Бахчисарайском фонтане», в балетах классического наследия от «Лебединого озера» Чайковского до «Раймонды» Глазунова. Я видел его и в этих и во многих других спектаклях с такими выдающимися балеринами, как Фея Балабина и Наталия Дудинская. С Дудинской артист танцевал до конца своей сценической деятельности, обретя в ее лице верного единомышленника и преданную помощницу во всех его плодотворных балетмейстерских опытах. Они не менее значительны, чем актерские создания Сергеева, и представляют незаурядный интерес для хореографов, историков балета и просто для любителей этого изысканного искусства. Недаром в монографии цитируются восторженные высказывания о постановках Сергеева известных знатоков и критиков.

Автор книги точна в описании танца и постановок Сергеева. Она умеет донести до читателя образную силу каждой роли артиста и то новое, что он внес во все свои работы.

В романтическом балете «Жизель» лирическое и драматическое дарование артиста раскрылось во всем своем богатстве, утонченном психологизме и красоте формы. Аналогичны и художественные особенности ролей, которые считались «не в амплу» танцовщика. Огромный талант, пытливая мысль и уникальная танцевальность помогли ему, выступавшему в одну эпоху с признанными корифеями героического плана, решить и таких образов, как Базиль «Дон Кихота», Марселеп «Пламени Парижа», Фрондосо «Лауренсии», Остап «Тараса Бульбы», Ленни «Тропкою грома»...

Последняя работа знаменательна вдвойне: современный балет по одноименному роману прогрессивного африканского писателя Питера Абрахамса поставлен Сергеевым и в ряду его авторских спектаклей занимает одно из самых почетных мест. Начав с «Золушки» Прокофьева, Сергеев доказал, что его потенциал балетмейстера чрезвычайно масштабен. Бережно, стилистически тонко и точно возобновляя классику, поставив «Тропкою грома», а потом и «Гамлета», Сергеев получил заслуженное признание как хореограф.

Книга В. Прохоровой рассказывает обо всем об этом серьезно и убедительно. Еще, быть может, важно то, что автор доказательно пишет о любви к классическому наследию, о знании Сергеевым старинных балетов. Они не случайно вызывают сейчас во всем мире такой обостренный интерес: к великой гармонии и красоте этих произведений люди тянутся всей душой. А между тем восстанавливать такие спектакли и даже просто поддерживать их на надлежащем стилистическом, исполнительском уровне

становится все труднее: ведь настоящих мастеров, которые могли бы сберечь такие хрупкие и тем более драгоценные сокровища нашей национальной культуры, становится все меньше. К. М. Сергеев — среди тех, кто может помочь в решении задачи: сохранить классику и научиться правильно танцевать в классических балетах.

Рецензируемая монография напоминает об этом. И здесь один из главных «секретов» значимости книги В. Прохоровой о творчестве К. Сергеева. О нем, я надеюсь, появится еще не одна книга, так как такой большой художник заслуживает знаков внимания и признания.

**И. Туманов,**  
*народный артист СССР, профессор.*



**Ф. НАРКИРЬЕР.** Андре Моруа. М. «Художественная литература». 1974. 224 стр.

Большая часть произведений А. Моруа была переведена на русский язык значительно позже их парижских публикаций, и советские читатели лишь сравнительно недавно получили возможность широко ознакомиться с этим мастером французской реалистической прозы XX века. Но за последние годы творчество Моруа приобрело в нашей стране заслуженную популярность. В первую очередь это относится к его романам-биографиям, посвященным Бальзаку, Виктору Гюго, Жорж Санд и династии Дюма. Интерес к этим романам-биографиям, увлекательно написанным и в то же время обладающим несомненной познавательной ценностью, естественно, будит у читателя интерес и к их автору.

Книга Ф. Наркирьера — первая советская монография, посвященная Моруа. Это исследовательский труд и в то же время популярно написанный очерк, где живым языком рассказывается и о жизненном пути писателя, и обо всем его творческом наследии начиная с ранних беллетристических проб пера, кончая романами и историко-литературными трудами последних лет. Автору книги посчастливилось быть лично знакомым с Моруа и побывать в его доме, расположенном в парижском предместье Наньи. Он обменивался письмами с ним и его дочерью. Этот непосредственный контакт помог Ф. Наркирьеру оживить свой труд и новыми фактами, касающимися биографии писателя, и свежими наблюдениями.

Монография кладет конец распространенной в минувшие годы легенде о Моруа как о далеком от политики буржуазном литераторе, кабинетном отшельнике, который будто бы обращался к жизнеописаниям мастеров культуры прошлого века лишь потому, что судьба современников мало его волновала. И Моруа-человек и Моруа-художник представлен здесь в процессе развития. В годы второй мировой войны этот «отшельник» деятельно боролся против фашистских агрессоров и именно на этой почве дружески сблизился тогда с А. де Сент-Экзюпери. Приведенные в книге факты не-

оспоримо доказывают, что колониальные войны во Вьетнаме и Алжире, равно как и попытки империалистических держав использовать термоядерную энергию в военных целях, встречали со стороны Моруа решительный протест.

Ф. Наркирьер подходит к этому писателю с должным критицизмом. Он отмечает недостаточную четкость граней, отделяющих в его книгах вдохновенную романтику Байрона от ложного романтизма Дизраэли или полное жизнеутверждающей энергии творчество Дюма-отца от мешанских мелодром Дюма-сына. Но в то же время автор монографии пишет о высокой художественной ценности лучших страниц Моруа. По мере все большего воздействия демократических общественных сил на самого писателя и в его романах судьбы центральных персонажей все более органично сочетались с изображением широкого исторического фона, все острее сказывалось влияние социальных конфликтов эпохи на их частную жизнь и на их творчество. Ф. Наркирьер с полным основанием утверждает, что свойственные самому автору романов-биографий внутренние противоречия, которые он постепенно преодолевал, во многом обусловили его тяготение к противоречивым и сложным художественным индивидуальностям и к изображению своих литературных героев в динамике духовного и творческого роста. Если в первых главах монографии Моруа 20—30-х годов охарактеризован как писатель буржуазный, то на основании анализа его позднейших романов Ф. Наркирьер приходит к выводу, что «закономерно, неизбежно возникает конфликт гуманистического героя с антигуманистическим обществом... И мы вправе говорить об антибуржуазной направленности творчества Моруа».

Книга Ф. Наркирьера вышла в свет своевременно и будет с интересом и с пользой прочитана каждым, кто знает и любит как романы самого Моруа, так и творчество классиков прошлого века, которые являются живыми, действующими героями лучших его книг.

**М. Яковлева,**  
*кандидат филологических наук.*



**С. М. ТРОИЦКИЙ.** Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократизма. М. «Наука», 1974. 396 стр.

Среди многочисленных проблем, стоящих перед советскими исследователями, которые занимаются историей русского феодализма, видное место принадлежит проблемам становления и развития абсолютизма, эволюции русской абсолютной монархии в буржуазном направлении, ее роли в исторических судьбах России. Эти вопросы были предметом научной дискуссии, начавшейся в ходе Советско-итальянской конференции историков в Москве в 1968 году и продолжившейся на страницах исторических журналов в конце 60-х — начале 70-х

годов. Дискуссия внесла значительный вклад в дело изучения генезиса абсолютизма, но при этом выявила и ряд недостаточных выясненных моментов, без серьезного исследования которых было невозможно дальнейшее решение общих проблем. Среди них следует выделить историю бюрократии как опоры абсолютной монархии.

Именно в этом плане нужно прежде всего рассматривать недавно изданную монографию С. Троицкого. Она основана на обширной документальной базе, позволившей автору с действительно научных позиций подойти к решению вопроса об особенностях и социальной сущности русской бюрократии. Представляется важным впервые вводимое в оборот определение самого понятия «бюрократия» как «особого слоя лиц, специализирующихся на управлении государством и обладающих рядом привилегий».

Моментом окончательного создания этого «слоя лиц» автор считает издание Табели о рангах 1722 года, законодательно оформившей новую систему формирования и соотношения различных звеньев чиновничьего аппарата, создавшей строгую иерархию чинов гражданского, военного и придворного ведомств. Детально исследуя процесс подготовки этого законодательного памятника, С. Троицкий приходит к выводу о том, что в его основе лежит старая русская практика и законодательный материал предшествующего периода. Кроме того, критически использован и опыт западных держав.

При оценке Табели показан ее двойственный характер, так как, утверждая господствующую роль дворянства в управлении государством, она в то же время значительно расширяла доступ в дворянскую среду выходцам из социальных низов. Решающую роль играл новый принцип продвижения по службе в зависимости не от родовитости, но от выслуги и личных заслуг.

Для большей наглядности автор прибегает к сравнению бюрократии с пирамидой, широкое основание которой состояло из массы канцелярских служащих (70 процентов от общего числа); следующим, значительно более тонким ярусом пирамиды являлись члены присутствий, коллегий и канцелярий, а

над ними возвышался узкий слой руководящих сановников. Завершение же пирамиды — самодержавный монарх.

Сравнение количественного соотношения «дворянских» и «недворянских» должностей показало, что при относительной малочисленности дворянской прослойки она занимала ключевые посты в высшем и среднем ярусах пирамиды. Преобладающая же масса чиновничества, представленная в основном разночинцами, не имела никакого влияния на управление государством. Вместе с тем происходившая на протяжении века непрерывная бюрократизация аппарата управления неизбежно приводила к систематическому расширению низшего разряда чиновничества, а тем самым к усилению в нем позиций разночинного элемента.

Большое место в исследовании уделено происхождению чиновничества. Перед нами проходят исторические судьбы нескольких поколений, живые зарисовки служебных карьер, отдельных деталей. Среди них мы встречаем выходцев из всех сословий феодального общества, однако основной питающей бюрократию средой были приказные люди и близкие к ним разночинцы.

В книге намечено два основных направления социальной эволюции чиновничества. Первое из них — вытекающее из самой сущности феодальной формации «одворянивание» чиновников, вышедших из непривилегированных слоев общества. Получив личное дворянство, право на владение землей и крепостными, верхушка его как бы сливалась с дворянством. Второе, по своей социальной сущности противоположное первому, — «обуржуазивание» дворянской части чиновничества, то есть участие ее в предпринимательстве и торговле. Существование этих двух противоречивых процессов, по мнению автора, одна из причин замедленности развития абсолютной монархии в буржуазном направлении.

Монография С. Троицкого ставит стержневые вопросы истории формирования русского чиновничества. Вместе с тем она наметила ряд производных и достаточно важных проблем — исследования машины управления, ждущих еще своей дальнейшей разработки.

**Н. Демидова.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

- К. Маркс и Ф. Энгельс.** Сочинения. Изд. 2-е. Т. 45. 633 стр. Цена 1 р.
- А. Алдан-Семенов.** Поход за последним «тигром». («Герои Советской Родины») 112 стр. Цена 16 к.
- Героическое подполье.** В тылу деникинской армии. Воспоминания. 416 стр. Цена 1 р. 4 к.
- Н. Горбунов.** Как работал Ленин. Изд. 2-е. 16 стр. Цена 4 к.
- Д. Гразкин.** За темной ночью день вставал... Воспоминания старого большевика. 295 стр. Цена 57 к.
- Е. Зазерский и А. Любарский.** Ленин. Эмиграция и Россия. Документальное повествование. 479 стр. Цена 2 р. 22 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- С. Баруздин.** Повести о женщинах. 240 стр. Цена 33 к.
- Ю. Друнина.** Оконная звезда. Новые стихи. 143 стр. Цена 40 к.
- Е. Книпович.** Мужество выбора. Сборник статей о советской и зарубежной литературе. 294 стр. Цена 91 к.
- Ф. Кузнецов.** За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе. 504 стр. Цена 1 р. 38 к.
- Б. Полевой.** Глубокий тыл. Роман.— Доктор Вера. Повесть в ненаписанных письмах. 672 стр. Цена 1 р. 64 к.
- Л. Почивалов.** Так случилось... Рассказы и повесть. 255 стр. Цена 34 к.
- Б. Рахманин.** Часы без стрелок. Повести и рассказы. 318 стр. Цена 50 к.
- А. Рошка.** Огниво и кремль. Стихи. Перевод с молдавского Т. Стрешневой. 152 стр. Цена 41 к.
- Г. Рыклин.** История моих фельетонов. 168 стр. Цена 22 к.
- Уйгун.** Голоса на рассвете. Стихи и поэма. Перевод с узбекского. 222 стр. Цена 85 к.
- И. Шток.** Премьеры. Рассказы драматурга. 271 стр. Цена 47 к.
- М. Юфит.** Слева, где сердце. Рассказы и повести. 575 стр. Цена 1 р. 3 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- И. Авижиос.** Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского В. Чепайтиса. («Библиотека Победы») 525 стр. Цена 1 р. 56 к.
- Д. Благой.** Мир как красота. О «Вечерних огнях» А. Фета. («Массовая историко-литературная библиотека») 112 стр. Цена 26 к.
- В. Гордейчев.** Свет в окне. Стихотворения. Предисловие Е. Винокурова. 286 стр. Цена 83 к.
- И. Гордон.** Три брата. Роман.— Мать генерала. Повесть. Перевод с еврейского. 414 стр. Цена 93 к.
- О. Дриз.** Четвертая струна. Стихи. Перевод с еврейского. Вступительная статья Л. Озерова. 267 стр. Цена 63 к.
- А. Лебедев.** Стихотворения. Составление и

вступительная статья В. Петровой-Лебедевой. 156 стр. Цена 29 к.

- А. Лупан.** Ноша своя. Избранные стихотворения. Перевод с молдавского. 349 стр. Цена 1 р. 25 к.
- А. Пушкин.** Стихотворения. 110 стр. Цена 2 р. Малоформатное издание.
- И. Радчиков.** Ветер спокойствия. Рассказы. Перевод с болгарского Н. Глен. Предисловие Т. Жечева. 238 стр. Цена 74 к.
- Сэй-Сенагон.** Записки у изголовья. Перевод со старояпонского и предисловие В. Марковой. 306 стр. Цена 76 к.
- Н. Флеров.** Избранные стихи. 224 стр. Цена 79 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- М. Алексеев.** Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 1. Солдаты. Роман. Вступительная статья А. Овчаренко. 655 стр. Цена 1 р. 40 к.
- В. Ераченко.** Стихи. Предисловие С. Соколенкиной. («Молодые голоса») 31 стр. Цена 11 к.
- А. Романов.** Черный хлеб. Стихотворения и поэмы. 125 стр. Цена 47 к.
- К. Сэндберг.** Избранная лирика. Перевод с английского («Избранная зарубежная лирика») 63 стр. Цена 18 к.
- Д. Холендро.** Городской дождь. Рассказы. 223 стр. Цена 41 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

- Н. Бараненков.** Брянские зорянки. Рассказы. («Новинки «Современника») 255 стр. Цена 59 к.
- О. Берггольц.** Дневные звезды. 172 стр. Цена 52 к.
- А. Калинин.** Вешенское лето. Литературно-критические заметки о творчестве М. А. Шолохова. 157 стр. Цена 57 к.
- С. Сартаков.** Философский камень. («Библиотека русского романа») 751 стр. Цена 1 р. 43 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- С. Алексеев.** Идет война народная. Москва. Сталинград. Берлин. Рассказы. Из истории Великой Отечественной войны. 319 стр. Цена 1 р. 24 к.
- И. Василенко.** Артемка. Повесть. После-словие А. Туркова. 368 стр. Цена 66 к.
- С. Васильев.** Достоинство. Поэма. 62 стр. Цена 25 к.
- И. Вергасов.** Героические были из жизни крымских партизан. Предисловие Г. Бакланова. 63 стр. Цена 17 к.
- Иванушка.** Русские народные сказки. Пересказала для детей Н. Карнаухова. 64 стр. Цена 71 к.
- Г. Карпенко.** Тимошкина «Марсельеза». Повесть. 208 стр. Цена 47 к.
- Н. К. Крупская.** О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. Составление и предисловие В. Дридзо. 80 стр. Цена 15 к.
- Е. Мар.** Новоселье в палатке. Рассказы. Предисловие Е. Воробьева. 95 стр. Цена 42 к.
- А. Радицев.** Путешествие из Петербурга

в Москву. Вступительная статья Д. Благого. 270 стр. Цена 54 к.

**К. Рылеев.** Избранное. Думы, стихи и поэмы. Вступительная статья В. Коровина. 175 стр. Цена 41 к.

**А. Стругацкий и Б. Стругацкий.** Полдень ХХII век.—Малыш. Повести. 448 стр. Цена 96 к.

#### ВОЕНИЗДАТ

**Ю. Анненков.** Флаг миноносца. Роман. 445 стр. Цена 94 к.

**С. Баренц.** Радуги над горизонтами. Стихотворения и поэмы. Предисловие А. Софронова. 325 стр. Цена 1 р. 19 к.

**В. Бирюков.** Всего три дня. Повесть. Рассказы. 184 стр. Цена 41 к.

**К. Вурцбергер.** Туманы сами не рассеиваются. Рассказы. Роман. Перевод с немецкого. 440 стр. Цена 1 р. 34 к.

**Н. Доризо.** Меч победы. Стихи, поэмы, песни. 351 стр. Цена 1 р. 39 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**П. Алексеев.** Повесть о моем друге. 190 стр. Цена 80 к.

**Г. Богоулавский.** Вечным сынам отчизны. Памятники Великой Отечественной войны. Стихотворные эпиграфы Р. Рождественского. 710 стр. Цена 11 р. 53 к.

**В. Гусев.** Слава. Стихи, песни, пьеса. Составитель Н. Крюков. Предисловие Н. Ванникова. 318 стр. Цена 47 к.

**М. Коновалов.** Гаян. Роман. Перевод с удмуртского С. Никитина. 218 стр. Цена 49 к.

**А. Кумма и С. Рунге.** Вторая тайна золотого ключика. Новые приключения Буратино и его друзей. Предисловие Ю. Яковлева. 126 стр. Цена 99 к.

**А. Приставин.** На Ангаре. Публицистические очерки. 336 стр. Цена 56 к.

**В. Титов.** Всем смертям назло... Повести. 318 стр. Цена 72 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Анатомия агрессии.** Новые документы о военных целях фашистского германского империализма во второй мировой войне. Перевод с немецкого. 319 стр. Цена 1 р. 26 к.

**Бессмертный подвиг.** Фотоальбом. Составители В. Амелыченко и О. Кулиш. 208 стр. Цена 6 р. 96 к.

**От мая до мая.** Стихи поэтов социалистических стран Европы. Перевод Ю. Левитанского. 267 стр. Цена 1 р. 62 к.

**С. Сэйдзи.** Япоиский солдат. Роман. Перевод с японского Г. Ронской. 190 стр. Цена 55 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Из кинолетописи Великой Отечественной. 1941—1945.** Альбом. Автор-составитель А. Лебедев. Предисловие К. Симонова. 335 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Т. Лебедева.** Иван Никитин. Очерк творчества. 167 стр. Цена 2 р.

**В. Савицкая.** Краков. («Города и музеи мира») 216 стр. Цена 1 р. 61 к.

#### «НАУКА»

**Н. Лахори.** Роза Бакавали. Повесть. Перевод с урду и предисловие А. Дехтарь. Стихотворные переводы А. Наймана. 134 стр. Цена 39 к.

**Методологические проблемы социальной психологии.** Сборник статей. 295 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Советский народ — новая историческая общность людей.** Становление и развитие. Сборник. 520 стр. Цена 2 р. 58 к.

**Современная русская советская повесть.** Коллективная монография. 264 стр. Цена 1 р. 38 к.

**Современный детерминизм и наука.** В 2-х тт. Ответственный редактор Г. Свечников. Т. 1. Общие проблемы детерминизма. 320 стр. Цена 1 р. 20 к. Т. 2. Проблемы детерминизма в современных науках. 335 стр. Цена 1 р. 25 к.

#### «МЫСЛЬ»

**Г. Глезерман и др.** Развитие социалистическое общество: сущность, критерии зрелости, критика ревизионистских концепций. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. 431 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Р. Косолапов.** Социализм: к вопросам теории. 476 стр. Цена 1 р. 81 к.

**А. Малухин.** Пэн Вай — герой китайской революции. («Выдающиеся деятели мирового коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения») 141 стр. Цена 53 к.

**И. Синельникова.** Фридрих Лесснер. («Выдающиеся деятели мирового коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения») 156 стр. Цена 53 к.

#### ПРОФИЗДАТ

**В. Жуков.** Хроника парохода «Гюго». Роман. 367 стр. Цена 88 к.

**Н. Федь.** Рабочий — герой советской литературы. 111 стр. Цена 23 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 13/VI 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/VIII 1975 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 02318. Тираж 175.000 экз. Зак. 2117.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Звз 04619.

## «НОВЫЙ МИР» В 1976 ГОДУ

В 1976 году редакция журнала «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать следующие произведения:

- Ф. Абрамов — «Дом», роман;
- Ч. Айтматов — роман;
- А. Ананьев — «Годы без войны», роман, книга вторая;
- В. Богомолов — роман;
- В. Бубнис — «Цветение несеяной ржи», роман;
- В. Быков — «Выстрел», повесть;
- Р. Гамзатов — «Мой Дагестан», книга третья;
- Р. Киреев — «Посещение», повесть;
- Ю. Крелин — роман;
- А. Кривоносов — «Дебют инженера Ладушкина», повесть;
- А. Рекемчук — «Пророк в своем отечестве», повесть;
- В. Росляков — «Трудная правда», роман;
- К. Симонов — «Японские тетради»;
- Ю. Трифонов — повесть;
- Ч. Сноу — «Хранитель мудрости», роман, перевод с английского.

Над новыми произведениями для «Нового мира» работают: В. Амлинский, С. Антонов, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, Г. Владимов, Л. Гинзбург, О. Гончар, Д. Гранин, Ю. Домбровский, Н. Дубов, Ф. Искандер, В. Катаев, В. Кетлинская, Г. Коновалов, В. Лихоносов, Ю. Нагибин, Е. Носов, Б. Полевой, Е. Ржевская, А. Рыбаков, Г. Семенов, В. Семин, Л. Славин, В. Тендряков, К. Федин, В. Фоменко и другие.



В журнале будут напечатаны воспоминания Героя Советского Союза **М. Громова** «Через всю жизнь», **М. Меньшикова** «Из записок посла», **М. Шагинян** «Человек и время» (продолжение), **И. Южина** «Три года в Яньани».

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи **Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, О. Вациетиса, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, И. Драча, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Зульфии, Е. Исаева, Р. Казаковой, В. Казина, С. Капутикян, М. Карима, В. Коротича, Д. Кугультинова, А. Кулешова, К. Кулиева, Ю. Левитанского, М. Луконина, С. Маркова, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, А. Межирова, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, В. Соколова, М. Танка, А. Тарковского, Н. Тихонова, В. Цыбина, О. Челидзе, В. Шефнера, И. Шкляревского** и других.

#### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес.	6 мес.	3 мес.
8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

**О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ ПРОСИМ СООБЩАТЬ  
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА**

Цена 70 коп.

70636